

# Сергей ЦВЕТКОВ ВЕЛИКОЕ НЕИЗВЕСТНОЕ

## КНИГИ И СУДЬБЫ

### МАРК АВРЕЛИЙ

На свете найдется немного людей, к чьим склонностям и задаткам Лахесис <sup>1</sup> проявила такое же равнодушие, какое она обнаружила по отношению к судьбе Марка Аврелия. Человек, мечтавший об уединении в сельской тиши, был брошен на шумный Олимп римского престола; государь, воздвигнувший на Капитолии статую своей любимой богини — Доброты, должен был царствовать, не выпуская из рук меча; философ, презиравший свою бренную плоть и молившийся в душе Единому Богу, был вынужден разделить посмертный позор предыдущих цезарей — обожествление. Он носил императорский пурпур как власяницу, с твердостью аскета, но без его надежды сменить ее на белые шелковые одеяния в царстве небесном. Он не бросил ни одного проклятия гибнущему миру, над которым был вознесен так высоко как будто только затем, чтобы лучше видеть его разрушение; не оттолкнул ни одного человека из толпы, дергавшей края его плаща с требованием разделить ее безумства, суеверия и похоть. Лишь в часы ночных бдений ему было дано отвратить взор от золота, оружия, крови, от зрелища чужого ничтожества и людских страданий, чтобы поднять его к небу или опустить на рукопись Эпиктета.

Эпоху Антонинов (эта династия правила Римом с 96-го по 192 год) называли «счастливым временем», «золотым веком» Римской империи. «В наше время все города соперничают между собой в красоте и привлекательности, — писал ритор Элий Аристид. — Везде множество площадей, водопроводов, торжественных порталов, храмов, ремесленных мастерских и школ. Города сияют блеском и роскошью, и вся земля цветет, как сад». Но взгляд историка видит, что эти прекрасные города начинают пустеть от упадка рождаемости, эпидемий и войн. Вторжения германских орд опустошают целые провинции; через несколько лет после только одного из таких набегов варвары при заключении перемирия возвращают империи сто пятьдесят тысяч ее плененных граждан. Государство не знает мира — ни внешнего, ни внутреннего. Восставшие Иудея и Британия залиты кровью, мятежные легионы бунтуют на востоке. Императоры спокойны за свою жизнь лишь до тех пор, пока солдаты помнят, как выглядят их профили на монетах. Рим забывает свои суровые добродетели. «Здесь, — говорит Лукиан устами одного из своих персонажей, — можно получать наслаждение через „все ворота“ — глазами и ушами, носом и ртом и органами сладострастия. Наслаждение течет вечным грязным потоком и размывает все улицы; в нем несутся прелюбодеяние, сребролюбие, клятвопреступление... с души, омываемой со всех сторон этим потоком, стираются стыд, добродетель и справедливость, а освобожденное ими место наполняется илом, на котором распускаются пышным цветом многочисленные грубые страсти». Но и наслаждение теряет былую беспечность. Лица развратников искажены тревогой и страхом — они уже видят, подобно Валтасару, огненную руку, чертящую на стене роковые слова <sup>2</sup>. Будущее внушает им ужас, настоящее текуче и зыбко, прошлое

---

<sup>1</sup> Лахесис — одна из трех мойр, богинь судьбы в греческой мифологии; она определяла участь человека. (Злсь и далее примеч. автора.)

<sup>2</sup> В Библии говорится, что последний вавилонский царь Валтасар пировал с приближенными в то время, когда персидское войско царя Кира осаждало город. Во время пира таинственная рука начертала на стене три слова: «мене, текел, упарсин»; пророк Даниил разъяснил, что они означали, «исчислен, взвешен, осужден» — и предвещали близкое падение Вавилонского царства. Через несколько дней Вавилон пал

предано или забыто. Безвольные дети усталого века, они отдали цезарям вместе с бременем власти также и право жить, думать и действовать за них. Даже слово делается личной привилегией императоров. Ритор Фронтон увещевает Марка Аврелия изучать красноречие из жалости к миру, который станет нем без его голоса: «Мир, чрез тебя наслаждавшийся даром слова, станет немым! Если кто-нибудь отрежет язык одному человеку, это будет жестокость. Какое же преступление лишить дара слова весь человеческий род?!» Перед отъездом Марка Аврелия на войну с маркоманами народ молит его не уезжать, не опубликовав своих философских откровений. Но слово разума уже не может найти себе места в головах этих людей, жаждущих одних лишь чудес. Они готовы поверить любому шарлатану, выдающему себя за пророка или чародея. Один такой проходимец возвещает с верхушки фигового дерева на Марсовом поле близость конца света, если, упав на землю, он превратится в аиста. Затем он прыгает и выпускает спрятанную за пазухой птицу; толпа народа в ужасе разбегается, чтобы укрыться в домах от небесного пламени. Другой пророк и маг по имени Александр, выдающий себя за доверенное лицо придуманного им божества Гликона (его роль удачно выполняет змея с открывающейся пастью, искусно сделанная из тряпья), изрекает туманные предсказания, которые обеспечивают ему бешеный успех среди самых знатных римских патрициев. Вера отцов теряет святость истины и неприкосновенность традиции. Прекрасные боги Лациума теснятся, впуская в Пантеон чудовищ восточного идолопоклонства. Ассирийская Астарта, покровительница всех зачатий, появляется на улицах Рима, влекомая жрецами, публично оскоряющими себя в ее честь; вслед за ней в храмах вечного города размещается весь египетский зверинец. Красота оставляет Рим вместе с разумом, которому вскоре предстоит склониться перед чем-то еще более непостижимым — религией распятого Бога, и освятить крест — знак величайшего преступления и позора.

Один из римских историков пишет о глубокой грусти, охватившей Марка Аврелия после его усыновления Антонином Пием <sup>3</sup>, предназначавшим его к власти вместе с другим пасынком, Луцием Вером. Этому сообщению веришь, когда смотришь на бюсты Марка Аврелия: одухотворенное раздумьями лицо, запущенная борода, утомленные чтением глаза... Этому человеку не могло быть знакомо властолюбие. И, однако, он, посвятивший себя познанию истины и жизни в согласии с Богом, должен был нарушить сосредоточенность своей души, допустив в нее страсти того века, к которому не принадлежал, расточить ее силы на служение обществу, которое презирал и осуждал.

Его царствование напоминало те далекие времена, когда боги и титаны сходили на землю, чтобы вызволить людей из полуживотного существования, дать им законы и обучить ремеслам и искусствам. Марк Аврелий был воплощением человечности, лучшим из людей, как сказал бы Платон. Его ум обнимал все отрасли управления огромной империей, душа была свободна от порочных наклонностей предыдущих и последующих цезарей, тело не знало наслаждений и отдыха. «К народу он обращался так, как это было принято в свободном государстве, — говорит римский историк. — Он проявлял исключительный такт во всех случаях, когда нужно было либо удержать людей от зла, либо побудить их к добру, богато наградить одних, оправдать, выказав снисходительность, других. Он делал дурных людей хорошими, а хороших — превосходными, спокойно переносил даже насмешки некоторых... Отличаясь твердостью, он в то же время был совестлив». Он был первым и единственным из цезарей, кто возвратил свободу — народу и бывшее значение — сенату. «Справедливее мне следовать советам стольких опытных друзей, — говорил он своим приближенным, — нежели стольким опытным друзьям повиноваться воле одного человека». Патрицианская спесь внушала ему отвращение, он признавал только аристократию добродетели и заслуг перед родиной. Гражданское право, принципы ответственности государя перед законом и заботы государства о гражданах, полиция нравов, регистрация

---

<sup>3</sup> Антонин Пий (86 — 161) — римский император с 136 г. Своим безупречным поведением и миролюбием заслужил прозвания Благочестивый и Миролюбивый

новорожденных — ведут свое начало от Марка Аврелия. Он желал не просто повиновения закону, но улучшения душ и смягчения нравов. Все слабое и беззащитное находилось под его покровительством. Рабство было признано юстицией нарушением естественного права, убийство раба стало преступлением, а его освобождение поощрялось государством. Сын перестал быть вещью отца, а женщина — собственностью мужчины. Государство взяло на себя попечение о больных и увечных. Применение пытки было ограничено, в уголовное право было введено положение о том, что виновность заключается в воле человека, а не в самом факте преступления. Марк Аврелий не вынес ни одного смертного приговора и уничтожил практику конфискаций; единственный род людей, к которому императорские указы проявляли суровость, — было презренное племя доносчиков. Если он и не осмелился посягнуть на самый отвратительный обычай, оскорблявший величие Рима, — на гладиаторские бои, то, по крайней мере, решился отучить подданных от вида и вкуса крови, приказав выдавать гладиаторам тупое оружие. Его сан требовал снисхождения к кровожадным инстинктам толпы: император был обязан присутствовать в цирке во время боев. Но он подчеркивал свое осуждение этого зрелища тем, что с презрительным равнодушием читал книгу, давал аудиенции и подписывал бумаги, не обращая внимания на бесновавшихся зрителей и насмешки над собой. Однажды толпа потребовала свободы для дрессировщика львов, после того как один из этих зверей эффектно растерзал гладиатора. Марк Аврелий, отвернув голову от арены, велел глашатаю объявить свое решение: «Этот человек не сделал ничего, достойного свободы».

Он часто цитировал Платона: «Государства процветали бы, если бы философы были властителями или властители — философами». Словно в насмешку над этими словами, все мыслимые бедствия обрушиваются на империю. Тибр выходит из берегов, грозя затопить Рим, саранча пожирает поля, землетрясения поглощают целые города в Италии, Иллирии, Галлии. Войны следуют беспрерывно одна за другой. Парфяне разбивают римские легионы в Сирии, Малой Азии и Армении, маркоманы, квады и катты вторгаются в Рецию, Норик и Паннонию. Полководцы Марка Аврелия отбивают эти нашествия, но на смену войне приходит чума, которая продолжается еще дольше. Император организует на государственный счет похороны умерших от заразы и этим окончательно истощает казну. Маркоманы и квады вторично наводняют обезлюдевшие провинции. На этот раз они ведут за собой весь варварский мир — варистов, гермундуров, свевов, сарматов, лакрингов, языгов, буреев, виктуалов, созибов, сикоботов, роксоланов, бастернов, аланов, певкинов, костобоков. Ничего подобного империя еще не видела; государству приходится вооружать рабов и гладиаторов. Теперь Марк Аврелий сам встает во главе легионов. Но на войну нужны деньги, и вот на форуме Траяна два месяца идет необычный аукцион: там продаются императорские драгоценности, золотые и хрустальные бокалы, дорогие вазы и сосуды, картины, статуи и даже золоченое платье императрицы. В итоге дворец Марка Аврелия опустошается так, словно там действительно побывали варвары, но необходимые средства на войну найдены без увеличения налогов. Он уезжает из Рима больной и восемь лет сражается среди снегов и болот, в климате, убийственном для его чахоточной груди. Желудочные боли порой не позволяют разогнуться его изможденному телу, но он ест только утром и вечером и лишь то, чем питаются его солдаты. Поражения не могут поколебать твердость его духа, а победы — забыть о великодушии. Он укрощал варваров силой оружия и приручал их мирными переговорами и раздачей земель для поселения. Его собственные триумфы вызывали в нем лишь отвращение и презрение; цезарь и стоик вели в его душе войну не менее упорную и разрушительную. Когда сенат поднес ему титул «победителя сарматов», он записал в своих «Размышлениях»: «Паук гордится тем, что поймал муху; а между людей один гордится тем, что затравил зайца, другой — рыбу, те — кабанов и медведей, этот — сарматов!» Эта высокомерная ирония — упрек самому себе, напоминание о том, как низко он пал в своем триумфе.

Испытание его убеждений не ограничивалось войной. Ради государственных традиций и народных предрассудков он должен был налагать оковы на свой разум и, стыдясь себя,

всенародно фиглярствовать в одеянии первосвященника во время жертвоприношений в честь множества богов официального политеизма. Можно только догадываться, что чувствовал поклонник Единой Сущности, вынужденный на церемонии угощения богов подносить еду бронзовым и мраморным истуканам, покоящимся на ложе. Представьте Моисея, пляшущего перед золотым тельцом в окружении астрологов и магов!

Но быть может, поразительнее всего то, что этот героизм, эти жертвы самоуничтожения были напрочь лишены какого-либо идеализма. Что значил Рим для человека, который с двенадцати лет называл себя гражданином Вселенной? Какую любовь он мог питать к народу, который даже для собственного спасения не желал отдавать гладиаторов в армию и кричал на форуме: «Император хочет отнять у нас наши развлечения, чтобы заставить нас заниматься философией!»? Мог ли он не презирать людей, требовавших от него, чтобы он заплатил им за ту свободу, которую он добыл для них, харкая кровью в снегах Сарматии? Когда он возвращается в Рим после долгих походов, усмирив варваров и спасши империю, народ кричит со всех сторон, чтобы засвидетельствовать, что в столице считали года: «Восемь, восемь!» Но в то же время из толпы ему делают знаки пальцами, что они должны получить за нерозданный в эти годы хлеб по восемь золотых монет. Марк Аврелий кивает и повторяет с улыбкой: «Да, восемь лет! Восемь динариев!» И все же это улыбка стойкая, а не циника.

Он не мог найти опору ни в ком, кроме самого себя. Его лучший полководец Авидий Кассий поднял мятеж в Сирии, обвинив Марка Аврелия в том, что он «занимается исследованиями об элементах, о душах, о том, что честно и справедливо, и не думает о государстве». Луций Вер, его сводный брат и соправитель, беспутничал и разорял казну. Даже собственная семья Марка Аврелия бесчестила и позорила его имя. Его жена Фаустина высматривала в гавани красивых матросов, чтобы затем отдаваться им в портовых кабаках; актеры в театре публично называли имена ее любовников и высмеивали терпение ее супруга. Коммод, его сын и наследник, уже обнаружил многие из тех качеств, которые затем сделали его имя ненавистным для римлян; отец с ужасом видел, что для блага государства должен желать смерти своего сына. Среди предательств и измен Марк Аврелий сохраняет благородную чистоту души, тщательно следя за тем, чтобы ни одно злобное или мстительное чувство не проникло в нее. Милосердие и снисходительность никогда не оставляют его. Он отнесся к предательству Кассия с великодушным спокойствием. «Марку Аврелию была доставлена связка писем, адресованных Кассием к заговорщикам, — пишет Аммиан Марцелин. — Марк Аврелий, не распечатывая, приказал тут же эти письма сжечь, чтобы не узнать имен своих врагов и не возненавидеть их произвольно». Когда один римлянин стал упрекать императора в снисходительности к Кассию, Марк Аврелий ответил ему: «Не так плохо мы почитали богов, и не так плохо мы жили, чтобы он мог победить» — и напомнил ему старую поговорку: «Ни один государь не убил своего преемника». Своей жене, заклинявшей его из любви к собственным детям не щадить заговорщиков, он написал: «Да погибнут мои дети, если Авидий заслуживает любви больше, чем они, если жизнь Кассия для государства важнее, чем жизнь детей Марка Аврелия». Современники не сомневались, что он пощадил бы Кассия, если бы это от него зависело. Когда ему принесли голову мятежного полководца, отрубленную его же воином, император отвратил от нее свое лицо и велел похоронить голову с церемониями, подобающими любому другому гражданину. Сенату, желавшему угодить ему изгнанием семьи Кассия, он дал суровую отповедь: «Они ни в чем не виновны. Пусть живут они в безопасности, зная, что живут в царствование Марка Аврелия». По отношению к Луцию Веру он делал вид, что ничего не знает о его распущенности, так как стыдился упрекать брата. Узнав о пире, на который Вер пригласил всего двенадцать человек и который обошелся в шесть миллионов сестерциев, Марк Аврелий испустил тяжелый стон и пожалел о судьбе государства. Он наказал Вера лишь тем, что на несколько дней поселился в его дворце, полном мимов и куртизанок, и постарался личным примером приохотить его к стоичес-. кой жизни. Фаустина всегда оставалась ему дорога. Она сопровождала его во всех походах, из-за чего он называл ее «матерью лагерей». О ее

безнравственное — . ты он не знал, или скорее не хотел знать. Она была дочерью Антонина Пия, и Марк Аврелий боялся, отвергнув ее, оскорбить память своего благодетеля, которого боготворил. А может быть, он все прощал ей ради двух дочерей, «маленьких малиновок», как он любил называть их. Когда он говорил о них, его сердце переполнялось любовью. В одном письме Фронту он пишет: «Вот опять настали летние жары, но так как наши детки чувствуют себя, хорошо, то мне кажется, что у нас весенний воздух и весенняя температура... В нашем гнездышке каждый молится за тебя как умеет». Он жил для них, для них он воевал и побеждал. Когда по окончании войны с парфянами ему был дарован триумф, он въехал в Рим на колеснице, на которой рядом с ним стояли обе его «малиновки».

Время полустерло деяния его царствования, но целиком сохранило книгу его «Размышлений» — слепок этой великой души, — словно для того, чтобы мы мерили ее не поступками цезаря, а мыслями философа. Книга эта может служить ответом на страстный призыв Эпиктета: «Пусть кто-либо из вас покажет мне душу человека, жаждущего быть единым с Богом, жаждущего не обвинять более ни Бога, ни человека, ни в чем не терпящего неудачи, не испытывающего несчастья, свободного от гнева, зависти и ревности, — того, кто (зачем скрывать мою мысль?) жаждет изменить свою человечность в божественность и кто в этом жалком своем теле поставил себе целью воссоединиться с Богом». Свою книгу Марк Аврелий писал большей частью в лагерной палатке, во время бессонниц, на дощечках, без определенного плана; первая ее часть помечена: «В стране квадов, на берегу реки Гран», вторая: «У Корнунта» <sup>4</sup>.

«Размышления» имеют подзаголовок: «Наедине с собой». Действительно, еще никогда человек не беседовал со своей совестью более интимно, не смотрел более пристально в лицо своему одиночеству. В этой книге чувствуется сосредоточенность души, вопрошающей о себе ночное безмолвие Вселенной. Мысли следуют одна за другой, как удары сердца, как вдох и выдох, вовлекая в свой круговорот вещи и страсти, жизнь и смерть, природу и Бога. Истина здесь почти лишена мифологических и религиозных одеяний, ее обнаженное величие схоже с суровым величием храма, лишённого барельефов и орнаментов.

Бог для Марка Аврелия неотделим от мира, чья вечность — «как бы река из становлений, их властный поток. Только показалось нечто и уже пронеслось...». Бог-мир — живое существо, вечно обновляющее себя согласно им самим установленным законам. Его текучая изменчивость запечатлена и в человеческом уделе: «Время человеческой жизни — миг; ее сущность — вечное течение; ощущение — смутно; строение всего тела — бrenно; душа — неустойчива; судьба — загадочна; слава — недостоверна. Одним словом, все, относящееся к телу, — подобно потоку, относящемуся к душе, — подобно сновидению и дыму. Жизнь — борьба и странствие по чужбине; посмертная слава — забвение». Поток становлений вовлекает в себя человека, с каждым мгновением подвигая его к неизбежному концу. Желание наслаждений и счастья в мире, где нет ничего постоянного, сродни безумию: «Это то же самое, как если бы ты влюблялся в пролетающих птиц». Волны небытия накатываются на человека из прошлого и будущего, грозя захлестнуть с головой; настоящее, та единственная щепка, да которой он пытается устоять, предательски ускользает из-под ног: это дар, которым невозможно воспользоваться. Ни младенец, ни юноша, ни старик не имеют никаких преимуществ друг перед другом. «Да живи ты хоть три тысячи лет, хоть тридцать тысяч, только помни, что человек никакой другой жизни не теряет, кроме той, которой жив; и не живет он лишь той, которую теряет. Вот и выходит одно на одно длиннейшее и кратчайшее. Ведь настоящее у всех равно, хотя и не равно то, что утрачивается; так оказывается каким-то мгновением то, что мы теряем, а прошлое и будущее потерять нельзя, потому что нельзя ни у кого отнять то, чего у него нет. Поэтому помни две вещи. Первое, что все от века единообразно и вращается по кругу, и безразлично, наблюдать ли одно и то же

---

<sup>4</sup> Река Гран — левый приток Дуная. Карнунт — город и стоянка римских легионов в Паннонии на правом берегу Дуная около нынешнего Пестроне (Австрия)

сто лет, двести или бесконечно долго. А другое, что и долговечнейший, и тот, кому вот-вот умирать, теряет ровно столько же. Ибо настоящее — единственное, чего они могут лишиться, раз это, и только это, имеют». Философ оглядывает мысленным взором ушедшие поколения людей, всю историю человечества и говорит себе: «Созерцай с возвышенного места эти бесчисленные толпы, эти тысячи религиозных церемоний, эти плаванья сквозь штиль и бурю, это разнообразие существ рождающихся, живущих вместе, уходящих... Вер умирает раньше Луциллы, Луцилла потом; Максим раньше Секунды, потом Секунда; Диотима раньше Эпитинхана, потом Эпитинхан; Фаустина раньше Антонина, потом Антонин; и так во всем... И все эти люди с умом таким проницательным и те, опьяненные гордостью, где они? Где Харакс, Деметрий, Эвдемон и все, кто походил на них? Призрачные, давно умершие существа. Некоторые на одно даже мгновение не оставили своего имени; другие перешли в ряды преданий, третьи исчезли даже из самих преданий». Величайший из царей и его раб получают одно: «Александр Македонский и его погонщик мулов разложились после смерти при тех же самых условиях, или они оба вернулись в ту же творящую сущность мира, или один так же, как и другой, рассеялись в атомах...» Все, чем люди тешат себя при жизни, в чем они полагают цель и смысл своего существования, оказывается безумным фарсом. «Все, что мы так ценим в жизни, — пустота, гниение, ничтожество... Тщета всякого великолепия, театральные зрелища, стада мелкого и крупного скота, битвы гладиаторов — все это не больше, чем кость, брошенная собакам, кусок хлеба, раскрошенный рабам. Это изнеможение муравья, тащущего свою ношу, бегство испуганных мышей, кривляние кукол, которых дергают за веревочку!» Ужаснувшись зрелищу, которое открылось его глазам, он восклицает: «Смрад и тлен на дне всего!» Чтобы сжиться с этой мыслью, он советует себе видеть во всех вещах их тленную суть, мысленно препарировать их: «Как представлять себе насчет подлив и другой пищи такого рода, что это — рыбий труп, а то — труп птицы или свиньи; а что фалернское, опять же, виноградная жижа, а тога с пурпурной каймой — овечьи волосья, вымазанные в крови ракушек; при совокуплении — трение внутренностей и выделение слизи с каким-то содроганием, — так надо делать и в отношении жизни в целом, и там, где вещи представляются такими уж преубедительными, обнажать и разглядывать их невзрачность и устранять предания, в которые они рядятся. Ибо страшно это нелепое ослепление...»

Марк Аврелий склоняется перед божеством, которое непостижимым образом заставляет нас чувствовать красоту мира, исполненного зла, скорби, страдания, несправедливости и смерти. Он постигает, что все это лишь необходимые диссонансы единой симфонии, гармония которой ускользает от нашего понимания. В творчестве Бога даже прах обретает величие, ибо служит вящей его славе. «Даже пасть льва и смертельные отравы, все, что может вредить, как шипы и грязь, являются лишь сопут-ствием благородных и прекрасных явлений. Не воображай же, что в них может быть нечто постороннее тому Существо, которое ты почитаешь. Размышляй об истинном истоке всех вещей!» В необходимости череды рождений и исчезновений Марк Аврелий видит милосердие Бога, определившего каждой вещи свои сроки, как бы ни казались они малы в сравнении с бесконечностью Его существования; он покоряется Его законам, растворяя в вечном потоке каплю своего бытия. "Все мне пригодно, мир, что угодно тебе; ничто мне не рано и не поздно, что вовремя тебе; все мне плод, что приносят твои, природа, сроки. Сказал поэт: «Милый Кекропов град»<sup>5</sup>, ты ли не скажешь: «О, милый Зевеса град?»<sup>6</sup> Благословляя и славословя мир, он ожидает смерть «в кротости разумения», ибо она приходит не поздно и не рано, а также в свой срок, чтобы, собрав свою жатву, освободить поле для нового посева:

---

<sup>5</sup> Стих принадлежит Аристофану. Кекропов град — Афины, называемые так по имени их основателя и первого царя Кек-ропа

<sup>6</sup> То есть мир, вселенная. Сравнение мира с городом часто встречается у писателей-стоиков

«Есть много зерен ладана, предназначенных для одного алтаря; одно падает в огонь раньше, другое позже, но разницы нет... Следует покидать жизнь со смирением, как падает созревшая оливка, благословляя землю, свою кормилицу, и принося благодарность дереву, которое ее взрастило».

Марк Аврелий разделяет стоическую доктрину, согласно которой душа умирает вместе с телом, разлагаясь на первоэлементы. Лишь однажды то, что кажется ему истиной, исторгает у него вздох благородного сожаления: «Как случилось, что Бог, который так хорошо и с такой добротой к людям распределил все вещи, забыл только об одном: почему истинно добродетельные люди, которые в течение всей жизни были в известных сношениях с Божеством, которые были любимы им за свое благочестие, не воскресают после смерти, а погасают навсегда!» Но он тут же одергивает себя: «Ты видишь хорошо, что делать подобные изыскания — это значит спорить с Богом о его правах... Либо ты живешь здесь — и уже привык, либо уходишь отсюда и этого захотел, либо умираешь и уже отслужил. Кроме этого — ничего. Будь же весел».

Он убежден, что совесть — тот живой гений, который дает душе ощущение сопричастности с божественным; она — лепесток священного огня, который человек, пока он жив, должен всеми силами хранить неугасимым. Властелин мира закликает себя: «Гляди, не оцезарей, не пропитайся порфирой — бывает такое. Береги себя простым, достойным, неиспорченным, строгим, прямым, другом справедливости, благочестивым, доброжелательным, приветливым, крепким на всякое подобающее дело. Вступай в борьбу, чтобы оставаться таким, каким захотело тебя сделать принятое тобой учение. Чти богов, людей храни. Жизнь коротка; один плод земного существования — праведный душевный склад и дела на общую пользу... Пусть Божество в тебе будет руководителем существа мужественного, зрелого, преданного интересам государства, римлянина; облеченного властью, чувствующего себя на посту, подобного человеку, который, не нуждаясь ни в клятве, ни в поручителях, с легким сердцем ждет зова оставить жизнь... Нежно люби человеческий род и повинуйся Богу... Нужно жить с ним!»

Удивительно это бескорыстное стремление служить Божеству — в себе и себе — в человечестве. Тем неожиданнее звучит резкий окрик: «Покройся бесчестием, о моя душа! Да, покройся бесчестием! Потому что до сих пор ты еще полагаешь свое счастье в душах других людей». Нам никогда не узнать, каким разочарованием вызваны эти слова. Мы можем видеть кровоточащие раны и затянувшиеся рубцы этой души, но не оружие, которым их нанесли. Какое преступление или низость вызвали у него эту жалобу: «Они не перестанут делать то, что делают, хоть ты умри!» Что — донос, клевета или лесть заставили его негодуяюще воскликнуть: «Так вот те мысли, которые руководят ими! Вот предмет их вожделений! Вот почему они нас любят и почитают! Приучайся созерцать их души обнаженными. Они воображают, что могут вредить своим злословием и служить своими похвалами. Суэта!»

Порой одиночество приводит его в отчаяние и он призывает смерть: «Ты видишь теперь, как ужасно жить с людьми, чувств которых ты не разделяешь. Приходи скорее, о Смерть! Потому что я боюсь, что в конце концов забуду самого себя». Есть минуты, когда он готов подставить грудь под кинжалы наемных убийц: «Пусть увидят, узнают люди, что такое истинный человек, живущий по природе. А не терпят, пусть убьют — все лучше, чем жить так». Но отчаяние проходит, и он с тихим безразличием всматривается в сумерки своей жизни: «Не блуждай больше; не будешь ты читать свои заметки, деяния римлян и эллинов, выписки из писателей, которых ты откладывал себе на старость. Так поспешай же к своему назначению и, оставив пустые надежды, самому себе — если есть тебе дело до самого себя — помогай, как можешь... Недалеко забвение: у тебя — обо всем и у всего — о тебе».

Смерть Марка Аврелия не прибавила ничего к тому, о чем бы ранее не сказала его жизнь. Чума, распространившаяся в римском лагере во время третьей войны с варварами, не миновала и его. «Едва пораженный болезнью, — говорит Капитолии, — он стал воздерживаться от пищи и питья с намерением умереть». За два дня до своей смерти он

сказал друзьям, что огорчен совсем не тем, что умирает, а тем, что оставляет после себя такого сына. Коммод, словно спеша оправдать эти слова, при последнем свидании сказал ему, что он, живой, понемногу сможет сделать многое, а мертвый Марк Аврелий — ничего.

Друзья спешили оставить его, чтобы не навлечь на себя гнев наследника. Он проводил их без жалоб: «Если вы уже покидаете меня, то прощайте, я иду впереди вас». Одно место в его «Размышлениях» говорит о том, что он предвидел эту последнюю измену. «Разве во время твоих последних минут, — говорится там, — не будет таких, которые скажут сами себе: наконец-то мы сможем вздохнуть, освободившись от этого педанта; конечно, он не делал зла никому из нас, но мы замечали, что втайне он нас осуждал. Да, размысли в самом себе: я уйду из жизни, где те, что делили ее со мной, для которых я столько работал, столько приносил обетов, отдавался стольким заботам, те самые пожелают, чтобы я исчез, и будут надеяться, что это принесет им некоторое благо». Только однажды горечь, скопившаяся в нем, прорвалась наружу. Когда военный трибун пришел спросить у него последних распоряжений, он отослал его к Коммоду: «Ступай к восходящему солнцу, для меня настал час заката».

Сенека сказал, что жизнь не бывает незавершенной, если прожита честно. Книга Марка Аврелия осталась недописанной, но слова, которыми она обрывается, придают ей совершенство законченности: «Человек! Ты был гражданином этого великого града. Что же тут страшного, если тебя высылают из города не деспот, не судья несправедный, но введшая тебя в него природа? Словно комедианта отзывает занявшийся им претор. „Но я же сыграл не все пять актов, три только“. Превосходно, значит, в твоей жизни всего три действия. Потому что свершения определяет тот, кто прежде был причиной соединения, а теперь распада, и не в тебе причина как одного, так и другого. Так уходи же кротко, ведь и тот, кто тебя отзывает, кроток». Не эти ли слова он шептал, когда на седьмой день болезни, завернувшись в плащ, как бы для того, чтобы заснуть, тихо испустил дух?

Люди и время не прекратили своего глумления над ним и после его смерти. Память благочестивейшего и терпимейшего из цезарей сенат почтил тем, что провозгласил его «Благосклонным Богом» и объявил, что каждый человек, не имевший у себя его изображения, будет считаться святотатцем. Коммод в первые же годы своего правления истребил все его начинания, последующие императоры уже не возвращались к ним. Тот, кто жил открыто, ибо ему нечего было стыдиться, получил историческое бессмертие инкогнито. Христианский мир долгое время чтит Марка Аврелия под чужим именем. Его памятник уцелел в Средние века только потому, что считался изображением императора Константина Великого.

Он и сегодня стоит на Капитолийском холме в Риме. Царственный всадник с вытянутой рукой шлет прощение и благословение вечно изменчивому потоку, кипящему под ногами его коня, — тому миру, в котором он как никто другой мог сказать: «*Omnia fui nihil prodest*»<sup>7</sup>.

## БЕНВЕНУТО ЧЕЛЛИНИ

В своем всемирно известном жизнеописании «Жизнь Бенвенуто Челлини, сына маэстро Джованни Челлини, флорентийца, написанная им самим во Флоренции» автор рассказывает, что однажды, когда ему было пять лет, его отец, сидя у очага с виолой, увидел маленького зверька вроде ящерицы, резвящегося в пламени. Он подозвал Бенвенуто и дал ему затрещину, от которой малыш заревел. Отец быстро осушил его слезы ласками и сказал: «Сынок мой дорогой, я тебя бью не потому, что ты сделал что-нибудь дурное, а только для того, чтобы ты запомнил, что эта вот ящерица, которую ты видишь в огне, это — саламандра, каковую еще никто не видел из тех, о ком доподлинно известно».

Читая эту книгу, написанную рукой старца, дрожащей не от слабости, но от заново

---

<sup>7</sup> Я был всем и все ни к чему (лат.)



переживаемого гнева или восторга, видишь пламень, пожирающий самого Челлини.

Ярость буквально душит его. От первой до последней страницы он неистовствует, бесится, бранится, громит, обвиняет, рычит, угрожает, мечется — работа, потасовки и убийства лишь ненадолго выпускают из него пар. Ни одна обида, как бы незначительна она ни была, не остается неотомщенной, и о каждом возмездии рассказано простодушно и чистосердечно, без капли сожаления и раскаяния. Удивляться тут нечему — это Италия Борджа и кондотьеров. Тигр не терпит, когда его дергают за усы. Челлини, этот бандит с руками демиурга, пускает в ход кинжал не реже, чем резец. Помпео, золотых дел мастер папского двора, с которым у Челлини были счеты, убит им в Риме прямо на улице. «Я взялся на маленький колючий кин-жальчик, — повествует Челлини, — и, разорвав цепь его молодцов, обхватил его за грудь с такой быстротой и спокойствием духа, что никто из сказанных не успел заступиться». Убийство не входило в его намерения, поясняет Челлини, «но, как говорится, бьешь не по уговору». Какого-то солдата, убийцу своего брата, он выслеживает «как любовницу», пока не закалывает его у дверей кабака ударом стилета в шею. Почтового смотрителя, который не вернул ему после ночлега стремена, он убивает из аркебузы. Работнику, ушедшему от него в разгар работы, он «решил в душе отрезать руку». Один трактирщик возле Феррары, у которого он остановился, потребовал уплаты за ночлег вперед. Это лишает Челлини сна: он проводит ночь, обдумывая планы мщения. «То мне приходила мысль поджечь ему дом; то зарезать ему четырех добрых коней, которые у него стояли в конюшне». Наконец «я взял ножик, который был как бритва; и четыре постели, которые там были, я все их ему искрошил этим ножом». Свою любовницу-натурщицу, изменившую ему с одним из его подмастерьев, он заставлял часами позировать в самых неудобных позах. Когда девушка потеряла терпение, Челлини, «отдавшись в добычу гневу... схватил ее за волосы и таскал ее по комнате, колотя ее ногами и кулаками, пока не устал». На следующий день она снова ласкается к нему; Челлини размякает, но как только его снова «разбередили» — опять беспощадно колотит ее. Эти сцены повторяются несколько дней, «как из-под чекана». Кстати сказать, это та самая натурщица, которая послужила ему моделью для безмятежной «Нимфы Фонтенбло».

Здесь я должен напомнить читателю то, что говорится в великолепном предисловии Проспера Мериме к «Хронике царствования Карла IX». «В 1500 году, — пишет Мериме, — убийство и отравление не внушали такого ужаса, как в наши дни. Дворянин предательски убивал своего недруга, ходатайствовал о помиловании и, испросив его, снова появлялся в обществе, причем никто и не думал от него отворачиваться. В иных случаях, если убийство совершалось из чувства правой мести, то об убийце говорили, как говорят теперь о порядочном человеке, убившем на дуэли подлеца, который нанес ему кровное оскорбление».

Да, Челлини был убийцей, как и половина добрых католиков того времени<sup>8</sup>. Конечно, иной раз и он мог бы, вытирая свой «колючий кинжальчик», сказать вместе с пушкинским Дон Гуаном: «Что делать? Он сам того хотел»; конечно, и ему можно было бы возразить вместе с Лаурой: «Досадно, право. Вечные проказы — а все не виноват». Совесть даровала ему «легкий сон», а жизнь выработала у него привычку широко огибать углы домов — предосторожность, не лишняя в тот век даже для человека, который не знал, «какого цвета бывает страх». Участие Челлини в обороне Флоренции от войск Карла Бурбона и головокружительный побег из папской тюрьмы имеют тот же духовный источник, что и его беззакония. Думаю, слово «мужество» будет здесь уместно.

Там, где нет возможности или повода выяснить отношения при помощи ножа или шпаги, Челлини обрушивает на врагов всю силу своей гомерической брани. Его ругань льется какой-то кипящей лавой, противник оказывается совершенно раздавлен глыбами его

---

<sup>8</sup> Стендаль в одном из писем (24 февраля 1801 г.) приводит такую статистику итальянских нравов, относящуюся к более цивилизованным временам: в Брешии, пишет он, на 30 тысяч жителей ежедневно случается 60 — 80 убийств, Париж с его 800 — 900 тысячами горожан дает могильщикам в два раза меньше работы

проклятий. Так и кажется, что слышишь, как он поносит скульптора Бандинелли, который в присутствии герцога Козимо Медичи осмелился хвалить своего «Геркулеса» в ущерб искусству Челлини. «Государь мой, — начинает свою оправдательную речь Челлини, — вашей высокой светлости да будет известно, что Баччо Бандинелли состоит весь из скверны, и таким он был всегда; поэтому, на что бы он ни взглянул, тотчас же в его противных глазах, хотя бы вещь была в превосходной степени сплошным благом, тотчас же она превращается в наихудшую скверну». И затем он обрушивается на «Геркулеса» с гневом Аполлона, сдирающего кожу с Марсия: "Говорят, что если обстричь волосы Геркулесу, то у него не останется башки, достаточной для того, чтобы упрятать в нее мозг; и что это его лицо, неизвестно, человека оно или быкольва, и что оно не смотрит на то, что делает, и что оно плохо прилажено к шее, так неискусно и так неуклюже, что никогда не бывало видано хуже; и что эти его плечища похожи на две луки ослиного выючного седла; и что его груди и остальные эти мышцы вылеплены не с человека, а вылеплены с мешка, набитого дынями, который поставлен стоймя, прислоненный к стенке. Также и спина кажется вылепленной с мешка, набитого длинными тыквами; ноги неизвестно каким образом прилажены к этому туловищу; потому что неизвестно, на которую ногу он опирается или которою он сколько-нибудь выражает силу; не видно также, чтобы он опирался на обе, как принято иной раз делать у тех мастеров, которые что-то умеют. Ясно видно, что она падает вперед больше, чем на треть локтя; а уже это одно — величайшая и самая нестерпимая ошибка, которую делают все эти дюжинные мастеровые пошляки. Про руки говорят, что обе они свисают без всякой красоты, и в них не видно искусства, словно вы никогда не видели голых живых, и что у правых ног Геркулеса и Кака <sup>9</sup> двух икр не хватит на одну ногу; что если один из них отстранится от другого, то не только один из них, но и оба они останутся без икр, в той части, где они соприкасаются; и говорят, что одна нога у Геркулеса ушла в землю, а что под другою у него словно огонь".

После всего этого странно читать, как Челлини называет себя меланхоликом.

Беззастенчивая похвальба и горделивое сознание своего достоинства в равной мере присущи ему, и порой невозможно отличить, где кончается одно и начинается другое. На замечание одного дворянина, что так роскошно, как Челлини, путешествуют только сыновья герцогов, он ответил, что так путешествуют сыновья его искусства. В уста папы Климента VII он вкладывает такие слова о себе: «Больше стоят сапоги Бенвенуто, чем глаза всех этих тупиц». Какому-то заносчивому собеседнику он сказал: «Такие, как я, достойны беседовать с папами, и с императорами, и с великими королями, и что таких, как я, ходит, может быть, один на свете, а таких, как он, ходит по десять в каждую дверь». Он приписывает себе убийство Карла Бурбона и Вильгельма Оранского в дни осады Рима и отражение атаки французов на Ватикан. А о своей жизни до пятнадцатилетнего возраста он говорит: «Если бы я захотел описывать великие дела, которые со мной случались вплоть до этого возраста и к великой опасности для собственной жизни, я бы изумил того, кто бы это читал». Челлини никогда не унижается до того, чтобы назначать плату за свои произведения. Он чувствует себя королем своего искусства, а иногда — святым. В тюрьме ему являются ангелы и Христос с лицом «не строгим и не веселым» (это лицо мы видим на его «Распятии»). С подкупающими подробностями он говорит — и это не самое удивительное место в книге — о появившемся у него нимбе. Это сияние, поясняет Челлини, «очевидно всякого рода человеку, которому я хотел его показать, каковых было весьма немногих. Это видно на моей тени утром при восходе солнца вплоть до двух часов по солнцу, и много лучше видно, когда на травке бывает такая влажная роса; также видно и вечером при закате солнца. Я это заметил во Франции, в Париже, потому что воздух в тамошних местах настолько более чист от туманов, что там оно виделось выраженным много лучше, нежели в Италии, потому что туманы здесь много более часты; но не бывает, чтобы я во всяком случае его не видел; и я

---

<sup>9</sup> Как, или Какус, — великан-разбойник. Похитил у Геркулеса часть стада и был им убит за это

могу показывать его другим, но не так хорошо, как в этих сказанных местах». Однако он не прочь заглянуть и в мир демонов, для чего участвует вместе со своим учеником в опытах какого-то священника-некроманта. Когда появившиеся легионы демонов испугали ученика, Челлини приободрил его: «Эти твари все ниже нас, и то, что ты видишь, — только дым и тень; так что подыми глаза».

Челлини не опускал глаза и перед папами, грозными пастырями, железным жезлом пасшими свои стада. Удивительные люди были эти Юлии II, Клименты VII, Павлы III! Искусство было их второй религией (первой была политика), славу христианства они видели в том, чтобы распятия в церквях были изваяны так же хорошо, как античные боги. Они чтили художественный гений как Божью благодать, ниспосланную в мир, и боялись оскорбить ее своей необузданностью. Мике-ланджело для Юлия II имел ценность собственности римского престола, попытка сманить скульптора грозила анафемой. Когда Микеланджело бежал от его суровости во Флоренцию, Юлий писал громовые послания флорентийской сеньории, обвиняя ее в воровстве и требуя выдать творца Сикстинской капеллы. Ему пришлось самому ехать за ним в Болонью. При новой встрече папа не смог удержать свой гнев: «Итак, вместо того чтобы приехать к нам в Рим, ты ждал, что мы приедем искать тебя в Болонью!» Один из кардиналов неуклюже попытался смягчить Юлия, сказав: «Пусть ваше святейшество на него не гневается, ведь люди этого рода невежды, которые не понимают ничего, помимо своего ремесла». Разъяренный папа ударил посохом глупого попа: «Сам ты невежда, раз оскорбляешь того, кого мы сами, мы не хотим оскорбить!»

У Челлини бывали с папами не менее выразительные сцены. Климент VII называл его *Benvenuto mio*<sup>10</sup> и прощал ему любые выходки. Челлини затягивал и менял сроки работы, откладывал папские заказы ради своих замыслов, не отдавал выполненных работ и гнал к черту папских гонцов. Папа скрежетал зубами и вызывал его в Ватикан. Их ссоры были ужасны и в то же время комичны. Вот Челлини является с гордо поднятой головой. Климент яростно смотрит на него «этаким свиным глазом» и обрушивает на строптивного художника гром небесный: «Как Бог свят, объявляю тебе, взявшему себе привычку не считаться ни с кем в мире, что если бы не уважение к человеческому достоинству, то я велел бы вышвырнуть тебя в окно вместе со всей твоей работой!» Челлини отвечает ему в тон, кардиналы бледнеют, шепчутся и беспокойно переглядываются. Но вот из-под плаща мастера появляется готовая вещь, и лицо папы расплывается в отеческой улыбке: «Мой Бенвенуто!» Однажды Челлини ушел от негб взбешенный, так как не получил просимой синекуры. Климент, знавший его свободолобивый нрав и боявшийся, что мастер покинет его, в растерянности воскликнул: «Этот дьявол Бенвенуто не выносит никаких замечаний! Я был готов дать ему это место, но нельзя же быть таким гордым с папой! Теперь я не знаю, что мне и делать». Челлини мог наполнить Рим убийствами и бесчинствами, но стоило ему показать папе перстень, вазу или камею, как милость тотчас бывала ему возвращена. Полурельеф Бога Отца на большом бриллианте спас ему жизнь после сведения счетов с убийцей брата; убив Помпео, он попросил помилования у Павла III, грозя в противном случае уехать к герцогу флорентийскому, — прощение тут же было даровано ему. Недовольным его решением папа объявил: «Знайте, что такие люди, как Бенвенуто, единственные в своем искусстве, не могут быть подчинены закону». Искусство Челлини принесло последнее утешение умирающему Клименту VII. Заказав ему медали, папа вскоре заболел и, боясь, что не увидит их, приказал принести их к своему смертному одру. И вот, умирающий старик приказывает зажечь вокруг себя свечи, приподнимается на подушках, надевает очки — и ничего не видит: смертельный мрак уже застилает ему глаза. Тогда своими негнушимися пальцами он гладит эти медали, стараясь осязательно насладиться прекрасными рельефами; потом он с глубоким вздохом откидывается на подушки и благословляет своего Бенвенуто.

---

<sup>10</sup> Мой Бенвенуто, однако в буквальном смысле это значит «мой желанный»

Челлини пользовался покровительством и дружбой Франциска I, северного варвара из еще убогого тогда Парижа. Король не устал ходатайствовать перед папой об освобождении Челлини из тюрьмы и приютил его у себя после побега. Трудно указать другой пример, когда бы монарх был столь искренен в своем восхищении искусством. Как некогда крестоносцы изумлялись чудесам Востока, он радуется всему, что Челлини, словно чародей, достает перед ним из своего рукава. Щедроты, которыми он осыпал флорентийца, изумили даже самого Челлини, знавшего себе цену. Франциск дает ему деньги, не дожидаясь выполнения работ. («Хочу придать ему бодрости», — поясняет король.) «Я утоплю тебя в золоте», — говорит он ему однажды. Вместо мастерской он дарит Челлини замок Маленький Нель и выдает грамоту на гражданство. Но Челлини для него не подданный, король предпочитает звать его «мой друг». «Вот человек, которого должен любить и почитать всякий!» — не устает восклицать Франциск.

Этот король, прошедший жизнь в эпических войнах с громадной империей Карла V, умел испытывать сладостное забвение, разглядывая какую-нибудь маленькую безделушку вроде изготовленной Челлини солонки с аллегорическими фигурами Земли и Воды с переплетенными ногами. Однажды кардинал Феррарский повел короля, озабоченного возобновлением войны с императором, взглянуть на модель двери и фонтана для дворца Фонтенбло, законченные Челлини. Первая изображала нимфу в кругу сатиров, сладострастно изогнувшуюся и обвиняющую левой рукой шею оленя; вторая — нагую фигуру со сломанным копьем. Развеселившийся Франциск мигом забыл все свои горести. «Поистине, я нашел человека себе по сердцу! — воскликнул он и добавил, ударив Бенвенуто по плечу: —

Мой друг, я не знаю, кто счастливее: государь ли, который находит человека по сердцу, или художник, встретивший государя, умеющего его понять». Челлини почтительно сказал, что его удача, безусловно, гораздо больше. «Скажем, что они одинаковы», — смеясь, ответил король.

Но не было никого, кто бы относился к искусству более благоговейно, чем сам Челлини. Его тело могло вытворять что угодно, преступая все законы, божеские и человеческие, и все же, когда утро заставало его в мастерской, изнуренного безжалостной лихорадкой вдохновения, он должен был чувствовать себя Адамом, сошедшим с ветхую плоть. Я не хочу сказать, что это кто-нибудь оправдывает. Искусство — к чему заблуждаться на этот счет? — не выписывает индульгенций, и красота не спасет мир (разве что кого-нибудь из нас?). Достаточно того, что желчь и кровь, которыми пропитаны страницы его жизнеописания, испаряются там, где Челлини говорит о своих произведениях. Конечно, и здесь его корчит от ярости, лишь только речь заходит о первенстве в искусстве ваяния (надо отдать ему должное: он не унижается до спора с соперниками, он просто отрицает их талант — полностью и безоговорочно). Но, как сказал Честертон, в человеке, который не скрывает своего честолюбия, всегда есть некая толика смирения. Челлини знал это смирение, когда говорил о равных себе. «От Микеланджело Буонаротти, а никак не от других, я научился всему тому, что знаю», — признается он в одном месте. Неизменным остается его уважение к Донателло и Леонардо да Винчи; он одобряет учеников Рафаэля, которые хотели убить Россо за то, что тот унижал их учителя.

Красота, в чем бы она ни заключалась, тотчас переполняет его восторгом. Человеческий костяк, символ Смерти для большинства его современников, исторгает у Челлини в «Речи об основах рисунка» настоящий гимн великолепию изящества его форм и сочленений. «Ты заставишь своего ученика, — поучает он воображаемого собеседника, — срисовывать эти великолепные тазовые кости, которые имеют форму бассейна и так удивительно смыкаются с костью лядвии. Когда ты нарисуешь и хорошокрепишь эти кости в твоей памяти, ты начнешь рисовать ту, которая помещается между двух бедер; она прекрасна и называется *sacrum*... Затем ты будешь изучать изумительный спинной хребет, который называют позвоночным столбом. Он опирается на крестец и составлен из двадцати четырех костей, называемых позвонками... Тебе доставит удовольствие рисовать эти кости, ибо они великолепны. Череп должен быть нарисован во всевозможных положениях для того,

чтобы навсегда закрепить его в памяти. Потому что, будь уверен, что художник, который не держит в памяти четко закрепленными всех черепных костей, никогда не сможет нарисовать мало-мальски грациозную голову... Я хочу также, чтобы ты удержал в голове все размеры человеческого костяка для того, чтобы затем более уверенно одевать его плотью, нервами и мускулами, божественная природа которых служит соединением и связью этой несравненной машины». Говоря о своем «Юпитере», он упоминает наряду с другими членами совершенство «прекрасных детородных частей».

Настоящим драматизмом насыщена сцена отливки «Персея» — главного произведения Челлини, от которого его долгие годы отвлекали заказы государей и вельмож и жизненные обстоятельства. Здесь вдохновение неотделимо от ремесла, творческое дерзание — от робости перед величием замысла. Челлини тщательно записывает все подробности своего титанического труда, словно маг, старающийся заклинаниями вызвать из огня чудесное видение. «Я начал с того, что раздобылся несколькими кучами сосновых бревен... и пока я их поджидал, я одевал моего Персея теми самыми глинами, которые я заготовил за несколько месяцев до того, чтобы они дошли как следует. И когда я сделал его глиняный козух... и отлично укрепил его и опоясал с великим тщанием железами, я начал на медленном огне извлекать оттуда воск, каковой выходил через множество душников, которые я сделал; потому что чем больше их сделать, тем лучше наполняются формы. И когда я кончил выводить воск, я сделал воронку вокруг моего Персея... из кирпичей, переплетая одни поверх другого и оставляя много промежутков, где бы огонь мог лучше дышать; затем я начал укладывать туда дрова, этак ровно, и жег их два дня и две ночи непрерывно; убрав таким образом оттуда весь воск и после того как сказанная форма отлично обожглась, я тотчас же начал копать яму, чтобы зарыть в нее мою форму, со всеми теми прекрасными приемами, какие это прекрасное искусство нам велит. Когда я кончил копать сказанную яму, тогда я взял мою форму и с помощью воротов и добрых веревок осторожно ее выпрямил; и, подвесив ее локтем выше уровня моего горна, отлично ее выпрямив, так что она свисала как раз над серединой своей ямы, я тихонько ее опустил вплоть до пода горна, и ее закрепили со всеми предосторожностями, какие только можно себе представить. И когда я исполнил этот прекрасный труд, я начал обкладывать ее той самой землей, которую я оттуда вынул; и по мере того как я там возвышал землю, я вставлял туда ее душники, каковые были трубочками из жженой глины, которые употребляются для водостоков и других подобных вещей. Когда я увидел, что я ее отлично укрепил и что этот способ обкладывать ее, вставляя эти трубы точно в свои места, и что эти мои работники хорошо поняли мой способ, каковой был весьма отличен от всех других мастеров этого дела; уверившись, что я могу на них положиться, я обратился к моему горну, каковой я велел наполнить множеством медных болванок и других бронзовых кусков; и, расположив их друг на дружку тем способом, как нам указывает искусство, то есть приподнятыми, давая дорогу пламени огня, чтобы сказанный металл быстрее получил свой жар и с ним расплавился и превратился в жидкость, я смело сказал, чтобы запалили сказанный горн. И когда были положены эти сосновые дрова, каковые, благодаря этой жирности смолы, какую дает сосна, и благодаря тому, что мой горн был так хорошо сделан, он работал так хорошо, что я был вынужден подсоблять то с одной стороны, то с другой, с таким трудом, что он был для меня невыносим; и все-таки я силен». Работа вызывает у него лихорадку, и он ложится в постель, уже не чая встать живым. В это время ученики докладывают ему, что в его отсутствие работа ими испорчена — металл сгустился. Услышав это, Челлини испустил крик «такой безмерный, что его было бы слышно на огненном небе». Он бежит «с недоброй душой» в мастерскую и видит там ошеломленных и растерянных подмастерьев. С помощью дубовых поленьев удастся справиться с этой бедой. Он приступает к наполнению формы, но тут не выдерживает горн: он лопается, и бронза начинает вытекать через трещину. Челлини велит кидать в горн все оловянные блюда, чашки, тарелки, которые можно найти в доме, — их оказалось около двухсот, — и добивается-таки наполнения формы. Нервное потрясение побеждает болезнь — он вновь здоров и тут же закатывает пир. «И так вся моя бедная

семеюшка (то есть ученики), отойдя от такого страха и от таких непомерных трудов, разом отправились закупать, взамен этих оловянных блюд и чашек, всякую глиняную посуду, и весмы весело пообедали, и я не помню за всю свою жизнь, чтобы я когда-либо обедал с большим весельем и с лучшим аппетитом».

Так, на манер доброй сказки, заканчивается книга Бенвенуто Челлини о себе самом. (Тридцать последних страниц, заполненных мелкими обидами и придворными дразгами, не в счет.) Остальное — тюремное заключение по обвинению в содомии, принятие монашества и разрешение от обета через два года, женитьба в шестидесятилетнем возрасте — случилось уже с другим человеком, усталым и разочарованным и, видимо, безразличным к самому себе: с человеком, больше не верящим в свой нимб.

## ПОДЬЯЧИЙ ВАСИЛИЙ КУРБАТОВ

### I

Было знойное, душное лето 1680 года.

В Москве что ни день то там, то здесь начинались большие пожары, истреблявшие разом по несколько десятков дворов, церкви, монастыри... Кареты, телеги, всадники, проезжавшие по улицам, вздымали вместе с клубами пыли пепел, густым слоем лежавший на мостовых, — его легкие хлопья кружили в воздухе, точно серый снег... Царь Федор Алексеевич приказал, чтобы в городе не зажигали огня в черных избах.

В один из таких пожаров сгорела и изба подьячего посольского приказа Василия Курбатова, жившего в Китай-городе возле Вшивого рынка, неподалеку от посольского подворья. Курбатов и в другой раз не слишком бы огорчился этому — дело было обычное: скудное добришко свое он, как и большинство москвичей, хранил в яме, где ему был не страшен огонь, а возвести новую избу было делом одного дня — цены на строевой лес в Москве были баснословно низкие; теперь же он и вовсе не придавал никакого значения приключившейся с ним беде, так как целыми днями пропадал в приказе, готовясь к отъезду в составе посольства князя Петра Ивановича Потемкина ко дворам испанского и французского королей.

Курбатов был немолод, сам себе считал тридцать пять годов, а на деле могло выйти и больше. (Спросить было не у кого — он рано лишился родителей и был малолеткой привезен приходским священником из родной деревеньки под Ярославлем в Москву и отдан на обучение в Заиконоспасский монастырь.) Его жена и маленькая дочь погибли во время морового поветрия, случившегося лет семь назад; с тех пор он жил вдовцом, иногда на месяц-другой сходясь с какой-нибудь из непотребных девок, что с бирюзовым колечком во рту приманивают на улицах мужиков на блуд. В посольство князя Потемкина его нарядили толмачом. Курбатов изрядно знал латынь (учился в латинской школе, открытой в Заиконоспасском монастыре Симеоном Полоцким) и порядком немецкий, поскольку по роду службы имел знакомцев в Кукуе <sup>11</sup>.

Предстоящее путешествие занимало все его мысли. Уезжать из Москвы ему было не жаль, хотя и немного боязно. В своем воображении он уже жил в тех далеких, притягательно-страшных городах, о которых его кукуйские знакомые рассказывали столько удивительного. Курбатову страстно хотелось увидеть и ученого амстердамского слона, который играл знаменем, трубил по-турски и палил из мушкета, и святой камень в городе Венеции, из которого Моисей воду источил, и хранящееся в тамошних церквях млеко Пресвятой Богородицы в склянице, и дивную зрительную трубу, в которую все звезды

---

<sup>11</sup> Кукуй, или Немецкая слобода, — место поселения иноземцев в Москве, на правом берегу р. Яузы (ныне район Бауманских улиц)

перечесать можно, и кельнский костел, где опочивают волхвы персидские, и бесстыжих жен заморских, выставляющих напоказ — прелесть бесовская! — свои непокрытые власы и сосцы голы, и башню на реке Рене (Рейне. — С. Ц.), в которой, сказывают, короля мыши съели, и многое, многое другое. Хотелось ему побывать в замке Шильон, чтобы посмотреть на место заточения Бонивара<sup>12</sup>, о котором со скорбным восхищением так часто рассказывал один швейцарский рейтар из Кукуя. Эта история почему-то особенно волновала Курбатова, с удивлением узнавшего, что и у немецких еретиков есть свои почитаемые мученики. Рейтар в своем рассказе упомянул о впадине, вытоптанной ногами несчастного узника, принужденного годами ходить на цепи по одному месту. Эта впадина так и врезалась в память Курбатову — долго, долго стояла она у него перед глазами. Одно время он даже задумал писать вирши: «Злое заточение, или Плач Бонивара, на семь лет в замок Шильон заключенного». Начинались они так:

Зри, человеце: в узы заключенный, владу в темнице удел свой бранный, стар не по годам, ибо мои власы из черных стали седы в малые часы. Тленна юна красота, недолго блистает, в единый час темница ону истребляет. Смирись же, человеце, и во красном небе красота предвечная даруется тебе.

Дальше дело не сладилось, и «Плач» остался неоконченным; Курбатов думал завершить его, возвратясь в Москву.

Несмотря на свои скудные средства, он постарался обеспечить свое путешествие всеми возможными удобствами. Собрав вещи и прикупив к ним кое-что необходимое, он уложил все это в сундуки и ящики и отвез на посольское подворье.

В последний перед отъездом день он, бесцельно бродя по городу, забрел в книжную лавку, находившуюся рядом с типографией. Книг на полках почти не было: хозяин, опасаясь пожара, перенес их в каменное здание типографии, где хранилась московская библиотека. Курбатов рассеянно поводил рукой по корешкам оставшихся книг — это были все больше житейники да патерики; вдруг его взгляд упал на великолепную тетрадь в золоченом пергаментном переплете, обшитую зеленым бархатом. Он взял ее, полистал гладкие листы, радующие глаз свежей белизной плотной бумаги, и почувствовал, что уже не в силах выпустить ее из рук. Ему сразу представилось, как он будет заносить в нее дорожные впечатления и новые, необыкновенные мысли, которые — он в этом не сомневался — непременно появятся у него, как только он приобретет эту тетрадь... А потом, возвратясь из путешествия, он сможет на основе этих заметок написать книгу об увиденном в Неметчине и поднести ее Симеону Полоцкому или князю Василью Васильевичу Голицыну, мужам зело прилежным чтению и писанию. А там, глядишь, пожалуют в дьяки...

Он спросил цену и, услышав ответ, изумленно ахнул. Но уйти без тетради уже представлялось ему невозможным. Курбатов попробовал торговаться, два раза картинно уходил из лавки и вновь возвращался — хозяин все стоял на своем. Наконец подъячий, сердито хмурясь, отсчитал деньги. Получив тетрадь, он отправился на посольское подворье и бережно спрятал ее в сундук с наиболее ценными вещами.

До отъезда он еще навестил знакомых и товарищей, простился, выпил с каждым по чарке-другой вина, сделал распоряжения об имуществе, которое оставлял в Москве. Новую избу решил поставить по возвращении.

Седьмого июня посольство — князь Петр Иванович Потемкин, дьяк Семен Румянцев, семеро дворян, трое секретарей и священник — двинулось в путь. Повозки с прислугой были высланы вперед, к Яузе, — там намеревались устроить табор для ночлега. Посольство верхами выехало через Неглинные ворота, крытые листовой позолоченной медью, жарко сиявшей на солнце; из особой пристройки над воротами, через окна с густой решеткою, царь с царицей и несколько бояр наблюдали за выездом.

---

<sup>12</sup> Бонивар Франсуа (1493 — 1570) — женеvский гуманист, участник борьбы горожан Женеvы против герцога Савойского. В 1530 — 1536 гг. был заключен в подземелье Шильонского замка — этот эпизод его жизни воспет Байроном и Жуковским («Шильонский узник»)

Царские приставы и некоторые духовные чины проводили князя Потемкина версты две за городом и, простившись с ним, вернулись обратно.

Потянулись подмосковные поля, леса... Первое время Курбатов беспрестанно оглядывался на три кольца московских стен, на неистовое сверкание куполов и крыш соборов, церквей, башен, ворот, на деревянную громаду Земляной слободы, все теснее опоясывавшую город по мере того, как тот удалялся, терял очертания и цвета, собираясь в одну беспорядочную, сизо-бурую грудю построек. При мысли о том, что он покидает Москву на год, а может, и более, его сердце как-то тоскливо сжималось, и он чувствовал, что уже был бы рад отсрочить отъезд — на день или, лучше, на неделю...

Чтобы отогнать эти мысли, он дал зарок не оборачиваться и какое-то время ехал, преувеличенно внимательно смотря по сторонам. У села Пушкинского не выдержал — снова оглянулся. Над Москвой поднимался густой черный дым: разгорался новый пожар...

## II

Чем дальше на север — тем призрачней синели узорчатые верхушки необозримых лесов, прозрачнее становились ночи... Ровный тихий свет до утра не сходил с небосклона, незаметно становясь с зарею бледно-золотым, потом тускло-медным. Заснуть в этом жидком полусумраке, в котором столбом вился остервенелый гнус, было невозможно. Лица у людей распухли от укусов, лошади, заедаемые смертным поедом, отчаянно ржали ночи напролет.

За Вологдой зарядили дожди. Во влажной, спертой лесной духоте было нечем дышать, тела людей и животных покрывались испариной, кафтаны тяжелели от сырости.

Ближе к Архангельску начались сосновые боры, стало легче: вода быстро уходила в песчаную почву, и через час после дождя лес снова был сухой.

Наконец выбрались на простор, и в одно росистое, ясное утро Курбатов увидел нечто невообразимое: из-за диких лесистых холмов впереди круто поднималась, упираясь в небосклон, темная громадная пустыня" влажно-мглистая, сумрачная, одинокая в своей безмерности. У него от радости и ужаса перехватило дыхание, и он остановил коня, чтобы насытить глаза этой тяжелой синевою. Ему казалось невероятным, что там, за линией окоема, может быть еще что-то — какие-то земли, города — и что он скоро поплывет по этой необъятной глади, по этой ужасающей бездне на утлом, крошечном суденышке... Сама мысль о подобном путешествии показалась ему безумной, он внутренне содрогнулся, представив жуткий мрак этих холодных глубин.

— Ну, чего раззявился! — окликнул его кто-то сзади. — Пошел, пошел!

## III

В Архангельске все было деревянным: и высокие, теснящиеся друг к другу дома с крутыми крышами, небольшими окнами и полукруглыми воротами в нижних ярусах, и причал, где, несмотря на ранний час, уже не то разгружалось, не то загружалось несколько кораблей, и храмы с высокими шатровыми крышами, и торговые склады, и городская стена, которую опоясывали глубокий ров и поросший травой крепостной вал с вкопанными в него чугунными пушками... По раскисшим от дождей улицам медленно тянулись телеги, подводы; редкие прохожие — это были главным образом возвращавшиеся с ранней обедни посадские и равнодушные стрельцы, по двое, по трое бредущие по казенной надобности, — старались кое-как уклониться от комьев грязи и навоза, разлетавшихся из-под копыт несущихся куда-то во весь опор лошадей, которых их седоки с гиканьем то и дело подзадоривали плетью...

Разместились на дворе у воеводы. Немедленно послали за капитаном голландского корабля для переговоров о перевозке посольства в Амстердам. Потемкин торговался расчетливо, цепко, не забывая подливать голландцу пахучего золотисто-зеленого рейнского из своих запасов. Капитан хмелел, и Курбатову становилось все труднее разбирать слова,



произносимые заплетающимся языком, — все что-то о пеньке, лесе, убытках, которые он понесет, взяв на борт столько людей... Потемкин терпеливо слушал и вновь наполнял кубки... Наконец капитан смирился с убытками, и его, мертвецки пьяного, передали на руки матросам.

Вблизи корабль вовсе не казался той утлой скорлупкой, какой он представлялся Курбатову издалека. Напротив, теперь он поражал своей громадностью, тяжеловесностью, надежностью. Широкий нос, крутые борта и округленная корма высоко вздымались над водою, и уже совсем куда-то в поднебесье, в самые облака возносились стройные, круглые мачты с оранжево-бело-синими флагами <sup>13</sup>.

На палубе было чисто, блестела начищенная медь, пахло морем, дегтем и свежесрубленным лесом (команда недавно кое-где заменила подгнившую обшивку). Капитан в камзоле табачного цвета стоял у трапа, указывая, куда разместить пассажиров.

Матросы по свистку полезли на рей ставить паруса. Огромные полотнища несколько раз оглушительно хлопнули и вдруг округлились, наполнившись ветром. Чуть навалившись на левый борт, корабль заскользил по солнечной жемчужно-серой глади. Волны ударили в дубового позолоченного льва на носу, под бушпритом, и взлетели радужной пылью.

Курбатов стоял на палубе и долго глядел на удалявшийся, постепенно мутневший берег.

#### IV

Бесконечное побережье Финляндии и Норвегии показалось ему нестерпимо скучным. Всюду было одно и то же: заливы и бухты, голые или лесистые скалы, иногда — не более десятка невзрачных, изъеденных ветрами домиков, построенных на берегу, в уровень с морем, рыбацьи суда, сети, сохнувшие на колышках...

Раз в неделю корабль заходил в какую-нибудь бухту, чтобы пополнить запасы питьевой воды (о том, чтобы сделать разнообразнее матросский стол, не приходилось и думать: местные жители могли предложить только рыбу и овощи, выращенные на клочках возделанной земли). Грузные, неповоротливые рыбаки в кожаных шляпах, с бритыми губами и растущими на зобу бородами с любопытством подходили к голландцам, русским, но ни о чем не спрашивали, только молча таращились бесцветными рыбьими глазами... Курбатов сам или с помощью кого-нибудь из матросов пытался расспрашивать их. Из этих полумимических бесед он вынес убеждение, что люди тут рождались, жили и умирали, нисколько не подозревая о существовании других, более обширных стран, да, кажется, ничего и не хотели знать о них. Впрочем, их деловитость и степенность нравились ему, только было смешно, когда они называли скопление своих рыбацких хижин городом.

Дни Курбатов проводил на палубе, в бесцельном созерцании уже начинавшей надоедать морской пустыни, вечерами лежал в тесной каюте, при тусклом свете коптящей лампы. Листы купленной тетради оставались по-прежнему чистыми — новые, необыкновенные мысли все как-то не приходили в голову, а увиденное казалось незначительным и не представляющим никакого интереса. Ему хотелось начать записки с описания чего-нибудь выдающегося, небывалого, и он терпеливо ждал, когда корабль прибудет в Амстердам.

Недели через три скандинавский берег исчез из виду, теперь шжруг расстилалась одна бескрайняя морская раннина, на которой вдали все чаще белели паруса встречных кораблей. Капитан объявил, что до Амстердама осталось не больше трех суток пути.

#### V

---

<sup>13</sup> Цвета голландского флага были составлены из любимых цветов принца Вильгельма I Оранского, предводителя освободительного движения Нидерландов против испанского владычества. «Молчаливый принц» (так прозвали его за неразговорчивость) носил оранжевый плащ, белую шляпу и синий колет

Земля показалась на третий день после полудня.

Корабль проплыл между двух островов и вошел в залив, имея берег по правому борту. Курбатов вместе с другими русскими поднялся на корму, чтобы полюбоваться дивным зрелищем.

Зеленая равнина была покрыта прямоугольниками огородов, пастбищ, цветников, расчерчена сетью канав и каналов. Изобилие цветов поразило русских, хотя клумбы и оранжереи в московских дворах и боярских усадьбах давно были не в диковину. Остатки гиацинтов, левкоев, нарциссов уже отцветали на оголенных черных грядках, но тюльпаны бархатным ковром устилали землю — черно-лиловые, красно-рдяные, пестрые, золотистые... Повсюду виднелись мызы, хуторки, домики с острыми черепичными крышами, на которых гнездились аисты, кусты приземистых ив вдоль канав. В голубовато-фиолетовой дымке таяли очертания городских стен, башен, соборов и бесчисленных мельниц с лениво вращающимися крыльями. Иногда из-за крыши какой-нибудь мызы появлялся белый парус и тихо скользил по каналу, а казалось — между тюльпанами.

Ближе к вечеру свежий ветерок нагнал на волны легкую зыбь. Море становилось все оживленнее — корабли, корабли в уже розовеющем просторе. Из-за горизонта клубами вздымались багровые облака и, словно перегорев, подергивались по краям пеплом. Равнина вспыхивала огоньками, некоторые из них скользили вдоль каналов.

Амстердам порастил Курбатова великой каменной теснотой и многолюдством, в котором никто не обращал на другого ни малейшего внимания. Казалось, здесь никому нет дела до приезда московского посольства. Только одни мальчишки проводили процессию до дворца штатгальтера <sup>14</sup>.

Послам отвели лучшую гостиницу в городе. Здесь вечером следующего дня Курбатов сделал первую запись в своей тетради:

"Город Амстердам стоит при море в низких местах, во все улицы пропущены каналы, так велики, что можно корабль вводить; по сторонам каналов улицы не довольно широки — едва в две кареты в иных местах можно ехать. По обе стороны великие деревья при канале и между ними — фонари. По всем улицам фонари, и на всякую ночь повинен каждый против своего дома ту лампаду зажечь. На помянутых улицах — пле-зир, или гулянье великое.

Торговых людей и мастеровых ко всякому мастерству много без меры. Купечество здесь живет такое богатое, которое в Европе больше всех считается, так споделяются, как — нигде. Рыбы свежей безмерно много, а в рыбном ряду все торгует женский пол. Биржа сделана из камня белого и внутри вся нарезана алебастром — зело пречудно. Пол сделан, как на шахматной доске, и каждый купец стоит на своем квадрате. И так на всякий день здесь бывает много народу, что на всей той площади ходят с великою теснотою. И бывает там крик великий. Некоторые люди — которые из жидов, бедные — ходят между купцами и дают нюхать табак, кому сгоряча надобно, — и тем кормятся..."

Потом появились другие записи:

"Видел младенца женска пола, полутора года, мохната всего сплошь и толста гораздо, лицо поперек полторы четверти, — привезена была на ярмарку. Видел тут же голову сделанную деревянную человеческую — говорит! Заводят, как часы, а что будешь говорить, то и она голова говорит. Видел две лошади деревянные на колесе — садятся на них и скоро ездят куда угодно по улицам. Видел стекло, через которое можно растопить серебро и свинец, им же жгли дерево под водой, воды было пальца на четыре, — вода закипела и дерево сожгли.

---

<sup>14</sup> Штатгальтер — голландский главнокомандующий сухопутной армией, традиционно выбирался из членов дома Оранских. Штатгальтер Вильгельм III Оранский в 1674 г. фактически упразднил республику и захватил власть в стране, став верховным правителем Голландских Соединенных Штатов. В 1689 г. английский парламент передал ему права на британскую корону

Видел у доктора анатомию: вся внутренность разнята разнo — сердце человеческое, легкое, почки и как в почках родится камень. Жила, на которой легкое живет, подобна как тряпица старая. Жилы, которые в мозгу живут, — как нитки. Зело предивно..."

Десять дней жили послы в Амстердаме — отдыхали, осматривались. Принц Вильгельм сам возил их по городу, показывал достопримечательности. Вдоль улиц, по которым проезжали послы, выстраивались солдаты, салютовали при их приближении залпами из мушкетов. Потемкин воспринимал почести как должное и даже требовал, чтобы штатгальтер ехал позади него, иначе-де, переводил Курбатов, получается, что солдаты салютуют не послу великого государя, а самому принцу.

Курбатов обследовал город и в одиночку — так ему даже больше нравилось. Вечерами, когда князь отпускал его от себя, он выходил из гостиницы и отправлялся бродить по освещенным фонарями улицам. Постепенно он свыкся с обилием трех— и четырехэтажных каменных строений, научился разбирать дорогу по остроконечным шпикам ратуши и церквей. Утомившись, отыскивал глазами потешную вывеску ближайшей пивной, заходил, пробовал ром, джин, английский эль, иногда вступал в беседу с соседями по столику, вкусно посасывавшими длинные трубки... После таких одиноких прогулок тетрадь пополнялась многочисленными записями.

## VI

На третий день Курбатов познакомился с Эльзой Хооте.

В тот вечер он вышел из портовой пивной и не спеша зашагал вдоль какого-то узкого канала. Хмель, чистый блеск звезд и вольный ветер над огромным, смутно темнеющим заливом заставляли его острее и слаще чувствовать свое одиночество. Дойдя до каменного мостика, дугой перекинутого через канал, он увидел на той стороне, у садовой калитки, молодую статную женщину — она курила трубку и с каждой затяжкой вспыхивавший огонек отбрасывал на ее круглое лицо красноватый отблеск. Курбатова с первого взгляда потрясла меловая белизна ее открытых шеи и плеч, освещенных луной. Он невольно остановился и слегка поклонился ей.

Женщина ответила долгим спокойным взглядом, в котором, однако ж, Курбатову почудилась ласковая усмешка. Он смутился, не зная, как быть дальше — уйти или остаться, — сделал шаг и встал, уже внутренне дрожа.

— Два гульдена, — ровным грудным голосом произнесла она.

Он сразу перешел мостик и приблизился к ней. Она без всякого интереса осмотрела его, пыхнула трубкой и, плавно повернувшись, вошла в калитку. Он последовал за ней.

Пройдя цветник, они оказались у двери небольшого кирпичного двухэтажного дома с деревянным чердаком. Внутри, в полутемной комнате с узорным каменным полом, стоял стол, массивный буфет, слева в стене за решеткой зиял камин. Женщина засветила лампу, поставила на стол бутылку вина, ветчину, хлеб, фрукты. Сама она почти ничего не ела, только мелкими глотками отпивала из стакана и слушала Курбатова, выпуская изо рта и ноздрей длинные струйки сизого дыма. Потом, не выпуская трубки, пересела к нему на колени, обняла за шею, склонилась на плечо... Он начал целовать ее прохладные белые плечи, но она зажала ему губы рукой: «Посидим просто так, хорошо?»

Утром Курбатов попросил разрешения прийти снова и стал ходить к ней каждый вечер. Она все так же встречала его у калитки, вела в дом, кормила, некоторое время сидела рядом, прикинув к нему, затем шла наверх стелить постель... Эльза Хооте была очень немногословна. Курбатов узнал только, что она вдова торговца шерстью, семь лет назад поплатившегося жизнью за дружбу с великим пенсионарием Яном де Виттом <sup>15</sup>. Имущество

---

<sup>15</sup> В 1672 г. великий пенсионарий (глава республики) Ян де Витт и его брат Корнелиус были убиты сторонниками принца Вильгельма

ее мужа было конфисковано, его друзья, спасаясь от преследований штатгальтера, уехали во Францию. С тех пор она должна была сама заботиться о куске хлеба.

Курбатову, впрочем, нравилась ее неразговорчивость — так было даже легче: лежать рядом, чувствуя женское тепло, и думать о чем-нибудь, что не имело отношения ни к ней, ни к Голландии, порой — ни к нему самому. Эльза набивала свою трубку, курила, полужакрыв глаза, но никогда не засыпала первой.

Здесь, в спальне Эльзы, Курбатов впервые как следует принялся к табачному дыму: душноват, конечно, но ничего, духовитый. Дома, в Москве, ему не раз предлагали — и немецкие знакомые, и свои, посольские, — из тех, кто был тайно привержен табачному зелью, — покурить, пожевать, попить носом с бумажки, да он все отказывался, памятуя государев указ покойного царя Алексея Михайловича: табачников метать в тюрьму, бить по торгам кнутом нещадно, рвать им ноздри, клеймить лбы стемпелями, а дворы их, и лавки, и животы их, и товары все имать на государя. Теперь, при взгляде на Эльзу, в сладком полужабытье посасывавшую мундштук, прежние страхи забывались и тянуло отведать: что это, в самом деле, за дымная прелесть такая?

Раз он не выдержал, попросил ее набить для него трубку. Она не удивилась, молча умяла в чубук несколько щепотей табаку, раскурила и протянула ему. Он с удовольствием потянул носом душистый дымок, тонкой струйкой бегущий вверх, осторожно затаился — и зашелся громким, безудержным кашлем.

— Дас ист штаркер табак! <sup>16</sup> — одобрительно кивнула Эльза.

Она подвинулась к нему, взяла у него трубку и, подождав, когда он кончит сотрясаться, снова поднесла ее к его губам. Он с отвращением отпихнул ее руку.

— Не бойся, кашля больше не будет, — сказала она. — Держи трубку во рту и посасывай, как я.

Эльза откинулась на подушку и взяла в рот чубук.

Превозмогая себя, Курбатов последовал ее примеру. Через короткое время он с тревожным наслаждением почувствовал, как его тело стало легче, руки и ноги сделались словно не его, мысли исчезли... Сладкое наваждение!

В тот вечер они больше не разговаривали.

Между тем приближался день отъезда посольства в Испанию. Штатгальтер помог договориться с капитаном английского судна, отплывающего в Сан-Себастьян. В последний раз придя в домик на узком канале, Курбатов был деланно весел, болтлив, потом как-то сник, сделался задумчив... Эльза подарила ему трубку и кожаный кисет, туго набитый табаком.

Уже стоя в дверях, он сказал:

— Я приду к тебе, когда снова буду здесь на обратном пути.

— Приходи.

— Ты не уедешь отсюда?

— Вообще-то я хочу купить гостиницу где-нибудь рядом с Амстердамом — например, в Саардаме. Но вряд ли это случится скоро, я еще не накопила достаточно денег.

— Тогда до встречи?

— До встречи.

## VII

Два дня Курбатову было очень тоскливо.

С великой мукой кое-как прошатавшись по палубе до вечера, он ночью тайком вновь поднимался наверх из каюты, находил укромное местечко и доставал подаренную трубку. Курить не хотелось — хотелось просто подержать ее в руках, погладить изгибы, вдохнуть сладковатый запах нагара. Порой все-таки не выдерживал: торопливо, по-воровски,

---

<sup>16</sup> Крепкий табак! (от нем. Das ist starker Tabak!)

закуривал, вспоминал домик, спальню... Все же был начеку — заслышав голоса или скрип палубных досок, быстро прятал трубку за пазуху, придавив пальцем тлеющий табак.

Ла-Манш несколько рассеял его тоску. Потянулись острова и островки, уютные прибрежные городишки, совсем не скучные в своем однообразии: готическая церковь, старые улицы, тесные, узкие, причудливо-кривые, пересекаемые восходящими и нисходящими лестницами, дома набегают друг на друга; внизу — маленький порт, где теснятся суда, рей шхун угрожают окнам домов на набережной... Сам залив — не то море, не то река, или скорее — морская улица: всюду рыболовные барки, шлюпки, двух— и трехмачтовые корабли...

В первых числах августа показался воздушно-сиреневый берег Испании.

В Сан-Себастьяне пересели на лошадей и мулов и двинулись дальше, отослав в Мадрид гонца с вестью о прибытии государева посольства. По обе стороны древней каменистой дороги громоздились одна на другую ужасные в своей пустынности горы; некоторые из них были совсем лысые, как спина старого осла, другие — покрыты низкорослыми каштанами, дубами, кленами, буками. В мертвой тишине ночей, казавшихся особенно мрачными от обилия звезд, слышался один глухой ровный шум горного потока.

Города тоже были древними и пустынными: тенистая улица вела между каменными остовами домов, часто зиявшими черными пустотами на месте окон; за домами виднелась пыльная зелень одичавших садов; потом появлялась залитая солнцем площадь, длинный водоем под навесом, церковь с голубой статуей Богоматери над порталом, обитаемые-дома, никуда не спешащие люди, а впереди, уже на выезде, постоялый двор с неизменными связками трески, сохнувшей на пыльной доске... В Бургосе Курбатов с любопытством осмотрел готический собор: на его стенах нельзя было найти места в ладонь, где бы ни прошелся резец мастера.

За Бургосом потянулись сухие серые равнины, выжженные солнцем. На улицах бедных селений, у ворот жалких лачуг с соломенными крышами валялись в пыли черные свиньи, круглые и гладкие, как шары...

В эти дни Курбатов записал в тетради: «Испания — страна бедная, вроде нашего Костромского уезда».

В окрестностях Мадрида посольство разместилось на постоялом дворе, довольно приличном на вид. Однако на ужин подали только яичницу, от которой пришлось отказаться — шел Успенский пост. С великим трудом хозяин к ночи раздобыл форель и накормил тех, кто еще не лег спать, чтобы заглушить голод.

Утром, когда хозяин принес Потемкину счет, князь побагровел и велел Курбатову ответить, что не заплатит и половины требуемой суммы. Начались пререкания; хозяин совсем не понимал курбатовскую латынь, пришлось послать за местным приходским священником. В это время в комнату явился посольский иерей отец Богдан с жалобой, что ночью у него украли несколько дорогих окладов с образов, наградной крест и даже срезали серебряные пуговицы с епитрахили. Услышав о таком бесчестии, Потемкин наотрез отказался платить, пока хозяин не отыщет воров. Тот ушел, клянясь, что разыщет с проклятых московитов все, до последнего песа.

И действительно, когда князь со свитой вышел из комнаты, собираясь спуститься вниз, он обнаружил в дверях гостиницы с десяток человек прислуги, вооруженной мушкетами, вилами и дрекольем. Хозяин, стоявший впереди всех с кочергой в руке и пистолетом за поясом, всем своим видом показывал, что не отступится от своих слов.

Пятеро дворян, выхватив из ножен сабли, сгрудились вокруг Потемкина, двое кинулись в свои комнаты за пистолетами. Князь грозил, что нынче же потребует у короля Карла вздернуть хозяина со всеми его холопьями, как воров и разбойников, но приходской священник уже исчез, а хозяин, не слушая Курбатова, только потрясал в ответ листком, на котором был записан грабительский счет.

Вскоре положение еще более осложнилось. Человек тридцать княжеских дворовых, запрягавших лошадей и укладывавших вещи на заднем дворе, собрались на шум и обложили

испанцев с тыла. Хозяин с прислугой были вынуждены закрыть и забаррикадировать дверь. В то же время за воротами гостиницы стала скапливаться толпа, все более заинтересованно наблюдавшая за происходящим. Для начала побоища не хватало только сигнала: выстрела или чьего-нибудь истеричного крика.

В этот напряженный момент толпа за воротами раздалась надвое, и на гостиничный двор въехал всадник в расшитом золотом камзоле, сопровождаемый несколькими сеньорами, в столь же роскошном облачении, и отрядом солдат. Спешившись у двери, испанец застучал в нее кулаком, сопровождая удары властными выкриками. Услышав его голос, хозяин сразу присмирел и приказал слугам разбаррикадировать дверь.

Приезд маркиза де Лос Балбазеса, посланного королем для встречи московитского посольства, быстро уладил споры. В ответ на жалобы Потемкина о бесчинствах и великом поругании, творимых над послами великого государя рядом со столицей его королевского величества, маркиз объявил, что начиная с этой минуты его католическое величество король Карлос II принимает все расходы и содержание князя и его людей на счет королевской казны; хозяин гостиницы получит от короля требуемую им с московитов сумму, но в свою очередь должен будет возместить стоимость украденной у священника церковной утвари, в противном случае имущество его будет конфисковано, сам он будет заключен в тюрьму, а выплату вместо него произведет королевская казна.

Этим маркиз сразу приобрел величайшее благоволение со стороны Потемкина, который распорядился одарить его несколькими связками соболей.

## VIII

Прием у Карлоса II произвел на Курбатова тягостное впечатление. Сумрачные гранды в черных камзолах, вышитых черным стеклярусом, стоявшие у подножия трона и поблескивавшие круглыми стеклышками обязательных очков, их жены в черных платьях и мантильях напоминали духовенство в похоронном облачении. Сам король, неподвижный, безжизненный, с мертвенным взглядом сонных глаз из-под полуприкрытых век казался совсем мертвецом рядом с молодой королевой (Марией-Луизой, французской принцессой) и чем-то походил на государя Федора Алексеевича: тот тоже был бледен, слаб, ходил, опираясь на палку, и не мог без посторонней помощи даже снять с головы царский венец.

После аудиенции послам показали дворец. Курбатов поразились обилию голых эллинских дьяволов и дьяволиц, зачастую соседствовавших с распятием на стене. В пышных формах некоторых женских истуканов он узнавал стати московских девок, сотни раз виденные в банях; только те не прикрывали свой срам с такой развратной томностью.

В одной из зал его внимание привлекло большое темное полотно в тяжелой золоченой раме, висевшее на стене. Он подошел ближе и всмотрелся. Посередине холста восседал страшный старик с львиным лицом и развевающейся бородой — казалось, он изрыгает проклятия. Святой Дух со зрачками коршуна низвергался на него, точно хотел выклевать глаза. Направо от старика исступленный монах заносил, как стилет, свое перо, готовясь писать. Черный овал капюшона мрачно обрамлял его бледное лицо, жестокое неистовство кривило его рот и узило глубоко запавшие глаза. Налево, позади епископа, замершего в высокомерной позе, подымались головы монахов, их глаза угрожающе пламенели, словно угли костра. Херувимы, витавшие в небе, корчили гримасы капризных детей.

Курбатов с трудом отвел взгляд от чудовищной картины. Он не мог отделаться от мысли, что видит бесов, надевших священные облачения, чтобы кощунственно глумиться над обрядами Церкви. Заметив под рамой медную табличку с выбитой на ней латинской надписью, он нагнулся и прочитал: «Святой Василий, диктующий свое учение». С возросшим недоумением он еще раз взглянул на полотно: так вот как здесь пишут его святого! И Курбатов, вспомнив светлые, благостные лики московских икон, поспешно зашагал вслед удалявшемуся посольству.

## IX

В Мадриде пробыли два месяца, обменялись грамотами о дружбе и торговле и в начале октября тронулись дальше — в Париж.

Ехали по уже знакомой дороге. Ближе к Пиренеям по предложению проводника свернули в горы, чтобы переночевать в Лойоле — на родине основателя иезуитского ордена. Деревня находилась неподалеку от довольно широкого ручья, в очень тесной долине, которую опоясывавшие ее горы летом превращали в пекло, а зимой — в ледник. Четверо чрезвычайно вежливых иезуитов радушно встретили гостей.

Они охотно показали жилище «святого Игнатия» — двухэтажный дом с чердаком, похожий в лучшем случае на скромную обитель священника. В нем главными достопримечательностями были комната, где раненному на войне Игнатию было ниспослано свыше знаменитое откровение об ордене, и конюшня, куда из смирения и почитания вифлеемских ясель удалась его мать, чтобы произвести его на свет, — это низкое, придавленное помещение теперь сияло золотом убранства. И в комнате, и в конюшне было устроено по великолепному алтарю, на которых покоились Святые Дары.

В доме иезуитов могло поместиться с десяток человек, остальных развели по крестьянским домам. Курбатов остался при князе вместе с дворянами и отцом Богданом.

Стол у иезуитов был превосходный, в конце обеда подали уже знакомое русским лакомство — чашки с дымящимся жирно-фиолетовым шоколадом.

Осторожно отпивая обжигающий губы напиток, иезуиты поинтересовались: отчего в Московии оказывают предпочтение протестантам перед католиками — при приеме на военную службу и в торговых делах?

— Скажи им, — обратился Потемкин к Курбатову, — что негоже нам, православным, одних еретиков перед другими выгораживать. Люторы не лучше латинян-папистов: Христова смирения не имеют, но сатанинскую гордость, и вместо поста многоядение и пьянство любят, крестного же знамения истинного на лице изобразить не хотят и сложению перст блядословно противятся. Также поклониться Господу на коленях не хотят и ложь сшивают самосмышлением, разум Божественного Писания лукаво скрывают и своевольно блядут, прельщая безумных людей. А что с ними больше дело имеем, так это оттого, что они нам самозванцев на престол не сажали и в наши святыя церкви на лошадях не въезжали.

Курбатов дипломатично перевел все, что поддавалось переводу.

— Все то творили миряне, поляки, — возразил старший из иезуитов. — А между нашими церквями нет вражды, существуют только внешние, обрядовые различия. Церковное учение у нас по сути одно. Вот, возьмем, например, вопрос, чем оправдывается человек: одною верою или верою и делами удовлетворения? Ведь вы, конечно, гнушаетесь суемудрия лютеран, уверяющих, что дела не нужны и что можно спастись одною верою?

— Гнушаемся, — кивнул Потемкин.

— Значит, при вере нужны еще и дела?

— Нужны.

— Итак, если без дел спастись нельзя, то дела имеют оправдательную силу.

— Имеют.

— А кто покался и получил отпущение за свою веру, но умер, не успев совершить дел удовлетворения, как быть тому? На таких у нас есть чистилище, а у вас?

Потемкин задумался, теребя бороду, и, помолчав, сказал:

— А ну, отец Богдан, отвечай еретiku.

— У нас, — произнес священник, помявшись, — у нас, пожалуй, есть в этом роде: мытарства.

— Хорошо, — продолжал иезуит, улыбаясь, — значит, помещение есть, разница только в названии. Но одного помещения мало. Так как в чистилище дел удовлетворения уже не творят, а между тем попавшим туда нужны именно такие дела, то мы ссужаем их из церковного казнохранилища добрых дел и подвигов, оставленных нам как бы про запас

святыми. А вы?

Отец Богдан, чувствуя близость какого-то подвоха, пробормотал:

— У нас есть на это заслуги сверх требуемых.

— Так с чего же, — радостно подхватил иезуит, — отвергаете вы индульгенции и их распродажу? Ведь это только акт передачи. Мы пускаем свой капитал в оборот, а вы держите его под спудом. Хорошо ли это?

Отец Богдан хмуро молчал. Потемкин с неудовольствием потер кулаком нос.

— Да, отче, сел ты в лужу.

— Индульгенции — папская ересь, — отозвался тот. — Переводи, Курбатов: вся ложь и непотребство в латинстве — от папства.

Курбатов убежденно перевел слова священника.

— Как? — притворно изумился иезуит. — Неужели вы, заодно с проклятыми лютеранами, думаете, что одинокая личность с Библией в руке, но пребывающая вне Церкви, может обрести истину и путь ко спасению?

— Мы веруем, что нет спасения вне Церкви, которая одна свята и непогрешима, — отозвался отец Богдан.

— Прекрасно! Но ведь вы знаете, что суемудрие и ложь часто вторгались в Церковь и соблазняли верующих личиною церковности.

— Знаем.

— Так, значит, необходим осязательный, внешний признак, по которому всякий мог бы безошибочно отличить непогрешимую Церковь? У нас он есть — это папа. А у вас?

— У нас Вселенский собор.

— Да и мы тоже перед ним преклоняемся!.. Но объясните мне, чем отличается собор Вселенский от не вселенского или поместного? Почему вы не признаете, например, Флорентийский собор<sup>17</sup> за Вселенский? Только не говорите мне, что вы называете Вселенским тот собор, в котором вся Церковь опознала свою веру, свой голос, то есть вдохновение Духа, — ведь задача-то и состоит в том, как узнать голос истинной Церкви. Мы в этом случае доверяем святости папы, вы — учености то одного, то другого монаха. Отец Богдан сидел насупившись, Потемкин и дворяне растерянно переглядывались.

— Вот видите, — великодушно закончил иезуит, — и вы, и мы стоим на одном пути. В вас много доброго, но мы у цели, а вы не дошли до нее. И мы, и вы признаем согласно, что нужен внешний признак истины, иначе знамение церковности, но вы его ищете и не находите, а у нас он есть — папа: вот разница. Вы тоже в сущности паписты, только непоследовательные.

— Вон как! — возмутился Потемкин. — Что же ты молчишь, отец Богдан, как в рот воды набрал? Нас здесь уже в латинство перекрестили!..

— Так ведь сам видишь, князь Петр Иванович: они своей еллинской диалектикой хоть из черта святого сделают... Что ж сказать? Умишком я слаб, не учен, но все же от Христа разум имею, и потому знаю, что русское православие — одно истинно. Была, конечно, и в нашей святой Церкви порча, но не от неправильности чинов, а единственно от нерадения. Знаю также, что наши отцы православной верою спаслись, и нам не только в их вере, но ни в малейшей частице канонов, ни у какого слова, ни у какой речи святых отцов ни убавить, ни прибавить ни единого слова не должно, ибо православным следует умирать за единую букву «аз». Вот это и скажи им, Курбатов.

---

<sup>17</sup> Флорентийский собор — собор Римско-католической церкви (1438 — 1445), созванный папой Евгением IV с целью преодоления разногласий и заключения унии между Римом и Константинополем. На нем была заключена Флорентийская уния (1439) на условиях признания константинопольским патриархом главенства папы и принятия ряда католических догматов с сохранением обрядов и богослужения Восточной церкви. Акты собора не были подписаны ревнителями православия, во главе которых стоял Марк Эфесский. В дальнейшем уния была отвергнута и Византией, и Московским государством



## Х

Оставив Лойолу, посольство направилось к реке Би-дассоа, отделявшей Испанию от Франции.

Над Пиренеями нависли плотные, серые облака. Временами накрапывал дождь, и тогда тропинка, петлявшая над бездной, делалась скользкой; приходилось спешиваться и вести лошадей и мулов под уздцы. На одном из перевалов поскользнувшийся мул от злобы едва не укусил Курбатова за ногу — он успел отскочить и при этом сам чуть было не сорвался вниз. Успокоив животное, Курбатов первым делом с облегчением ощупал сквозь привязанный к седлу мешок тетрадь и трубку: в этот миг он остро, как никогда, почувствовал, что это самые дорогие ему вещи.

На берегу Бидассоа возле Сен-Жан-де-Люза французский таможенный чиновник придиричиво осмотрел их поклажу. Потом он долго что-то прикидывал в уме и наконец потребовал тридцать луидоров за провоз дорогих окладов и прочей церковной утвари.

Потемкин возмутился, но спорить на этот раз не стал. Достав туго набитый золотом кошель (в нем было не меньше ста испанских дублонов), он с презрением бросил его под ноги чиновнику.

— Даю эти серебреники тебе, еретику, псу несытому, лающему на святые образа, ибо не познал ни Господа, ни Пречистую Матерь Его.

Тот, не слушая, кинулся подбирать рассыпавшиеся монеты.

За Пиренеями небо расчистилось, воздух потеплел. В конце октября добрались до Бордо и остановились в двух милях от города, отписав о своем прибытии гас-конскому губернатору маркизу де Сен-Люку. На другой день маркиз прислал послам семь карет, пять телег, десять верховых лошадей и письмо, в котором оповещал, что его христианнейшее величество король Людовик XIV принимает на королевский счет все расходы князя, как это делают и московские государи с французскими послами. Потемкин сел в карету с правой стороны, дьяк Семен Румянцев, не желавший в чем-либо уступать, устроился слева. Курбатов и французский офицер сели напротив.

В Бордо городские старшины поднесли князю подарки — вина, фрукты, варенья, — потом говорили речи. Когда кто-нибудь из них произносил «царь Московский», Потемкин сразу прерывал оратора, требуя сказать «царское величество», и Курбатов переводил по-латыни: «*Caesarea Majestas*».

Сен-Люк в ратушу не пришел, так как Потемкин ранее уже сказал его офицеру, от лица маркиза спросившему, отдаст ли князь ему визит, — что государеву послу неприлично видаться с кем-нибудь из вельмож прежде короля. Чтобы смягчить ответ, Сен-Люку были посланы меха, которые тот, однако, не принял.

Курбатов с любопытством приглядывался к французским порядкам. "Никто из вельмож ни малейшей причины, ни способа не имеет даже последнему в том королевстве учинить какого озлобления или нанести обиду. Король, хотя самодержавный государь, кроме общих податей никаких насилований делать не может, особенно ни с кого взять ничего, разве по самой вине, по истине, рассужденной от парламента <sup>18</sup>. Французы живут весело и ни в чем друг друга не зазирают, и ни от кого ни в чем никакого страха никто не имеет, всякий делает по своей воле кто что хочет, но живут во всяком покое, без обиды и без тягостных податей. Дети их никакой косности, ни ожесточения от своих родите-лей, ни от учителей не имеют, но в прямой воле и смелости воспитываются и без всякой трудности обучаются наукам..."

Здесь, в Бордо, члены посольства последний раз ели все вместе. Уже при следующей остановке дьяк и дворяне потребовали от французов накрывать для них отдельный стол, поскольку-де они не ниже государева посла, так как тоже назначены его царским величеством.

---

<sup>18</sup> Имеется в виду местный парламент

Кормили послов хорошо. Потемкин был чрезвычайно разборчив в пище и просил в скоромные дни не подавать ему зайцев и кроликов, так как они слишком обыкновенны, а также голубей, которых православные не едят; телят — можно, но лишь годовалых. Особенно любил молодых гусей, уток, поросят. Поили тоже на славу. «Вино хорошее: церковное свежее, белое французское, мальвазия, аликант, — записал Курбатов в тетрадь, но с грустью добавил: — Только водок нет никаких, одна яковитка: хуже тройного вина, да и пить дают всего шуруп или две стклянки...»

## XI

В местечке Ла-Рен под Парижем Потемкина ожидал маршал Бельфон, присланный королем. Для встречи московитского посольства было подготовлено восемь карет (две королевские, две самого маршала и четыре — взятые им у знакомых). Рота королевских мушкетеров составила почетный эскорт.

Курбатов разместился вместе с Потемкиным и Бель-фоном на мягких, обитых штофом подушках одной из королевских карет. Как только закрыли дверцы и карета тронулась, маршал достал из-за широкого обшлага надушенный платок и поднес его к носу. Курбатов догадался, что причиной тому была любимая чесночно-луковая подлива князя.

Дорогой Потемкин из окна кареты раздавал милостыню нищим, каждый раз приподымая свою медвежью шапку. Он был раздосадован, что не видно встречающей толпы, и жаловался на это маршалу. Курбатов перевел ответ Бельфона: в этом-де никакой обиды и бесчестия послу великого государя нет, при въездах послов других государей то же бывает.

В Париже князю и его свите отвели дом чрезвычайных посланников. Маршал проводил Потемкина от кареты до порога и остановился, словно чего-то ожидая. Князь уже поднимался по лестнице.

— Разве его светлость не проводит меня до кареты? — с удивлением осведомился Бельфон у Курбатова.

— Послу великого государя это неуместно, — ответил Курбатов.

Маршал вспыхнул и в гневе уехал.

Вечером, однако, он вернулся, чтобы проводить Потемкина в Сен-Жермен, где его ожидал король. Во дворец предполагалось идти пешком, но Потемкин счел это оскорбительным, и маршалу пришлось послать за двумя каретами.

У подъезда дворца послов встретили обер-церемониймейстер и шестьсот гвардейцев. Еще сто швейцарцев выстроились шпалерами по ступенькам лестницы; с балкона звучали трубы и гремели литавры. Капитан гвардии проводил послов в королевский зал, где напротив дверей, в отдалении, был поставлен трон на четырех ступеньках. Когда ввели послов, Людовик XIV уже сидел на троне со шляпой на голове; справа от него стоял дофин, слева — брат короля, герцог Орлеанский, — оба с непокрытыми головами. Королева, присутствовавшая здесь же инкогнито, затерялась в толпе дам.

Лишь только Потемкин переступил порог зала, Людовик встал, снял шляпу, затем тотчас надел ее и сел. Потемкин вручил королю свои верительные грамоты, царские подарки и произнес речь, которую Курбатов после зачитал с листа по-латыни. (Речи московских послов писались заранее в посольском приказе, прибавлять что-либо от себя послам строжайше воспрещалось.) Людовик, слушая, снимал шляпу всякий раз, когда Курбатов произносил титул и имя царя.

По окончании аудиенции все перешли в другой зал, где в честь гостей были даны небольшой концерт и театральное представление.

Музыканты уже сидели на своих местах за нотами. Рядом с ними стоял певец, неприятно пораженный какой-то рыхлой, изнеженной полнотой и набеленным мукой лицом, на котором выделялись только густые черные брови, по-женски томные глаза и жирные, сочно-алые губы. Курбатов решил про себя, что это, видимо, шут, который будет их развлекать. Он совсем утвердился в этом мнении, когда толстяк сделал напряженное лицо и

заголосил совсем бабьим визгом, уморительно вытягивая губы и округляя глаза. Курбатов хотел засмеяться, но осекся, заметив, что французы, напротив, придали своим лицам благоговейное выражение. Курбатов недоуменно притих, вслушиваясь в чудной переливчатый визг, и вскоре почувствовал, как внутри у него что-то раскрывается навстречу этим звукам, отвечает им... После концерта он спросил у сидевшего рядом вельможи, отчего толстяк поет таким тонким голосом, и, услышав насмешливый ответ, содрогнулся, в то же время почувствовав, что странное, непривычное удовольствие, испытанное им от пения, ничуть не уменьшилось от этого неприятного открытия.

Из последовавшего затем театрального действия Курбатов ничего не понял, но, возвратясь из дворца, добросовестно записал увиденное:

"Король приказал играть: объявились палаты, и те палаты то есть, то вниз уйдут, — и того шесть перемен. Да в тех же палатах объявилось море, колеблемое волнами, а в море рыбы, а на рыбах люди ездят; а в верху палаты небо, а на облаках сидят люди. И почали облака с людьми вниз опускаться и, подхватя с земли человека под руки, опять вверх же пошли. А те люди, что сидели на рыбах, туда же поднялись вверх, за теми на небо. Да спускался с неба же на облаке сел человек в карете, да против его в другой карете прекрасная девица, а аргамаки под каретами как бы живы, ногами подергивают. А король сказал, что одно солнце, а другое месяц.

А в иной перемене в палате, объявилось поле, полно костей человеческих, и враны прилетели и почали клевать кости; да море же объявилось в палате, а на море корабли небольшие и люди в них плавают.

А в иной перемене появилось человек с пятьдесят в латах, и почали саблями и шпагами рубиться, и из пищалей стрелять, и человека с три как будто и убили. И многие предивные молодцы и девицы выходят из занавеса в золоте и танцуют, и многие диковинки делали..."

Вечер в Сен-Жермене закончился роскошным пиршеством, данным маршалом Бельфоном от имени короля. Потемкин поминутно вставал, снимал шапку и пил здоровье его царского величества и французского короля. Маршал каждый раз был вынужден поднимать ответный тост за здоровье его христианнейшего величества и московского царя; под конец он так ослабел, что уже не мог уклоняться от медвежьих объятий и троекратных поцелуев князя, обдававшего его нестерпимой луковой вонью.

Простились они неразлучными друзьями, поддерживаемые под руки слугами. Бельфон напоследок поинтересовался, как понравились его светлости французские дамы. Курбатов, у которого также заплетался язык, все-таки сумел перевести ответ Потемкина, что он женат и ему неприлично засматриваться на девиц столько, чтобы выразить о них мнение.

## XII

А через несколько дней после вечера в Сен-Жермене Курбатов сбежал.

Случилось это так.

Потемкин решил отправить грамоту царю с известием о результатах посольства и о том, что зазимует в Париже; Курбатову было поручено переписать бумагу.

Он засиделся за ней до вечера в своей комнате. Устав, подошел к окну, поднял раму и закурил трубку (покуривал он все чаще). С улицы пахло сыростью. Город тонул в темноте, сыпал затяжной осенний дождь. Курбатов несколько раз с наслаждением вдохнул холодный воздух, пыхнул трубкой, задумался...

Впоследствии он не раз сокрушался: как же мог он забыть запереть дверь! Потемкин налетел на него, как буря, лупил палкой, обещал в Москве самолично вырвать его копченые ноздри... Курбатов повалился ему в ноги, винился, умолял, плакал...

Князь постепенно отошел, но ничего не пообещал, только приказал тотчас закончить грамоту и принести ему. Курбатов долго ждал, пока перестанут трястись руки, потом снова сел за переписку, уже ничего не соображая...

Когда он принес бумагу князю, Потемкин, хмурясь, взял ее и принялся читать. Вдруг

лицо его побагровело.

— Вор! Ты как титул великого государя пишешь?!

Курбатов похолодел: описка в титуле государя означала — батоги, кандалы, темница. В уме мелькнула впадина в Шильонском замке. Не помня себя, он кинулся к дверям, слетел по лестнице и побежал куда-то в темноту...

Несколько дней он скрывался в предместьях. Его спасло то, что кошелек всегда был при нем, на поясе. Сменив платье и купив лошадь, Курбатов беспрепятственно выехал из Парижа, держа путь на север — к маленькому домику на узком канале.

В Амстердам он приехал вечером, недели через две после побега. Лил дождь, улицы и каналы холодно отливали светом фонарей. Эльза, вышедшая на стук в длинной белой ночной рубашке, узнала его в новом наряде не сразу; узнав, не удивилась, сказала только, что сейчас не одна. Курбатов, усмехнувшись, поднялся наверх, в ее спальню, где, при виде его, на кровати под одеялом испуганно сжался какой-то крючконосый, плешивый старичок. Как оказалось, он ничего не имел против того, чтобы провести эту ночь у себя дома. Эльза, величественно стоя в дверях, спокойно ожидала смены кавалеров.

Так же спокойно выслушала она слова Курбатова о том, что теперь они будут жить вместе. Ночью, сквозь сон, он смутно слышал ее долгие счастливые вздохи.

### ХІІІ

Вскоре он устроился приказчиком в морскую компанию, торговавшую с Россией. Здесь он прослужил десять лет. Россия постепенно забывалась, теряла реальность, пряталась в снах, напоминая о себе одними бесконечными списками связок мехов, бочек икры, смолы, поташа, сала...

Скопив денег, он исполнил давнюю мечту Эльзы: купил гостиницу в Саардаме. К тому времени он обзавелся потомством — Эльза аккуратно каждые два года производила на свет крепкую малышку. Гостиница содержалась ею в образцовом порядке и приносила небольшой, но постоянный доход. Курбатов с удовлетворением чувствовал, как приближается спокойная, обеспеченная старость. Не переставал жалеть только об одном, — что пришлось оставить тогда, в Париже, заветную тетрадь...

Он сделался книгочеем. Вечерами, поручив Эльзе постояльцев, покидал шумную, окутанную табачным дымом гостиную, поднимался в свой кабинет, брал с полки увесистый том, с удовольствием устраивался у камина, тщательно набивал длинную трубку, раскуривал и привычным движением отстегивал застёжку с переплета... Мирно, незаметно текли часы; потом появлялась Эльза, поила его липовым отваром и вела в теплую, нагретую грелкой постель...

Как-то раз сосед кузнец Кист (недавно вернувшийся из Москвы, где он работал у молодого государя Петра Алексеевича), желая сделать приятное Курбатову, подарил ему на Рождество книгу.

— Пусть она напоминает тебе о покинутой родине, — сказал он, вручая ее. — Я знаю, что значит жить на чужбине.

Книга оказалась романом Энрико Суареса де Мен-досы-и-Фигероа «Евсторий и Хлорилена, московитекая история». Читая его, Курбатов чувствовал нараставшее в нем возмущение: да где же здесь Россия, так ли в Москве говорят, думают, любят?..

В этот вечер он решил написать о России сам.

С этого момента для него наступила пора ночных бдений, душевной смуты, полупризрачного существования здесь, в Саардаме, рядом с Эльзой и детьми, и настоящего там — среди грез и воспоминаний... Он писал так, словно старался извлечь Россию из небытия, спасти, сохранить ее для себя. Несмотря на это, книга получилась довольно жестокой.

Россия — бедная страна сравнительно с европейскими государствами, размышлял Курбатов, потому что несравненно менее их образованна. Здесь, в Европе, разумы у народов

хитры, сметливы, много книг о земледелии и других промыслах, есть гавани, процветает морская торговля, земледелие, ремесла. Россия же заперта со всех сторон либо неудобным морем, пустынями, либо дикими народами; в ней мало торговых городов, не производится ценных и необходимых изделий. Ум у народа косен и туп, нет умения ни в торговле, ни в земледелии, ни в домашнем хозяйстве; люди сами ничего не выдумают, если им не покажут, ленивы, не-промышленны, сами себе добра не хотят сделать, если их не приневолят к тому силой; книг нет никаких ни о земледелии, ни о других промыслах; купцы не учатся даже арифметике, и иноземцы во всякое время беспощадно их обманывают. В Боярской думе бояре, «брады свои уставя», на вопросы царя ничего не отвечают, ни в чем доброго совета дать не могут, «потому что царь жалует многих в бояре не по разуму их, но по великой породе, и многие из них грамоте не ученые и не студерованные». Подобно им и другие русские люди «породою своею спесивы и непривычны ко всякому делу, понеже в государстве своем научения никакого доброго дела не имеют и не приемлют, кроме спесив-ства и бесстыдства и ненависти и неправды; для науки и обхождения с людьми в иные государства детей своих не посылают, страшась, что, узнав тамошних государств веры и обычаи и вольность благую, начнут свою веру бросать и приставать к иным и о возвращении к домам своим и к сородичам никакого попечения не будут иметь и мыслить». Истории, старины мы не знаем и никаких политических разговоров вести не можем, за что нас иноземцы презирают. Та же умственная лень сказывается и в некрасивом покрое платья, и в наружном виде, и во всем быту: нечесанные головы и бороды делают русских мерзкими, смешными, какими-то лесовиками. Иноземцы осуждают нас за неопрятность: мы деньги прячем в рот, посуды не моем; мужик подает гостю полную братину и «оба-два пальца в ней окунул». В иноземных газетах пишут: если русские купцы зайдут в лавку, после них целый час нельзя войти в нее от смрада. Жилища наши неудобные: окна низкие, в избах нет отдушин, люди слепнут от дыма. Всюду пьянство, взаимное «лююдодерство», отсутствие бодрости, благородной гордости, одушевления, чувства личного и народного достоинства. На войне турки и татары хоть и побегут, но не дадут себя даром убивать, обороняются до последнего издыхания, а наши «вояки» ежели побегут, так уж бегут без оглядки — бей их, как мертвых. Великое наше лихо — неумеренность во власти: не умеем мы ни в чем меры держать, средним путем ходить, а все норовим по окраинам да пропастям блуждать. Правление у нас в одной стороне вконец распущено, своевольно, безнарядно, а в другой чересчур твердо, строго и жестоко; во всем свете нет такого безнарядного и распущенного государства, как польское, и такого крутого правления, как в славном государстве русском. Даже у магометан русским есть чему поучиться: трезвости, справедливости, храбрости и стыдливости.

Так какое же место занимаем мы, русские, среди других народов, задавал себе вопрос Курбатов и отвечал: наш народ — средний между «людскими», культурными народами и восточными дикарями и как таковой должен стать посредником между теми и другими. Мы и Европа — два особых мира, две резко различных человеческих породы. Европейцы наружностью красивы и потому дерзки и горды, ибо красота рождает дерзость и гордость; мы ни то ни се, люди средние обличьем. Мы не красноречивы, не умеем изъясняться, а они речисты, смелы на язык, на речи бранные, колкие. Мы косны разумом и просты сердцем; они исполнены всяких хитростей. Мы не бережливы и мотоваты, приходу и расходу сметы не держим, добро свое зря разбрасываем; они скупы, алчны, день и ночь только и думают, как бы потуже набить свои мешки. Мы ленивы к работе и наукам; они промышленны, не проспят ни одного прибыльного часа. Мы — обыватели убогой земли; они — уроженцы богатых, роскошных стран и на заманчивые произведения своих земель ловят нас, как охотники зверей. Мы просто говорим и мыслим, просто и поступаем: поссоримся и помиримся; они скрытны, притворны, злопамятны, обидного слова до смерти не забудут, раз поссорившись, вовеки искренне не помирятся, а помирившись, всегда будут искать случая к отместке. А потому мы, русские, должны всячески их междоусобные раздоры поддерживать и разогреть, ибо, как только западные народы меж собой замиряются, они сразу всей силой

прут на нас.

Закончив книгу, Курбатов ощутил пустоту и ровную, тихую боль, которая с тех пор так и осталась где-то внутри, у сердца. Россия ушла из воспоминаний, снов, мыслей, и он снова увидел себя в Саардаме, в гостинице, рядом с Эльзой и детьми.

Издателя для книги он нашел без труда. Несколько экземпляров отослал в Москву, в государеву библиотеку.

#### XIV

Прошло еще шесть лет.

Седьмого августа 1697 года Курбатов зашел к Кисту — хотел попросить его подковать лошадь. Жена Киста отперла дверь и проводила в гостиную. Кузнец сидел за столом вместе с каким-то молодым человеком, одетым в красную фризую куртку, белые парусиновые штаны и лакированную шляпу. Когда Курбатов вошел в комнату, гость повернул к нему свое округлое испитое лицо с тонкими кошачьими усиками, живо сверкнув на него большими умными глазами.

Кист поднялся навстречу Курбатову, усадил его за стол.

— Это ваш соотечественник, герр Питер, — сказал он гостю. — Василий Курбатов, держит здесь, рядом, гостиницу.

— Русский? — удивился молодой человек. — Да, где только нашего брата не встретишь... А мы с этим славным кузнецом были добрые знакомцы в Москве. Я Петр Михайлов из свиты великих государевых послов, что сейчас в Амстердаме. Слыхал о сем?

Курбатов немного разволновался, стал расспрашивать. Сели за стол, жена Киста принесла еще одну кружку и трубки. Петр Михайлов достал из кармана куртки кисет, пошарил в нем.

— Вот незадача, табак кончился, — сказал он и обратился к Курбатову: — Дай-ка щепоть своего...

Курбатов протянул ему свой кисет и поинтересовался, считают ли в Москве по-прежнему курение табака грехом.

— Считаю, — отозвался собеседник, недобро усмехнувшись. — Ну да великий государь переделает их на свой лад!

— Неужто его царское величество Петр Алексеевич курит? — изумился Курбатов.

— И сам курит, и своим боярам велит.

Курбатов посидел еще, потом стал прощаться. Михайлов переспросил, где находится его гостиница, и пообещал зайти на днях, потолковать.

Вечером следующего дня Курбатов сидел у себя в кабинете за книгой. Неясный гул голосов за окнами отвлек его от чтения. Выглянув в окно, он увидел вчерашнего гостя кузнеца, идущего к гостинице. За ним несколько в отдалении следовала толпа голландцев — мужчин, женщин, детей. Раздавались крики:

— Der Kaiser! Der Russische Kaiser! <sup>19</sup>

Петр сердился, топал на зевак ногой, замахивался кулаком... Один чрезвычайно назойливый бюргер подошел к нему очень близко, рассматривая его в упор, как диковинку. Петр одним прыжком оказался рядом с ним и влепил звонкую пощечину. Бюргер растерянно замигал, в толпе раздался смех. Петр в сердцах сплюнул и, больше не оглядываясь, размашистым шагом направился к дверям гостиницы.

Курбатов поспешил вниз.

Петр запирает дверь. Увидев растерянное лицо Курбатов, он улыбнулся:

— Ты-то что таращишься или вчера не насмотрелся?.. Ну да, я и есть царское величество великий государь Петр Алексеевич. Просил ведь Киста вразумить жену, чтоб не

---

<sup>19</sup> Царь! Русский царь! (нем.)

разглашала мое инкогнито... Проклятые бабские языки!

Курбатов подавленно молчал. Петр посмотрел на окна, к которым приникли лица зевак, вздохнул.

— Книгу твою я читал, — сказал он, — и была она мне в великую досаду...

Курбатов потупился.

— ...ибо чуял правду слов твоих, — продолжал царь. — Ныне и сам знаю, что имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей. Потому всегда радуюсь, встретив человека, согласно со мной мыслящего. Слушай меня, Курбатов. Вины, какие были за тобой, я тебе прощаю. Если не хочешь уподобиться ленивому рабу евангельскому, закопавшему талант свой в землю, поезжай в Москву, будешь числиться при Посольском приказе. А пока что жалую тебя дворянским званием и чином поручика. Ответ свой дашь завтра, а пока налей водки, что ли...

В сентябре, продав гостиницу и устроив все дела, Курбатов вместе с семьей выехал в Москву сухим путем. В дороге был весел, подшучивал над невозмутимой Эльзой, говорил с детьми только по-русски. В Кенигсберге, поднимаясь по трапу на корабль, который должен был везти их в Либаву, он вдруг остановился, дико выпучив глаза и ловя ртом воздух, схватился за грудь и под пронзительный визг Эльзы рухнул в воду. Через полчаса матросы баграми достали его тело, уже почти окоченевшее.

Эльза похоронила его в Кенигсберге по лютеранскому обряду. Затем она продолжила путь и к зиме добралась до Москвы. Петр, возвратясь из Голландии, оставил за ней и ее детьми дворянское звание и назначил приличную вдове поручика пенсию.

## **ИСТОРИЯ МАДЕМУАЗЕЛЬ АИССЕ**

Среди первых читательниц «Манон Леско» была женщина, чья удивительная судьба десятилетие спустя легла в основу другого романа Прево — «История одной гречанки». Однако увидеть свою жизнь отраженной в зеркале искусства ей не довелось. К тому времени, когда роман вышел в свет (1740 год), ее уже не было в живых. Она была похоронена в Париже в склепе церкви Святого Роха, хотя вполне могло случиться и так, что ее тело, спеленутое в кашемировый саван султанш, обрело бы последнее пристанище в одном из кладбищенских садов Стамбула. Небольшой томик писем, оставленных ею, словно чудесный ковчежец, хранит ее стыдливую любовь.

Настоящее имя ее было Айше. Она родилась в каком-то черкесском селении и, видимо, была княжеской дочерью. Во всяком случае, позже, когда она вспоминала свое детство, ей смутно, как во сне, виделся дворец и коленопреклоненные рабы, окружившие ее. Разбойный набег турецкого отряда разорил ее дом и навсегда разлучил ее с родителями, родиной, детством...

Году в 1699-м французский посланник в Турции, граф де Ферриоль, увидел на невольничьем рынке Стамбула очаровательную четырехлетнюю девочку, выставленную на продажу. За время пребывания на Востоке граф перенял турецкие нравы; он купил девочку и отослал ее во Францию к своей невестке, госпоже де Ферриоль. Старый распутник хотел, удаляясь на покой, вдыхать аромат этого дикого цветка.

С этого времени началось чудесное преобразование юной дикарки Айше в мадемуазель Аиссе. Как оно происходило, об этом можно только догадываться, ее портреты позволяют нам видеть один внешний результат этого превращения: на чистом, открытом, почти детском лице, ставшем совершенно французским по выражению оживленности и любезности, таинственно чернеют неправдоподобно огромные, великолепные восточные глаза... Дама и гурия одновременно.

Ее появление в Версале стало настоящей сенсацией. «Сказки тысячи и одной ночи» не были еще известны во Франции, но сам вид кавказской княжны, словно перенесенной на берега Сены каким-нибудь джинном или гигантской птицей Рухх, давал почувствовать их волшебное очарование. Все взоры были обращены на «молодую гречанку», ее сладкозвучное

имя повторялось всеми версальскими повесами и волокитами. Регент королевства герцог Орлеанский желал видеть ее в числе своих любовниц. Она отказала ему с той же твердостью, с какой отказывала всем, объявив, что уйдет в монастырь, если посягательства на ее честь не прекратятся.

Поразительны эта чистота сердца, эта твердость воли у девушки, с юных лет предназначенной для гарема какого-нибудь паши и избежавшей этой участи, казалось, только для того, чтобы стать наложницей престарелого и пресыщенного вельможи. Порвать постыдные узы материальной зависимости, связывавшие ее с домом графа де Ферриоля, обрести свободу она могла единственным путем — став блестящей куртизанкой, разорительницей чужих состояний. Ее рождение, ее судьба, соблазнительный пример вакхических дам Регентства — все толкало ее на путь падения, звало к тысяче и одной ночи удовольствий. Она выбрала любовь — мучительную и потаенную.

Первый раз она увидела кавалера д'Эйди в салоне мадам дю Деффан. Их любовь не знала ни становления, ни развития, ни моментов наивысшего напряжения страсти, ни печального периода ее угасания — она сразу стала для них обоим всем: жизнью, счастьем, вечностью... Спиноза был убежден, что все наше счастье и несчастье заключено в качестве того объекта, к которому мы привязаны любовью. Аиссе не ошиблась в своем возлюбленном. Вольтер в одном письме, где он говорит о своей трагедии «Аделаида Дюгесклен», отозвался о нем так: «Я вывел некоего сира де Куси, весьма достойного человека, каких теперь не встречаешь при дворе; это вполне безупречный рыцарь, как кавалер д'Эйди...» Этот век и этот двор издевались над любовью и верностью и славили торопливое удовлетворение желания. Впрочем, для того, чтобы любить, как и для того, чтобы мыслить, всегда требуется, собственно, одно — не позволять своему времени дурачить себя. Можно только догадываться, почему красивый и знатный юноша оказался не затронут распространившейся эпидемией чувственности, откуда он взял силы противостоять общему умонастроению, каким образом сумел сохранить благородство чувства. Д'Эйди в раме своего века являет зрелище не менее удивительное, чем его возлюбленная.

Нужно ли удивляться тому, что они скрывали свою любовь от посторонних глаз? Аиссе в одном из писем говорит, критикуя экзальтированную игру некой актрисы: «Мне кажется, что в роли влюбленной, насколько бы положение ни было ужасно, необходимы прежде всего скромность и сдержанность; вся страсть должна выражаться в тоне голоса и в интонациях. Страстные и несдержанные жесты надо предоставить мужчинам и волшебникам; юная же принцесса должна быть скромной». Она так и жила — тихо и незаметно, благо что двор скоро позабыл ее. Рождение дочери — «такой хорошенькой, что ей необходимо простить ее появление на свет», встречи и разлуки, никому не видимые слезы, — были единственными событиями этой таинственной связи. Она считала себя недостойной своего возлюбленного и не приняла его руки, которую д'Эйди предлагал с нежной настойчивостью в продолжение всех двенадцати лет их любви. «Я слишком люблю его славу», — говорила она.

Эта, быть может, чрезмерная щепетильность обрекала Аиссе на прозябание в доме де Ферриоля. Правда, она не стала наложницей графа — он вернулся из Турции душевнобольным. Умирая, де Ферриоль оставил своей рабыне небольшую пенсию, которая с тех пор стала предметом постоянных покушений его невестки, состарившейся и разорившейся куртизанки. Жизнь превратилась для Аиссе в ежедневную войну, в которой даже маленькие победы вызывали досаду и стыд. «Мне надо по сто раз в день напоминать себе о том уважении, которое я должна питать к ней, — признавалась Аиссе. — Нет ничего печальнее, когда побуждением к исполнению долга служит только сознание долга». Полурабское существование, полузапретная любовь переполняли ее чувством вины и раскаяния, ей казалось, что она согрешает против добродетели, уступая влечению сердца; она нуждалась в оправдании своей любви. «Мне доставляет истинное удовольствие открывать вам сердце, — писала она одной знакомой даме, — мне не стыдно исповедываться вам во всех моих слабостях. Вы одна влияли на мою душу; она была рождена, чтобы быть добродетельной... Я показала вам существом достойным сочувствия и согревшим, не



вполне ясно это сознавая. К счастью, деликатности самой страсти я обязана познанию добродетели. Я полна недостатков, но уважаю и люблю добродетель». И далее: «Каждый день я вижу, что только добродетель имеет ценность как в этом, так и в том мире. Мне не дано было счастье соблести свое поведение, но я уважаю и преклоняюсь пред людьми добродетели; и уже одно желание быть в числе их влечет для меня за собою массу лестных вещей: сострадание, всеми высказываемое мне, делает то, что я почти не чувствую себя несчастной».

Рассказывают, что горноста́й, рожденный с пятном на шкуре, непременно погибает из-за этого маленького изъяна. Единственным пятнышком на совести Аиссе была ее любовь, которую она считала преступной и которая на самом деле сделала ее почти святой. Мучительное сознание вины убило ее. Она угасла, не достигнув и сорока лет, раскаявшаяся в прегрешениях земной любви и в надежде на вечное слияние с д'Эйди на небесах.

Я думаю: была ли судьба добра к ней или проявила свою обычную безжалостность, вырвав ее из блаженного полуживотного существования и заставив жить по высшим законам духа и истины? Что потеряла она при той сделке на стамбульском базаре, что приобрела от нее? Не был ли граф де Ферриоль орудием в руках той силы, что вечно желает зла, но по чьему-то непостижимому предначертанию вечно совершает благо? Аиссе знала мгновения истинного счастья, подлинно человеческого бытия, когда сердце переполняется благодарностью к Всевышнему, когда душа понимает, что ей больше нечего желать. Несколько таких мгновений на целую жизнь — много это или мало? Каждый из нас однажды даст свой ответ на этот вопрос.

## НЕУТОМИМАЯ РУКА СЭРА ВАЛЬТЕРА СКОТТА

Однажды (дело было летом 1814 года) компания молодых эдинбургских адвокатов и литераторов веселилась в доме на улице Георга. Как водится между молодыми людьми, обед незаметно перешел в ужин, за ужином последовали бесконечные тосты; рассвет застал гуляк поющими шотландские песни. Посреди общего шума и веселья был задумчив лишь хозяин, не сводивший глаз с открытого окна дома напротив. «Да что с тобой?» — поинтересовался у него один из его гостей. «Рука, рука, опять эта рука!» — взволнованно ответил молодой человек.

Привлеченные этим возгласом, все подошли к окну и увидели в окне напротив часть комнаты, письменный стол, заваленный бумагами, и руку с пером, быстро исписывавшую лист за листом.

— Джентльмены, — сказал хозяин, — я не могу смотреть хладнокровно на эту руку. Она была тут, когда мы еще не сошлись к обеду, она писала весь вечер, пока мы пили, она уже несколько часов как явилась опять на этом месте. Когда я провожу день в беспутстве и праздности, у меня нет сил смотреть на эту руку!

— Верно, это какой-нибудь стряпчий строчит свои ябеды, — скептически заметил кто-то из гостей.

Но он ошибался: это была рука Вальтера Скотта, писавшего «Уэверли» — роман, который принес ему европейскую известность и сделал его автора первым писателем, составившем себе огромное состояние литературным трудом.

## НА ПУТИ К СЛАВЕ

Вальтер Скотт принадлежал к небогатому, хотя и древнему шотландскому роду. Его прадед добывал себе пропитание грабежом. Когда в доме кончались припасы, жена этого достойного человека подносила супругу на тарелке шпоры, и тот, надев их, отправлялся на охоту за стадом овец какого-нибудь из своих соседей.

Отец писателя был адвокатом, содержавшим свои дела далеко не в блестящем порядке (после его смерти семье понадобилось пятнадцать лет, чтобы уплатить его долги). Молодой

сэр Вальтер двинулся поначалу по отцовскому пути, получив место в адвокатской конторе. На первое выданное ему жалованье он купил матери серебряный подсвечник, а себе — большой ночной колпак.

Адвокатура давала будущему писателю не больше 230 фунтов стерлингов в год. Но Вальтер не унывал и, чтобы отвлечься от служебной рутины, сочинял баллады в рыцарском духе. Сперва он не имел ни малейшего расчета на денежную сторону этих трудов: литературная собственность в то время еще не получила право на существование, доходы лучших писателей были случайными и мизерными; на книжном деле наживались одни книготорговцы, покупавшие за гроши талантливые перья и дававшие более или менее хорошие деньги лишь за ту книгу, которая могла вернуть вложенный капитал за неделю. За первый сборник баллад «Поэзия менестрелей пограничной Шотландии» (1802) Вальтер Скотт получил всего 580 фунтов стерлингов, хотя книга выдержала несколько изданий.

Невероятный успех его «Песни последнего менестреля» (1805), ставшего первым поэтическим бестселлером (не считая, конечно, «Илиады» и «Одиссеи», с той разницей, однако, что их автор не получил за свои гениальные произведения даже чечевичной похлебки), заставил молодого поэта с меньшим пренебрежением отнестись к литературным заработкам. Хотя его гонорар составил все еще небольшую по тем временам сумму в 770 фунтов стерлингов, но издатели и книготорговцы Эдинбурга требовали от многообещающего автора все новых книг, поэм и статей.

С этого времени Вальтер Скотт превращается в поставщика хорошего литературного товара. Он буквально завален заказами по этой части и берется за любой труд, сулящий славу и прибыль. «Да, дела было достаточно, чтобы разорвать меня на кусочки, — вспоминал писатель эти годы, — но зато я обладал какой-то сумасшедшей потребностью в работе». По своему разностороннему образованию, способности писать буквально обо всем, по своей аккуратности и изобретательности он представлял резкий контраст с другими писателями, зачастую лишенными практической жилки. Со своей стороны, Вальтер Скотт желал иметь дело с людьми надежными и выбрал среди многих издателей братьев Баллантайнов, Джеймса и Джона, став пайщиком в их предприятии. Впрочем, из двух братьев лишь старший, Джеймс, мог называться человеком деловым. Обладая природным литературным вкусом, он безошибочно выносил приговоры рукописям; его длинный нос, касавшийся верхней губы, чуял успех там, где другие его не ждали. Что касается Джона, то он не обладал никакими талантами, кроме умения делать долги, и был способен испортить всякое дело и разорить себя, думая, что действует очень разумно. Вальтер Скотт был знаком с Баллантайнами давно, и надо сказать, что для него личная симпатия к ним всегда шла впереди всех материальных расчетов — только этим можно объяснить его постоянную преданность интересам обоих братьев. Именно эта преданность в конце концов разорила его.

Другим коммерческим партнером писателя стал Кон-стебл — владелец самого популярного журнала Шотландии «Эдинбургское обозрение».

Дела Вальтера Скотта быстро пошли в гору, чему способствовало и то, что он расстался с адвокатской деятельностью, заняв должность шерифа Селкиркши-ра. Это место в совокупности с небольшим наследством приносило ему около тысячи фунтов стерлингов в год. Однако основные доходы Вальтер получал уже с литературной деятельности. Он учредил издательскую фирму «Джон Баллантайн и К<sup>о</sup>», где владел 50 процентами пая, а братья Джеймс и Джон по 25 процентов. С 1805-го по 1810 год писатель вложил в нее 9000 фунтов стерлингов. Одновременно он основал литературный журнал «Трехмесячное обозрение», который сразу привлек к себе несколько тысяч подписчиков. Наряду с «Эдинбургским обозрением» журнал Вальтера Скотта стал наиболее читаемым периодическим изданием Англии и дожил до сего дня, невзирая ни на какую конкуренцию. Показателем роста благосостояния писателя является также то, что в эти годы он начал приобретать недвижимость — дом в Эдинбурге за 1750 фунтов стерлингов и за 8000 фунтов стерлингов — поместья Ашестил и Аб-ботсфорд на реке Твид.

Успех каждой новой его поэмы затмевал предыдущий. Выход в свет поэмы «Мармион»

(1808), написанной на материале легенд средневековой Шотландии, вскоре ввел моду на все рыцарское. Целый год дамы и денди только и толковали что о замках, потайных ходах, турнирах и гербах; арсеналы и музеи старинного оружия появились во всех порядочных домах. «Дева озера» (1810), принеся поэту 2000 гиней, заставила его подумать, что ему «наконец удалось вбить гвоздь в непостоянное колесо фортуны» <sup>20</sup>.

## ОТ ПОЭЗИИ К ПРОЗЕ

Вальтер Скотт писал только те вещи, которые были способны принести хороший доход. Пока что дела шли хорошо. Но в 1812 году он заметил, что у него появился поэтический соперник: это был лорд Байрон. Мода на благородных рыцарей сменилась модой на разочарованных героев в черных плащах. Вальтер Скотт быстро сменил курс и под влиянием поэзии Байрона написал мрачную пиратскую поэму «Рокби». Поэма разошлась в 10 000 экземпляров, затем продажа приостановилась. Это заставило Вальтера задуматься. Он отложил соперничество с Байроном и на время прекратил занятия литературой, целиком отдавшись обустройству любимого поместья Абботсфорд, в котором решил создать свой идеал дома. К чести для обоих поэтов, их поэтическое соперничество не привело к личной неприязни; напротив, они сдружились, хотя в общем-то имели лишь одну общую черту — хромоту. Байрон говаривал, что повстречай он на своем пути не одного Скотта, а нескольких, он уверовал бы в человеческую добродетель, и записал в дневнике: «Потрясающий человек! Мечтаю с ним напиться».

Снижение читательского спроса совпало с денежными затруднениями фирмы «Джон Баллантайн и К<sup>о</sup>». Младший Баллантайн обладал удивительной способностью — он никогда не знал, богат он или беден, так как по несколько лет не вел счетов своей торговой деятельности и жил, ни в чем себе не отказывая. В 1812 году издательство очутилось на грани банкротства. Помог Констебл, который купил неразошедшие-ся книги и 25 процентов авторских прав (2000 фунтов стерлингов) на издание «Рокби». Еще 4000 фунтов стерлингов Вальтер Скотт взял из банка под поручительство. Однако этого было недостаточно, чтобы оживить деятельность фирмы. Скотт продал часть вещей из Абботсфорда, приостановил постройки и дал в газеты объявление о скором выходе в свет романа «Уэвер-ли, или Шестьдесят лет тому назад». Имени автора не указывалось. Писатель объяснял это тем, что «публика слишком часто встречалась с одним и тем же Вальтером Скоттом».

Роман был начат еще в 1810 году, но из-за неблагоприятного отзыва одного из друзей заброшен. Спустя четыре года Вальтер наткнулся на эту рукопись в старом комод, где хранились рыболовные снасти. Отбросив прежние сомнения и колебания, он засел за работу и закончил два последних тома в рекордно короткий срок — за три недели! Констебл, ознакомившись с романом, предложил за него 7000 фунтов стерлингов. Вальтер Скотт нашел, что это слишком много, если книга провалится, и слишком мало, если она пойдет. Книга была издана на условиях деления прибыли 50:50.

Успех романа превзошел все ожидания. До того издание романов не считалось прибыльным делом, и даже самые прославленные романисты получали за свои книги весьма скромные гонорары. «Уэверли» произвел настоящий фурор: Вальтер Скотт открыл искусство писать романы так, чтобы они расходились по 50 000 экземпляров в год.

Поскольку роман был издан анонимно, это обстоятельство породило тысячи предположений на счет авторства. Широкая публика приписывала роман кому угодно, кроме настоящего автора. Сам Вальтер Скотт признался в авторстве только жене и самым близким друзьям.

---

<sup>20</sup> Интересно, что Вальтер Скотт никогда не давал читать свои поэмы своим детям, отговариваясь тем, что «для молодежи самое страшное — читать плохие стихи»; его 9-летний сын на вопрос, почему, по его мнению, столько людей восхищается его отцом, гордо отвечал: «На охоте он обычно первый приметит зайца!»

В следующем году появилась последняя рыцарская поэма Скотта — «Властитель островов». Она не имела почти никакого успеха. Вызвав к себе Джона Баллантайна, Вальтер спросил у него: «Неудача?» — «Неудача!» — развел руками младший Баллантайн. «Нечего делать, — улыбнулся писатель. — Байрон гонит нас, стариков, долой со сцены, словно мальчишек. С ним нельзя тягаться. Бери эти тетради со стола и тащи их в типографию».

Тетради были рукописью второго романа Вальтера Скотта «Гай Мэннеринг». 2000 экземпляров книги, на обложке которой стояло загадочное "Автор «Уэверли», разошлись на следующий день после поступления тиража в книжный магазин Джона Баллантайна.

Теперь для Вальтера не осталось и тени сомнений, в каком направлении работать дальше.

## АПОГЕЙ

Вальтеру Скотту было сорок четыре года, когда он, обратившись к прозе, стал самым высокооплачиваемым писателем в мире. Говоря о своем превращении из поэта в романиста, он часто сравнивал себя с Сервантесом, который написал свой знаменитый роман вследствие неудачного соперничества на сцене с драматургом Лопе де Вега. Но если автор «Дон Кихота» убил своей книгой старый рыцарский роман, то Вальтер Скотт не только возродил его, но и стал родоначальником современного романа. Начиная с 1815 года, Вальтер Скотт занял беспримерно блистательное положение среди писателей (впрочем, сам он со свойственной ему скромностью решительно не верил, что чем-то выделяется на общем фоне). Его романы приносили ему не менее 10 000 фунтов стерлингов в год — больше, чем обширные поместья иного лорда.

Не следует, однако, думать, что его пером двигало одно лишь стремление к наживе. Вальтер знал высшее счастье писателя — получать хорошие деньги за труд, который доставляет радость. «Чем бы там ни объясняли побудительные мотивы сочинительства — жаждой славы или денежной выгодой, — писал он, — я считаю, что единственный стимул — это наслаждение, даруемое напряжением творческих сил. На любых других условиях я писать отказываюсь — точно так же, как не стану охотиться только ради того, чтобы пообедать кроликом». На предложения писать в журналах на политические и экономические темы он теперь отвечал: «Я готов писать только те вещи, которые доставляют удовольствие мне самому».

Дела фирмы Баллантайнов процветали, все долги были уплачены, в Англии и Европе появился новый вид читателей — читатели исторических романов. Все эти чудеса совершил один человек за какие-нибудь три года! Не покидая своего кабинета, Вальтер Скотт приобрел мировую известность, обогатил несколько семейств, расширил рынок книжной торговли, дал хлеб множеству людей — переписчикам, типографщикам, наборщикам, редакторам.

Возраст и многочисленное семейство (у Вальтера Скотта было четверо детей) требовали более оседлого и степенного образа жизни. Писатель с новыми силами занялся благоустройством Абботсфорда, мечтая создать из него «роман из камней и известки». Отныне он писал для того, чтобы обустроить поместье. Он не жалел для этого денег — после выхода в свет каждого нового романа он отправлял в Абботсфорд груды «немыслимого барахла», купленного в антикварных лавках и на аукционах. В музее Абботсфорда хранились многие раритеты: ружье Роб Роя, шпага, подаренная Карлом I герцогу Монтрозу, и т. д.; библиотека пополнялась старинными изданиями. Принц-регент пожаловал писателю звание баронета. «Теперь я — лорд», — с гордостью говорил Вальтер (слава романиста в его глазах была ничем по сравнению с честью происходить от младшей ветви харденских Скоттов и состоять в клане Баклю) и при каждом удобном случае прикупал к Абботсфордским владениям рощи, озера, поля...

Жизнь в Абботсфорде требовала больших расходов. Замок постоянно был полон гостей и туристов; в Абботсфорд приходили посылки и письма со всего света, за которые писатель

должен был платить почте из своего кармана 150 фунтов стерлингов в год. Он угощал гостей роскошными блюдами, хотя сам не любил роскошь и предпочитал виски — шампанскому и бараний бок с пудингом — изысканности великосветской кухни. Но для друзей Вальтер не жалел денег, и роскошь удваивалась, когда публиковался новый роман: тогда по изобилию блюд обеды в Абботсфорде напоминали легендарные пиры короля Артура. Тут поднимали бесконечные тосты за здоровье Великого Незнакомца, и хозяин, все еще хранивший свое авторство в секрете, несмотря на то что имя его уже было известно широкой публике, улыбаясь, обещал сообщить таинственному романисту о чести, оказанной ему, и насладиться видом его радости. Затем Вальтер принимался потчевать гостей анекдотами игривого содержания. Он вообще любил грубоватый народный юмор. К числу его любимых анекдотов относился, например, следующий. Двое джентльменов состязались в том, кто лучше зарифмует свою фамилию. Первый сказал:

— Я, Джон Мактрой, Спал с твоей сестрой.

«Неправда!» — возразил второй. «Зато в рифму», — ответил первый. Второй в свою очередь сказал:

— Я, Джордж Грин, Спал с твоей женой.

«Не в рифму!» — обрадовался победитель состязания, Джон. «Зато правда», — утешил себя Джордж.

Рассказывая гостям о происхождении шотландских баронов, Вальтер Скотт не упускал случая поведать об одном паромщике, который однажды перевозил королеву Марию Стюарт со свитой. Неожиданно произошел конфуз: королева, что называется, пустила ветры; но паромщик, не растерявшись, спас честь ее величества, извинившись от своего лица перед лордами. Благодарная королева тут же, на пароме, произвела его в бароны.

Вечера закончивались тем, что гости начинали умолять: «Одну главу! Только одну главу!» — и хозяин благосклонно начинал чтение очередного романа. Хотя зачастую обед заканчивался далеко за полночь, в пять часов утра Вальтер неизменно садился за письменный стол.

## КРУШЕНИЕ

Один из таких пиров, 9 января 1825 года, стал последним истинно счастливым днем в жизни Вальтера Скотта. Начиная со следующего дня почта, приходившая из Эдинбурга и Лондона, приносила с собой какое-либо тяжелое известие о благосостоянии торгового дома Баллантайнов, с которым были связаны денежные интересы писателя.

Правда, Джона Баллантайна к тому времени уже не было на свете, и ждать расстройства дел было вроде бы не от кого. Но в 1825 году в Англии разразился первый торговый и финансовый кризис, который стал поистине народным бедствием. Кризис перепроизводства был явлением новым, необычным. Банкротство некоторых типографий и журналов в самом его начале заставило Вальтера Скотта призадуматься, но Джеймс Баллантайн не разделял его опасений и, не успев привести в порядок дела своего покойного брата, пустился в рискованные финансовые операции. Он пустил в оборот все векселя, выдал слишком много денежных обязательств, и в конце концов, чтобы не допустить банкротства типографии, Вальтер Скотт должен был оплачивать его векселя. Настал день, когда Джеймс явился к своему пайщику с известием о банкротстве их фирмы. «Джеймс, пока Бог хранит меня, я тебя не оставлю», — только и мог вымолвить Вальтер.

Вскоре разорился и Констебл — другой компаньон писателя.

После опубликования известия о банкротстве к Вальтеру Скотту отовсюду стали приходиться письма с утешениями и, что важнее, с предложениями о помощи. В одном из них анонимный почитатель его таланта предлагал даже 30 000 фунтов стерлингов без векселя и расписки. Но это была капля в море: долги Баллантайна достигали 200 000 фунтов стерлингов; около 150 000 фунтов стерлингов долга висело на Констебле.

Тем не менее Вальтер Скотт не пал духом. «Пожмите мне руку — я нищий», — сказал

он одному своему другу. — Перо мое принадлежит кредиторам, но, если Бог сохранит мои дни, оно сделает свое дело».

Последние годы жизни знаменитого романиста были отягощены упорной борьбой с неблагоприятными финансовыми обстоятельствами. Заложив Абботсфорд, коллекцию древностей, почти все свое имущество, он погасил сразу часть долга Баллантайна и Констебла и объявил, что отныне все его литературные доходы будут поступать в счет погашения долга Баллантайна. Дети романиста были согласны на продажу «романа из камней и известки» — главного произведения его жизни, но Вальтер Скотт не допускал и мысли о причинении малейшего ущерба их интересам.

С завидным постоянством он продолжал поставлять на книжный рынок один роман за другим. Однако его талант из-за напряженной и чересчур коммерческой работы стал слабеть. К этому несчастью добавились другие бедствия: старость, болезни, смерть жены, падение читательского интереса... 15 февраля 1830 года, когда он, как всегда, плотно позавтракал, съев тарелку сдобных булочек и яичницу с говядиной, его настиг первый удар, вызвавший пятнадцатиминутную потерю дара речи. Это был почти конец, если не человека, то писателя. Все, что Вальтер Скотт написал после этого удара, отмечено резким упадком его творческих способностей. Он стал более цинично относиться к своему литературному труду. "Первый раз в жизни мне было стыдно за два своих романа, — писал он, подразумевая «Графа Роберта Парижского» и «Замок „Опасный“», — но, коль скоро они пришлись по вкусу глубокомысленной публике, нам остается одно — есть свой пирог с грибами и держать язык за зубами». К его чести, он не допустил в свои книги ни малейшего намека на свое тяжелое душевное и материальное состояние, они по-прежнему были полны оптимизма, поэзии и неисчерпаемой фантазии.

Все же битва с судьбой была им выиграна, невероятным трудом писатель спас Баллантайна и свою семью от разорения. Карлейль, восхищаясь жизненным подвигом Вальтера Скотта, писал о нем: «В этом человеке было много мужества, и много мужества сошло с ним в могилу. Истинное геройство жило в груди поэта, в груди сэра Вальтера Скотта, достойного именоваться гордостью своей родной Шотландии».

Желание писать не покидало Вальтера Скотта до самой смерти. Когда незадолго до кончины ему, по его просьбе, вложили в руку перо, но оказалось, что ослабевшие пальцы уже не могут держать его, он горько заплакал. Смерть настигла его 21 сентября 1832 года.

Нам остались его книги. Возможно, те, кто считает их чересчур легковесными, теперь отнесутся к ним менее строго.

## **ДРАКУЛА, ЧЕЗАРЕ БОРДЖА, ЗАРАТУСТРА, АДАМ СОКОЛОВИЧ, ИЛИ КОЕ-ЧТО О СВЕРХЧЕЛОВЕКЕ**

Родословные литературных персонажей порой выглядят не менее древними и запутанными, чем генеалогические таблицы дворянских династий. Иногда их предками являются живые люди, иногда — такие же книжные герои. Случается, что персонаж полностью поглощает свой прототип; бывает и так, что один прообраз дает жизнь двум персонажам — то и другое произошло, например, с Дракулой.

Я был немало удивлен, узнав, что у истоков долгой литературной и кинематографической жизни знаменитого вампира стоит и русская литература. Листая сборник «Русская бытовая повесть XV — XVIII вв.», я обнаружил в нем «Сказание о Дракуле-воеводе», написанное в 1480-х годах (во всяком случае, до 1486 года, когда оно уже было переписано кирилло-белозерским монахом Ефросином). В комментарии я прочитал, что «особенность этой повести в том, что, хотя в основе ее лежали рассказы об историческом лице, она стала произведением сугубо литературным и в ней выводится не образ реального человека, а литературный персонаж».

Воевода Влад Цепеш правил Валахией (Румынией) дважды — с 1456-го по 1462 год и в

1477 году. Он прославился особой жестокостью, за что и получил прозвище Цепеш — то есть «сажатель на кол», «прокалыватель». В соседних с Румынией землях за ним укрепилось прозвище Дракула. Возможно, оно перешло к нему от отца, который принадлежал к германскому рыцарскому ордену Дракона, или по-румынски Дракулы. Позднее, из-за близости к румынскому слову «drac» — «дьявол», оно приобрело новый смысл, и исторический Влад Цепеш исчез, уступив место своему литературному двойнику.

Почти одновременно с русским «Сказанием о Дракуле» появились и другие истории о румынском государе: анонимная немецкая книжка конца XV века «О великом изверге Дракола Вайда» и «Венгерская хроника» итальянца Антонио Бонфини (1490-е гг.), но их можно причислить скорее к жанру публицистики.

«Сказание о Дракуле» интересно, в частности, тем, что оно начисто лишено того духа наивного нравоучения, которым обыкновенно пропитана древнерусская книга. Не знаю, сказала ли здесь личность автора, специалисты приписывают повесть дьяку Ивана III Федору Курицыну, возглавлявшему в 1482 — 1484 годах русское посольство в Венгрию и Молдавию), или писатель, нагромоздив вокруг Дракулы горы трупов, положился на нравственное чутье читателя в оценке своего героя. Учитывая нравы эпохи, думаю, что первое предположение более правдоподобно. За строками повести виден человек государственной закалки, который не прочь поставить в пример кровавое правосудие, если оно кажется ему справедливым возмездием или государственной необходимостью. И хотя автор постарался исчезнуть, спрятаться, вытравить все следы своего присутствия в повести, одна фраза в начале, словно носок сапога, выступающий из-под портьеры, выдает что: «Так жесток и мудр был, что каково имя, такова была и жизнь его».

Вся повесть, собственно, является иллюстрацией этой авторской оценки героя. В ней нет никакого сюжета, один пример воеводского правосудия сменяет другой — и так почти до самого конца. В школьном учебнике по истории Древней Греции написано, что драконовские законы в Афинах, одинаково каравшие смертью и убийцу, и мелкого воришку, оказались бессильными справиться с преступностью именно вследствие своей жестокости. О законах Дракулы можно сказать как раз наоборот: именно их жестокость обеспечила их действенность. Все дело в том, как далеко готова пойти власть по этому пути. «И так ненавидел Дракула зло в своей земле, что, если кто совершит какое-либо преступление, украдет, или ограбит, или обманет, или обидит, не избегнуть тому смерти». Вот простой и эффективный пример борьбы с воровством. У некоего венгерского купца кто-то украл 160 золотых дукатов. Купец обратился с жалобой к Дракуле. Воевода пообещал, что нынче же ночью деньги будут возвращены. Отпустив купца, он велел объявить горожанам: «Если не найдете преступника, весь город погублю». Вечером купцу принесли от Дракулы кошелек, в котором была названная им сумма и один лишний дукат. На свое счастье, купец, пересчитав деньги, обнаружил избыток и пошел во дворец вернуть лишнее. В это время горожане привели и вора с похищенным золотом. Как можно догадаться, честность купца спасла ему жизнь. О том, что воровство исчезло из государства Дракулы, свидетельствует другой пример. Воевода приказал поставить возле общественного колодца золотую чашу «дивной красоты» и никто не посмел украсть ее.

Столь же решительно покончил Дракула с нищетой и бродяжничеством. Однажды он объявил по всей земле: пусть придут к нему все, кто стар или немощен, болен или беден. Огромную толпу нищих и калек, собравшуюся в ожидании щедрой милостыни, Дракула поместил в специально построенном для них доме, устроил им пир, а потом, заперев двери, сжег. Своим боярам он сказал: «Знайте, почему я сделал так: во-первых, пусть не докучают людям, и не будет нищих в моей земле, а будут все богаты; во-вторых, я и их самих освободил: пусть не страдает никто из них на этом свете от нищеты и болезней».

Дракула не встретил никаких затруднений и в искоренении прелюбодеяния. «Если какая-либо женщина изменит своему мужу, то приказывал Дракула вырезать ей срамное место, и кожу содрать, и привязать ее нагую, а кожу ту повесить на столбе, на базарной площади посреди города. Так же поступал и с девицами, не сохранившими девственность, и

с вдовами, а иным груди отрезали, а другим сдирали кожу со срамных мест и, раскалив железный прут, вонзали его в срамное место, так что выходил он через рот. И в таком виде, нагая, стояла, привязанная к столбу, пока не истлеет плоть и не распадутся кости или не расклюют ее птицы».

Успехи правосудия радовали Дракулу. Он даже обедал среди трупов, посаженных на кол, ибо «в том находил удовольствие». Когда же слуга, подававший ему яства, зажал нос, не вынеся трупного смрада, Дракула, понятно, отправил его на кол: «Там ты будешь сидеть высоко, и смраду до тебя будет далеко!»

И в темнице, куда его заключил венгерский король Матиаш Хуньяди, Дракула не оставил своих жестоких привычек: ловил мышей, покупал на базаре птиц и мучил их — мышей сажал на кол или отрезал голову, а птицам выщипывал перья.

Читатель согласится, что дальнейшая метаморфоза Дракулы в голливудского вампира была понижением в чине, почти что вырождением. Вместе с тем проблема, намеченная анонимным автором «Сказания» в образе румынского воеводы, проблема человеко-дьявола, жестокого и мудрого правителя, искореняющего зло преступлением, идущего по трупам к благой, хотя зачастую и неморальной цели, долгое время оставалась без развития. Только через четыре столетия она получила свое блестящее и наиболее полное литературное выражение. На этот раз прототипом сверхчеловека (автору русской повести о человеко-дьяволе вряд ли понравился бы этот позднейший двусмысленный термин) стал Чезаре Борджа, современник Влада Цепеша.

О том, что именно этот итальянский государь был наиболее удачным воплощением сверхчеловека и прообразом Заратустры, Ницше высказался с полной определенностью: «Слово „сверхчеловек“ для обозначения типа самой высокой удачливости, в противоположность „современным людям“, „добрым“ людям, христианам и прочим нигилистам — слово, которое в устах Заратустры, истребителя морали, вызывает множество толков, — почти всюду было понято с полной невинностью в смысле ценностей, противоположных тем, которые были представлены в образе Заратустры: я хочу сказать, как „идеалистический“ тип высшей породы людей, как „полусвятой“, как „полугений“... Другой ученый рогатый скот заподозрил меня из-за него в дарвинизме: в нем находили даже столь зло отвергнутый мною „культ героев“ Карлейля, этого крупного фальшивомонетчика знания и воли. Когда же я шептал на ухо, что скорее в нем можно видеть Чезаре Борджа, чем Парсифаля, то не верили своим ушам» («Ессе homo»). И ранее, в «По ту сторону добра и зла»: «Мы совершенно не понимаем хищного животного и хищного человека (например, Чезаре Борджа), мы не понимаем „природы“, пока еще ищем в основе этих здоровейших из всех тропических чудовищ и растений какой-то „болезненности“ или даже врожденного им „ада“, как до сих пор делали все моралисты».

Изумление современников Ницше, отказывавшихся видеть за соблазнительной фигурой пророка вечного возвращения столь чудовищный оригинал, легко понять. Напомню, что Чезаре Борджа, герцог Валентинуа, был сыном папы Александра VI, омерзительного старика, возродившего дьявольский карнавал умирающей Римской империи в костюмах и масках католицизма. Во время его понтификата в Ватикане устраивались бесстыдные оргии: на свадьбе его дочери Лукреции перед гостями, среди которых были и кардиналы, плясали пятьдесят обнаженных куртизанок; несколько дней спустя папа попотчевал гостей не менее «благочестивым» зрелищем — разгоряченные жеребцы — преследовали по двору кобылу. Отравления неугодных ему людей стали обычным делом. Даже вспышки его гнева поражали, как гром. Епископ Пезарский и кардинал Чибо умерли от страха по выходе с аудиенции, на которой он угрожал им.

Но сын превзошел отца. Кошунство, ложь, вероломство, кровосмешение, убийство — не было такого преступления, такого смертного греха, который не числился бы за ним. Он разделял с отцом ложе своей сестры, Лукреции, третьего мужа которой он убил собственными руками. Печать Каина дважды легла ему на лоб: он зарезал своего старшего брата, герцога Гандии, и отравил своего двоюродного брата, кардинала Иоанна. Сам



Александр VI трепетал перед ним. Однажды Чезаре убил одного из его любимцев, по имени Перотто, который спрятался от него под мантией папы.

«Каждый день в Риме, — говорит одно венецианское донесение, — оказывается, что ночью было убито четыре или пять синьоров, епископов, прелатов или других особ. И дошло до того, что весь Рим трепещет перед герцогом, каждый опасается за свою жизнь». Дон Жуан де Червильоне не захотел уступить ему свою жену; Чезаре велел обезглавить его посреди улицы, по-турецки: булыжник служил плахой. Какой-то замаскированный человек кинул ему во время карнавала оскорбительную эпиграмму; смельчаку отрубили руку и отрезали язык. За перевод на латинский язык одного греческого памфлета против Борджиев венецианец Ло-ренцо, несмотря на протесты Республики, был кинут в реку. Однажды после ужина герцог облачился в охотничий костюм и приказал привести шестерых заключенных, приговоренных к смерти, на загороженную балками площадь Святого Петра; он сел на коня и затравил эту дичь в присутствии папы, его дочери, зятя и своей любовницы.

Когда было нужно, он умел быть справедливым. После завоевания Романьи Чезаре поручил ее усмирению Рамиро д'Орко, человеку топора и веревки. Рамиро оправдал его выбор и казнями укротил непокорную область. Но этот террор вызвал новую волну ненависти, страна была готова подняться вновь. Чтобы ее успокоить, Чезаре однажды утром показал на центральной площади главного города Романьи тело Рамиро, разрезанное на куски, и окровавленный нож рядом с ним. Это зрелище привлекло к нему Романью, жители которой славил великодушного государя.

Лучшую из своих трагедий — знаменитую Сини-гальскую западню — он имел честь разыграть перед таким разборчивым зрителем, как Макиавелли. Чезаре превзошел самого себя, заманив в капкан четырех самых опасных и самых удачливых своих врагов — кондотьеров Вителли, Орсино, Ливеротто и Гравина. Все они перед тем десять раз испытали лживость его слов; Вителли, прежде чем отправиться в Синигалию, прощался со своей семьей, как обреченный... И тем не менее они поехали туда, как бы усыпленные этим политическим гипнотизером! Чезаре принял их с «очаровательной любезностью» на пороге своего дома и велел проводить их в часовню, где они были немедленно задушены. Александр VI очень смеялся над «четырьмя дураками Синигалии» и говорил, что Бог их наказал за то, что они доверились Валентинуа после того, как клялись никогда ему не доверять.

Внезапная смерть Александра VI вынудила Чезаре покинуть Рим. С этого времени он «начал быть ничем», как сказано о нем в одном современном двустии. С крушением его честолюбивых планов преступления стали ему бесполезны, и он не совершал их больше. Судьба с какой-то безнравственной благосклонностью послала ему (как и Дракуле) смерть солдата.

Герб Чезаре Борджа — дракон, пожирающий змей, — был эмблемой этой эпохи. Вот почему перо Макиавелли, выводя Строки «Государя», дрожало от восторга, как кисть художника, нашедшего идеальную модель. «Обозревая действия герцога, — писал он, — я не нахожу, в чем можно было бы его упрекнуть; более того, мне представляется, что он может послужить образцом всем тем, кому доставляет власть милость судьбы или чужое оружие. Ибо, имея великий замысел и высокую цель, он не мог действовать иначе: лишь преждевременная смерть Александра и собственная его болезнь помешали ему осуществить намерение. Таким образом, тем, кому необходимо в новом государстве обезопасить себя от врагов, приобрести друзей, побеждать силой или хитростью, внушать страх и любовь народу, а солдатам — послушание и уважение, иметь преданное и надежное войско, устранять людей, которые могут или должны повредить; обновлять старые порядки, избавляться от ненадежного войска и создавать свое, являть суровость и милость, великодушие и щедрость и, наконец, вести дружбу с правителями и королями, так чтобы они либо с учтивостью оказывали услуги, либо воздерживались от нападений, — всем им не найти для себя примера более наглядного, нежели деяния герцога».

Восторг Макиавелли, писавшего в период одного из самых кровавых затмений

морального чувства, по крайней мере понятен. Но возрождение в конце XIX века того пафоса, который был искренен в начале XVI, было уже непростительным соблазном. Тем не менее Зарату-стре была уготована долгая жизнь — о нем писали, говорили, ему подражали... Он приобрел мифическую реальность, или, быть может, реальность мифа, он стал чем-то вроде снежного человека, оставившего следы в том или другом столетии.

За сто лет существования этот европейский перс истощил умы критиков и комментаторов своего долголетия. Мне ближе краткое замечание В. Розанова, затерянное где-то в «Уединенном»: «Ницше почтили потому, что он был немец, и притом — страдающий (болезнь). Но если бы русский и от себя заговорил в духе: „Падающего еще толкни“, — его бы назвали мерзавцем и вовсе не стали бы читать». Категоричность последней фразы, боюсь, невозможная в наши дни, вовсе не была претенциозной в начале века. Более того, именно русская литература, которой когда-то первой смутно пригрезился этот мираж человеческого всемогущества, первая и покончила с ним. Уже Достоевский приставил револьвер к виску сверхчеловека, но перед глазами этого духовидца цель двоилась, распадаясь на теоретика и практика (Иван Карамазов — Смердяков, Ставрогин — Верховенский), или самоистреблялась в неприличных для сверхчеловека припадках самоанализа (Раскольников). Между тем для художественного осмысления наступавшей эпохи мировых войн, революций и концлагерей требовалось слить воедино философа и преступника (вроде того, как поступил Альфонс Доде, объединивший в своем Тартарене Дон Кихота и Санчо Панса) и освободить этот гибрид от угрызений совести.

В 1916 году появился небольшой рассказ Бунина «Петлистые уши». Его герой, Адам Соколович, один из тех сверхчеловеков, которые через год в такой изобилии обнаружатся в России, а затем и в Германии, в разговоре со своими собутыльниками, матросами Пильняком и Левченко, высказывает следующие мысли:

" — ...Страсть к убийству и вообще ко всякой жестокости сидит, как вам известно, в каждом. А есть и такие, что испытывают совершенно непобедимую жажду убийства, — по причинам весьма разнообразным, например, в силу атавизма или тайно накопившейся ненависти к человеку, — убивают, ничуть не горячась, а убив, не только не мучаются, как принято это говорить, а, напротив, приходят в норму, чувствуют облегчение, — пусть даже их гнев, ненависть, тайная жажда крови вылилась в форму мерзкую и жалкую. И вообще пора бросить эту сказку о муках совести, об ужасах, будто бы преследующих убийц. Довольно людям лгать, будто они так уж содрогаются от крови. Довольно сочинять романы о преступлениях с наказаниями, пора написать о преступлениях без всякого наказания. Состояние убийцы зависит от его точки зрения на убийство и от того, ждет он за убийство виселицы или же награды, похвал. Разве, например, признающие родовую месть, дуэли, войну, революцию, казни мучаются, ужасаются?

— Я читал «Преступление и наказание» Достоевского, — заметил Левченко не без важности.

— Да? — сказал Соколович, поднимая на него тяжелый взгляд. — А про палача Дейблера вы читали? Вот он недавно умер на своей вилле под Парижем восьмидесяти лет от роду, отрубив на своем веку ровно пятьсот голов по приказанию своего высокоцивилизованного государства. Уголовные хроники тоже сплошь состоят из записей о самом жестоком спокойствии, цинизме и резонерстве самых кровавых преступников. Но дело, однако, не в вырождаках, не в палачах и не в каторжниках. Все человеческие книги — все эти мифы, эпосы, былины, истории, драмы, романы, — все полны такими же записями, и кто же содрогается от них? Каждый мальчишка зачитывается Купером, где только и делают, что скальпы дерут, каждый гимназист учит, что ассирийские цари обивали стены своих городов кожей пленных, каждый пастор знает, что в Библии слово «убил» употреблено более тысячи раз и по большей части с величайшей похвалой и благодарностью творцу за содеянное.

— Зато это и называется Ветхий Завет, древняя история, — возразил Левченко.

— А новая такова, — сказал Соколович, — что от нее встала бы шерсть у гориллы, умей она читать..."

Заканчивается рассказ тем, что Соколович убивает проститутку, — убивает просто так, из потребности убить, из-за того, что «людей вообще тянет к убийству женщины гораздо больше, чем к убийству мужчины». Он не надевает на себя литературно-трагических масок, он откровенен с собой и другими: «Я так называемый выродок. Поняли?»

«Человек — это то, что должно превзойти», — учил Заратустра.

В конце XIX века эти слова имели уже не только этический, но и биологический смысл. Ницше ставил физиологию во главу угла в проблемах духа, однако так и не сумел внятно обосновать физиологическую сторону учения о высшем человеке. Мне кажется, дело здесь вот в чем. Единственный прогресс, доступный виду *homo sapiens*, заключается только в более тонкой организации нервной системы отдельных его особей, позволяющей им терзаться муками совести и чувствовать радость от ощущения духовного родства с себе подобными, именуемого в просторечии любовью.

Всякий иной прогресс позволительно именовать вырождением.

Вырождением в сверхчеловека.

## АПОЛЛОН РАЗОБЛАЧЕННЫЙ

История эта, случись она за четыре-пять столетий до Креста, непременно была бы — с должным почтением к божественному возмездию — упомянута Секстом Эмпириком («Против ученых»), Псевдо-Аристотелем («Об удивительных слухах») или послужила бы Лукиану поводом для зубоскальства в каком-нибудь из его «Разговоров в царстве мертвых»; несомненно также, что названные авторы, равно как и позднеантичные комментаторы и компиляторы, не стали бы злоупотреблять по отношению к герою этой истории легкомысленными выражениями вроде «безвременная кончина» и «трагическая случайность», как это сделали коллеги профессора Якоба Миллера, посвятившие ему в начале августа 1914 года несколько некрологов в ряде немецких и швейцарских газет. В свою очередь, я не вполне уверен в своем праве называть историей события, связанные, по-видимому, лишь временной последовательностью.

Начать, наверное, следует с ноября 1912 года, когда профессор классической филологии Базельского университета Якоб Миллер — автор небезызвестных широкой публике книг «Политеизм у греков» (1898) и «Страдающие боги в языческих религиях» (1907) — невольно обратил внимание на многочисленные не по сезону толпы иностранцев, тревожившие своими возбужденными восклицаниями тихие кафе и улицы города. Нетрудно было догадаться, что речь между ними идет о политике. Заглянув в газеты, Миллер узнал, что в Базеле проводит съезд какой-то II Интернационал, предупреждающий пролетариат Европы об угрозе империалистической войны. Упоминание о войне вызвало у него недоумение и грусть. Всякое проявление грубой силы было ему противно, к тому же, по его мнению, современный этап разгул в христианской цивилизации уничтожил все разумные причины и поводы для военного конфликта между культурными нациями. Правда, будучи истинным гражданином своей страны, Миллер недолюбливал государства с многомиллионным населением и испытывал инстинктивное недоверие к разумности их общественного устройства и политических устремлений. Всем разговорам о социальных реформах и системе европейской безопасности он втайне предпочитал совет Аристотеля: «Сделайте так, чтобы число граждан не превышало десяти тысяч, иначе они не будут в состоянии собираться на публичной площади». Германия менее других европейских стран пробуждала его симпатии. Миллер хорошо знал и с удовольствием посещал Флоренцию, Венецию, Афины; в Берлин или Лейпциг он ездил неохотно и только по делам. Труды своих немецких коллег он ценил не очень высоко; перспектива германизации Европы ужасала его.

После лекций он поделился своими тревогами с профессором Готфридом Герсдорфом, медиевистом. Герсдорф был немец, что не мешало Миллеру в течение последних семи лет (с тех пор, как они сошлись) предпочитать его беседу любой другой. Их тревожили одни и те же вопросы: каким путем пойдет дальше культура, сумеет ли Европа сохранить и передать

будущему хрупкую и столь часто искажаемую красоту, завещанную ей Атикой и Тосканой?

Они поднялись на облюбованную туристами террасу между красным каменным собором и Рейном. Простое, ничем не примечательное здание университета находилось совсем близко, на склоне между музеем и рекой. Глядя вниз, на холодные волны реки, еще недалеко от верховья, но уже полноводной и шумной, Герсдорф сказал:

— Как человек я разделяю ваше отвращение к войне, но как мыслитель я не могу не признать, что война будит человеческую энергию, тревожит уснувшие умы, заставляет искать цели этой и без того слишком жестокой жизни в царстве мужественной красоты и чувстве долга. Лирические поэты и мудрецы, не понятые и отвергнутые толпой в годы мира, побеждают и привлекают людей в годы войны: люди нуждаются в них и сознаются в этой нужде. Необходимость идти за вождем заставляет их прислушиваться к голосу гения. Только война способна пробудить в человечестве стремление к героическому и высокому. Может быть, будущая война преобразит прежнюю Германию. Я вижу ее в своих мечтах бо— ч лее мужественной, обладающей более тонким вкусом.

— Нет, — отвечал Миллер, — вы все время думаете о грехах и итальянцах, в характере которых война действительно воспитывала добродетель. Но современные войны слишком поверхностны и потому бессильны нарушить рутину буржуазного существования. Они случаются слишком редко, впечатление от них быстро сглаживается, мысли людей не останавливаются на них. Ужас и страдания, причиняемые ими, носят слишком животный характер, чтобы высокоразвитая философия или искусство могли извлечь из них что-то новое, что-то ценное.

— И все же, — сказал Герсдорф, — я смотрю в будущее с надеждой: мне кажется, я вижу в нем черты видоизмененного средневековья. — Затем, немного помолчав, он предложил Миллеру провести этот вечер у него, поскольку он «ожидает сегодня нескольких своих друзей», и в их числе Поля де Сен-Лорана, возвращающегося в Париж из поездки по Греции и Италии.

Имя этого сравнительно малоизвестного французского критика Миллеру было знакомо. Его фельетоны, разбросанные по страницам «La Press», «Journal de Debat» и некоторых других парижских изданий, производили на Миллера странное впечатление. Критический метод Сен-Лорана казался ему причудливым до извращенности, совершенно непозволительным для исследователя распутством мысли. Сен-Лоран совершенно пренебрегал логическими доводами. Казалось, что, говоря о каком-нибудь авторе или отдельной книге, он старался вначале составить себе о них общее впечатление, которое потом воспроизводил образами, картинками, красочными и пышными уподоблениями, размышлениями, критическими отступлениями и сплошь да рядом просто красноречивыми восклицаниями. Его стиль раньше утомлял глаза, чем мозг, и, однако, Миллер испытывал при чтении его фельетонов некое одурманивающее наслаждение. В руке Сен-Лорана перо превращалось в кисть живописца, которой он пользовался умело и порою блестяще. Античность и Ренессанс, религия и философия, боги и люди, бесчисленные и многообразные образы прошлого получали свое чеканное отображение в статьях этого взыскательного эстета, небрежно рассыпавшего их по страницам газет и журналов, где они соседствовали с объявлениями и политическими пасквилями. Его произведения напоминали Миллеру кабинет редкостей или залы Лувра, а сам Сен-Лоран представлялся ему каталогизатором, перебирающим холодными, бесстрастными пальцами драгоценные камни разных эпох.

На деле Сен-Лоран оказался весьма живым, артистически растрепанным молодым человеком, похожим в своем сияющем беспорядке на вдохновенных юношей с полотен Ренессанса. Он говорил только о Греции и Италии. Сообщая всем свои литературные планы, он поведал о дерзком желании описать метопы <sup>21</sup> Парфенона и с отчаянием жаловался, что

---

<sup>21</sup> На девятости двух метопах (каменных плитах над ордерами колонн) Парфенона представлены сцены гигантомахии, кентавромахии и амазономохии, а также отдельные сюжеты из Троянской войны и жизни Эрихтония (царя Афин, сына Гефеста)

во французском языке нет слов достаточно священных, чтобы описать эти торсы, «в которых божественность пульсирует подобно крови». «О Парфенон! Парфенон! — повторил он несколько раз. — Это слово преисполняет меня ужасом Священных Рощ!» Затем он обрушился на христианство, «одевшее в монашескую сутану мир, который во времена древних греков был ярким, красочным и полным жизненных соков».

— Боги Олимпа вечно юны, прекрасны и жизнерадостны! — с жаром восклицал Сен-Лоран. — Когда я произношу их имена — Аполлон, Венера, Пан, — перед моим взором встает ясный полдень, гиацинты и фиалки на склонах холмов, я слышу журчанье прозрачного ручья и смех загорелых юношей и девушек, купающихся в холодных водах горной речки. Но вот приходит Христос... И тут оказывается, что мир полон больных, нищих, убогих, отовсюду тянущих к радостной юности свои иссохшие, покрытые язвами и проказой руки, чтобы оборвать ее смех и заставить ее видеть только их, думать только о них... Это из-за Него люди больше не могут бездумно восхищаться великолепием бытия и воспевать солнце и красоту. Это из-за Него опустели и лежат ныне в развалинах храмы, где человек поклонялся здоровью, цветущей силе и красоте. Я не понимаю, как люди могли отречься от Красоты и предпочесть ей религию страдающий плоти! Христианин — это мумия, спеленутая в сутану, его молитвы, посты и мораль — это духовная и телесная гигиена трупа. Посмотрите на наших мужчин и женщин, подставляющих свои рыхлые, бледные, покрытые прыщами тела лучам солнца на каком-нибудь пляже Ниццы — лучшего довода против христианства не существует! Оно привело к деградации человечества. Кто хоть раз воочию видел божественную соразмерность пропорций Аполлона Бельведерского или Венеры Милосской, тот уже не сможет без отвращения смотреть на распятие. С чистым сердцем можно поклоняться только прекрасному, только Солнцу и Любви!

— Я искренне восхищаюсь чистотой форм Аполлона Бельведерского, — рискнул вставить Миллер, — но если вы захотите, чтобы я перед ним преклонялся, то, боюсь, я не увижу в нем ничего, кроме куска мрамора.

— Вы не верите в божественность Аполлона? — воскликнул Сен-Лоран. — Но попробуйте распять Солнце, и вы увидите, кто истинный Бог!

Миллер пожал плечами, и на этом, говоря коротко, беседа закончилась.

Разговор с Сен-Лораном навел его на размышления о порочной тенденции науки (не говоря уже об искусстве) последних лет вживлять античную мифологию в живую плоть современности, претворять образы древности, ее религию и культуру из объекта отвлеченного эстетического созерцания или историко-филологического анализа в факт внутреннего переживания. Результатом этих опытов, по мнению Миллера, была не новая крупица знания, а новая мифология — мифология мифа. Его возмущение вызывал и воинствующий *Prugelknabenmethode* <sup>22</sup>, на котором строили свои исследования авторы подобных сочинений, избирающие, как правило, на роль *Prugelknaben* если не самого основателя христианства, то на худой конец кого-нибудь из отцов церкви или великих схоластов.

В качестве скромного протеста против зазорного неопаганизма <sup>23</sup> своих современников Миллер принялся писать книгу, озаглавленную им подчеркнуто нейтрально: «Образ Аполлона в его историческом развитии». Тщательно избегая любых оценок, выходящих за рамки чисто научного комментария, он проанализировал все известные тексты, относящиеся к этому божеству. Ни один древнейший текст не свидетельствовал об Аполлоне как о солнечном боге. Хеттский Апулунас был богом ворот и хранителем дома, а его имя находилось в явном родстве с вавилонским словом «*abullu*» — «ворота». Его изображали в виде камня или столба, что подтверждает и Павсаний в своем описании

---

<sup>22</sup> Буквально: метод «мальчика для битья» (нем.)

<sup>23</sup> Неопаганизм — «новое язычество» (от лат. «*paganus*» — «язычник»)

святилища Аполлона в Амиклах: «Если не считать того, что эта статуя имеет лицо, ступни ног и кисти рук, то все остальное подобно медной колонне». Кроме того, мифы об Аполлоне обнаруживали его связь с культом лавра (любовь к Дафне <sup>24</sup>), кипариса (любовь к юноше Кипарису), плюща (эпитет «Плющекудрый») и волка (Аполлон Ликейский, от «lyceios» — «волчий»). Само имя этого бога, негреческое по своему происхождению, было непонятным для греков и ассоциировалось ими с глаголом «apollyien» — «губить». Аполлон у Гомера — это «deimos theos», «страшный бог», который «шествует, ночи подобный», безжалостный «друг нечестивцев, всегда вероломный». Порфирий прямо называет его богом подземного царства, губителем. Это бог-разрушитель, профессиональный убийца, стреляющий без всякой цели своими смертоносными стрелами в людей и животных. Все древнейшие тексты говорили об ужасе, который испытывали перед ним природа, люди и даже боги. Земля, трепеща перед еще неродившимся Аполлоном, не принимает Латону, его мать, когда она, будучи беременной, скитается в образе волчицы, ища места, где бы она могла разрешиться от бремени. Гомеровские гимны утверждают:

По лому Зевса пройдет он, — все боги и те затрепещут. С кресел своих повскакавши" стоят они в страхе, когда он Ближе подступит и лук свой блестящий натягивать станет.

Ватиканские мифографы именуют Аполлона титаном: «Он один из тех титанов, которые подняли оружие против богов». Да и внешне он представлялся грекам совсем не таким, каким его позже изобразил Леонардо, автор Аполлона Бельведерского. Спартанский историк Сосбий еще в IV веке до н. э. сообщал: «Никакой Аполлон не является истиннее того, которого лакедемоняне соорудили с четырьмя руками и четырьмя ушами, поскольку таким он явился для тех, кто сражался при Амиклах». Анализ более поздних источников показывал, что идеализация Аполлона началась с Еврипида и завершилась в эпоху упадка и разложения мифологии и язычества, когда греческие и римские интеллектуалы стремились сделать древних богов более привлекательными для образованных людей. Тогда наследники орфической и пифагорейской традиций отождествили его сначала с Гелиосом-Солнцем, а затем и с Дионисом, который стал означать Аполлона, находящегося в нижней, ночной, полусфере небес.

Миллер закончил книгу весной 1914 года; в начале лета она была издана за счет университета. Один экземпляр он отослал Сен-Лорану и в конце июля получил от него сумбурное письмо. "Вы осмелились отрицать солнечное происхождение Аполлона — берегитесь! — писал Сен-Лоран. — Не вы первый вступили в соперничество с его божественной кифарой, вспомните о содранной коже Марсия. Все же я прочел вашу книгу с удовольствием, с научной стороны она безупречна. Я могу лишь воскликнуть вслед за Бодлером, перед которым один его гость небрежно уронил статуэтку африканского божка: «Осторожнее! Откуда вы знаете, может быть, это и есть настоящий Бог!»

Миллер читал эти строки утром 28 июля в Турине, куда он уехал отдыхать после окончания семестра. Днем, страдая от духоты в меблированных комнатах, снятых им на лето, он вышел побродить по берегу По и упал прямо на мостовую неподалеку от церкви Сан-Лоренцо. Врачи констатировали смерть от солнечного удара.

Похороны Миллера взял на себя Базельский университет. Покойному было пятьдесят два года; его жена умерла четыре года назад, — других родственников у него не было.

## ЗАБЫТЫЕ ИСТОРИИ

### ПОВЕСТЬ О КОРОЛЕ РОДРИГО

---

<sup>24</sup> Имя нимфы Дафны, в которую влюбился Аполлон, означает «лавр»

Спустя полвека после смерти Мухаммеда <sup>25</sup> арабское войско, посланное халифом возвестить слово пророка народам, живущим к западу от Дамаска <sup>26</sup>, завоевало Мавританию и вышло к Атлантическому океану. Взрывая копытами тонконогих аравийских коней прибрежный песок, белый, как морская соль, всадники гарцевали на берегу, вглядываясь в голубовато-белесую даль — туда, где, по словам местных рыбаков, находилась Испания, могущественное королевство готов <sup>27</sup>.

До сих пор ни одно царство не устояло против сынов истины, и казалось, близок к концу великий джихад — священная война мусульман против иноверцев. Но разве есть под солнцем что-нибудь великое, что не было бы малым перед очами Всевышнего? Чем может гордиться человек перед могуществом дел Его? Самое большое царство — лишь родимое пятнышко на лице земли, и не длиннее одной человеческой жизни великий джихад.

Думая об этом, старый асхаб <sup>28</sup>, предводитель войска, все больше омрачался лицом. Прохладный бриз вздувал складки его бурнуса, конь под ним нетерпеливо позвякивал уздечкой; за его спиной воины гадали, зачем Господь положил предел победоносному бегу их коней, а он все смотрел на море, словно ожидая, что волны расступятся перед ним, как некогда перед пророком Мусой <sup>29</sup>.

Наконец он тронул поводья и, заведя коня по горло в воду, воздел руки:

— Господи, будь свидетель, что я не могу идти дальше, но если бы море не помешало, то я бы не остановился до тех пор, пока не заставил все народы земли признать Твои заповеди!

Испания виделась арабам благодатной землей, где по берегам полноводных рек стоят богатые города, окруженные тенистыми кущами гранатовых, оливковых, лимонных рощ. И отделяли ее от Африки всего каких-нибудь пятнадцать миль! Но даже когда у арабов появился флот, переправиться на полуостров им мешала неприступная крепость Тарифа. Древние стены ее высились на горе, в том месте, которое многие христиане по привычке называли Геркулесовыми столпами, а арабы — Джебель ат-Тариф, то есть «горой Тарифа» (в европейском произношении это сочетание превратилось в Гибралтар).

В начале VIII столетия сеньором Тарифы был граф Хулиан, принадлежавший к старинному знатному роду. Хулиан был уже стар, но по-прежнему горд и никому не прощал обид. Будучи полным господином в своих владениях, он правил независимо и сурово. Его тело было испещрено шрамами и рубцами, слава и заслуги его были известны всему королевству, однако случилось так, что среди людей имя «Хулиан» стало означать «предатель».

Королем Испании в то время был Родриго, правитель храбрый и благочестивый, но укушенный страстями. Имея властолюбивый нрав, он не терпел противодействия ни в государственных делах, ни в личных прихотях. Но если в первом случае ему приходилось иногда сдерживать себя, то во втором он проявлял полную необузданность.

Однажды, проезжая со свитой по владениям графа Хулиана, король остановился в его родовой усадьбе. Гостей встретила прекрасная Ла Кава, дочь графа. Юная красавица жила

---

<sup>25</sup> Основатель религии ислама Мухаммед умер в 632 году

<sup>26</sup> Дамаск был столицей халифов из династии Омсйядов (661 — 750)

<sup>27</sup> Так называемое королевство вестготов в Испании существовало с V в. и было завоевано арабами в 711 — 718 гг

<sup>28</sup> Асхаб (араб. — сподвижник) — любой мусульманин, который общался с Мухаммедом или просто видел его. Асхабы составляли костяк арабской армии

<sup>29</sup> Муса — упоминаемый в Коране как пророк и посланник Аллаха, библейский Моисей

уединенно, окруженная девушками-наперсницами и немногочисленной челядью. Хулиан, тревожась за ее честь, считал необходимым держать ее подальше от людских взоров. Но звуки королевского рога открывают любые ворота. Родриго был очарован свежим благоуханием, исходящим от расцветающей красоты молодой затворницы. Он провел вечер в приятной беседе с ней и лег спать с хорошо знакомым томлением в груди.

Наутро, проснувшись ранее обычного, король отправился побродить по саду в ожидании завтрака. Все вокруг было объято негой этого утреннего часа. В густой прохладной траве еще кое-где горели крупными алмазными звездами капли росы; темная зелень деревьев была пропитана солнечным светом, который струился вниз, на землю, переливаясь световыми пятнами в листве, охваченной блаженной дрожью от едва заметного дуновения ветерка. Где-то наверху, в ветвях, невидимые для глаз, с ленивой оттяжкой звонко перещелкивались проснувшиеся птицы, наполняя сад мелодичным хаосом своих трелей. А еще выше какой-то невозможной, неправдоподобной голубиной сияло небо, наполняя душу нестерпимым восторгом жизни. Сейчас, в этом саду, счастье казалось таким полным, что Родриго почти забыл свою вчерашнюю влюбленность.

И вдруг он увидел, как из дверей боковой башни усадьбы выходит Ла Кава вместе со своими девушками. Весело переговариваясь и смеясь, они направились к тенистой лужайке в глубине сада. Родриго, не слишком таясь, последовал за ними. Под сенью пышных миртов и виноградной листвы девушки поставили на землю для Ла Кавы низкую скамеечку с бархатной подушкой, а сами расположились вокруг нее, расстелив на траве небольшие коврики. От внимания Ла Кавы не укрылось то, что за ней наблюдают, и девичье лукавство толкнуло ее на маленькую шалость. Она велела одной из девушек выплести ленту из косы и обмерить ею всем стопы. Девушки с живостью приняли участие в этом опасном для самолюбия соревновании. Задрав юбки и сбросив на землю туфельки, они, в ожидании своей очереди, нетерпеливо потрясали в воздухе очаровательными ножками-стрелками, туго обтянутыми белыми, розовыми, голубыми чулками. Последней дала себя обмерить Ла Кава, и оказалось, что столь миловидной и изящной ножки нет ни у кого. Ла Кава бросила торжествующий взгляд в ту сторону, где, укрывшись за деревьями, стоял Родриго, и крикнула, указывая на него:

— А вон и судья нашего состязания!

Увидев короля, девушки вскочили и, схватив коврики, с визгом и смехом побежали к усадьбе. Вместе с ними скрылась и Ла Кава. А Родриго остался стоять у дерева, охваченный столь сильным желанием, что с трудом переводил дыхание. Сад по-прежнему дышал дивным умиротворением, но король чувствовал себя Адамом, изгнанным из рая.

День показался ему бесконечным, он едва дождался вечера. Тогда, призвав Ла Каву в свои покои, король сказал:

— Сегодня жизнь постыла мне, прекрасная Ла Кава, столь сильна моя любовь к тебе! Если ты мне дашь спасение, то я ничего не пожалею для тебя. Если нужно, я готов принести корону на твой алтарь.

Говорят, Ла Кава сердилась и ничего не отвечала королю на его уговоры, и тогда Родриго, забыв обо всем, силой обрел то, о чем сначала просил столь смиренно.

Опомнившись, Родриго стал раскаиваться в содеянном. Но что раскаяние! Нести кару за безумную страсть короля пришлось всей Испании. Божий суд над ним свершился скоро, а людской не .окончен до сих пор. Кто виноват в постигших страну бедах? Люди судят по-разному: женщины во всем винят Родриго, а мужчины — Ла Каву.

Ла Кава была безутешна. В жестокой печали она послала письмо отцу с известием о нанесенном ей бесчестье. Граф Хулиан, читая эти горькие строки, рвал на себе седые волосы и клял судьбу, что с таким холодным безразличием карает величие и благородство. В диком исступлении бросал он страшные кощунства Небу — свидетелю его позора, забывшему о милосердии и защите, и сетовал на свою старческую немощь, мешающую ему отомстить нечестивцу. Когда же он выплакал все слезы и холодная злоба прояснила его разум, он сказал себе: «О, наш безрассудный король! Ты оскорбил мой старинный род; ослепленный



страстью, надругался над красотой моей дочери и моей честью, не предвидя за это расплаты. Но даст Бог, я отплачу тебе, не взыщи. К высшему правосудию взываю я. Если сам король бесчестен, что взять с подданных? Слава Небу! За неистовства владыки заплатят невинные. Великий позор ждет страну, вся Испания должна превратиться в руины — только так могу я насытить свое сердце мщением. Видит Бог, если бы я мог, я бы не стал губить столько жизней, а отомстил одному моему обидчику. Но иной жребий выпал мне. Небо, Небо! Только ты все взвесишь и всем воздашь за могилой. Так взгляни на горе старца, пожалей и помилуй его».

Хулиан призвал арабов на родную Испанию, пообещав им открыть ворота Тарифы. И скоро тридцать тысяч гази <sup>30</sup> во главе с полководцем Мусой высадились на испанском берегу. Хулиан сдержал обещание. Тарифа пала. Руины, кровь и пепел остались на месте грозной крепости.

Мусу не страшила ни сила кафиров <sup>31</sup>, ни огромные размеры их страны. Он был готов немедленно идти в глубь Испании, но граф Хулиан посоветовал ему дожидаться войска Родриго на равнине возле города Херес-де-ла-Фронтера, где арабская конница получала преимущество над готами, чью главную силу составляла пехота.

Родриго прибыл на битву с отборным войском и искуснейшими полководцами. Семь дней подряд противники с утра сходились в беспощадной схватке, а к вечеру ни с чем возвращались каждый в свой лагерь. К исходу седьмого дня и тех и других одолели сомнения, и воины больше не верили в победу. Тогда Муса сказал своим гази:

— Всемогуц и милосерден Господь в славе девяноста девяти прекрасных имен своих. Я молился Всевышнему, и Он услышал меня. Он сокрушил ребра врагов и сделал сердца их как воск; жилища их, имущество их, жен и дочерей их отдал Он в руки правоверных. Мученикам же, павшим в битвах и похороненным без омовения и молитвы, Он открыл двери джанната <sup>32</sup>, обители мира, садов вечности. И нет участи слаще и завиднее этой! Под престолом Господа возлежат они в богатых одеждах на ложах расшитых, в благодатном саду, где текут реки из молока, вкус которого не меняется, и реки из вина, приятного на вкус, и реки из меду очищенного. И прислуживают им мальчики вечно юные, и ласкают их жены черноокие, большеглазые, подобные жемчугу хранимому, которых не коснулся от века ни человек, ни джинн.

Родриго же нечего было сказать воинам, потому что каждый знал о бесчестье, нанесенном им графу Хулиану. И король, видя бедствия, которые он навлек на Испанию, искал уже не победы, а смерти. Поэтому, когда на следующий день сражение возобновилось, готы не выдержали натиска. Их знамена были повержены, и лагерь захвачен. Великое множество христиан покрыло своими телами равнину. На поле боя был пойман и любимый конь короля без седока. Родриго сочли убитым, и никто не пожалел о нем.

Здесь историк должен отложить перо в сторону — хронисты умалчивают о дальнейшей судьбе злосчастливого короля. Народные же романсы говорят следующее.

Весь день Родриго неистово бился с врагами в самой гуще схватки. Его доспехи были забрызганы вражеской кровью, меч зазубрился, шлем от многих ударов лопнул, и забрало, согнувшись, вонзилось в лобную кость. Но смерть бежала от него, как он ни преследовал ее. Наконец, сбитый с коня, он кое-как выбрался из толпы сражающихся и взобрался на холм. Здесь усталость, голод и жажда совсем сломили его. Родриго присел на камень и окинул равнину взглядом, полным печали. Еще никогда ему не приходилось видеть такого

---

<sup>30</sup> Гази — участник джихада

<sup>31</sup> Кафир — «неверный», немусульманин

<sup>32</sup> Джан Нат (мн. число от араб, «джанна») — рай по верованиям мусульман; в переводе это слово значит «сады»

кровопролития. Трупы его воинов лежали, как снопы на хорошо сжатом поле, их телами были запружены ручьи, — уцелел едва ли один из десяти. Королевские знамена — олицетворение добытой веками славы — были постыдно втоптаны в грязь самими бегущими. «О, моя Испания!.. Погибла!» — прошептал король и содрогнулся от мысли, что он сам сотворил все это.

Родриго поймал чужого коня, бродившего поблизости, и, отпустив поводья, поехал, не разбирая дороги, убитый горем. Весть о его гибели и о поражении войска уже разнеслась по окрестностям. На распутьях король видел толпы крестьян и пастухов, спешащих укрыться за укреплениями городов. Все они, рыдая, молили Бога о спасении христиан и громко проклинали Родриго и Хулиана. Король, опустив голову, спешил проехать мимо, не смея даже попросить этих людей молиться за него.

Томимый глухой тоской, он ехал вперед без всякой цели, углубляясь все дальше в неприступные горы. Тучи клубились в мрачных ущельях, крутая тропинка терялась среди камней, и скоро конь и всадник совсем выбились из сил. К счастью, впереди показалась лужайка, на которой Родриго увидел две дюжины овец и старого пастуха. «Вот и все, что осталось мне от моего королевства», — подумал Родриго и, подъехав к пастуху, молвил:

— Сегодня король погубил страну. Спасайся, старик, и помоги мне в моей беде, укажи путь к жилью.

— Эти горы пустынные, — ответил старик. — Здесь нет ни замка, ни дома, один только бедный скит стоит высоко в горах. Там живет столетний отшельник, святой человек...

«Спасибо, Господи, ты вразумляешь меня. Там закончу свой грешный век», — подумал Родриго.

— Нет ли у тебя чем подкрепить мои силы? — вслух сказал он.

Пастух развязал котомку и вынул краюху хлеба и кусок мяса — все, что, имел. Он разделил их пополам и половину протянул королю. Родриго с жадностью набросился на еду. Но мясо было столь жилистым, а хлеб так темен и сух, что король, вспомнив былые пиры, не смог удержаться от рыданий... Выронив пищу из рук, он снял с себя цепочку и перстень и протянул пастуху:

— Возьми от меня в подарок эти вещи и покажи мне дорогу в скит.

С этими словами Родриго снова вскочил в седло.

— Ты хороший человек и платишь как король, — сказал удивленный пастух. Он рассказал, как проехать в скит, и простился с Родриго.

Бывший король поехал дальше. Быстро темнело, конь спотыкался на каждом шагу и испуганно храпел. Родриго пришлось отпустить его и продолжить путь пешком. Солнце совсем скатилось за тучи, и последний отблеск погас в небе, когда он увидел на одном из уступов пещеру в скале. По вкопанному перед входом деревянному кресту Родриго понял, что достиг цели.

Он кликнул отшельника, но никто не отозвался. Родриго вырвал пук мха между камнями, высек огонь и вошел в пещеру — она оказалась пустой. В одном углу лежала охапка истлевшей соломы; перед ней стояла лампада, в которой давно высохло масло. В другом ужасной чернотой зияла открытая могила. Посветив в нее, Родриго увидел остов отшельника и на нем почерневшее серебряное распятие. Каменная плита была слегка надвинута на могилу, — видно, у отшельника не хватило сил накрыться ею.

Горько зарыдал Родриго, видя, что некому исповедать его и отпустить грехи. Опустившись на колени, он молился всю ночь, а с первым лучом солнца лег в могилу рядом со старцем и накрылся плитой.

И в тот же день над испанской землей поплыл колокольный звон: Господь принял душу покаявшегося.

## **РИЧАРД ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ**

Единственное оправдание войны состоит в героизме. Войны давно бы прекратились,

если бы изредка не являли поразительных примеров величия человеческого духа, если бы наряду с утолением жажды насилия, крови и разрушения множество людей не чувствовали потребности через ярость, преступление, боль, лишения и смерть испытать пьянящую радость служения долгу и истине, высокой цели, дающей смысл личному существованию. Герой умеет забывать о себе, вот почему у всех народов воин окружен священным почитанием вместе с монахом, влюбленным и поэтом. Героизм, вера, любовь и поэзия — четыре сладостных источника великого забвения человеком самого себя.

Энергия самоутверждения в людях Средневековья была такова, что для достижения состояния жертвенного опьянения им приходилось черпать сразу из нескольких этих источников. Священник надевал поверх сутаны латы и садился на коня, чтобы преломить копье во славу Господа; влюбленный отправлялся в Святую землю по первому слову своей дамы; рыцари образовывали монашеские ордена; поэты сопровождали армии в их бесконечных скитаниях по дорогам и волнам Средиземноморья. Это бродячее общество святых насильников и преступных мучеников, просуществовавшее около двухсот лет, носило название Воинства Христова и было одной из самых удивительных форм объединения людей. Его энтузиазм, уже непонятный нам, умел не отделять истории от вечности и не признавал действительность силой, готовой в любую минуту сокрушить как плоть, так и дух человека.

Крестоносцы остро ощущали общечеловеческую (хотя и неизвестную многим) потребность в двух роинах: одной — той, что дана нам при рождении, и другой — которую человеку предстоит обрести или завоевать. Состояние умов и исторические обстоятельства обусловили то, что акту завоевания был придан простейший смысл — географический. Любовь к ближнему не была отличительной чертой паладинов Креста; звезда Вифлеема освещала им дорогу другой любви — любви к дальнему.

Ричард Львиное Сердце — один из тех героев рыцарства, кто в нашем представлении вечно движется по тому пути, который средневековые хронисты называли «*her transmarinus*» и «*Via Sacra*»<sup>33</sup>. Его имя вызывает, как звук сказочного рога, целую вереницу видений: роскошные города, раскинувшиеся среди песчаных пустынь Святой земли, лихие сшибки с легучими всадниками благородного Саладина, звон мечей, бряцание сабель... Между тем его восточная эпопея продолжалась едва ли два года; остальные тридцать восемь лет своей жизни (за вычетом двухлетнего плена у германского императора) он провел преимущественно во Франции. Вообще многое в судьбе Ричарда, в самом его характере оставляет впечатление какой-то обманчивости, недосказанности, загадочности. Уже современные ему биографы оставили нам всю гамму самых разноречивых и порой противоположных оценок его личности. Одни рисуют его силачом и красавцем, другие — немощным и бледным выродком; одни — жадным и жестоким, другие — великодушным и щедрым; одни — образцом государя, другие — коварным предателем; одни — Божьим паладином, другие — исчадием ада. Трудно даже с достоверностью указать, к какой нации принадлежал Ричард. Он родился в Оксфорде, но вырос и воспитывался в Аквитании, жители которой не считали себя французами (впрочем, как и обитатели Нормандии, Бретани, Анжу, Лангедока и других областей, не входивших в королевский домен). В нем смешались северная, норманнская, и южная, гал-льско-латинская, расы<sup>34</sup>. Своеобразием своей личности Ричард во многом обязан этому причудливому смешению кровей своих предков.

---

<sup>33</sup> По-латыни соответственно «путь за морс» и «священная лощина»

<sup>34</sup> В 1066 г. нормандский герцог Гильом (Вильгельм) Незаконнорожденный, вассал французского короля, победил англосаксонское войско при Гастингсе и завоевал Англию, которая официально стала достоянием французской короны. Его правнучка Матильда отдала свою руку вместе с правами на английский и нормандский престолы анжуйскому графу Жоффруа Плантагенету. Их сын Анри (Генрих) II, отец Ричарда, женился на Элеоноре Аквитанской. Таким образом, План-тагенеты, оставаясь вассалами французского короля, владели Англией и двумя третями Франции

От отца он унаследовал могучую фигуру, золотисто-рыжие волосы и нрав викинга. Искусство войны Ричард изучил в совершенстве. Юного принца окружали люди вроде одного отважного рыцаря, который, получив в пылу боя удар мечом, сплюснвший ему шлем, выбежал из рядов, домчался до кузницы, где, положив голову на наковальню, дождался, пока кузнец молотом выпрямил ему шлем, после чего поспешил вновь принять участие в сражении. Этот двор имел своих поэтов, вдохновлявшихся, подобно скальдам, только при звоне мечей и столах умирающих. Трубадур Бертран де Борн был просто влюблен в Ричарда, которому дал прозвище «мой Да и Нет». «Вот подходит веселая пора, — поется в одной из его песен, — когда причалят наши суда, когда придет король Ричард, доблестный и отважный, какого не бывало еще на свете. Вот когда будем мы расточать золото и серебро! Вновь воздвигнутые твердыни полетят к черту, стены рассыплются, башни рухнут, враги наши узнают цепи и темницы. Я люблю путаницу алых и лазурных щитов, пестрых значков и знамен, палатки в долине, ломающиеся копья, пробитые щиты, сверкающие, продырявленные шлемы и хорошие удары, которые наносятся с обеих сторон... Я люблю слышать, как ржут кони без всадников, как кучами падают раненые и валятся на траву мертвые с пронзенными боками».

Ричард был, несомненно, и сложнее, и умнее этих и подобных им вояк, он умел проявлять как миролюбие и справедливость государя, так и милосердие христианина. Иногда «суровость его смягчалась», — свидетельствует Геральд Камбрезийский. «И однако же, — продолжает хронист, — кто усвоил известную природу, усвоил и ее страсти. Подавляя яростные движения духа, наш лев, — и больше, чем лев, — уязвлен жалом лихорадки, от которой и ныне непрерывно дрожит и трепещет, наполняя трепетом и ужасом весь мир».

Буйная порода старшего Плантагенета, убийцы Фомы Бекета <sup>35</sup> и беззастенчивого распутника, узнается и в неумной *luxuria* <sup>36</sup> Ричарда, и в его своеобразном вольнодумстве. Первое особенно раздражало мирян, второе священников. «Он похищал жен и дочерей свободных людей, — говорит хронист, — делал из них наложниц». Однако, в отличие от своего отца, Ричард знал и сильное чувство. Наваррская принцесса Беран-жера долгое время владела его сердцем. «Это была благонравная девица, милая женщина, честная и красивая — без лукавства и коварства, — пишет поэт Амбруаз, самый верный и доброжелательный биограф Ричарда. — Король Ричард очень любил ее; с того времени, как был графом Пуатье, он томился по ней сильным желанием». С согласия ее отца Беранжера сопровождала Ричарда в его походе в Святую землю. Что касается вольнодумства, то оно лишь выражало общую мятежность его натуры и было скорее инстинктивным, чем осознанным, хотя порой Ричард отпускал шуточки прямо-таки мефистофелевского толка. Особое смущение у служителей церкви вызывали его кощунства и брань. Геральд посвятил его ругательствам целый параграф в своей книге «О воспитании государя», где после похвал благочестивым манерам французских королей и принцев он с неодобрением говорит о богохульствах *principes alii* <sup>37</sup>, подразумевая при этом Ричарда: «В своей речи они непрерывно прибегают к ужасным закланиям, клянутся божьей смертью, божьими глазами, ногами, руками, зубами, божьей глоткой и зобом божьим». Впрочем, дальше Геральд хвалит его за религиозное воодушевление, с каким Ричард принял крест воина Христова, и только с сожалением замечает, что у короля нет ни капли смирения и что он был бы всем хорош, если бы больше полагался на Бога и меньше верил в свои силы, чистой душой обуздав стремительность своих желаний и свою надменность. Без сомнения, Ричард был скорее свободной душой, нежели свободным умом, и его кощунства вполне соответствуют нравам той эпохи, знавшей

---

<sup>35</sup> Бекет Фома (1118 — 1170) — архиепископ Кентерберийский и канцлер Англии

<sup>36</sup> Сладострастие (лат.)

<sup>37</sup> Других государей (лат.)

такие торжества, как «Праздник осла» — пародийную литургию с текстами из Священного Писания, которые завершались ослиным ревом, издаваемым священником в унисон с толпой прихожан.

Норманнское неистовство в характере Ричарда несколько смягчалось влиянием его матери, Элеоноры Аквитанской, наследницы целой династии трубадуров. Она была внучкой Гильома IX Аквитанского, открывшего своими песнями век миннезанга. Он побывал в Иерусалиме, где «претерпел бедствия плена», но, как «человек веселый и остроумный», повествует хронист, он «пел о них забавно в присутствии королей и баронов, сопровождая пение приятными модуляциями». Его галантное жизнелюбие простиралось так далеко, что он серьезно собирался основать около Ниора женский монастырь, где сестрам вменялся бы в послушание устав сердечных радостей. Прекрасная Элеонора могла бы стать подходящей настоятельницей этой обители. Французский юг культивировал тогда удивительную форму куртуазной любви. "Любовь, — пишет Стендаль, — имела совсем особую форму в Провансе между 1100 и 1228 годом <sup>38</sup>. Там существовало твердое законодательство касательно отношений между полами в любви... Эти законы любви прежде всего совершенно не считались со священными правами мужей. Они не допускали никакого лицемерия. Принимая человеческую природу такой, как она есть, законы эти должны были давать много счастья". Допуская большую свободу в делах любви, кавалеры и дамы в спорных вопросах морали и права полагались на решения судов любви. «Когда они не могли прийти к соглашению, — пишет Иоанн Нострадамус, автор „Жизнеописаний провансальских поэтов“, — тогда их посылали для окончательного решения к знаменитым дамам-председательницам, которые руководили публично разбором дел в судах любви в Сине и в Пьерфе, или в Рвманене, или в других местах, и выносили приговоры...» Вот достопамятный приговор одного из таких судов любви. На вопрос: «Возможна ли истинная любовь между лицами, состоящими в браке друг с другом?» — суд под председательством графини Шампанской вынес решение: «Мы говорим и утверждаем, ссылаясь на присутствующих, что любовь не может простираť своих прав на лиц, состоящих в браке между собою. В самом деле, любовники всем награждают друг друга по взаимному соглашению совершенно даром, не будучи к тому понуждаемы какой-либо необходимостью, тогда как супруги подчиняются обоюдным желаниям и ни в чем не отказывают друг другу по велению долга... Пусть настоящий приговор, который мы вынесли с крайней осмотрительностью и согласно мнению большого числа других дам, будет для вас истиной, постоянной и неоспоримой».

Элеонора была председательницей одного из таких судов. Она окружила себя поэтами, воспевавшими ее красоту. Поэзия была в большом почете при дворе внучки Гильома IX. «Все, что до нас дошло от этой весьма своеобразной цивилизации, — пишет Стендаль в своей книге „О любви“, — сводится к стихам, и притом еще рифмованным самым причудливым и сложным образом... Был найден даже брачный контракт в стихах». Поэтому не случайно Ричард, едва создав собственный двор, населил его трубадурами. "Он привлекал их отовсюду, — с неодобрением замечает Роджер Ховденский, — певцов и жонглеров; выпрашивал и покупал льстивые их песни ради славы своего имени.

Пели они о нем на улицах и площадях, и говорилось везде, что нет больше такого принца на свете". Ричард и сам охотно слагал песни, подобно своему деду, желая быть первым и в этом славном искусстве. От его творчества, вероятно весьма обширного, сохранились только две поздние элегии, написанные одна на французском, другая на провансальском языке (тот и другой были для него родными).

На английском престоле Плантагенеты продолжили ту злополучную династию, над которой тяготело пророчество Мерлина: «В ней брат будет предавать брата, а сын — отца».

---

<sup>38</sup> В 1228 году Крестовый поход северофранцузских рыцарей против еретиков Прованса разгромил цветущую культуру этой области

Существование проклятия над семьей Анри II не вызывало сомнений у современников. «От дьявола вышли и к дьяволу придут», — предрекал при дворе Людовика VII святой Бернард; «происходят от дьявола и к нему отыдут», — вторил ему Фома Бекет. Для средневековых биографов Ричарда он был обречен с самого начала из-за «вдвойне проклятой крови, от которой он принял свой корень» (Геральд Камбрезийский). Сам Ричард верил в свою дурную кровь и неоднократно рассказывал историю о своей отдаленной бабке, графине Анжуйской, женщине «удивительной красоты, но неведомой породы». Передавали, что эта дама всегда покидала церковь, не дожидаясь преосуществления даров. Однажды, когда по повелению ее мужа четыре рыцаря хотели ее удержать, она улетела в окно и больше не возвращалась. «Неудивительно, — говорил Ричард, — что в такой семье отцы и дети, а также братья не перестают преследовать друг друга, потому что мы все идем от дьявола к дьяволу». «Разве ты не знаешь, — спрашивал Геральда брат Ричарда, принц Жоф-фруа, — что взаимная ненависть как бы врождена нам? В нашей семье никто не любит другого».

Семейные распри Плантагенетов были ужасны. Элеонора вечно враждовала с мужем, одно время даже державшим ее в заточении, и, поскольку Ричард был ее любимцем, ему постоянно приходилось быть настороже по отношению к отцу, беззащитно жертвовавшему интересами старших сыновей<sup>39</sup> в пользу младшего, своего любимца Иоанна. Ричарду пришлось вынести от отца особенно жгучую обиду: его невесту Аделаиду, дочь Людовика VII, Анри II увез в свой замок и там обесчестил. После смерти старшего брата Ричард вынужден был силой отстаивать свои наследственные права. Вместе с французским королем Филиппом-Августом он травил Анри II по всему Туранжу, пока, наконец, не заставил признать себя наследником английского, нормандского и анжуйского престолов. Вечный предатель принц Иоанн поддержал Ричарда в борьбе с отцом. Покинутый всеми, сломленный физически и морально, старый король умер в своем замке Шинон. Слуги ограбили его, так что он «остался почти голым — в штанах и одной рубашке». Ричард присутствовал на его похоронах. Автор «Поэмы о Гильо-ме де Марешале», описывая эту сцену, не позволяет себе никаких догадок о чувствах, с какими Ричард явился на церемонию. «В его поведении не было признаков ни скорби, ни веселья. Никто не мог бы сказать, радость была в нем или печаль, смущение или гнев. Он постоял не шевелясь, потом придвинулся к голове и стоял задумчивый, ничего не говоря...» Затем, говорит поэт, позвав двух верных друзей отца, он сказал: «Выйдем отсюда» — и прибавил: «Я вернусь завтра утром. Король, мой отец, будет погребен богато и с честью, как приличествует лицу столь высокого происхождения». В этой семье смерть означала прощение. Умирая, Ричард велел похоронить себя в Фонтевро, у ног отца; здесь же, рядом с Анри, была положена Элеонора.

Может быть, хороня отца, Ричард думал о том, что теперь настал час выполнить свой обет: два года назад, находясь в возрасте Христа, он принял Крест. То, что религиозный пыл, владевший им, был вполне искренен, видно по той исключительной энергии, с которой он взялся за организацию похода. В отличие от своего собрата по обету, короля Филиппа, больше думавшего о том, что произойдет после их возвращения из Святой Земли, и готовившего решительную схватку не с Са-ладином на Иордане, а с самим Ричардом во Франции, Ричард принес в жертву крестоносной идее все: и свои интересы государя, и благосостояние своих подданных. Во Франции и Англии епископы выкачивали саладинову десятину из своих епархий; сокровища покойного Анри II, города, замки, сюзеренитет над Шотландией, графство Нортгемптонское пошли с молотка для покрытия расходов. «Я готов продать сам Лондон, если бы нашелся покупатель», — говорил Ричард. Со всех концов Франции к нему съезжаются бароны, привлеченные его золотом. Самых богатых своих вассалов он оставляет в их замках, зачастую против их желания, заставляя выкупать навязанное им соседство. «Я не курица, которая высидивает утят, — отвечает он недовольным. — В конце концов, кого тянет в воду, пусть идет».

---

<sup>39</sup> Анри III, Ричарда и Жоффруа

Огромная армия, посаженная на 100 грузовых судов и 14 легких кораблей, была снабжена всем необходимым: «золотом и серебром, утварью и оружием, одеждой и тканями, мукой, зерном и сухарями, вином, медом, сиропом, копченым мясом, перцем, тмином, пряностями и воском». В ясные июньские дни 1190 года, «когда роза разливает свое сладостное благоухание, — говорит Амбруаз, — с крестом впереди, с тысячами вооруженных людей, выступили светлейший король Англии и французский король. Двигаются они на Восток и ведут за собой весь Запад. Различное по языку, обычаю, культу, войско полно пламенной ревности. О, если бы ему суждено было вернуться с победой!...».

За столетие, истекшее после взятия крестоносцами Иерусалима, европейские рыцари, ставшие сирийскими королями, князьями и баронами, никак не изменили своих разбойных привычек. В 1-м Крестовом походе их замкнутый, раздираемый взаимными распрями и ненавистью мирок, словно пучок сухих колючек, докатился до Сирии и Палестины и застрял там, сохранив неизменными свою драчливую обособленность и расово-культурную отчужденность. Огромный мир ислама (равно как и византийского православия) с его чарующей архитектурой, процветающими науками — математикой, астрономией и медициной, — просвещенными нравами, знакомыми с истинным благородством, с его мистикой, поэзией и философией, подкрепляющей истины Корана учением несравненного Философа, как арабы почтительно называли Аристотеля, долгое время оставлял крестоносных варваров в самодовольном равнодушии, подобном безразличию, с которым дикарь, не знающий денежного обращения, повертев в руках золотой самородок, бросает его в воду, чтобы полюбоваться разбегающимися кругами.

Даже не помышляя о единстве перед крепнущей державой Саладина, вдохнувшего в ислам новую энергию в его пятивековом походе против Креста, они тревожили молодого льва, нанося ему дразнящие уколы. Легкомысленные подвиги антиохийского князя Рено Шатильонского за Иорданом, нападение на мирный караван Саладина и захват его сестры вызвали ответную бурю, поражение сирийских баронов при Хиттине и переход Иерусалима в руки нового героя ислама.

3-й Крестовый поход должен был вернуть христианству его святыни. Ко времени отплытия флотилии Ричарда от берегов Франции множество воинов со всей Европы, простых и знатных, уже больше года стекались к Аккре, пополняя огромную армию крестоносцев, осаждавших город, под стенами которого разбил лагерь и сам Саладин. Филипп, прибывший под Аккру первым, решил не начинать штурма, не дождавшись своего вассала, английского короля (третий венценосный участник похода — германский император Фридрих Барбаросса — не дошел до Палестины, утонув при переправе через одну из рек в Малой Азии).

Причиной задержки Ричарда было недоброжелательное поведение кипрского императора Исаака Комнина, захватившего в почетный плен корабль с невестой и сестрой короля. Их освобождение (а заодно и завоевание Кипра) заняло около месяца. Слух о готовящемся штурме Аккры вернул Ричарда к его настоящей цели. «Да не будет того, чтобы ее взяли без меня! — передает Амбруаз его нетерпеливое восклицание. — И больше король не хотел ничего слышать... сердце его стремилось только к Аккре».

Через двое суток Ричард был уже у Казал-Эмбера, ближайшей к Аккре стоянке. Отсюда он ясно мог видеть город, а у его стен — «цвет людей всего мира, стоявших лагерем вокруг». «Горы и холмы, склоны и долины, — рисует Амбруаз открывшуюся перед королем и его воинством картину, — покрыты были палатками христиан... Далее виднелись шатры Саладина и его брата и весь лагерь язычников. Все увидел, все заметил король... Когда же приблизился он к берегу, можно было разглядеть французского короля с его баронами и бесчисленное множество людей, сошедшихся навстречу. Он спустился с корабля. Услышали бы вы тут, как звучали трубы в честь Ричарда Несравненного, как радовался народ его прибытию».

Ричарда встречали как вестника победы. «Ночь была ясна... Кто смог бы рассказать ту радость, какую проявили по поводу его приезда? Звенели кимвалы, звучали флейты,

рожки... пелись песни. Всякий веселился по-своему. Кравчие разносили в чашах вино... Сколько тут зажжено было свечей и факелов. Они были так яркие, что долина казалась охваченной пламенем».

Рассказ Амбруаза об осаде Аккры полон эпизодов, поэтически живописных и одновременно простодушно реалистичных. Чего стоит хотя бы вот эта зарисовка: «Случилось, что некий рыцарь пристроился ко рву, чтобы сделать дело, без которого никто не может обойтись. Когда он присел и придал соответствующее положение своему телу, турок, бывший на аванпостах, которого тот не заметил, отделился и подбежал. Гнусно и нелюбезно было захватывать врасплох рыцаря, в то время как тот был так занят». Турок уже был готов пронзить его копьем, продолжает Амбруаз, «когда наши закричали: „Бегите, бегите, сэр!...“. Рыцарь с трудом поднялся, не кончив своего дела. Взял он два больших камня (слушайте, как Господь мстит за себя!) и, бросив их, наповал убил турка. Захватив вражеского коня, он привел его в свою палатку, и была о том большая радость». В попечении Всевышнего о своем воинстве Амбруаз сомневается не больше, чем Гомер — во вмешательство богов в осаду Трои. «Был в турецком лагере метательный снаряд, причинивший нам много вреда. Он кидал камни, которые летели так, точно имели крылья. Такой камень попал в спину одному воину. Будь то деревянный или мраморный столб, он был бы разбит надвое. Но этот честный храбрец даже его не почувствовал. Так хотел Господь. Вот поистине Сеньор, который заслуживает того, чтобы ему служили, вот чудо, которое внушает веру!»

Поэт хранит память и о более возвышенных и печальных событиях. Пытаясь заполнить крепостные рвы, осаждавшие бросали в них камни, которые свозили отовсюду. «Бароны привозили их на конях и выючных животных. Женщины находили радость в том, чтобы притаскивать их на себе. Одна из них видела в том особое утешение. На этой работе, когда собралась она свалить тяжесть с шеи, пронзил ее стрелой сарацин. И столпился вокруг нее народ, когда она корчилась в агонии... Муж прибежал ее искать, но она просила бывших тут людей, рыцарей и дам, чтобы ее тело употребили для заполнения рва. Туда и отнесли ее, когда она отдала Богу душу. Вот женщина, о которой всякий должен хранить воспоминание!»

Несмотря на чудеса и воодушевление солдат, осада долгое время шла без особого успеха. В лагере крестоносцев вспыхнула эпидемия, поразившая и обоих королей. Больных жестоко лихорадило, «у них были в дурном состоянии губы и рот», выпадали ногти и волосы и шелушилась кожа на всем теле. Еще больше вреда причиняла вражда между предводителями армий. Ричард, заболевший первым, боялся, что Аккра будет взята без него и всячески препятствовал совместным действиям двух армий. Филипп отвечал тем же. «Во всех тех начинаниях, в каких участвовали короли и их люди, — пишет Роджер Ховденский, — они вместе делали меньше, чем каждый поодиночке. Короли, как и их войско, раскололись надвое. Когда французский король задумывал нападение на город, это не нравилось английскому королю, а что угодно было последнему, неудобно первому. Раскол был так велик, что почти доходил до открытых схваток». Несколько штурмов города окончились неудачно для осаждавших, но силы защитников Аккры были истощены. Саладин согласился уступить крепость на почетных условиях. Соперничество Ричарда и Филиппа продолжилось и в стенах Аккры, неприятно поразив многих крестоносцев. Оба короля стремились впускать в город только своих людей и не давали доли в добыче тем, кто задолго до их приезда бился под его стенами. Дело дошло до того, что Ричард открыто напал на Леопольда, герцога Австрийского, которого он не любил как сторонника Филиппа и родственника кипрского императора, сбросил знамя герцога с занятого им дома и выгнал его воинов из занимаемого ими квартала.

Хуже всего, однако, было то, что после взятия Аккры французский король собрался в обратный путь. Ричард, который «оставался в Сирии на службе Богу», потребовал у него клятвенного обещания не нападать на его земли в его отсутствие. Филипп подтвердил, что не имеет злых намерений против него.



«Французский король собрался в путь, — говорит Амбруаз, — и я могу сказать, что при отъезде он получил больше проклятий, чем благословений... А Ричард, который не забывал Бога, собрал войско... нагрузил метательные снаряды, готовясь в поход. Лето кончалось. Он велел исправить стены Аккры и сам следил за работой. Он хотел вернуть Господне наследие и вернул бы, не будь козней его завистников».

С этого дня (3 августа 1191 года) жизнь Ричарда достигает своего высшего напряжения, продолжавшегося немногим более года — до его отъезда из Сирии. Этот год навсегда запечатлел его в памяти потомков таким, каким мы его знаем, — бесстрашным рыцарем веры, очаровывающим даже сарацин своим мужеством. «Это он производит такие опустошения в наших рядах, — говорили Саладину бежавшие от Арсуфа эмиры. — Его называют Мелек-Ричард, то есть тот, который умеет обладать царствами, производить завоевания и раздавать дары». В войске Саладина у него даже появился горячий поклонник — это был не кто иной, как брат Саладина — Малек-эль-Адил-Мафаидин. Сам султан проявлял к своему врагу большое уважение и обменивался с ним подарками.

Амбруаз, восхищенный своим «доблестным», «бесподобным», «бодрым королем», не устает описывать его бесчисленные подвиги. Вот в сражении у Арсуфа турки «стеной нападают на крестоносцев». Более двадцати тысяч их налегло на отряд госпитальеров. Великий магистр Гарнье де Нап скачет галопом к королю: «Государь, стыд и беда нас одолевают. Мы теряем всех коней!» Ричард отвечает ему: «Терпение, магистр! Нельзя быть разом повсюду». Выждав удобный момент для атаки, король «дал шпоры коню и кинулся с какой мог быстротой поддержать первые ряды. Летя скорее стрелы, он напал справа на массу врагов с такой силой, что они были совершенно сбиты, и наши всадники выбросили их из седла. Вы увидели бы их притиснутыми к земле, точно сжатые колосья. Храбрый король преследовал их, и вокруг него, спереди и сзади, открывался широкий путь, устланный мертвыми сарацинами». В десятках стычек он бросается на врага в одиночку, не дожидаясь своих воинов, и возвращается невредимым, хотя и «колючим, точно еж, от стрел, уткнувшихся в его панцирь». В тревожные ночи он спал «в палатке за рвами, чтобы тотчас поднять войско, когда будет нужно, и, привычный к внезапной тревоге, вскакивал первым, хватал оружие, колол неприятеля и совершал молодечества». В стычке при Казаль-де-Плен сарацины разбежались, едва увидев хорошо знакомую им фигуру, летевшую на них «на своем кипрском Фовеле, лучшем коне, какого только видели на свете...». Ричард один погнался за восемьюдесятью турками и, прежде чем свои к нему успели, ссадил на землю нескольких сарацин.

Упоение боем не мешало ему спешить на выручку своим воинам, попавшим в трудное положение. На крестоносцев, занятых работой у стен Казаль-Мойена, напал отряд турок. «Битва была в самом разгаре, когда прибыл король Ричард. Он увидел, что наши вплотную окружены язычниками. „Государь, — говорили ему окружающие, — вы рискуете великой бедой. Вам не удастся выручить наших людей. Лучше пусть они погибнут одни, чем вам погибнуть вместе с ними. Вернитесь!.. Христианству конец, если с вами случится несчастье“. Король изменился в лице и сказал: „Я их послал туда. Я просил их пойти. Если они умрут без меня, пусть никогда не называют меня королем“. И дал он шпоры лошади, и отпустил ее узду...» Его появление спасло крестоносцев — «турки бежали, как стадо скота».

Несомненно, что в этом походе «несравненный король» познал не только уже привычную ярость разрушения, но и любовь и сострадание к людям, делившим с ним счастье и несчастье. В лагере у Соленой реки войско Ричарда томилось голодом. Некоторые воины убивали своих коней и дорого продавали их мясо. Голодные люди теснились вокруг барышников. Узнав об этом, король тотчас объявил, что всякий, кто даст его фуражирам убитую лошадь, впоследствии получит от него живую. Полученное таким образом мясо справедливо распределили между голодными. «Все ели и получили по хорошему куску сала». Добравшись в марте 1192 года до разрушенного Саладином Аскалона, измученные походом крестоносцы взялись за восстановление его стен и башен. «Король с обычным своим великодушием участвовал в работе, и бароны ему подражали. Всякий взял на себя

подходящее дело. Там, где другие не являлись вовремя, где бароны ничего не делали, король вступался в работу, начинал ее и оканчивал. Где у них не хватало сил, он приходил на помощь и подбодрял их. Он столько вложил в этот город, что, можно сказать, три четверти постройки было им оплачено. Им город был восстановлен, им же он потом был разрушен».

После первого неудачного похода на Иерусалим войско сильно пало духом. «Скотина ослабела от холода и дождей и падала на колени. Люди проклинали свою жизнь и отдавались дьяволу. Среди людей была масса больных, чье движение замедлял недуг, и их бросили бы на пути, не будь английского короля, который заставлял их разыскивать, так что их всех собрали и всех привели (в Раму)». Сердце Ричарда не очерствело от смертей, которые сопровождали каждому его шагу по Святой земле. Вот поле битвы при Арсуфе. Госпитальеры и тамплиеры ищут тело отважного Жака Авен-ского. «Они не пили и не ели, пока не нашли его. И когда нашли, надо было мыть ему лицо; никогда не узнали бы его, столько получил он смертельных ран... Огромная толпа людей и рыцарей вышла навстречу, проявляя такую печаль, что смотреть было жалостно. Когда его опускали в землю, были тут короли Ричард и Гюи (Гюи Луэдшьянский, король Иерусалима. — С. Ц.)... Не спрашивайте, плакали ли они».

Это погребение происходило незадолго до того дня, который похоронил все надежды крестоносцев на успешное завершение похода. Иерусалим оказался недостижим для воинства Ричарда. Причина неудачи крылась даже не в недостатке военных средств для захвата города, а в своеобразной психологии крестоносцев, о которой Амбруаз замечает: «Если бы даже город был взят, — это было бы гибельным делом: он не мог бы быть тотчас заселен людьми, которые в нем бы остались. Потому что крестоносцы, сколько их ни было, как только осуществили бы свое паломничество, вернулись бы в свою страну, всякий к себе домой. А раз войско рассеялось, земля потеряна». Таким образом, Ричард оказался в странном лабиринте, все ходы которого в равной степени удаляли его от цели. Бароны один за другим покидали его, солдаты жаловались на усталость; из Европы приходили вести о том, что Филипп вторгся во французские владения Ричарда, а брат Иоанн готовит ниспровержение его власти в Англии. Наконец предательства и новые приступы болезни сломили волю короля.

«Король был в Яффе, беспокойный и больной, — пишет Амбруаз. — Он все думал, что ему следовало бы уйти из нее ввиду незащищенности города, который не мог представить противодействия (Саладину). Он позвал к себе графа Анри, сына своей сестры, тамплиеров и госпитальеров, рассказал им о страданиях, которые испытывал в сердце и в голове, и убеждал их, чтобы одни отправились охранять Аскалон, другие остались стеречь Яффу и дали бы ему возможность уехать в Аккру поправиться. Он не мог, говорил он, действовать иначе. Но что мне сказать вам? Все отказали ему и ответили кратко и ясно, что они ни в каком случае не станут охранять крепостей без него. И затем ушли, не говоря ни слова... И вот король в великом гневе. Когда он увидел, что весь свет, все люди, нечестные и неверные, его покидают, он был смущен, сбит с толку и потерян. Сеньоры! Не удивляйтесь же, что он сделал лучшее, что мог в ту минуту. Кто ищет чести и избегает стыда, выбирает меньшее из зол. Он предпочел просить о перемирии, нежели покинуть землю в великой опасности, ибо другие уже покидали ее и открыто садились на корабли. И поручил он Сафа-дину, брату Саладинову, который очень любил его за его доблесть, устроить ему поскорее возможно лучшее перемирие... И было написано перемирие и принесено королю, который был один, без помощи в двух милях от врагов. Он принял его, ибо не мог поступить иначе... А кто иначе расскажет историю, тот солжет...»

Условия перемирия отражали тот глубокий упадок духа, в котором пребывал брошенный своими союзниками король. Иерусалим остался в руках сарацин, христиане сохранили за собой только узкую полоску земли между Тиром и Яффой; Саладин удержал у себя пленных крестоносцев. Но в конце переговоров, сообщая! Амбруаз, «король не смог смолчать о том, что было у него на сердце. И велел он сказать Саладину (это слышали многие сарацины), что перемирие заключается им на три года: один ему нужен, чтобы

вернуться к себе, другой — чтобы собрать людей, третий — чтобы вновь явиться в Святую землю и завоевать ее». Саладин без тени иронии ответил ему, что высоко ценит его мужество, великое его сердце и доблесть и что, если суждено его земле быть завоеванной при его жизни, он охотнее всего увидит ее в руках Ричарда.

"Когда король уезжал, многие провожали его со слезами нежности, молились за него, вспоминая его мужество, его доблесть и великодушие. Они говорили: «Сирия остается беспомощной». Король, все еще очень больной, простился с ними, вошел в море и открыл паруса ветру. Он плыл всю ночь при звездах. Утром, когда занялась заря, он обернулся лицом к Сирии и сказал: «О, Сирия! Вручаю тебя Богу. Если бы дал Он мне силы и время, чтобы тебе помочь!»

Ричард покинул Яффу 9 октября. Через два с половиной месяца его корабль потерпел крушение у берегов Адриатики. Король решил ехать дальше инкогнито через владения австрийского герцога, которому некогда нанес тяжелое оскорбление в Аккре. Отпустив густую бороду и длинные волосы, в сопровождении только одного спутника, Ричард добрался до Вены.

Здесь его спутник, пытавшийся разменять деньги, был узан слугой герцога, схвачен и отведен к Леопольду. Под пыткой он указал место, где остановился Ричард. Короля арестовали спящим; он, однако, настоял на том, что отдаст свой меч только в руки самого герцога.

Ричарда заточили в замок Дюрэнштейн на Дунае. Рассказывают, что его друзья и слуги долго безуспешно искали его. Темницу его будто бы открыл трувер Блон-дель, случайно запевший под его окном песню, сложенную им когда-то вместе с Ричардом. Допев первый куплет, он услышал, как кто-то с вершины башни подхватил второй. Изумленный Блондель поднял голову и узнал короля, стоявшего у окна.

Германский император отобрал пленника у герцога и поместил его в эльзасский замок Трифель, о котором молва утверждала, что из него никто не вышел живым. Последовали долгие переговоры о выкупе. Когда соглашение о сумме выкупа было достигнуто, Филипп, Иоанн и другие враги Ричарда попытались перекупить пленника, и лишь вмешательство Церкви помешало императору нарушить договор. Но громче всех об освобождении Ричарда .взывали поэты Англии и Франции. Их гневные голоса клеймили его тюремщиков и вызывали сочувствие к плененному герою. Провансальский трубадур Пьер Видаль писал:

Домой без опаснья Ричард ехал, Как император, думая нажиться На выкупе, им овладел коварно. Проклятье, Цезарь, памяти твоей!

Ричард ответил славным певцам собственной песней:

Напрасно помощи ищу, темницей скрытый.  
Друзьями я богат, но их рука закрыта,  
И без ответа жалобу свою  
Пою...

Как сон, проходят дни. Уходят в вечность годы...  
Но разве некогда, во дни былой свободы,  
Повсюду, где к войне лишь кликнуть клич могу,  
В Анжу, Нормандии, на готском берегу,

Могли ли вы найти смиренного вассала,  
Кому б моя рука в защите отказала?  
А я покинут!.. В мрачной тесноте тюрьмы  
Я видел, как прошли две грустные зимы,  
Моля о помощи друзей, темницей скрытый...

Друзьями я богат, но их рука закрыта,

И без ответа жалобу свою  
Пою!..

Конечно, жалобы на равнодушие мира были только элегическим преувеличением. Ричард знал, что его друзья действовали за него повсюду. Наконец настал день, когда Филипп в ужасе написал Иоанну: «Берегитесь! Дьявол выпущен на свободу!» Действительно, Ричард вырвался из тюрьмы, как стремительный поток, прорвавший плотину, увлекая за собой всех недовольных властной политикой Каиетинга. Вместе с ним против Филиппа поднялись Нормандия и Анжу, Аквитания и Фландрия, Бретань, новый германский император Отто Брауншвейгский и Иоанн, внезапно вспомнивший о братских узах, связывавших его с Ричардом... Их войска опустошали все на своем пути, «не оставляя собаки, которая лаяла бы им вслед». В битве при Фрете-вале Филипп потерял свои архивы и свою казну. В сражении между Курселем и Жизором он бежал, преследуемый Ричардом, «точно голодным львом, почуявшим добычу»; у ворот Жизора он едва не попал в плен, упав с моста в волны Эпты и «напившись ее воды». В конце 1198 года «Ричард так его прижал, что он не знал, куда повернуться; он вечно находил его перед собою».

Ураган утих так же внезапно, как и начался. Папский легат, приехавший к Ричарду от имени Филиппа вести переговоры о мире, вначале услышал от него гневные слова: «Не будет он владеть моими землями, пока я держусь на коне. Можете ему это сказать!» Легат осторожно возразил: «Вспомните, какой грех совершаете вы этой войной. В ней гибель Святой земли... Ей грозит уже конечный захват и опустошение, а христианству конец». Напоминание о Иерусалиме тотчас смирilo грозу в сердце Ричарда. Он склонил голову и с горечью произнес: «Если бы оставили в покое мою державу, мне не нужно было бы возвращаться сюда. Вся земля Сирии была бы очищена от язычников...» Переговоры закончились согласием Ричарда на пятилетнее перемирие.

С этой минуты Святая земля вновь всецело завладевает мыслями Ричарда. И если три месяца спустя мы все еще видим его в Аквитании, под стенами замка Шалю, то лишь потому, что он явился сюда усмирить непокорного лиможского виконта Адемара V, которого подозревал в утайке половины сокровищ покойного Анри II. Мы уже знаем, с какой обстоятельностью готовился Ричард к походу в Святую землю. Лиможское золото должно было стать финансовой базой его новых приготовлений.

Но именно здесь, в наследственной, «материнской» земле, на вершине его успехов, в чаянии небывалых замыслов и свершений, непредвиденная случайность оборвала нить его жизни. Или это была не случайность, а непреложная закономерность в судьбе того, кто, по словам Геральда Камбрезийского, властно пробивая пути в грядущее, «вступает только на пути, политые кровью»?

Роджер Ховденский так рассказывает о смерти Ричарда:

"Пришел король Англии с многочисленным войском и осадил замок Шалю, в котором, так он думал, было скрыто сокровище... Когда он вместе с Меркадьё <sup>40</sup> обходил стены, отыскивая, откуда удобнее произвести нападение, простой арбалетчик, по имени Бертран де Гудрун, пустил из замка стрелу и, пронзив королю руку, ранил его неизлечимой раной <sup>41</sup>. Король, не медля ни минуты, вскочил на коня и, поскакав в свое жилище, велел Меркадьё и всему войску атаковать замок, пока им не овладеют..."

«А когда замок был взят, велел король повесить всех защитников, кроме того, кто его ранил. Ему, очевидно, он готовил позорнейшую смерть, если бы выздоровел. Ричард вверил себя рукам врача, служившего у Меркадьё, но при первой попытке извлечь железо тот вытащил только деревянную стрелу, а острие осталось в теле; оно вышло только при

---

<sup>40</sup> Меркадьё — один из военачальников Ричарда

<sup>41</sup> Стрела, очевидно, была отравлена

случайном ударе по руке короля. Однако король плохо верил в выздоровление, а потому счел нужным объявить свое завещание». В последние минуты им овладел столь характерный для него порыв великодушия. "Он велел привести к себе Бертрана, который его ранил, и сказал ему: «Какое зло сделал я тебе, что ты меня убил?» Тот ответил: «Ты умертвил своею рукою моего отца и двух братьев, а теперь хотел убить меня. Мсти мне как хочешь. Я охотно перенесу все мучения, какие только ты придумаешь, раз умираешь ты, принесший миру столько зла». Тогда король велел отпустить его, говоря: «Смерть мою тебе прощаю...»

И, развязав оковы, пустил его, и король велел дать ему сто солидов английской монеты... Но Меркадье без его ведома снова схватил Бертрана, задержал и по смерти Ричарда повесил, содрав с него кожу...

А умирающий король распорядился, чтобы мозг, кровь и внутренности его были похоронены в Шарру, сердце — в Руане, тело же — в Фонтевро, у ног отца...

Так умер он в восьмой день апрельских ид, во вторник, перед вербным воскресеньем. И похоронили его останки там, где он завещал".

Добросовестность биографа заставила Роджера Хов-денского собрать в своей хронике около дюжины эпитафий, похвальных и злобных, появившихся после смерти Ричарда. Одна из них звучит так:

«Муравей загубил льва. О горе! Мир умирает в его погребении».

Другая — так:

«Жадность, преступление, безмерное распутство, гнусная алчность, неукротимая надменность, слепая похотливость дважды пять лет процарствовали. Их низверг ловкий арбалетчик искусством, рукою, стрелой».

Первая из них принадлежит, наверное, кому-то из сподвижников Ричарда; вторая — смиренной монахине, быть может изнасилованной каким-нибудь воином Ричарда или самим королем во время одного из его походов. «Сказать правду, — пишет трубадур Госельм Феде, — во всем мире одни его боялись, другие любили».

Меня трудно уверить в том, что эти слова сказаны не о каждом из нас.

## ОДИНОЧЕСТВО КОРОЛЕЙ

*Умираю, оттого что не умираю.*

**Святая Тереза**

### I

Карлос II, последний отпрыск габсбургского дома в Испании, родился от брака Филиппа IV с Марией-Анной Австрийской, его племянницей. Появление на свет хилого младенца, зачатого исключительно ради интересов престолонаследия, не вызвало радости ни у одного из супругов, чуждых друг другу. Когда его красновато-лиловое тельце, тщательно вымытое и вытертое, поднесли королеве, она, захлебнувшись злобными, истеричными рыданиями, оттолкнула того, кто доставил ей столько страданий; а Филипп, подведенный к люльке инфанта, не выразил на своем одеревеневшем, похожем на маску лице никаких чувств и только оглядел ребенка неподвижно-сонным взглядом, неопределенность которого столь изумляла современников (Филипп родился в страстную пятницу и, по народному суеверию, обладал способностью видеть на месте, где когда-то произошло убийство, тело убитого; странную рассеянность его взгляда, не сосредоточенного ни на чем и в то же время объемлющего все, объясняли желанием избежать постоянного созерцания трупов). В эту минуту веки младенца приоткрылись, и король встретил взгляд еще более сонный, еще более оцепенелый. Филипп медленно отвел глаза и с тех пор ни разу не посмотрел в лицо инфанту.

Половина мира — королевство Неаполитанское, герцогство Миланское, Сардиния, Сицилия, Фландрия, огромный берег Африки, царство в Азии со всем побережьем

Индийского океана, Мексика, Перу, Бразилия, Парагвай, Юкатан, бесчисленные острова во всех океанах отпраздновали вместе с Испанией рождение наследника огромной империи, в которой по-прежнему, как и сто пятьдесят лет назад, никогда не садилось солнце. На балах и карнавалах, шествиях и маскарадах, в церквях и капищах белые, красные, черные, желтые люди славляли далекого божественного младенца, чье будущее величие и могущество должны были бросить хоть слабый отсвет счастья на их покорно-веселые лица. Но уродец с сонными глазами никогда не узнал об этих надеждах неведомых ему людей. В течение всей своей жизни Карлос II ни разу не поинтересовался, сколько у него подданных, в каких частях света они живут и чего они желают. Позднее, когда Франция, Англия, Голландия отнимали их у него, он думал, что потерянные земли принадлежат какому-то другому государству.

Здоровье инфанта было настолько слабым, его рахитичное тельце так истощено, что до пяти лет он ходил, опираясь на нянек. Золотуха и лихорадка поочередно завладевали им и отпускали только для того, чтобы передать его друг другу из рук в руки. Лучшие врачи медицинских кафедр Саламанки и Болоньи сменялись у постели инфанта, прописывая ему лечение по испытанным рецептам Галена, Авиценны и Парацельса<sup>42</sup>. Потный, задыхающийся мальчик послушно глотал с золотых ложек горькие снадобья, далеко оттопыривая унаследованную от отца толстую нижнюю губу, и без того безобразно отвисавшую на сильно выпяченной челюсти. Врачи заглядывали ему в лицо, стараясь угадать по его выражению течение болезни, но встречали всегда один и тот же сонно-мертвенный взгляд, бессильный выразить даже страдание.

С еще большим усердием врачевала душу и тело мальчика Церковь. При первых признаках недомогания трое монахов-доминиканцев окружали постель инфанта и вступали в бессонную борьбу с одолевавшими его бесами, день и ночь читая псалмы и молитвы и кропя простыни святой водой. Суровая решимость их лиц, непонятные слова, загадочные жесты — все это одновременно манило и ужасало мальчика своей торжественной таинственностью. Он не понимал, зачем они находятся подле него и чего ему следует ждать от них. Эти три неизменных спутника его лихорадок не причиняли мучений, как доктора, не доводили до слез, как воспитательницы-дуэньи; Карлос не испытывал облегчения от молитв монахов, но и стыдился плакать в их присутствии. Он видел, с каким почтением относятся к ним взрослые, в том числе отец с матерью, и догадывался, что над ним совершается нечто очень важное, чему он обязан беспрекословно подчиниться, и это чувство осталось в нем на всю жизнь. Часто, проснувшись ночью от жажды, он закрывался с головой одеялом и лежал так до самого утра, не смея прервать псалмопения и попросить воды.

Родителей Карлос видел редко, они мало интересовались им. Филипп IV с годами впал в почти неправдоподобную меланхолию (старики придворные уверяли, что он смеялся не больше трех раз в жизни), к которой примешивалось острое чувство отвращения ко всему, что так или иначе связано с людьми, — чувство, ставшее наследственным у испанских Габсбургов. Король избегал встреч с кем бы то ни было, надолго уединялся в своем кабинете или неделями не возвращался с охоты. К жизни и воспитанию инфанта он был совершенно равнодушен, иногда месяцами не видел его, а если случайно сталкивался с сыном, гулявшим по коридорам дворца в сопровождении двух-трех дуэний, то молча выслушивал их торопливый рассказ об успехах наследника в благочестии, все время глядя куда-то поверх головы сына, и, дрогнув оттопыренной нижней губой, шел дальше. Дуэньи застывали в почтительном реверансе и затем возобновляли обмен сплетнями, не упуская из виду воспитанника и поминутно одергивая его замечаниями. Карлос проводил целые дни, выдумывая, каким образом подластиться к отцу при следующем свидании, но, когда им

---

<sup>42</sup> Гален (ок. 130 — ок. 200) — древнеримский врач. Его взгляды оказывали большое воздействие на европейскую медицину до XVI — XVII вв.; Авиценна (Ибн Сина; ок. 980 — 1037) — среднеазиатский ученый, философ, врач, чьи философские и медицинские трактаты были чрезвычайно популярны как на Востоке, так и на Западе; Парацельс (1493 — 1541) — врач и естествоиспытатель. Способствовал пересмотру идей древней медицины. Внедрял в медицину химические препараты

снова случалось встретиться, беспомощно терялся от страха перед ним и прятал свое отчаяние под броней тупой одеревенелости.

Что касается королевы, то Мария-Анна принадлежала к той породе австрийских принцесс, ханжей и интриганок, чьи властолюбивые вожеления столько раз разоряли Европу. Будучи вынужденной подчиниться матримониальной политике своей семьи, оказавшись в расцвете молодости на окраине Европы, королевой самого угрюмого двора, она сочла себя жертвой и затаила ненависть против всех и вся. Она завидовала сестрам, сделавшим более удачный выбор, и поэтому натравливала Испанию и другие государства против тех стран, в которых они стали королевами; она ненавидела своего супруга за то, что он не мог доставить ей радости ни в придворных развлечениях, которых не было, ни в постели, которой он избегал (ночным ложем ему часто служил специально для этого заказанный гроб); она ненавидела уродца ребенка, с отвращением зачатого и со стыдом рожденного; она презирала саму Испанию — ее нищету, ее славу, ее гордость. Мария-Анна чувствовала, что корона испанской королевы, словно тяжелый камень, увлекает ее в бездну злобы, тоски и отчаяния.

С первого дня своего замужества она готовилась стать вдовой и регентшей, пустив в ход самые беспринципные средства, чтобы обеспечить себе поддержку дворянства и духовенства. Пытаясь привлечь на свою сторону Церковь, королева поддерживала притязания инквизиции на расширение ее прав в светском судопроизводстве. На исповеди и в духовных беседах со своим духовником-иезуитом отцом Нитардом она жаловалась на упадок рвения к делам веры в стране, сокрушенно вздыхала о том, что ее августейший супруг идет на недостойные христианина компромиссы с морисками и маранами <sup>43</sup>, нисколько не сомневаясь в том, что ее жалобы и сокрушения дойдут до тех ушей, для которых они предназначались. Ее домашний шпион и платонический любовник Вален-цула питал дворянскую среду слухами о благосклонном отношении Марии-Анны к введению новых привилегий для дворянства в ущерб кортесам (сословно-представительному собранию) и городам и вербовал сторонников среди самых знатных фамилий, не скупясь на обещания. Маленькому Карлосу в честолюбивых замыслах его матери отводилась роль послушного заложника, постоянные недомогания которого могли служить удобным доводом в пользу продления регентства. Карлос инстинктивно чуждался Марии-Анны и всегда начинал плакать, если ей приходило в голову приласкать его.

Болезненное детство Карлоса прошло на женской половине дворца, под придиричивым надзором дуэний. Эти церберы этикета и благочестия не ведали ни снисходительности к летам воспитанника, ни сострадания к его одиночеству; слова ласки и одобрения были у них не в ходу. Им была предоставлена безраздельная власть над Карлосом, и они пользовались ей в полной мере. Их суждения были непререкаемы, наказания неотвратимы. Рано обнаружившаяся умственная отсталость инфанта нисколько не смягчала их требований к нему, напротив, это обстоятельство только усиливало строгость надзора. Общество этих чопорных, облаченных в глухие черные платья старух было порой невыносимо, но Карлос ни разу не взбунтовался против него. Подчиняться им было для него так же естественно, как пить, есть и спать. Не будучи в силах понять и усвоить преподносимые ему наставления и запреты, внутренне содрогаясь от ожидания возмездия за свою непонятливость, он не допускал и мысли о том, чтобы обратиться к ним за разъяснениями, и бессознательно искал спасения и самооправдания в своем тупоумии. Он защищался им от жестокости взрослых, выставляя его напоказ, как молчаливый призыв к милосердию и справедливости.

Между тем мечты Марии-Анны сбылись: Филипп IV скончался в 1665 году, оставив ее регентшей при малолетнем Карлосе. Мария-Анна сумела остаться благодарной, и Филипп занял свое место в фамильном склепе Эскориала с подобающей случаю пышностью. Когда Карлоса подвели проститься с отцом, он вел себя на удивление спокойно — не испугался ни

---

<sup>43</sup> Мориски, мораны — испанское название крещеных мусульман и иудеев

торжественной обстановки, ни ставшего незнакомым отцовского лица, ни ледяных, бескровных губ покойника, которые поцеловал не поморщившись. Вместо страха и растерянности Карлосом в эти минуты владело необыкновенное умиротворение, пронизывавшее сладостной истомой все тело. Ослепленный пламенем сотен свечей, стократно отраженном в золоте церковного убранства, вознесенный куда-то ввысь дивной мелодией хора, он чувствовал, что мучительная, притягательно-страшная загадка, обозначаемая словом «смерть», каким-то непостижимым, но легким и радостным образом разрешена здесь, в этом храме, с помощью этих свечей, икон, распятий, этого напева, строгих и величественных движений руки епископа; что и его собственная душа, отрешившаяся от всего земного и именно в этом своем отрешении объемлющая весь мир, готова ринуться в манящую, освобождающую пустоту... Карлос не забыл этого ощущения своей всепричастности миру перед лицом небытия. При первом же посещении Эскориала после смерти отца он сразу попросил отвести себя в королевскую усыпальницу, ставшую с тех пор его излюбленным местом уединения. Здесь, в прохладном сумраке огромного зала, возле гробниц почивших предков бремя одиночества переставало давить на него, оно представлялось ему понятным и спасительным избранничеством, утешительным даром вечности. Чарующее величие смерти обнажало ничтожество земных страданий и наполняло его душу смирением и любовью. Несколько месяцев, последовавших после смерти Филиппа IV, стали одними из счастливейших в его жизни. Карлос на время почувствовал почву под ногами, его здоровье пошло на поправку, разум начал проясняться.

Новые происшествия при дворе прервали наметившееся улучшение.

Юный король оказался втянутым в борьбу, которую вели между собой две могущественнейшие партии двора. Одну из них возглавляла королева-мать и ее фавориты, другую — брат Карлоса, дон Хуан, признанный бастард <sup>44</sup> Филиппа IV. Медлительность Марии-Анны в выполнении своих обещаний, засилье никчемных фаворитов, проавстрийская политика, обернувшаяся военными неудачами, — все это вызвало открытое недовольство грандов и сплотило их вокруг незаконнорожденного принца. Вначале борьба велась истинно испанскими методами: Нитард обвинил дону Хуана в сочувствии лютеранству и начал против него процесс по подозрению в ереси. Однако бойкий иезуит перестарался. Его благочестивое рвение вызвало ревность у святейшей инквизиции, недолюбливавшей приверженцев ордена Святого Игнатия <sup>45</sup>. Уступая давлению Великого инквизитора и епископата, заподозривших в ереси самого Нитарда, Мария-Анна лишила своего духовника августейшего доверия — Нитард пал.

Враги королевы осмелели. Паутина интриг, которой она опутала двор, лопалась то здесь, то там, переход бывших союзников во вражеский стан сделался повсеместным. Почувствовав шаткость своего положения, Мария-Анна отказалась от открытого столкновения и перенесла борьбу туда, где ее права не могли быть оспорены — в область материнской заботы о юном короле. В ее голове родился план, дьявольская сущность которого и составляла основу его привлекательности. Неуязвимость оппозиции заключалась в том, что она прикрывалась, как щитом, именем того, чьи интересы якобы защищала, — и этим щитом был ее сын Карлос, придурковатый ребенок, немощный, болезненный и зависимый пока что только от нее. Следовало превратить эту временную зависимость в постоянную, пожизненную. Болезненная мнительность сына была ее главным козырем в этой игре: Карлос должен был почувствовать себя одержимым, и тогда вопрос о продлении ее опеки над ним стал бы решенным делом. И мать сделала все для того, чтобы вызвать у сына душевное расстройство. Строгость его содержания была многократно усилена, Карлос был отдан в руки монахов, наиболее сведущих в искусстве исцеления одержимых; они были

---

<sup>44</sup> Бастард — незаконнорожденный сын владетельной особы

<sup>45</sup> Игнатий Лойола (1491? — 1556) — испанский дворянин, основатель ордена иезуитов



заранее предупреждены о том, что король страдает этим самым распространенным евангельским недугом. Монахи приступили к осаде беса со знанием дела, по всем правилам, установленным в подобных случаях отцами Церкви. Целыми днями целители внушали Карлосу, что его тело стало жилищем нечестивого; они растолковали мальчику его вину, заставили его почувствовать свой грех, запугали вечными карами. Они распространили враждебность и отчуждение, которые Карлос чувствовал вокруг себя, — в лицах, словах, жестах, вещах, — на единственный островок, до сих пор остававшийся недоступным этим чувствам — на него самого. Карлос потерял доверие к самому себе и ужаснулся этой потере. Двери светского рая захлопнулись за ним, он ощутил вину своего существования. Всякая радость, даже самого невинного свойства, была изгнана из его покоев и осуждена, как ведущая к гибели души; посты, казуистика исповеди и упражнения в истязании плоти сделались немногими разрешенными ему развлечениями. Его организм нова пришел в расстройство, слабый разум окончательно рухнул под гнетом чертовщины испанского благочестия. Иногда по ночам, прислушиваясь к потрескиванию свечи перед распятием и невнятному бормотанию монаха над раскрытым требником, Карлос вдруг начинал слышать голоса, поначалу также глухие и неразличимые, но постепенно усиливавшиеся и оглушавшие его режущим визгом и хохотом. Он натягивал на голову одеяло, зарывался в подушки, но ад разрастался вокруг него, завывая, визжа и скрежеща на тысячи ладов, потом все обрывалось... Карлос дрожащими ногами искал под постелью туфли; найдя, подходил к монаху, становился рядом с ним на колени и проводил так остаток ночи...

Лечение возымело действие — Карлос действительно почувствовал себя одержимым. Когда он впервые до жуткости ясно представил и ощутил в себе присутствие враждебного существа, с ним случился припадок. Карлос вновь ощутил дыхание смерти, но теперь ее близость не приносила ему умиротворения.

Получив известие о припадке у сына, Мария-Анна быстро отвернулась к окну, боясь обнаружить свою радость в обществе придворных дам. В комнате Карлоса она встретила дону Хуана. Королева и принц встали по обе стороны постели, на которой распласталось неподвижное тело Карлоса, с ненавистью глядя друг на друга. Казалось, только ширина кровати мешает каждому из них вцепиться в глотку своего врага. А Карлос, закрыв глаза, умолял беса оставить его и перейти жить в тело какого-нибудь другого человека, все равно какого, все равно...

Однако расчеты Марии-Анны не оправдались. Карлос ускользал из-под ее влияния. Припадки больше не повторялись, а вступление короля в отроческий возраст позволило дону Хуану предъявить мужские права на его воспитание: Карлос начал присутствовать на придворных собраниях, в государственном совете, пристрастился к охоте. Мало-помалу дон Хуану удалось вырвать его из ненавистного гинекея<sup>46</sup> и показать прелести мужской свободы. Это решило исход борьбы. Едва дождавшись совершеннолетия, Карлос подписал давно заготовленные дон Хуаном указы. Регентство было прекращено, владычество фаворитов свергнуто, Мария-Анна изгнана в Толедо. Карлос II начал свое призрачное царствование.

К этому времени расслабленность овладела им совершенно. Его мучили головные боли, желудочные и дыхательные катары, нервные расстройства с периодами светобоязни. Все наследственные признаки вырождения испанской ветви Габсбургов нашли в нем свое последнее выражение. Обвинение, предъявленное им природой, читалось во всей внешности Карлоса. Безобразность его невысокой рахитичной фигуры с выпирающим брюшком и сухопарыми кривыми ножками бросалась в глаза при любом костюме. Постоянный темный цвет его платья неприятно оттенял нечистую кожу лица и рук. Испорченное строение челюсти выносило далеко вперед острый подбородок и оттопыренную толстую губу, делаая их продолжением хищной линии носа. Длинные белокурые волосы, оставлявшие лоб

---

<sup>46</sup> Гинекей — название женской половины дома у древних греков

открытым, и отсутствие бровей придавало сонному взгляду голубых глаз особую мертвенность. Казалось, что Карлос заснул еще в утробе матери и никак не может пробудиться к жизни.

Никогда еще испанский двор не был столь тих и мрачен, как в эти первые месяцы его царствования. Власть имеет свои иллюзии. Карлос думал, что корона прольет благодать любви и участия в его душу, и потому на первых порах чистосердечно принимал подобострастие и лесть за искренние знаки внимания к нему со стороны хвора. Заблуждение длилось недолго. Король ласкался к своим придворным, но встречал в ответ вместо любви — повиновение, вместо сострадания — вежливость, вместо живых чувств — этикет и церемониал. Одиночество не покидало его, скорее наоборот, на троне оно сделалось еще более невыносимым, потому что теперь он разделял его со множеством людей.

Подлинная жизнь двора сосредоточилась вокруг дон Хуана, все нити испанской политики оказались в его руках. Однако и этот, более удачливый и решительный временщик не знал иных способов решения политических вопросов, кроме традиционных для Габсбургов матримониальных комбинаций. Выгодный брачный контракт с одним из европейских дворов должен был, по его мнению, обезопасить Испанию извне и укрепить внутри. После недолгих размышлений выбор дон Хуана остановился на Франции: во-первых, ввиду ее недавних военных успехов; во-вторых, из-за того, что она была естественным союзником в борьбе с Англией, грабившей испанские галеоны с американским золотом; в-третьих, просто потому, что партия Марии-Анны отдавала предпочтение австрийской принцессе. Единственным обстоятельством, которое смущало дон Хуана, была физическая слабость Карлоса и его отвращение к женщинам, онавшееся от детских лет. Король все еще не только не знал женщин, но и панически избегал их. Шелест юбки в комнате заставлял его спасаться потайными лестницами; если женщина на аудиенции подавала ему прошение, он отворачивался, чтобы не видеть ее. Дон Хуан ломал себе голову, как пробудить любовь в сердце короля, и ничего не мог придумать.

Но вот однажды летом, во время совместной прогулки по галереям дворца, дон Хуан завел короля в залу, посередине которой стояла накрытая тканью картина. Дон Хуан приказал слугам свернуть материю.

— Что вы скажете об этом портрете, ваше величество? — спросил он.

Сноп света хлынул с холста в глаза королю, и в этом сиянии перед ним во весь рост предстала прекрасная девушка в атласном платье перламутрового цвета — словно эльф в раскрывшихся лепестках бутона. Белоснежная кожа ее лица, полных рук, открытой груди впитала розовато-золотистые оттенки платья; приглушенные тона интерьера подчеркивали светоносность ее образа. Она смотрела на Карлоса мечтательно-отрешенным взглядом, и в уголках ее по-детски припухлых губ таяла улыбка.

И без того неподвижный взгляд короля как будто окаменел, прикованный к картине. Дон Хуан повторил вопрос.

— Кто она? — пробормотал Карлос.

— Мария-Луиза, принцесса Орлеанская и — да будет на то соизволение вашего величества — ваша невеста и королева Испании.

— Моя королева... — чуть слышно прошептал король. — Да, да, моя королева...

Дон Хуан не поверил своим ушам.

На следующее утро лакеи, вошедшие в королевскую спальню, застали Карлоса сидящим на кровати, с красными от бессонницы глазами. Он приказал им позвать своего брата. Дон Хуан немедленно явился.

— Поторопитесь, сударь, — сказал ему король, — я хочу, чтобы эта женщина была здесь до начала зимы.

Дон Хуан, внутренне ликуя, поклонился.

В июле 1679 года в Париж отбыло посольство маркиза де Лос Балбазеса. Маркиз должен был от имени его католического величества короля Испании Карлоса II просить у его христианнейшего величества короля Франции Людовика XIV руки его племянницы

Марии-Луизы, принцессы Орлеанской.

В течение нескольких дней Карлос совершенно преобразился. Придворные взирали на своего короля с нескрываемым изумлением — им казалось, что на их глазах некая чудодейственная сила воскресила труп. Этой силой была любовь. Король нигде не хотел расставаться с портретом принцессы. Он приказал сделать с него миниатюрную копию и хранил ее на груди, у сердца. Иногда он вынимал портрет из-под камзола и обращался к нему с нежными словами. Любовь рождала в нем тысячи мыслей, которые он не мог доверить никому; ему казалось, что все недостаточно разделяют его нетерпение и желание поскорее ее увидеть. Он без конца писал Марии-Луизе и почти каждый день отправлял нарочных, чтобы отвезти его письмо и узнать новости о ней. У него вырывались слова, показывавшие, что сонный взгляд короля проникал в самые глубины страдающего сердца. Некая ревнивая куртизанка заколола своего любовника у самых ворот дворца. Король приказал привести ее к себе. Выслушав ее историю, он обратился к придворным:

— Воистину я должен поверить, что нет в мире состояния более несчастного, чем состояние того, кто любит, не будучи любим. Ступай, — сказал он женщине, — и постарайся быть более благоразумной, чем ты была до сих пор. Ты слишком много любила, чтобы поступать сознательно.

В начале осени гонец из Парижа привез долгожданное известие: Людовик XIV ответил согласием. Новость не успокоила короля, лишь обострила до предела его нетерпение. Чтобы унять свое возбуждение и вырвать у любви хоть несколько часов крепкого сна, Карлос прибегнул к самобичеванию. Стоя перед большим портретом Марии-Луизы, он хлестал себя по плечам и спине короткой плетью, и капли алой крови брызгали на белоснежную кожу и перламутровое платье принцессы... Карлос готовился к любви, как аскет готовит себя к вечной жизни. Он любил, он страдал, и душа его была преисполнена гордости и надежды.

В октябре Карлос покинул Мадрид и выехал навстречу Марии-Луизе.

## II

Короли совершают человеческие жертвоприношения государственным интересам двумя способами: отправляя подданных на войну и своих детей — под венец, причем первое обычно влечет за собой второе. Людовик XIV, только что закончивший голландскую войну миром в Нимегене <sup>47</sup>, теперь намеревался закрепить военные успехи Тюренна и Люксембурга <sup>48</sup> династическим браком, который усилил бы французское влияние в Испании. Король знал о взаимной склонности Марии-Луизы и дофина, но чувства молодых людей мало интересовали его, несмотря на то что восемнадцать лет назад он сам должен был по настоянию Мазарини отказаться от любви к прекрасной Марии Манчини ради брака с Марией-Терезией. Душевных качеств этого монарха с избытком хватило бы на четырех королей, но едва ли на одного порядочного человека. Поэтому Людовик, растроганно слушавший в придворном театре монолог Ифигении <sup>49</sup>, влекомой жрецами на жертвенный алтарь, нетерпеливо прервал Марию-Луизу, когда она, рыдая, бросилась перед ним на колени, холодными словами:

— Сударыня, что же больше я мог сделать даже для своей дочери?

---

<sup>47</sup> В Голландской войне 1672 — 79 гг. против Франции выступила коалиция, включавшая Голландию, княжества Северной Германии, Австрию и Испанию. По Нимвегскому миру (1679) Франция получила полтора десятка городов в Бельгии и так называемую испанскую Бургундию (Франш-Конте)

<sup>48</sup> Тюренн, Люксембург — французские маршалы

<sup>49</sup> Ифигения — в троянском цикле дочь царя Агамемнона, предводителя ахейского войска. Агамемнон должен был принести ее в жертву для того, чтобы корабли ахейцев могли отплыть к Трое. Но богиня Артемида заменила Ифигению на алтаре ланью

— Но, ваше величество, для вашей племянницы вы могли бы сделать больше! — в отчаянии воскликнула принцесса (она подразумевала свое желание стать супругой дофина).

Король нахмурился.

— День отъезда уже назначен, сударыня, — сказал он. — Потрудитесь быть готовой к этому времени. Я приготовил вам блестящую будущность. Вы станете залогом добрых отношений между мной и моим братом Карлосом. Вы принесете Франции безопасность, а я позабочусь о том, чтобы доставить ей славу.

И Людовик XIV сделал знак, что аудиенция окончена.

Мария-Луиза чувствовала то же, что и ребенок, изгоняемый родственниками из дома после смерти родителей. Привыкнув считать французский двор, приютивший ее мать в изгнании <sup>50</sup>, самым любезным и приятным двором в мире, она меньше всего думала о том, что ей когда-нибудь придется его покинуть. Кроме отравления матери, только один таинственный случай омрачил ее юность. Как-то раз принцесса страдала от четырехдневной перемежающейся лихорадки и была весьма огорчена тем, что эта болезнь мешает ей разделить со всем двором удовольствия зимних празднеств. В монастыре кармелиток, где она попросила у сестер средства против лихорадки, ей дали питье, после которого у нее сделалась сильная рвота. Мария-Луиза не хотела говорить, кто дал ей питье; все же при дворе узнали правду. Происшествие наделало много шума, однако все ограничилось несколькими эпиграммами, пущенными в монашек какими-то смельчаками, пожелавшими остаться неизвестными. Юная принцесса скоро позабыла об этом случае. Кроткий, но вместе с тем веселый нрав побуждал Марию-Луизу довольствоваться настоящим, а любовь к дофину породила в ее душе сладостные надежды. Теперь же, после аудиенции у Людовика XIV, она поняла, что от нее ждут платы за гостеприимство, оказанное ее матери, и этой платой должно стать ее счастье. Корона королевы Испании, одна мысль о которой заставляла заливаться слезами европейских принцесс, в ее глазах ничем не отличалась от тернового венца, возлагаемого на голову мученика; последний при этом, правда, не был обязан благодарить своих мучителей.

Она попыталась еще раз смягчить сердце Людовика XIV. За несколько дней до отъезда она вновь с мольбой упала к его ногам при входе в церковь. Смиренная поза любимицы двора, словно последняя нищенка ожидающей монаршей милости, вызвала в толпе придворных сочувственный шепот. Все поглядывали на дофина. Но король быстро пресек разговоры, промолвив со своей обычной сухой иронией:

— Прекрасная сцена! Королева католическая мешает всехристианнейшему королю войти в церковь!

С этими словами он грубо отстранил принцессу и проследовал дальше. Свита короля двинулась за ним; никто из придворных не посмел помочь Марии-Луизе подняться с колен. Дофин с подчеркнутой незаинтересованностью смотрел в другую сторону. Больше всего на свете Марии-Луизе хотелось застыть, окаменеть здесь, на церковных ступенях, став вечным укором справедливости Всевышнего.

Камеристки почти силой усадили ее в карету. Дома, немного успокоившись, она ужаснулась дерзости своих мыслей, но смирение, которым она попыталась облечь свое отчаяние, было так же невыносимо, как слишком узкий корсет.

Через несколько дней все было готово к отъезду. Кареты Марии-Луизы, ее дам и экипажи горничных стояли запряженные, чемоданы и сундуки были упакованы и привязаны к повозкам, пятьдесят кавалеров почетного эскорта сидели в седлах. Мария-Луиза, опустив глаза, подошла к Людовику XIV проститься.

---

<sup>50</sup> Мать Марии-Луизы королева Генриетта Английская, вдова казненного короля Карла I Стюарта, нашла убежище во Франции, вышла замуж за брата короля герцога Орлеанского и была отравлена в 1669 г. Мария-Луиза родилась от брака Генриетты с герцогом Орлеанским. Отравление приписывали герцогу Орлеанскому, второму супругу Генриетты, ревновавшему ее к герцогу Бекингеу (сыну знаменитого фаворита Карла I) и к племяннику Генриетты, герцогу Мон-мутскому

— Государыня, — сказал он, целуя ее, и в его голосе слышалась явная угроза, — я надеюсь, что говорю вам прощайте навсегда, потому что величайшее несчастье, которое может случиться с вами, — это ваше возвращение во Францию.

Мария-Луиза села в карету и поспешно задернула занавески. Все же она сделала это недостаточно быстро, чтобы не дать заметить заблестевших на ее ресницах слез. Король, считавший неприличным любое публичное проявление чувств, сделал брезгливую гримасу и подал знак к отъезду. Послышались крики возниц, щелканье кнутов, и свадебный поезд тронулся в путь.

Время в дороге тянулось медленно. Принц д'Аркур, возглавлявший кортеж принцессы, старался сделать все от него зависящее, чтобы мрачные мысли как можно реже посещали хорошенькую головку Марии-Луизы во время путешествия. Ехали не спеша, подолгу задерживаясь в крупных городах и предаваясь всевозможным увеселениям, которые устраивали городские власти. В маленьких городишках, там, где у городских старшин не хватало денег и фантазии, придумывали развлечения сами. Любезная, добродушная, веселая Франция в последний раз дарила Марию-Луизу своей приветливой, ласковой улыбкой. Восхитительная прозрачность погожих октябрьских дней, пронизанных нежным светом нежаркого солнца, придавала поездке невыразимое очарование. Желто-бурые полосы на сжатых полях по обеим сторонам дороги, голубая цепь холмов вдаль, жухлая зелень убранных виноградников и золотой багрянец рощ слагались в огромный, стоцветный, радостный мир, в котором, казалось, не было места несчастью и принуждению. И Мария-Луиза время от времени не могла не поддаваться общему настроению беспечного веселья. Любовь, доходящая до обожания, и безграничная преданность, читавшиеся на лицах ее дам, кавалеров свиты и даже прислуги, придавали ей решимости казаться достойной этих чувств. Она была обворожительно-прелестна с мужчинами и чарующе-обходительна с дамами. Один случай дает понять, ценой какого внутреннего напряжения ей это давалось.

Кортеж проезжал через один город, известный своим производством шелковых чулок. Городские депутаты явились к Марии-Луизе, чтобы поднести великолепные образцы своей промышленности. Однако старый испанский гранд из посольства Лос Балбазеса швырнул корзину с чулками в лицо обескураженным депутатам.

— Знайте, что у испанских королей нет ног! — крикнул он им.

При этих странных словах с Марией-Луизой случилась истерика. Весь страх, все отчаяние, копившиеся в ней, в один миг прорвались наружу. На руках у испуганных дам она визжала сквозь слезы, что во что бы то ни стало хочет вернуться в Париж и что, если бы она знала до своего отъезда, что у нее хотят отрезать ноги, она скорее бы предпочла умереть, чем отправиться в путь... Все пришли в смятение, французы требовали объяснений. Изумленный испанский гранд насилу успокоил Марию-Луизу уверениями, что его слова не следует принимать буквально и что своей метафорой он хотел сказать лишь то, что в Испании лица ее ранга не касаются земли. Наконец ему удалось добиться от нее улыбки.

Мария-Луиза попробовала вести себя по-прежнему непринужденно, но это плохо ей удалось. После этого происшествия она уже не могла согнать со своего лица тревогу и растерянность. Ее разум, бессильный осмыслить события последних недель, вновь и вновь возвращался к двум вопросам, которые не выходили у нее из головы: «Почему я?» и «За что?». Она замкнулась в себе и с ужасом считала дни, оставшиеся до встречи с Карлосом. Временами в ней вспыхивал гнев на саму себя за то, что она спокойно позволяет распоряжаться своей судьбой. В такие минуты Мария-Луиза мысленно готовила планы побега, перебирала в уме своих возможных сообщников, обдумывала слова, которыми она надеялась склонить их на свою сторону. Она так глубоко погружалась в грезы о свободе, так отчетливо представляла свои действия, так сильно переживала радость мнимого освобождения, что, когда действительность напоминала ей о себе, Мария-Луиза не сразу могла отделаться от чувства, что видит перед собой остатки какого-то дурного сна. Тогда она вспоминала свое сиротство, свое одиночество, вспоминала, что у нее есть поклонники, но нет друзей, что сама она всего лишь дочь беженки, воспитанная страной, по отношению к

которой должна выполнить долг благодарности... Смирясь, она упивалась своей жертвой, но затем в ее мозгу снова всплывала мысль: «Почему я?» — и она опять переставала что-либо понимать, и ее жертва казалась ей бессмысленной и чудовищной.

3 ноября 1679 года кортеж Марии-Луизы прибыл около Сен-Жан-де-Люза на берег реки Бидассоа, отделявшей Францию от Испании.

С утра накрапывал дождь, но теперь небо прояснилось. Сквозь обрывки хмурых туч проглядывало неяркое солнце, тускло блестя на воде, мокрых камнях и крупах лошадей. На пустынном берегу стоял специально выстроенный позолоченный деревянный дом, где принц д'Аркур должен был передать Марию-Луизу в руки маркиза Асторгаса. Кареты и всадники сгруппировались вокруг постройки. Д'Аркур предложил Марии-Луизе руку, чтобы проводить ее в дом. Принцесса прошла вместе с ним и со своей статс-дамой госпожой Клерамбо в отведенную ей комнату, покорно села на предложенный ей стул и стала ждать, когда за ней придут. Она была охвачена ледяным ужасом, параличом мысли и воли, превращавшим ее в послушный манекен.

Спустя какое-то время Мария-Луиза увидела в окно, как несколько человек в черных плащах шли с другого берега по узкому мосту. Вскоре в соседней комнате послышался голос д'Аркура, приветствующий испанцев. Спустя еще некоторое время дверь отворилась, и д'Аркур пригласил Марию-Луизу выйти.

— Король Карлос разрешает вам взять с собой четырех дам и несколько человек прислуги, — сказал он. — Кого бы вы желали выбрать?

Мария-Луиза испуганно посмотрела на него и оглянулась на госпожу Клерамбо.

— Может быть, вы? — слабым голосом произнесла она.

— Не беспокойтесь, ваше величество, я все улажу, — ответила статс-дама.

Она вышла и вернулась с тремя женщинами, которые поклонились Марии-Луизе и заняли место возле нее.

— Ну что же, ваше величество, соблаговолите выйти к остальным вашим друзьям. Настало время проститься, — сказал д'Аркур.

Мария-Луиза переступила порог и остановилась. Силы покинули ее, она прислонилась к стене. Госпожа Клерамбо и госпожа Берфлер подхватили Марию-Луизу под руки и, чуть ли не волоча ее ногами по камням, подвели к кавалерам и дамам свиты, тесной толпой стоящим поодаль возле карет.

Французы по очереди стали подходить к Марии-Луизе для прощания. Она по привычке хотела протянуть им руку, но маркиз Асторгас громко воспротивился этому, напомнив, что никто не смеет касаться ее величества. Мария-Луиза безвольно, как по команде, опустила руку и, глядя в землю, отвечала на поклоны и реверансы едва заметным кивком головы.

Дамы повели ее к мосту, Асторгас двинулся следом. С противоположной стороны, навстречу им, шло несколько женских фигур, одетых в черное. Дойдя до середины моста, Мария-Луиза порывисто обернулась. Французы почтительно склонились в последний раз. Мария-Луиза закусила губы, слезы брызнули у нее из глаз. Ей показалось, что она переходит Стикс. В отчаянии она уже сделала шаг по направлению к французскому берегу, но в это мгновение чья-то узкая сухая рука крепко ухватила ее запястье. От неожиданности Мария-Луиза вскрикнула и оглянулась. Высокая бледная старуха с маленькими суровыми глазками на длинном морщинистом лице еще крепче сжала ее руку.

— Я герцогиня Терра-Нова, камерера-махор <sup>51</sup> вашего величества. Извольте следовать за мной, — холодно произнесла она, и в ее повелительном голосе слышалось, что отныне власть над душой и телом королевы принадлежит ей.

Старуха отпустила Марию-Луизу, поклонилась и спокойно пошла назад. Девушке показалось странным, что с ней разговаривают таким тоном, но удаляющаяся прямая спина герцогини безоговорочно пресекала все возражения и протесты. Мария-Луиза подчинилась

---

<sup>51</sup> Старшая придворная дама

и, перейдя мост, вошла вслед за камарерой на барку с застекленной комнатой.

Как ни была Мария-Луиза погружена в свои переживания, она не могла не заметить, что камарера занимает среди испанцев какое-то особое, исключительное положение. Маркиз Асторгас и другие гранды как-то сразу исчезли из поля зрения, предоставив ей право распоряжаться всем на судне. Все разговоры при ее приближении почтительно стихали, а ее короткие приказы, отдаваемые с ледяным спокойствием, исполнялись незамедлительно. Мария-Луиза сразу инстинктивно почувствовала в этой старухе своего злейшего врага и решила повнимательнее присмотреться к ней.

Герцогиня Терра-Нова из дома Пиньятели была внучкой Фернандо Кортеса <sup>52</sup>. Воплощенная надменность, она держала себя равной с королем и королевой перед равными. Ее внешность казалась ветхим слепком дряхлеющего могущества Испании. Герцогине было шестьдесят лет, но выглядела она на все семьдесят пять. Она была безобразна и плохо сложена; вместе с тем она обладала величественной осанкой, внушавшей почтение и даже некоторую симпатию. Все ее поступки, жесты и слова были строго рассчитаны. Герцогиня говорила мало, но «я хочу» и «я не хочу» произносила так, что людей охватывала дрожь. Иметь ее врагом означало то же самое, что брать змею за хвост: смертельный удар следовал незамедлительно. Дон Карлос Арагонский, ее двоюродный брат, был убит нанятыми герцогиней бандитами за то, что он требовал у нее возвращения принадлежавшего ему герцогства Терра-Нова, которым герцогиня бесконтрольно пользовалась. Суровость и старость герцогини сыграли решающую роль при назначении ее на должность. Камарера-махор была, так сказать, официальной тюремщицей королевы, окостенелым этикетом, не ведавшим снисхождения даже к коронованным особам. Она должна была вживить в тело и душу молодой королевы испанский церемониал, научить ее есть, спать, двигаться, говорить по его незыблемым законам, указывать на каждое слово, каждый жест, отступающий от правил, значение которых было давно забыто. Неслыханные права камареры по отношению к ее подопечной превосходили полномочия евнухов в гареме: они отвечали только за целомудрие своей госпожи; камарера же была ответственна перед Испанией за натурализацию ее королевы.

Барка проплыла несколько миль и причалила к берегу возле какой-то деревни, где путешественников ожидали приготовленные для горной дороги лошади и мулы. Заночевали в Ируне. Здесь Мария-Луиза получила первое представление об испанской нищете. Постоялый двор, где они остановились, поразил ее своей убогостью. Ужин был так скуден и так плохо сервирован, что Мария-Луиза была крайне изумлена и почти ни к чему не прикоснулась. «Ужасно быть королевой в стране, где нет вилок», — сострила одна из ее француенок. Шутка заставила кисло улыбнуться Марию-Луизу, но не прибавила ей аппетита. Ее не покидало ощущение, что в этом доме никогда не было ни постояльцев, ни пищи.

Комната, или скорее клеть, отведенная королеве, находилась рядом с конюшней. Когда Мария-Луиза открыла дверь, ей показалось, что перед ней зияет какая-то черная дыра. Мало-помалу глаза ее привыкли к темноте, и она различила крохотное окошко, столь скупое пропускавшее свет, что в этой комнате, по-видимому, и в полдень требовался светильник.

Меблировка ограничивалась кроватью и лавкой. Под окном на пыльной доске сохли связки трески рядом с куском заплесневелого черного хлеба. Мария-Луиза хотела помолиться на ночь, но ни у хозяина гостиницы, ни у местного священника не оказалось свечей. Не раздеваясь, она с отвращением прилегла на жесткое, скрипучее ложе. Она думала, что не заснет, но сон сразил ее мгновенно.

Утром Мария-Луиза не пожелала даже взглянуть на приготовленный завтрак и, сев на лошадь, продолжила путь. Герцогиня Терра-Нова следовала за ней чуть поодаль на своем

---

<sup>52</sup> Кортес Фернандо (1485 — 1547) — испанский конкистадор, завоеватель государства ацтеков (1519 — 1521). В 1522 — 1528 гг. губернатор, в 1529 — 1540 генерал-капитан Новой Испании (Мексики)

муле, ни на минуту не упуская королеву из виду, подобно стоокому дракону, стерегущему сокровище.

### III

Карлос II ехал навстречу Марии-Луизе. Полумертвый король в первый и последний раз видел свое умиравшее королевство.

Испания взидала на своего Hechizado — «околдованного» короля — с нежной покорностью: она узнавала в нем себя. Ее еще нетронутое, кажущееся нерушимым могущество не в состоянии было скрыть симптомы смертельного упадка. Европа освобождалась из-под гипнотизма габсбургской политики, понемногу осозная, что боится, в сущности, бессильного призрака. Грозная пехота, гордость испанской армии, погибла под Рокруа <sup>53</sup>, немногочисленные нищие ветераны дряхлели в гарнизонах; флот, некогда носивший название Непобедимой Армады <sup>54</sup>, догнивал в портах. Иностранные дипломаты все чаще и смелее поговаривали о «неизлечимо больном человеке», подразумевая под ним испанскую монархию; тем из них, которые сами побывали за Пиренеями, действительность представляла более ужасной, чем самые смелые предположения.

Страна выглядела опустошенной, как после вторжения какого-нибудь новоявленного Атиллы; между тем со времен Карла Великого ни одна вражеская армия не пересекала ее границ <sup>55</sup>. Испания убивала сама себя, уподобляясь истекающему кровью гемофилику, продолжающему наносить себе порезы. Принятие законов об изгнании евреев и мавров превратило в беженцев два миллиона человек, колонизация Америки отняла еще несколько миллионов, полмиллиона еретиков были сожжены инквизицией или отправлены на каторжные га-лионы. Невероятная популярность монашества усугубляла эту язву бесплодия. На всем полуострове едва насчитывалось шесть миллионов жителей. Пустынничество перестало быть прерогативой отшельников. Только в обеих Кастилиях насчитывалось триста опустевших селений, еще двести было возле Толедо, тысяча — в королевстве Кордуанском... Кортесы в ужасе пророчествовали: «Больше не женятся, а женившись, не рожают больше. Никого, кто мог бы обрабатывать земли. Не будет даже кормчих для бегства в другие места. Еще одно столетие, и Испания угаснет!»

Беспримерная убыль населения шла рука об руку с какой-то одуряющей ленью, невероятно легко развратившей не только сеньора и священника, но и ставшей гордым идеалом простонародья. Праздности предавались с истинно религиозным пылом, она была царством небесным здесь, на земле. Промышленность презиралась; торговля была отдана на откуп маранам и иностранцам; земледелие гложло под гнетом двойной зависимости крестьян от дворянства и духовенства. Пословица того времени гласила: «Жаворонок не может пролететь над Кастилией, не запасшись своим зерном». Бедняки просили милостыню с гордостью принцев; богатые жили на восточный манер, проживая сокровища, спрятанные в сундуках и подвалах. Тяжкой привязанности к плугу крестьяне предпочитали пастушескую вольность. Зброшенные поля превращались в пастбища. Эстрада целиком была отдана мериносам; одни только пастухи маркиза Геб-ралеона пасли стада в восемьсот тысяч овец.

Бедность государства достигла сказочных размеров. Постоянные войны, содержание

---

<sup>53</sup> Рокруа — город во Франции, возле которого в 1643 г. французские войска под командованием принца Конде разгромили испанскую армию, считавшуюся непобедимой

<sup>54</sup> Непобедимой Армадой назывался военный флот Испании с тридцатитысячным десантом, направленный Филиппом II на завоевание Англии. В 1588 г. Армада понесла огромные потери в бою с английским флотом в Ла-Манше и отступила

<sup>55</sup> Поход короля франков Карла Великого в Испанию состоялся в 778 г.



международных гарнизонов, бессмысленная фискальная система превратили его в скупца, умирающего от голода возле своих золотых рудников. Золото Нового Света текло в Испанию только для того, чтобы обогащать другие народы. Фландрия пухла от торговли; вице-короли Мексики и Перу организованно грабили богатства империи; английские, голландские, французские флотилии бороздили Атлантику в поисках незащищенных золотых караванов Испании. Один писатель того времени, уподобляя мир телу, сравнивал Испанию с ртом, который принимает пищу, разжевывает, но тотчас же отдает ее другим органам, довольствуясь сам лишь мимолетными вкусовыми ощущениями и случайными волокнами, застрявшими в зубах. Государству нечем было платить своей армии: из жалования в двенадцать эску в месяц офицеры не получили и шести в течение последних десяти лет. Солдаты пробавлялись милостыней днем, а ночью выходили на большую дорогу; более совестливые дезертировали. Казна чеканила фальшивую монету и конфисковывала скудное имущество еретиков. Нищета, неуничтожимая, словно метастазы, распространялась на все слои общества. Один путешественник насчитал всего лишь четырех богатых сеньоров во всем королевстве.

Однако все это совершенно не интересовало Карло-са. Он смотрел вокруг себя взглядом мертвеца и ничего не замечал. Его занимали только мысли о Марии — Луизе. Король был печален и рассеян, он разговаривал лишь с гонцами, которых ежечасно отправлял справиться, на каком расстоянии от него находится королева. Ожидание и раздумья до некоторой степени облагораживали безобразную фигуру Карлоса, налагая на его движения печать меланхолической гармонии.

Их встреча произошла в деревне Квинта-Напалья около Бургоса. Был пасмурный день, дул сильный ветер. Король с утра сидел у окна в одном из крестьянских домов. При известии о приближении королевы его охватила лихорадочная тревога. «Моя королева! Моя королева!» — взволнованно бормотал он. Карлос потребовал коня, вскочил в седло без посторонней помощи и дрожащей рукой натянул поводья. Животное, закусив узду, во весь опор понесло его по деревне. Комья грязи летели из-под копыт; свиньи, визжа, разбежались от дороги; крестьяне с пугливым любопытством смотрели вслед безумному всаднику.

Выехав за деревню, Карлос издали увидел растянувшуюся по равнине кавалькаду. Он почувствовал, что сердце словно плавает у него в груди, и остановил коня. Стараясь восстановить спокойное дыхание, король глубоко втягивал ртом воздух, но от каждого нового вдоха по его плечам и груди пробегала судорога. Он ощущал внутри какую-то пустоту, но эта пустота была мучительно-тяжела. Карлос понял, что больше не сможет ступить и шага, и впился глазами в даль. Ему казалось, что фигурки на равнине не двигаются.

Прошло не менее получаса, прежде чем кавалькада приблизилась. Взгляд Карлоса давно уже отыскал Марию-Луизу среди всадниц и неотступно следил за ней, между тем как его рука сжимала на груди ее портрет. Когда она подъехала ближе и стали видны черты ее лица, Карлос пришел в некоторое смятение — живая Мария-Луиза была и хуже, и лучше своего изображения.

Мария-Луиза также остановила лошадь, и они в нерешительности застыли напротив друг друга. Дамы королевы, камарера-махор, маркиз Асторгас и другие, подъезжая, спешили за спиной Марии-Луизы и кланялись королю. Никто не произносил ни слова. Ветер хлопал юбками и плащами, лошади фыркали и позвякивали уздечками.

Наконец Карлос спрыгнул на землю и помог Марии-Луизе сойти с коня. Дотронувшись до нее, король преобразился, восторг осветил его лицо.

— Моя королева! Моя королева! — твердил он по-испански, в упоении глядя на нее.

— О, ваше величество! — лепетала в ответ по-французски Мария-Луиза, опустив глаза.

Она несколько раз пыталась броситься к его ногам и поцеловать ему руку, но он каждый раз останавливал ее и приветствовал, по обычаю страны, сжимая ее руки обеими руками. Мария-Луиза не знала, что делать, но камарера-махор пришла ей на помощь.

— Ваше величество, — твердым голосом произнесла она, — королева устала с дороги,

ей следует отдохнуть.

— Да, да, — спохватился Карлос. — Моя королева!..

Он посадил Марию-Луизу в седло и поехал рядом, не спуская с нее глаз.

Король не захотел откладывать торжество, и свадьба была справлена в тот же день в этом бедном селении. Мария-Луиза приказала себе больше ничему не удивляться, даже если окажется, что Квинта-Напалья и есть столица ее королевства. После венчания в местной церкви все сели за свадебный стол, чья евангельская простота делала его похожим скорее на монастырскую трапезу, чем на королевское пиршество. Засидеться за таким столом было невозможно, но нетерпение короля и тут дало себя знать: он уединился с королевой, не дожидаясь конца обеда.

На следующий день кортеж малыми переходами направился к Мадриду. После Бургоса горы сменились пустынной равниной. Кругом не было видно ни одного дерева. Изредка на окрестных холмах можно было заметить одинокого пастуха, закутавшегося, словно монах, в плащ цвета высохшего трута, и его овец, белевших на бурых склонах, как крупные капли молока. Дома в придорожных селениях были сплошь одноэтажные, сложенные из круглых камней; пучки сухой травы, наложенной на древесные жерди, заменяли крыши. Мария-Луиза не могла отделаться от чувства, что путешествует по Иудее времен патриархов.

Путь до Мадрида занял около двух месяцев. Только в начале января 1680 года королевская чета въехала в столицу. Во главе процессии двигалась карета с четырьмя королевскими мажордомами, затем три кареты с идадьго в вышитых золотом костюмах — кавалерами орденов Сант-Яго, Калатрава и Алькантара, и кареты великого конюшего, капитана гвардии и кравчего; следом ехала пустая карета короля. Карлос и Мария-Луиза сидели в карете, находящейся в середине поезда. За ними ехали конюший и мажордом королевы в ее карете и карета камареры. Спешенная челядь шла возле четырех мулов с гербом и ливреей. Замыкали шествие дамы на лошаках и пеший конвой с трубами и литаврами. Толпы горожан встречали кортеж на всем протяжении от городских ворот до собора Атохс-кой Богоматери, где король и королева должны были выслушать *Te Deum* <sup>56</sup>.

Мария-Луиза с любопытством смотрела на полки испанской и валлонской <sup>57</sup> гвардии, стоящие шпалерами вдоль улиц с развернутыми знаменами и оглашающие воздух треском барабанов; на многочисленные ювелирные лавки с тяжелыми, обитыми железом дверями; на балконы, покрытые коврами, и окна с выставленными в них подушками, обшитыми разноцветным бархатом. Ее удивило, что, несмотря на многолюдье, горожане не давятся, как в Париже, за право протолкнуться поближе к королевской карете. В окнах некоторых домов Мария-Луиза заметила свиные окорока. Она осведомилась у короля, что это значит, и получила ответ, что крещеные мавры таким образом отводят от себя подозрения в тайной приверженности к предписаниям своей религии.

У собора все спешили, король и королева вышли из карет. В эту минуту камарера, увидав, что волосы на лбу королевы несколько растрепались, плюнула себе на пальцы и прикоснулась к голове Марии-Луизы, чтобы слепить их. Брезгливость помогла Марии-Луизе преодолеть тот ужас, который внушала ей герцогиня. Она остановила руку камареры и с королевским видом сказала ей, что даже лучшая эссенция не годится для этого. Камарера грозно сверкнула глазами, а Мария-Луиза, достав платок, долго терла свои волосы в том месте, где старуха так неопытно их замочила.

Это была первая победа королевы в той долгой войне, которую эти две женщины молча объявили друг Другу.

---

<sup>56</sup> Начальные слова католической мессы

<sup>57</sup> Валлоны — небольшой народ, живущий в Бельгии. Валлонов, как и швейцарцев, европейские дворы охотно нанимали для военной службы

#### IV

Зловещее предзнаменование сопровождало вступление Марии-Луизы в Буен-Ретиро — королевский дворец в Мадриде: она слегка оперлась рукой на большое зеркало, и стекло треснуло сверху донизу. Придворные дамы пришли в ужас. Они много рассуждали об этом случае и решили со вздохом, что их королеве долго не прожить. Впрочем, к частой смене королей в Испании давно привыкли. Короли здесь хоронили в течение своей жизни двух-трех, иногда четырех жен. Минотавром, пожирающим этих дев, был испанский придворный церемониал.

Всякое учреждение — это только продолжение тени создавшего его человека, говорил Эмерсон <sup>58</sup>, Над испанским двором царила мрачная тень Филиппа II, этого выроodka-мизантропа, кадившего своему богу дымом бесчисленных аутодафе. Жизнь останавливалась у порога его дворца, как трава у подножия скалы. Сам Эс-кориа, построенный им едва ли не с той же целью, с какой фараоны строили свои пирамиды, имел форму рашпера — орудия пытки, на котором принял мученическую смерть святой Лоренцо, особо чтимый этим благочестивым извергом. Дворец стал частью пустыни, его окружавшей. "Двор, — говорит одна итальянская реляция, написанная около 1577 года, — в настоящее время весьма малолюден, потому что там встречаешь лишь тех, кто имеет отношение к личным покоем короля или к его совету, так как большинство из *cavalieri privati* <sup>59</sup>, которые там находились, или к услугам короля, или для искания почестей, видят, что его Величество живет все время в уединении или в деревне, мало показываясь, редко давая аудиенции, награждая скупой и поздно, не могли там оставаться под бременем расходов, не получая ни выгоды, ни удовольствий". В конце концов из дворца были прогнаны не только придворные, но и священники, и Филипп II заперся в нем с кучкой монахов.

Придворный этикет напоминал монастырский устав. Филипп II, вступив в Эскориал, словно дал обет молчания. Депутации, которые он принимал, не слышали от него ни одного слова: после их речей он склонялся к уху своего министра, и тот отвечал вместо него. Даже королевский секретарь, сидевший с Филиппом II за одним столом, вместо слов получал от него записки — вплоть до мельчайших распоряжений. Мир был для Филиппа II огромным пергаментом, на котором он писал свои политические заклинания. Но этот пергамент в сознании короля со временем ссыхался, словно шагреновая кожа; вскоре и Эскориал стал для него слишком просторным. Свои последние годы он провел заживо похороненный в комнате с окном, у подножия главного алтаря дворцовой церкви. Возле этого склепа Филипп II велел поставить свой гроб.

Потомки Филиппа II соблюдали намеченные им правила, придав этикету мертвенную слаженность механизма. Один французский писатель сравнил его с большими часами, которые каждый день начинают тот же самый круг, что они пробежали накануне, указывая те же цифры, звоня в те же часы, приводя в движение, согласно временам года и месяцам, те же аллегорические фигуры. Король и королева были именно такими фигурками, с машинальной неизменностью показывающимися в известные сроки на часовой башне этого монархического механизма, на чьем циферблате было только две отметки: «всегда» и «никогда». При Филиппе IV он был доведен до пределов совершенства. «Нет ни одного государя, который жил бы так, как испанский король, — читаем в записках путешественника того времени. — Его занятия всегда одни и те же и идут таким размеренным шагом, что он день за днем знает, что будет делать всю жизнь. Можно подумать, что существует какой-то закон, который заставляет его никогда не нарушать своих привычек. Таким образом, недели, месяцы, годы и все часы дня не вносят никакого изменения в его образ жизни и не позволяют

---

<sup>58</sup> Эмерсон Ралф Уолдо (1803 — 1882) — американский философ и писатель

<sup>59</sup> Придворных

ему видеть ничего нового, потому что, просыпаясь, сообразно начинающемуся дню он знает, какие дела он должен решать и какие удовольствия ему предстоят. У него есть свои часы для аудиенций иностранных и местных и для подписи всего, что касается отправления государственных дел, и для денежных счетов, и для слушания мессы, и для принятия пищи. И меня уверяли, что он никогда не изменяет этого порядка, что бы ни случилось. Каждый год в одно и то же время он посещает свои увеселительные дворцы. Говорят, что только одна болезнь может помешать ему уехать в Аранхуэц, Прадо или Эскориал на те месяцы, в которые он привык пользоваться деревенским воздухом. Наконец, те, что говорили мне о его расположении духа, уверяли, что оно вполне соответствует выражению его лица и осанке, и те, что видели его вблизи, уверяют, что во время разговора с ним они никогда не замечали, чтобы он изменил позу или движение, и что он принимал, выслушивал и отвечал с тем же самым выражением лица, и во всем его теле двигались только губы и язык».

Десятилетия за десятилетиями церемониал губил все живое, к чему прикасался. Убив всякое проявление духа, он за десять — пятнадцать лет сводил в могилу европейских принцесс, имевших несчастье надеть корону испанской королевы; однажды жертвой этикета стал король. Филипп III, задохнувшийся от чада жаровни, позвал на помощь, но дежурный офицер куда-то отлучился. Он один имел право прикасаться к жаровне. Его искали по всему дворцу; когда он, наконец, вернулся, король был уже мертв.

Мария-Луиза сделалась пленницей этикета раньше, чем ее нога переступила порог Буен-Ретиро. Еще во время путешествия камарера-махор сумела убедить Карло-са в том, что королева, юная, живая, с блестящим умом, воспитанная в свободных обычаях французского двора, вольно или невольно разрушит церемониал, если с первых же дней не почувствует всей его неуклонности. Кар-лос испугался. Камарера, сама того не ведая, растревожила тайные опасения короля. Карлос хотел продолжать любить Марию-Луизу так, как он любил ее портрет; она была для него живой игрушкой, которую можно, налюбовавшись на нее и наигравшись с ней, снова запереть в шкатулку. В сознании Карлоса их совместная жизнь оставалась, по сути, исключительно его жизнью, и сама мысль, что Мария-Луиза может внести в их отношения нечто непредвиденное, казалась ему посягательством на его счастье. Поэтому король предоставил камарере полную власть в воспитании королевы.

Герцогиня Терра-Нова сразу отняла у Марии-Луизы ту небольшую долю свободы, которой она еще пользовалась во время путешествия. Желая остаться единственной госпожой над волей королевы, она объявила, что до первого публичного выхода ее величества она не допустит к ней никого, кто бы это ни был. Мария-Луиза, став королевой полумира, оказалась запертой в своих комнатах в Буен-Ретиро, покидать которые камарера ей запретила. В течение нескольких недель ее единственным развлечением были длинные и скучные испанские комедии да грозная камарера, безотлучно находившаяся у нее перед глазами с лицом суровым и нахмуренным, никогда не смеявшаяся и за все умевшая сделать выговор. Она была заклятым врагом всех удовольствий и обращалась со своей госпожой как гувернантка с маленькой девочкой.

Умилостивить непреклонную старуху было невозможно. Госпожа де Виллар, жена французского посланника, после настойчивых просьб добилась, наконец, у короля разрешения видеть королеву инкогнито; однако камарера не допустила ее к ней. В первый раз герцогиня выпроводила француженку, убеждавшую ее, что король разрешил это посещение, со словами, что «она этого не знает». Госпожа де Виллар направила к ней придворного, который умолял камареру осведомиться. Та отвечала, «что не сделает ничего и что королева не увидит никого, пока будет в Ретиро». А когда Мария-Луиза, встретив в одном из апартаментов дворца маркизу Лос Балбазес, хотела поговорить с ней, камарера взяла королеву за локоть и заставила вернуться в свою комнату.

Так прошли зимние месяцы. С наступлением весны затворничество сделалось для Марии-Луизы невыносимым. Едва дождавшись вечера, когда она оставалась одна в своей спальне, королева открывала окно и подолгу стояла возле него. Гроздь созвездий чисто и ярко сияли из темной бездны, разверзшейся над городом. И словно отвечая им, в городских

аллеях вспыхивали и плыли огненные светлячки — это женщины, длинными рядами сидящие под деревьями на камышовых стульях, зажигали свои сигарки. В дворцовых садах и апельсиновых рощах вокруг Мадрида раздавались голоса и звуки мандолин, а порой весенний ветерок доносил до слуха Марии-Луизы странный шум: как будто город наполнился тысячами гремучих змей; она не сразу поняла, что это шелест опахал. К полуночи все мало-помалу затихало, и только плеск фонтанов да приглушенное женское хихиканье нарушали спокойное течение ночи. О чем думала Мария-Луиза в эти часы полного уединения? Вспоминала ли она сады и парки Версаля, веселые балы и спектакли? Или свою любовь к дофину? Горевала ли о своих загубленных мечтах, пропавшей молодости, а может быть, прозревала свою судьбу? Рядом с ней не было никого, с кем она могла бы перекинуться хоть словом о милых для ее сердца вещах, кто мог бы утешить ее и подать совет.

Первый публичный выход королевы был приурочен к началу святой недели. Мария-Луиза с нетерпением ожидала ее, чтобы присоединить к вселенскому ликованию Воскресения Христова радость своего освобождения. В предвкушении этого дня ей стоило больших усилий сосредоточиться на страстях Спасителя; все же ей удалось преодолеть себя, и она явилась двору воплощением кротости и смирения. Однако то, что она затем увидела в храмах и на улицах города, настолько потрясло ее, что вернуть себе прежний благочестивый настрой Мария-Луиза уже не смогла.

Мадрид, казалось, совершал какую-то оргиастическую мистерию, кружась в любовном исступлении вокруг Голгофы. Храмы были полны влюбленными, их страстные вздохи вплетались в гармонию хоралов. У каждой придворной дамы был возлюбленный, но вне определенных дней он не имел права говорить с ней иначе, как издали и жестами. Во время литургии поднятые руки любовников обменивались таинственными знаками. Иногда устраивались церковные процессии, во время которых любовники придворных девушек могли открыто ухаживать за ними. Ночью разодетые женщины совершали прогулки, ища по церквям своих кавалеров. Сводницы обожали часовни, свидания назначались возле кропильниц.

Пылающая чувственность еще более разжигалась аскетизмом и мистикой. Среди придворных вошло в моду самобичевание во время Великого поста. Мастера монашеской дисциплины преподавали им, как фехтмейстеры, искусство розги и ремня. Молодые самобичеватели пробегали по улицам, надев батистовые юбки, расширяющиеся колоколом, и остроконечный колпак, с которого свешивался кусок материи, закрывающий лицо. Спектакль самобичевания они устраивали под окнами возлюбленных. Их искусство не было лишено своеобразной эстетики: плети были перевиты лентами, полученными на память от любовниц; верхом элегантности считалось умение хлестать себя одним движением кисти, а не всей руки, и так, чтобы брызги крови не попадали на одежду. Дамы, извещенные заранее, украшали свой балкон коврами, зажигали свечи и сквозь приподнятые жалюзи ободряли своих мучеников. Если же самобичеватель встречал свою даму на улице, то старался ударить себя так, чтобы кровь брызнула ей в лицо, — эта любезность вознаграждалась милой улыбкой.

Случалось, что кавалеры-соперники, сопровождаемые лакеями и пажами, несущими факелы, встречались под окном дамы, во имя которой взялись истязать себя. И тогда орудие бичевания тотчас превращалось в орудие поединка: господа начинали хлестать друг друга плетьюми, а лакеи колотили друг друга факелами. Более выносливый вознаграждался брошенным с балкона платком, который с благоговением прижимался к ранам любви. Сражение завершалось большим ужином. «Кающийся садился за стол вместе со своими друзьями, — пишет современник. — Каждый по очереди говорил ему, что на памяти людей никто не совершал самобичевания с большим изяществом: все его действия преувеличиваются, особенно же счастье той дамы, в честь которой он совершил свой подвиг. Ночь проходит в беседах такого рода, и порой тот, кто так доблестно изувечил себя, оказывается настолько больным, что не может присутствовать в церкви в первый день

Пасхи». В смятении от увиденного Мария-Луиза обратилась к маркизу Лос Балбазесу, единственному испанцу, с которым она несколько раз беседовала в Париже, с просьбой объяснить ей причины сохранения столь варварских обычаев.

— Ваше величество напрасно приписывает испанцам жестокосердие, — возразил маркиз. — Мы, испанцы, действительно воинственны — как-никак за семь столетий мы дали маврам три тысячи семьсот сражений, не считая не столь давних битв с язычниками, еретиками и, к моему искреннему сожалению, с соотечественниками вашего величества. Однако смею заверить, что меня беспредельно огорчает то, что ваше величество считает Испанию варварской страной.

— Простите меня, маркиз, я не хотела вас обидеть. И все же сознаюсь, что до сих пор я увидела здесь больше дурного, чем интересного.

— Это правда, ваше величество, наши нравы дают обильную пищу для предвзятых мнений. Ваши послы, впервые приезжающие в Мадрид, приходят в ужас от испанского придворного церемониала, ибо, привыкнув к грациозной вежливости французского двора, они теряются перед строгим благочестием мадридского. Костюмы дам их пугают, обычаи — раздражают или смешат, развлечения кажутся скучными или кровожадными. Много увидев, но мало поняв, они возвращаются во Францию, где приспособливают свои наблюдения, — надо признать, подчас весьма меткие, — под вкусы того салона, завсегдатаями которого являются. Между тем причины непонимания довольно очевидны. Испания, более гордая, более идеальная, еще способна на безумства, от чего во Франции давно отвыкли. Сила чувств и неистовство в их проявлении — вот то, что более изнеженные народы склонны выдавать за варварство. Скажите, ваше величество, разве в Париже кто-нибудь способен поджечь театр, чтобы иметь возможность унести свою возлюбленную на руках?

— Боже мой, конечно нет, хотя бы потому, что в Париже и теперь не каждая порядочная дама рискнет поехать в театр. Но о ком вы говорите?

— Так поступил граф Вилламедиана, влюбленный в королеву Елизавету, первую супругу покойного отца нашего нынешнего государя. Испания чтит безумцев, особенно безумцев от любви. Ваше величество слышали когда-нибудь о Embevecidos?

— Нет. Кто это?

— «Опьяненные любовью». Эти люди могут оставаться с покрытой головой перед королевской четой, даже если они не являются испанскими грандами. Они считаются ослепленными видом своих возлюбленных и неспособными видеть что-либо иное и знать, где они находятся. Король позволяет им непочтительность, как султан терпит проклятия дервишей. Если ваше величество хочет понять Испанию, вам следует помнить, что это означает понять безумство.

Королева улыбнулась несколько принужденно, как если бы выслушала рассказ о нравах той тюрьмы, в которой ей суждено было находиться.

— Вы говорите странные вещи, маркиз. Однако я благодарна вам за этот небольшой этюд о нравах моих подданных. Надеюсь, я со временем лучше пойму то, о чем вы сейчас сказали, — ответила она.

После первого публичного выхода Мария-Луиза вышла из своего затворничества, но лишь для того, что-бы перейти к тому, что госпожа де Виллар в своих письмах называет «ужасной жизнью дворца». Ее важнейшей чертой, закрепленной церемониалом, был строго соблюдаемый и оттого особенно невыносимый *tete-a-tete* короля и королевы. В девять часов утра азафата<sup>60</sup> отдергивала занавеску королевской постели, а камердинер подавал королю горячий напиток: слабый бульон с двумя желтками, разбавленный молоком, вином, которое преобладало, и сдобренный сахаром, гвоздикой и корицей; королеве азафата подносила принадлежности вышивания. Затем она же подавала обоим постельные плащи и клала рядом с королем часть деловых бумаг, лежавших на ближайших стульях и креслах; после этого

---

<sup>60</sup> Азафата — камеристка

слуги уходили. Король и королева совершали молитву, по окончании которой к Карлосу приходил министр с бумагами. Через полчаса министр удалялся, и азафата приносила королю туфли и халат. Карлос шел в кабинет, где одевался с помощью трех лакеев, никогда не менявшихся, и одного из своих фаворитов. Облачившись в платье, король некоторое время беседовал через специальное окошко со своим духовником.

В это время азафата подавала Марии-Луизе халат — это были семь-восемь минут, когда король и королева оставались в одиночестве; в случае промедления Карлос осведомлялся о причине задержки. Мария-Луиза в свою очередь шла в уборную и совершала утренний туалет с помощью азафаты, двух придворных дам и двух фрейлин, чередовавшихся каждую неделю. Если Карлос к тому времени заканчивал исповедь, которая обычно продолжалась недолго, то присутствовал при туалете. Беседа велась стоя и ограничивалась королевскими замечаниями дамам об их знакомствах и набожности.

Из уборной шли во внутренние покои в часовню слушать мессу в сопровождении лиц, присутствовавших при туалете, и капитана гвардии. После мессы обедали и совершали часовую прогулку в каретах; по возвращении закусывали и время до ужина проводили в молитвах и душевспасительном чтении. Согласно этикету испанские королевы должны были ложиться спать летом в десять часов, а зимой в половине десятого. Первое время Марии-Луизе случалось засидеться за ужином до этого неизбежного срока, и тогда одни ее дамы, ни слова не говоря, начинали распускать ее прическу, другие разували ее под столом. В несколько минут она была раздета, ее волосы распущены и сама она отнесена в постель. Ее укладывали спать «с куском во рту», говорит в одном письме госпожа де Виллар.

Даже супружеская любовь имела свой распорядок и свою униформу. Когда король приходил, чтобы провести ночь с королевой, он должен был поверх башмаков надевать мягкие туфли, иметь на плече черный плащ, в одной руке держать свою шпагу, а в другой потайной фонарь, придерживая при этом правым локтем кувшин, а левым бутылку двусмысленной формы, подвязанную веревками. Этот полуторжественный, полушутливый наряд на сонном манекене с лицом призрака не смешил, а пугал Марию-Луизу, напоминая ей о бессмысленности всего, что она видела вокруг себя.

Любовь Карлоса только отягчала ее тоску: Мария-Луиза чувствовала в ней унылую мономанию безумца. «Король никогда не хотел терять королеву из виду, и это очень обязывало», — пишет госпожа де Виллар со своей тонкой придворной иронией. Три или четыре часа в день он играл с Марией-Луизой в бирюльки — игру, в которой можно потерять одну пистоль лишь при самой необыкновенной неудаче. Для развлечения он возил ее по мадридским монастырям. Разнообразие времяпровождения в этих поездках заключалось в том, что после мессы король и королева садились на широкие кресла, положив ноги на великолепные подушки, и принимали процессию монахов, по очереди подходивших к ним приложиться к руке.

Балы, случавшиеся не чаще солнечных затмений, не могли снять вечный траур двора. Находиться в присутствии короля можно было только одетым в черное. Костюмы мужчин с воротниками, охватывающими шею, словно железные ошейники, узкие штаны и тяжелые плащи уродовали красоту и старили молодость. Дамы носили монашеские нагрудники, мантильи, скрывавшие глаза, корсажи, твердые, как доспехи, и фижмы, придававшие телу крутые откосы крепостей. Мода предписывала им носить круглые очки и румянить и белить не только лицо, но также руки, плечи и кожу сзади ушей (пристрастие к румянам было так велико, что их клали даже на бюсты в королевском дворце). Жены, мужья которых были в путешествии, носили кожаный пояс верности или веревку. Марию-Луизу поразило присутствие на балу священников и поведение камаре-ры-махор — благочестивая старуха бормотала в промежутках разговоров молитвы, откладывая их на четках, которые не выпускала из рук. Вообще, четки были у многих дам, — молясь, они машинально отмечали на них ритм менуэтов.

Два карлика с длинными волосами, облаченные в парчовые мантии, пытались развлекать этот могильный двор. Разговор поддерживался главным образом ими. Однако

обращать внимание на их шутки полагалось не больше, чем на гримасы каменных масок над порталами дворца. Однажды Мария-Луиза во время обеда стала смеяться над кривляньями шута, который то и дело подходил к ней с жестяной трубкой в руках, делая вид, что туг на ухо. Камарера сразу пресекла ее смех, предупредив, что это не подобает испанской королеве и что ей следует быть более серьезной. Изумленная Мария-Луиза отвечала, что не сможет удержаться от смеха, если не уберут этого человека, и что не следовало его ей показывать, если не хотят, чтобы она смеялась.

Король, с безучастным видом слушавший этот разговор, сделал знак шуту удалиться.

## V

Между тем официальное торжество по случаю королевской свадьбы все откладывалось: казна была пуста. Одно время королевский совет решал, не следует ли для того, чтобы оплатить свадебные расходы, конфисковать купеческий галионы, прибывшие в Кадис. Наконец необходимые средства были найдены, и Кар-лос смог преподнести Марии-Луизе в качестве свадебного подарка два зрелища: бой быков и аутодафе.

Празднества происходили на главной площади Мадрида, превосходившей по размеру любую из площадей европейских столиц. Ее окружали сто тридцать шесть одинаковых пятиэтажных домов, расположенных на равном расстоянии один от другого. На каждом этаже имелся один балкон с желтыми перилами. На изгибах перил с обеих сторон балконов крепилось по одному факелу из белого воска. Их блеск изумлял иностранцев: при нем можно было даже ночью свободно читать самый маленький шрифт в любом месте площади.

Как только королевская карета подъехала к площади, все прочие экипажи были убраны. Король и королева должны были наблюдать корриду с балкона одного из домов. Обзор с лестницы, ведущей наверх, был тщательно закрыт, так что, поднимаясь по ней, увидеть огни было невозможно. Зато, когда Мария-Луиза поднялась по ней в комнату, выходящую на площадь, она была ослеплена, а на балконе просто потеряла дар речи от неистового сияния, белым огнем заливавшего площадь.

Постепенно глаза ее привыкли к свету, и она смогла осмотреться. Королевский балкон выдавался больше других балконов и был накрыт тронным балдахином. Напротив королева увидела балконы послов Франции, Польши, Савойи, Венеции и папского нунция (дипломаты Англии, Голландии, Швеции и других протестантских стран не имели доступа на этот праздник). Ее внимание привлекло то, что только французское посольство было одето согласно моде своей страны — это была привилегия, дарованная Карлосом французам, как соотечественникам его супруги; посланники других стран должны были носить испанский костюм. Гранды и их жены занимали места по рангу на прочих балконах, украшенных коврами. Толпа народа заполняла всю площадь, кроме огороженной и посыпанной песком арены; зрители теснились в проемах между домами и даже густо облепили крыши. Разносчики фруктов, конфет и лимонада едва протискивались со своими корзинами сквозь эту толпу, ежеминутно рискуя рассыпать или раздавить свой товар. Они стремились пристроиться к дворцовым лакеям, разносившим придворным дамам подарки от короля — перчатки, ленты, веера, благовонные шарики, чулки и подвязки, — перед королевскими посланниками толпа кое-как расступалась.

Посреди неясного людского гула резко прозвучал сигнал горна, и в ответ ему взревели десятки труб, возвещая о начале поединков. Площадь восторженно загудела, приветствуя шестерых грандов, выезжающих на арену. Разноцветные султаны колыхались на их шлемах, а нагрудные латы были перевязаны шарфами дам, ради которых они намеревались сразиться с разъяренным зверем. Подняв пики, всадники невозмутимо пересекли площадь и остановились под королевским балконом, поклоном испрашивая у короля разрешения на поединок. Карлос едва заметно кивнул им.

Снова заиграли трубы, и бой начался. Он был великолепен; гранды «быкобойствовали», по выражению госпожи де Виллар, которая чуть не упала в обморок от



этого зрелища. Выезжая по очереди на арену, дворяне гарцевали вокруг быка и дразнили его уколами пик. Доведенное до бешенства животное, опустив голову, металось по арене, стараясь достать рогами лошадь, выводимую из-под удара опытной рукой наездника. В одном случае бык оказался проворнее: ему удалось пропороть брюхо лошади одного из грандов. Ее дымящиеся внутренности вывалились на песок. Обезумев от боли, страха и воплей толпы, дико храпя и кося глазами, лошадь поволокла кишки за собой, то и дело наступая на них задними ногами. Бык повернул в ее сторону морду, по которой уже бежали с рогов темные струйки крови, и в несколько прыжков снова оказался возле нее. Глубоко всадив рога в лошадиный пах, он могучим движением шеи высоко поднял лошадь вместе со всадником и бросил их через себя на землю. Сладострастный крик ужаса вырвался одновременно из многих тысяч грудей, — казалось, бык низверг бойца в ад. На помощь поверженному гранду бросились chub, копыеносцы, волоча по арене желтые, голубые, зеленые и красные куски ткани, чтобы отвлечь внимание быка. Некоторые, завернувшись в плащ, на одном колене ожидали его приближения. Бросив свою жертву, бык устремился на них. Несмотря на слепую ярость, заставлявшую его наносить удары только по прямой, ему удалось сбить с ног одного chulo. Тотчас же послышался отвратительный хруст — бык страшными ударами ног насквозь пробил грудную клетку человека. Новая победа чудовища была отмечена бешеным, протяжным воем зрителей. На арену высыпали banderilleros, вооруженные железными гарпунами. Они кружили вокруг быка, стараясь вонзить свое оружие между его плеч. Животное с налитыми кровью глазами, обессилив от боли и бешенства, дико ревели, взрывало копытами песок и трясло окровавленной шкурой.

За это время поверженный гранд успел выбраться из-под коня. Приблизившись к балкону короля, он попросил у него разрешения убить быка. Марии-Луизе показалось невероятным, что ее супруг, в котором едва теплилась жизнь, может обречь смерти мощного, свирепого зверя. Однако Карлос снова едва заметно наклонил голову, и гранд, вынув меч, направился к быку. Животное почувствовало близость рокового удара: его взгляд стал пристальным, ноги дрожали, оно прерывисто дышало. Гранд сделал приветственный жест в сторону балкона, на котором находилась его дама, и ловко всадил меч по рукоятку в бычье плечо. Бык зашатался, поворачиваясь на месте, ноги его подогнулись, и он грузно, сонливо опустился на песок...

Зрители бесновались, на арену летели шляпы, ленты, сигары, монеты. Продавцы апельсинов с поразительной ловкостью бросали плоды на балконы. Трупы быка и лошади в мгновение ока были привязаны к мулам и увезены.

Бойня продолжалась до вечера. Последнего быка вывели для традиционной пантомимы с участием зрителей. Толпа, изображающая старых маркизов, одержимых подагрой, пьяных солдат, демонов, потрясающих вилами, обезьян, гонящихся друг за другом, крестьян в бумажных чепцах и с пиками на ослах, окружила быка. Мальчишки, переодетые поваренками и обмазанные сажей, кувыркались, женщины в фантастических головных уборах подбирали подолы и падали навзничь, демонстрируя непристойные места; остальные бегали, толкались, шумели под шипение и ослепительные вспышки самодельных ракет и треск мушкетов. Некоторые смельчаки с помощью жерди скакали через быка, когда тот устремлялся на них. Фейерверк на площади и в королевском дворце завершил праздник.

После боя Карлос осведомился у французской делегации, как им понравилось зрелище.

— Это празднество — ужасающее удовольствие, ваше величество, — смело заявила едва пришедшая в себя госпожа де Виллар. — Если бы я была королем Испании, оно бы не повторилось никогда.

— Сударыня, мы поставлены Богом, чтобы беречь обычаи нашей страны, а не для того, чтобы отменять их, — холодно произнес король, сонно глядя на собеседницу из-под полуприкрытых век.

Три месяца спустя состоялось торжественное аутодафе — неизменный огненный спектакль на свадьбах испанских королев.

Святейшая инквизиция простирала свои объятия язычнику и грешнику, но в одной руке

она держала меч, а в другой — факел. В семивековой рукопашной схватке с исламом испанский католицизм вдохновлялся примером не Бога Голгофы, а Иисуса Навина <sup>61</sup>, истреблявшего в Ханаанской земле не только идолопоклонников, но и их скот. В XV веке, когда мавры сложили оружие, по всему полуострову зажгли костры инквизиции, чтобы неугасимо пылать в течение четырехсот лет. Торквемада <sup>62</sup> обратил Кастилию в море пламени. В течение восемнадцати лет десять тысяч осужденных были сожжены живыми, семь тысяч заочно, в изображениях. Статуи апостолов, воздвигнутые на площади Севильи, покрылись толстым слоем жирной сажи от сгоревших тел. Инквизиция считала себя правовернее Рима: она пренебрегала папскими советами и цензурой.

Сами короли трепетали перед этим подозрительным чудовищем. Филипп II повелел одному вице-королю Нового Света подставить свою спину под бич инквизиции за то, что он ударил одного из ее сочленов. При вступлении на престол он отдал в ее руки своего учителя, архиепископа Толедского, со словами: «Если у меня самого в жилах будет кровь еретика, то я сам отдам свою кровь». Передают, что Филипп III искупил слово сострадания, которое вырвалось у него во время одного аутодафе, несколькими каплями крови, выпущенной из его руки ножом палача.

Впрочем, и самое зло может вырождаться. Ко времени Карлоса II крестоносцы преобразились в полицейских, костры зажигались и гасли в положенные сроки, никого не возбуждая и не устрашая: они стали частью церемониала.

Огромный эшафот, над которым возвышалась кафедра Великого инквизитора, епископа Барселонского, был воздвигнут на главной площади. В семь часов утра король, королева, гранды, посланники, придворные дамы, празднично разодетые, заняли места на тех же балконах, откуда они наблюдали бой быков. Через час процессия началась. Во главе ее шло сто угольщиков, вооруженных пиками. За ними в плащах, расшитых черными крестами, следовало семьсот доминиканцев, несущих хоругви с изображением короля, королевы и папы; ими предводительствовал герцог Медина Сели, наследственный хоругвеносец инквизиции, с зеленым крестом церкви Святого Мартина. Вслед за доминиканцами тридцать человек несли картонные фигурки и две статуи осужденных в изображениях, из которых одни представляли бежавших приговоренных, другие — умерших в тюрьме: мятежные останки этих счастливых покоились в гробах, украшенных нарисованными языками пламени. Далее вели вереницей более ста живых преступников — каждого между двумя монахами. Первыми шли сорок покаявшихся, осужденных с отречением от грехов — двоеженства, суеверий, лицемерия, лжи и т. д. На шее у них болтались веревки с завязанными узелками по числу ударов плетей, которые они должны были получить; на головах возвышались коро-сы, картонные колпаки, расписанные шутовскими рисунками, — инквизиция высмеивала свои жертвы. За ними следовало пятьдесят приговоренных, одетых в санбенито, желтые мешки с прорезями для головы и рук, испещренные андреевскими крестами и полукрестами. Это были евреи, осужденные за тайное иудейство; будучи взяты лишь в первый раз, они подвергались пока только бичеванию. Наконец появились двадцать евреев и евреек «осужденных отпущенных», то есть обреченных на костер. Их одежды и колпаки говорили об их участи: те, которые раскаянием заслужили милость быть задушенными до костра, были отмечены опрокинутыми языками пламени; пламя тех, кого должны были сжечь живыми, стояло прямо, и в нем извивались дьяволы и драконы. У двенадцати наиболее упорствующих в заблуждении рты были заткнуты кляпом и руки связаны.

---

<sup>61</sup> Иисус Навин — преемник Моисея, руководитель еврейского народа во время завоевания Ханаанской земли

<sup>62</sup> Торквемада Томас (ок. 1420 — 1498) — с 1480-х гг. Великий инквизитор, инициатор изгнания евреев из Испании (1492)

Вся вереница осужденных была связана одной веревкой. «Этих несчастных протащили так близко от короля, — пишет госпожа д'Онуа, француженка, очевидица казни, — что он слышал их жалобы и стоны, потому что эшафот, на котором они стояли, касался его балкона. Монахи, некоторые искусные, другие невежественные, с яростью вступали с ними в споры, чтобы убедить их в истинах нашей веры. Среди осужденных были евреи, весьма ученые в своей религии, которые с большим хладнокровием отвечали поразительные вещи».

Была отслужена заупокойная обедня. Во время чтения Евангелия Карлос II, с обнаженной головой, приблизился к кафедре, чтобы у колен Великого инквизитора принести присягу святейшей инквизиции. В полдень началось чтение решений и приговоров, прерываемое криками и мольбами осужденных. Каждый смертный приговор заканчивался словами: "Мы должны отпустить и отпускаем такого-то и отдаем его в руки светского правосудия, коррехидору <sup>63</sup> сего города, или тому, кто исполняет его обязанности при названном трибунале, коих мы сердечно просим и молим милосердно обращаться с обвиняемым и не допустить пролития его крови". Между приговоренными была семнадцатилетняя девушка редкой красоты; она отбивалась от державших ее монахов и, обращаясь к королеве, просила о помиловании.

— Великая королева, — кричала она, — неужели ваше королевское присутствие ничего не изменит в моей несчастной судьбе? Взгляните на мою юность и подумайте, что дело идет о религии, которую я впитала с молоком матери.

Бедная девушка не думала, что обращается к той, чье сердце было также поражено страхом. Мария-Луиза отвратила от нее взор, выразив на лице сострадание, но не посмела сказать ни слова, чтобы спасти ее. Стремясь как можно быстрее покинуть место казни, Мария-Луиза обратилась к Карлосу с просьбой позволить ей удалиться по причине дурноты. Карлос передал ее слова Великому инквизитору, который приказал королеве дослушать чтение приговоров. Госпожа де Виллар, проявившая не менее нетерпения, также получила отказ. «У меня не хватило мужества присутствовать при этой ужасной казни евреев, — пишет она о своих чувствах. — Это было отвратительное зрелище, судя по тому, что я слышала; но что касается чтения приговоров, присутствовать там необходимо, если только вы не имеете удостоверения от врачей о тяжелой болезни, так как в противном случае вы прослывете еретиком. Нашли даже весьма нехорошим то, что я как бы слишком мало развлекалась всем происходящим...» После чтения приговоров месса возобновилась: тогда королю и королеве было дозволено удалиться. Но двор и народ остались наблюдать за казнью. Вначале были удушены несколько «возвращенных» — тех, кто покался. Каждый раз, когда палач вталкивал внутрь язык жертвы, члены трибунала требовали его к ответу:

— Вы повинны в убийстве человека. Что вы можете сказать в свою защиту?

— Это был преступник, осужденный законом. Я исполнял только веление правосудия, — отвечал палач.

Тела удушенных кидали в огонь. Затем наступила очередь живых. «Мужество, с которым приговоренные шли на казнь, действительно необычайно, — рассказывает госпожа д'Онуа. — Многие сами кидались в огонь, другие сжигали себе руки, потом ноги, держа их над огнем, сохраняя при этом такое спокойствие, что приходилось только жалеть, что души столь мужественные не были просвещены лучами веры».

А в толпе, глазеющей на костер, все так же протискивались разносчики конфет и лимонада, и продавцы апельсинов с той же ловкостью кидали свои плоды на балконы придворных дам.

## VI

Неделя за неделей, месяц за месяцем одиночество Марии-Луизы становилось все

---

<sup>63</sup> Коррехидор — судья

безысходней. Рвались последние нити, связующие ее с Францией, с прошлым. Почти все ее женщины-француженки были отосланы; с ней оставались только две: ее кормилица и горничная. Но камерера-махор сделала их жизнь настолько невыносимой, а король, проходя мимо, кидал на них такие мрачные взгляды, что они попросили свою госпожу отпустить их. Один Бог знает, чего стоило Марии-Луизе выполнить эту просьбу, тем не менее она не стала удерживать их возле себя. Теперь ее уединение стало полным. Только госпожа де Виллар и госпожа д'Онуа могли изредка ее видеть. Страницы их писем, где рассказывается об этих визитах, совершаемых под наблюдением камереры, полны сцен, напоминающих посещения монастырской затворницы. Однажды госпожа де Виллар показала королеве письмо из Парижа, в котором говорилось «о ней и о ее хорошеньких ножках, которые грациозно танцевали и так красиво ступали». Мария-Луиза даже покраснелась от удовольствия. «А затем она подумала о том, что ее хорошенькие ножки не имеют занятий иных, как несколько раз обойти вокруг комнаты да каждый вечер в половине девятого отнести ее в постель». Скука заставляла ее развлекать саму себя. «Она сочиняет оперы, она дивно играет на клавесине и довольно хорошо на гитаре; ей ничего не стоило научиться играть на арфе. Благочестивые книги доставляют ей не много утешения. Это и неудивительно в ее летах. Я часто говорю, что хотела бы, чтобы она забеременела и имела ребенка» (письмо госпожи де Виллар). Сборники испанских стихов отпугивали ее предисловиями авторов вроде: «Сим предупреждается, что слова: бог любви, богиня любви, божество, рай, поклоняться, блаженный и другие — должны пониматься только согласно поэтическому словоупотреблению, а не в каком-нибудь ином смысле, который мог бы в чем бы то ни было оскорбить чистейшее учение пресвятой матери Церкви, которой я, как покорный сын, повинуюсь во всем, что она предписывает». Зато испанские романсы пришлись Марии-Луизе по душе, и она часто пела свой любимый:

Милая смуглянка, не забудь,  
когда сон смежает твои веки:  
отдавать принуждены мы  
снам половину жизни человека.

Как в песок вода, уходит жизнь,  
столь не удержишь скоротечна, —  
будь то в годы старости седой  
или в годы юности беспечной.

И течение необратимо это,  
но приходит поздно отрезвленье;  
бесполезен суеты урок:  
не прозренье даст он — сожаленье.

Молодость твоя и красота,  
милый друг, товар всего лишь новый.  
Ты — богач, но станешь бедняком:  
время разоряет, безусловно.

Но несет необъяснимую печаль сей товар,  
снискавший в мире славу,  
пеленою застит юный взор,  
на запястье виснет кандалами.

И, тая немалую угрозу,  
черную он зависть разжигает,

что людей безжалостно казнит,  
время жизни злобно пожирает.

И удел красивых и невзрачных уравнил,  
увы, касанье смерти;  
близких нет в могильной тесноте,  
и останкам, верно, не до сплетен.

Несомненно — всех красивей кедр,  
нет деревьев выше кипариса,  
но беспомощны они перед судьбой —  
жертвы своевольного каприза.

Милая смуглянка, наша явь —  
вереница бед, юдоль сомнений;  
только на дорогах сна  
мы познаем сладость недоступных наслаждений.

Но когда апрельский новый цвет  
скомкает безжалостная осень,  
то померкнет красок ликование  
и небесная пожухнет просинь. 64

Вместе с тем бедная королева нашла еще утешение в хорошем столе. Она ела много и часто, отчего начала толстеть. «Испанская королева, — пишет госпожа де Виллар, — расплнела до такой степени, что еще немного — и ее лицо станет совсем круглым. Ее шея слишком полна, хотя и остается одной из самых красивых, которые я когда-либо видела. Она спит обыкновенно десять — двенадцать часов; четыре раза в день она ест мясо; правда, ее завтрак и ужин являются лучшим ее питанием. За ее ужином всегда бывает каплун, варенный в супе, и каплун жареный». Этот «версальский» аппетит был весьма необычен в стране, где герцог Альбу-керкский, владевший двумя тысячами пятьюстами дюжинами золотых и серебряных блюд, за обедом съедал одно яйцо и одного голубя. «Король, — говорит госпожа де Виллар, — смотрит, как ест королева, и находит, что она ест слишком много».

В свою очередь госпожа д'Онуа передает, что при своем посещении застала королеву в зеркальном кабинете сидящей на подушках на полу, по испанскому обычаю. На ней было платье из розового бархата, расшитое серебром, и тяжелые серьги, падавшие на плечи. Она трудилась над рукодельем из голубого шелка с золотыми оческами. "Королева говорила со мной по-французски, стараясь при этом говорить по-испански в присутствии камереры-махор. Она приказала мне посылать ей все письма, которые я получаю из Франции, в которых будут новости, на что я ей возразила, что те новости, о которых мне пишут, недостойны внимания столь великой королевы. «Ах, Боже мой! — сказала она, с очаровательным видом подымая глаза. — Я никогда не смогу относиться равнодушно к чему бы то ни было, что приходит из страны, которая мне дорога». Затем она сказала мне по-французски очень тихо: «Я бы предпочла видеть вас одетой по французской моде, а не по испанской». — «Государыня, — отвечала я ей, — это жертва, которую я приношу из уважения к вашему величеству». — «Скажите лучше, — продолжала она улыбаясь, — что вас приводит в ужас строгость герцогини».

Жертва госпожи д'Онуа и предусмотрительный шепот королевы были вовсе не

лишними в этом дворце, где каждое слово, каждый жест взвешивались самым пристрастным образом. Однажды королева пригласила к себе заезжего халдейского мага из города Музала (древней Ниневии). Расспрашивая его с помощью переводчика о стране, откуда он прибыл, она поинтересовалась, так ли сурово охраняются женщины в Музале, как и в Мадриде. Ее невинное лукавство было возведено камарерой в ранг преступления; она тотчас побежала сообщить об этом королю, который рассердился и нахмурился. Понадобилось несколько дней, чтобы он вновь выказал королеве свое расположение.

В другой раз ночью королева услышала, что ее болонка, которую она очень любила, выходит из комнаты. «Испугавшись, что она не вернется, она встала, чтобы найти ее ошупью. Король, не находя королевы, встает в свою очередь, чтобы искать ее. И вот они оба посреди комнаты в полной темноте бродят из одного угла в другой, натываясь на все, что лежит у них на пути. Наконец король в беспокойстве спрашивает королеву, зачем она встала. Королева отвечает, что для того, чтобы найти свою болонку. „Как, — говорит он, — для несчастной собачонки встали король и королева!“ И в гневе он ударил ногой маленькое животное, которое терлось у его ног, и думал, что убил его. На ее визг королева, которая очень любила ее, не могла удержаться, чтобы не начать очень кротко жаловаться, и вернулась, чтобы лечь в постель, очень опечаленная» (записки госпожи д'Онуа). Утром король поднялся озабоченный и угрюмый и, ни словом не обмолвившись с королевой, уехал на охоту. Под вечер, когда Мария-Луиза ожидала его возвращения возле окна, опершись на подоконник, камарера-махор строгим тоном отчитала ее и прибавила, что «не подобает испанской королеве смотреть в окна».

Вообще можно было подумать, что камарера намеренно истязает королеву. Мария-Луиза привезла из Франции двух попугайчиков, говоривших по-французски, за что король их возненавидел. Камарера, желая угодить королю, свернула им шеи. Однако по странной прихоти судьбы именно казнь этих беззащитных существ послужила причиной падения грозной тюремщицы. И роль богини мщения на этот раз была отведена Марии-Луизе. Когда при их следующей встрече герцогиня склонилась перед ней, чтобы поцеловать ее руку, королева, ни слова не говоря, вlepила ей две крепкие пощечины. Это было оскорбление почти от равного равному. Старуха, владевшая несколькими провинциями в Испании и королевством в Мексике, чуть не задохнулась от ярости. В сопровождении четырехсот дам самого высокого происхождения она явилась к королю требовать возмездия. Выслушав ее, Карлос II послушно отправился бранить виновную. Но грозное нашествие было остановлено одной из тех счастливых хитростей, которые приходят на ум женщинам в минуты опасности. Мария-Луиза прервала речь короля, сказав с видом оскорбленного достоинства:

— Государь, это была прихоть беременной женщины.

При этих словах гнев короля сменился ликованием. Он одобрил пощечины, найдя, что они были даны очень ловко, и объявил, «что если двух ей недостаточно, то он разрешает дать герцогине еще две дюжины». В ответ на протесты и жалобы герцогини Терра-Нова Карлос произносил только: «Молчите, эти пощечины — прихоть беременной женщины». Прихоти беременных имели в Испании силу закона. Даже если беременная крестьянка желала видеть короля, он выходил для нее на балкон.

Мария-Луиза, решив до конца использовать выгоды своего положения, попросила у короля увольнения герцогини от должности. Такая просьба была беспрецедентна. Никогда королева Испании не сменяла своей камареры-махор. Но радость короля от ожидания появления наследника была столь велика, что Карлос пошел на этот шаг, граничащий со святотатством. Надо отдать должное герцогине — она восприняла этот удар с надменностью патрицианки, сумев напоследок преподнести еще один урок королевского величия своей повелительнице. Госпожа д'Онуа запечатлела ее прощание с Марией-Луизой в следующих словах: «Ее лицо было еще более бледно, чем обычно, глаза сверкали еще страшнее. Она приблизилась к королеве и сказала ей, не выражая ни малейшего сожаления, что ей досадно; что она не смела служить ей так хорошо, как хотела бы. Королева, доброта которой была

беспредельна, не могла скрыть своей растерянности и умиления, а так как она обратилась к ней с несколькими обязательными словами утешения, та прервала ее и с надменным видом заявила, что королеве Испании не подобает плакать из-за таких пустяков; что та камарера-махор, которая заступит на ее место, конечно, лучше исполнит свой долг, чем она, и, не вступая в дальнейшие разговоры, взяла руку королевы, сделала вид, что поцеловала ее, и удалилась». Но, выйдя из комнаты, она не смогла удержать своего бешенства и изломала китайский веер, лежавший на столе.

Герцогиня Альбукерк, новая камарера-махор, была женщиной лет пятидесяти, столь же безобразная лицом, как и ее предшественница. Она носила на голове маленькую повязку из черной тафты, которая спускалась ей до бровей и так крепко сжимала лоб, что глаза ее всегда припухали. Излишняя суровость была ей чужда. Кротость ее нрава простиралась до того, что она позволила Марии-Луизе ложиться спать не раньше половины одиннадцатого и смотреть в окна. Госпожа де Виллар иронически прославляет эти победы: «Со времени смены камареры-махор все чувствуют себя прекрасно. Воздух дворца совсем переменялся. Теперь мы — королева и я — смотрим сколько нам угодно в окно, в которое только и видно, что большой сад женского монастыря... Вам трудно себе представить, что юная принцесса, родившаяся во Франции и воспитанная в Пале-Рояле, может это считать удовольствием; я делаю все, чтобы заставить ее ценить это удовольствие больше, чем сама ценю его... Уныние дворца ужасно, и я иногда говорю королеве, входя в ее комнату, что мне кажется, будто его чувствуешь, видишь, осязаешь, так густо оно разлито кругом. Тем не менее я не упускаю случая, чтобы постараться убедить ее в том, что с этим нужно свыкнуться или, по крайней мере, постараться как можно меньше чувствовать его». Ирония, звучащая в словах госпожи де Виллар, говорит о том, что и эти две женщины уже переставали понимать друг друга.

Герцогиня Терра-Нова еще раз появилась во дворце несколько месяцев спустя после своей отставки, чтобы поблагодарить королеву за вице-королевство, пожалованное ее зятю. Бывшая камарера, войдя в апартаменты королевы, казалась вначале несколько смущенной. Она извинилась, что многие болезни и недомогания мешали ей так долго посещать дворец, и прибавила:

— Я должна признаться вашему величеству, что я даже не знала, смогу ли я пережить горе разлуки с вами.

Жалобный рык, вырвавшийся из пасти дракона, произвел бы меньше впечатления, чем это признание. Мария-Луиза на минуту остолбенела. Придя в себя, она смогла только сказать, что все это время осведомлялась о здоровье герцогини, и затем переменила тему. Королева не могла не заметить, что вся ненависть герцогини Терра-Нова теперь сосредоточена на своей сопернице. Бывшая камарера «от времени до времени поглядывала на герцогиню Альбукерк так, как будто хотела сожрать ее, а герцогиня Альбукерк, глаза которой были нисколько ни более красивы, ни более мягки, тоже искоса посматривала на нее, и обе они изредка обменивались кислыми словами» (госножа д'Онуа).

Было ли признание герцогини Терра-Нова лицемерием? Если да, то следует признать, что в устах людей с подобным характером лицемерие почти равняется раскаянию.

## VII

Одиночество не оставляло не только Марию-Луизу, но и Карлоса. Оно, словно сфинкс, день за днем вновь и вновь задавало им одну и ту же бессмысленную загадку, на которую заведомо не было ответа. Любовь только на одно мгновение вырвала разум короля из тьмы безумия. Радости медового месяца постепенно блекли в его душе, а раскрывшаяся хитрость королевы в истории с пощечинами еще более охладила их отношения. Бесплодие приводило Карлоса в отчаяние. Великая империя погибала его слабостью, династия угасала в нем.

Иностранные государи не сомневались, что испанский трон останется без наследника. Упустить такой случай не хотел никто, и вскоре целый рой претендентов начал вербовать

сторонников при мадридском дворе. Позиции французской партии были ослаблены внезапной смертью дон Хуана, случившейся еще в разгар приготовлений к свадьбе Карлоса II. Мария-Анна, как освобожденный демон, ринулась тогда из Толедо в Мадрид, чтобы расстроить свадьбу, но прибыла в столицу слишком поздно, когда венчание уже состоялось. Теперь королева-мать вновь возглавляла австрийскую партию, затаив глухую ненависть против Марии-Луизы, воплощавшей собой права Франции по отношению к испанскому трону. Мадридский двор сделался самым таинственным и опасным местом Европы. Цели, преследуемые там честолюбцами со всего света, диктовали и соответствующие средства: шпионство, доносы, клевету, яд.

Подобно любому из своих подданных, Карлос презирал все другие нации; Францию, ограбившую его в войнах, он ненавидел. Когда же Людовик XIV стал претендовать на его наследство, ненависть Карлоса ко всему французскому приняла маниакальные формы. Однажды французский нищий подошел к карете Марии-Луизы, чтобы попросить милостыню, — король приказал убить его на месте. В другой раз два голландских дворянина, одетые по французской моде, почтительно поклонились королевской карете; им было дано понять со стороны короля, чтобы они впредь остерегались при встрече с их величествами становиться со стороны королевы и с ней раскланиваться. Галлофобия короля распространялась даже на животных. Мария-Луиза не смела при нем ласкать своих собачек, так как он не переносил этих животных, привозимых из Франции, и всегда кричал на них: «Прочь! Прочь! Французские собаки!»

Мысль завещать свое королевство иностранцам была для него непереносима. Вскоре Карлос впал в меланхолию еще более черную, чем до женитьбы. Наследственное отвращение к людям, соединенное со стыдом за свой позор и мономанией безумца, заставляло его искать уединения. Единственным его удовольствием стала охота, которая давала возможность надолго покидать двор.

«Король, — пишет госпожа д'Онуа, — брал обыкновенно с собой на охоту только первого конюшего и великого ловчего. Он любил оставаться один в этих пустынных просторах и иногда заставлял себя подолгу искать». Окрестности Эскориала притягивали Карло-са, как пустыня притягивает аскета. Впрочем, это и была настоящая пустыня: заживо сожженная земля, обнаженные горы, серые скалы, каменистые овраги. Видимо, бесплодие природы как-то заставляло его забыть свое собственное. Отсюда Карлос послал однажды королеве четки в ларце из филигранного золота, с запиской, которая стоит иной поэмы: «Сударыня, сегодня сильный ветер, и я убил шесть волков».

Проходили годы, но королева не становилась матерью. Ни обеты, ни паломничества, ни подношения мадоннам не могли сотворить чуда, и печаль короля превратилась в мрачное безумие. Мысль о наговоре неотступно преследовала его, она одна все объясняла, все оправдывала и подавала надежду на спасение после преодоления злых чар. Королю пришло в голову, что графиня де Суассон, приехавшая в это время в Мадрид, колдовством лишила его возможности иметь детей. Олимпия Манчини, графиня де Суассон была племянницей Мазарини. Воспитывавшаяся вместе с Людовиком XIV, она первая привлекла его взгляды, но также первая узнала и ветреность короля. Брак с одним из принцев не мог утешить ее, и для того, чтобы вернуть себе благорасположение короля, она воспользовалась услугами колдуньи.

Это была эпоха, когда воображение парижан взбудоражил ряд таинственных смертей, связанных с «порошком наследства». Некий итальянец Экзили, занимающийся поисками философского камня, обнаружил яд без наружных следов действия. Его ученик Сент-Круа уговорил маркизу де Бренвилле, свою любовницу, попробовать этот яд на ее отце, судье д'Обре, который препятствовал их связи. Затем настал черед обоих ее братьев и сестры — уже из-за богатого наследства. Но чудовищнее всего оказалось то, что маркиза и ее любовник вскоре стали класть яд в паштеты из голубей и потчевать ими своих гостей и сотрапезников — просто для развлечения.

Известная в Париже гадалка Ла Вуазен также воспользовалась изобретением и начала



не только предсказывать наследникам смерть богатых родственников, но и способствовать ей. Несколько священников помогали ей в этом деле, весьма своеобразно причащая больных. Они продавали ядовитые снадобья и служили молебны об успехе отравления перед распятием, поставленным вверх ногами. Семидесятилетний священник Гейбург изобрел другой знаменитый яд «*avium risus*» («смех птиц»), от которого умирали в припадке безудержного смеха, так как у отравившегося им возникала подъязычная опухоль.

Страх парализовал Париж; отцы семейств закупали припасы и сами готовили пищу в какой-нибудь грязной харчевне, чтобы не стать жертвой предательства в собственном доме. Вскоре зараза распространилась по всей стране, всюду находили трупы людей, умерших внезапно, без всякой видимой причины. Казалось, вся Франция разделилась на отравителей и отравляемых.

Король учредил особую Огненную Палату для расследования этих преступлений. Случай помог открыть истину. Сент-Круа погиб при взрыве реторты с отравленной жидкостью. Поскольку у него не было наследников, его имущество опечатали. В одном из ящиков бюро судебные исполнители обнаружили целый арсенал ядов, а в другом — письма маркизы де Бренвилье, полностью изобличившие обоих.

Маркиза была обезглавлена, Ла Вуазен исчезла в подвалах Огненной Палаты. Однако для дальнейшего расследования король был вынужден создать тайную комиссию, поскольку оказалось, что в деле замешаны самые высокопоставленные лица. Впрочем, все они покинули Огненную Палату с гордо поднятой головой. Ла Вуазен увлекла за собой на хвосте ведьмовского помела одну графиню де Суассон. Колдунья показала, что графиня около тридцати раз приходила к ней и требовала приготовить любовный напиток, который позволил бы ей возратить симпатии его величества. Не довольствуясь этим, она носила к ведьме волосы, ногти, чулки, рубашки, галстуки короля для изготовления любовной куклы, с тем чтобы произнести над ней заклятия. Графиня принесла даже капли крови Людовика XIV, подкупив за огромную сумму королевского лекаря. Замаранная показаниями отравительницы, Олимпия поспешно бежала и остаток своей жизни провела странствуя по Европе, точнее, изгоняемая из одного города в другой.

Когда она появилась при испанском дворе, слава колдуньи все еще прочно держалась за ней. Карлос приказал ей вернуться во Фландрию, но графиня де Суассон имела поддержку в австрийской партии, которая, возможно, и вызвала ее в Мадрид. Чтобы отвести от нее подозрения короля, Мария-Анна при помощи Церкви решила «доказать», что наговор исходит не от кого-нибудь, а от самой Марии-Луизы. Эта адская комедия должна была привести к разрыву с королевой. И если бы граф де Рабенак, сменивший де Виллара на должности французского посланника в Мадриде, не сорвал вовремя маски с обманщиков, их дело было бы сделано. Вот что он рассказывает Людовику XIV об этом деле:

"Некий доминиканский монах, друг исповедника короля, имел откровение, что король и королева околдованы; я должен заметить, между прочим, Ваше Величество, что испанский король уже давно полагает, что он околдован, и именно графиней де Суассон. Был поставлен вопрос о том, чтобы снять колдовство, если только наговор был сделан после брака; если же он был сделан до, то нет никакого средства к его устранению. Церемония эта должна была быть ужасной, потому что, Ваше Величество, и король и королева должны были быть совсем обнажены. Монах, одетый в церковные облачения, должен был совершить заклинания, но самым гнусным образом, а затем, в присутствии же монаха, они должны были убедиться в том, снят ли наговор на самом деле. Королева была настойчиво принуждаема королем дать согласие на это, но никак не могла решиться. Все это происходило в большой тайне, и я не знал ничего об этом, когда получил записку без подписи, предупреждавшую меня, что, если только королева даст согласие на то, что предлагает этот монах, — она погибла и что западня эта устроена ей графом Оропесой <sup>65</sup>. Предполагалось вынести заключение, что

---

<sup>65</sup> Оропеса — фаворит Карлоса II

королева была околдована еще до брака; он, следовательно, становится не имеющим силы, или, по крайней мере, сама королева стала бы ненавистной королю и народу. А так как все такие козни, даже самые черные, обнаруживаются такого рода путем, то отец-исповедник королевы и я, мы направили все усилия, чтобы исследовать это дело. Прежде всего мы узнали от самой королевы о том, что происходит, и она приняла свои меры предосторожности. Затем мы узнали, что вопрос был уже поставлен некоторым теологам, и что кое-кто из них уже высказался в смысле незаконности брака. В конце концов, Ваше Величество, это было ужасное дело и опасная западня для королевы, и мы не нашли более верного пути избежать ее, как тайно опубликовать всю историю, и с тех пор король Испании больше не вспоминает о ней...".

Судьба уберегла Марию-Луизу от последней отвратительной церемонии, но на этом ее милости были исчерпаны. В начале следующего — 1689 — года барселонский колокол, которому народ предписывал пророческий голос, стал звонить сам собой заупокойным звоном. А летом внезапная смерть унесла Марию-Луизу. Наговор, которого страшился король, пал на королеву.

### VIII

Еще раньше жизни Марии-Луизы уже дважды угрожала опасность, причем оба случая были связаны с повелительным девизом этикета: не касайтесь королевы! «Если бы королева оступилась и упала, — разъясняет его суть госпожа д'Онуа, — и если бы около нее не оказалось ее дамы, чтобы ее поднять, хотя бы вокруг стояло сто царедворцев, то ей пришлось бы подняться самой или оставаться на земле весь день скорее, чем кто-нибудь решился бы помочь ей встать». Далее госпожа д'Онуа рассказывает, что в первый раз королева едва не убилась на охоте. Этикет требовал, чтобы она прыгнула на коня из дверей кареты, не касаясь земли. В момент прыжка лошадь оступилась, и королева упала с размаху на землю. «Когда король присутствует, то помогает ей он, но никто другой не смеет приближаться к королевам Испании, чтобы до них дотронуться и помочь сесть в седло. Предпочитают, чтобы они подвергали опасности свою жизнь или рисковали расшибиться». В другой раз Мария-Луиза впервые села на андалузскую лошадь во дворе дворца. Животное взвилось на дыбы, королева упала, и ее нога запуталась в стремях. Лошадь потащила ее за собой, грозя разбить голову о плиты. «Король, который видел это с балкона, был в отчаянии, а двор был переполнен аристократией и стражей, но никто не решился прийти на помощь королеве, потому что мужчинам не дозволено ее касаться, и особенно ее ноги, если только это не первый из ее прислужников, надевающий туфли: нечто вроде сандалий, которые дамы надевают поверх башмаков, что очень увеличивает их рост. Королева опирается также на своих „менинов“ во время прогулки; но это были дети, слишком малые для того, чтобы спасти ее от опасности, в которой она находилась». Наконец два дворянина, дон Луис де Лас-Торрес и дон Хаиме де Сото-Махор, отважно бросились на эту арену этикета. Один схватил лошадь за узду, а другой освободил ногу королевы из стремени. «Не промедлив ни секунды, оба выбежали, бросились к себе и приказали быстро оседлать коней, чтобы бежать от гнева короля. Молодой граф Пенеранда, их друг, приблизился к королеве и почтительно сказал ей, что те, кто имел счастье спасти ей жизнь, подвергаются смертельной опасности, если только она милостиво не будет заступничать за них перед королем. Король, торопливо спустившийся для того, чтобы увидеть, в каком состоянии она находится, выразил крайнюю радость, что она не ранена, и весьма хорошо принял ее ходатайство за этих благородных преступников».

И все же смерть поражает людей только через их самую сильную любовь. Словно в насмешку над ее трагической судьбой, Марии-Луизе было уготовано умереть вследствие страстной привязанности к родине, от руки соотечественницы, ощутив вкус смерти на краях зловещего кубка, как некогда в монастыре кармелиток. Она впустила убийцу в свои покои как замороженная. Вот что говорит об этом Сен-Симон в своих «Мемуарах» —

энциклопедии интриг своего времени.

«Граф Мансфельд был посланником австрийского императора в Мадриде, и графиня де Суассон вступила с ним по приезде в интимную дружбу. Королева, которая дышала только Францией, возымела страстное желание ее увидеть; испанский король, который уже был много наслышан о ней и к которому с некоторого времени стали часто доходить слухи, что королеву собираются отравить, с великою трудностью согласился на это. В конце концов он позволил, чтобы графиня де Суассон иногда приходила к королеве после обеда по потайной лестнице, и та принимала ее наедине вместе с королем. Посещения эти учащались и все время с тем же отвращением со стороны короля. Он, как милости, просил у королевы никогда не дотрагиваться ни до какой пищи, которой бы он не отведал или не выпил первый, потому что он хорошо знал, что его не хотят отравить. Было жаркое время; молоко — редкость в Мадриде; королева его захотела, а графиня, которая мало-помалу начала оставаться с ней наедине, стала ей хвалить превосходное молоко и обещала ей доставить его прямо со льдом. Утверждают, что оно было приготовлено у графа Манс-фельда. Графиня де Суассон принесла его королеве, которая его выпила и умерла несколько часов спустя, как ее мать. Графиня де Суассон не дожидаясь исхода и заранее сделала приготовления к бегству. Она недолго теряла время во дворце, после того как увидела, что королева выпила молоко. Она вернулась к себе, где ее вещи были увязаны, не смея больше оставаться ни во Фландрии, ни в Испании. Как только королева себя почувствовала нехорошо, все поняли, что она выпила и чьих рук это дело. Испанский король послал к графине де Суассон, которой уже не оказалось дома. Он отправил за ней погоню во все стороны, но она так хорошо заранее приняла меры, что ускользнула».

Возможно, впрочем, что Сен-Симон передает лишь устоявшуюся версию событий. Он опирался на сведения, которые получил во время своего испанского посольства тридцать лет спустя после смерти королевы. Очевидцы же преступления теряются в умозаключениях и умолчаниях, их обвинения спутаны и противоречат одно другому.

Французский посланник, извещая Людовика XIV о смерти его племянницы, выражает вначале лишь еле заметные подозрения. «Курьер, — докладывает он, — принесет Вашему Величеству самое печальное и самое прискорбное из всех известий. Королева испанская скончалась после трех дней непрерывных болей и рвоты. Один Бог, государь, ведает причины этого трагического события. Ваше Величество знает по многим письмам о тех печальных предвестиях, которые я имел об этом. Я видел королеву за несколько часов до ее смерти. Король, ее супруг, дважды отказывал мне в этой милости. Она сама потребовала меня и с такой настойчивостью, что меня пропустили. Я нашел, государь, на ее лице все знаки смерти; она их сознавала и не была ими испугана. Она держалась как святая по отношению к Богу и героиня по отношению к миру. Она мне приказала уверить Ваше Величество, что, умирая, она оставалась, так же как была при жизни, самым верным другом и слугой, которого Ваше Величество имели когда-нибудь». Тем не менее посланник пытался обследовать следы недуга на теле умершей, но таинственные запрещения и надежная стража помешали ему сделать это. Он хотел присутствовать при вскрытии тела — его требование было отвергнуто; он поставил у порога комнаты, где проводилось вскрытие своих хирургов и поручил им проникнуть за дверь и исследовать труп сразу же, как только тело вскрыют, но дверь оказалась неприступной, словно стена.

Несколько дней спустя подозрения посланника крепнут, и он сообщает Людовику XIV имена целой группы виновных. «Это, государь, граф Оропеса и дон Эммануэль Лира. Мы не включаем сюда королевы-матери; но герцогиня Альбукерк, главная фрейлина королевы, держала себя столь подозрительно и выражала столь большую радость в то самое время, когда королева умирала, что я не могу глядеть на нее иначе, чем с ужасом, а она — преданная креатура королевы-матери». Он называет еще Франкини, врача королевы, который теперь избегает его, как бы опасаясь его взгляда. «Поэтому, государь, поведение его мне кажется подозрительным. Я знаю сверх того, что он говорил одной особе, из числа его друзей, что при вскрытии тела и в течение болезни он действительно заметил необычные

симптомы, но что он рискует жизнью, если бы стал говорить об этом, и что все случившееся заставляет его уже давно страстно желать отставки... Теперь публика убедилась в отравлении и никто в этом не сомневается; но злобредность этого народа столь велика, что многие его одобряют, потому что, говорят они, королева не имела детей, и рассматривают преступление как государственный переворот, заслуживающий их одобрения... К сожалению, слишком верно, государь, что она умерла насильственной смертью».

Во Франции не сомневались в преступном умысле по отношению к Марии-Луизе. Людовик XIV официально объявил об отравлении королевы испанской. Это случилось за ужином, когда король, по обыкновению, произносил самые веские свои слова. Однако, кажется, у него был другой источник, кроме его посланника. В дневнике одного из придворных читаем: "Король сказал за ужином: «Испанская королева была отравлена пирогом с угрями; графиня Паниц, служанки Цамата и Нина, отведавшие после нее, умерли от той же отравы». Королевские слова переходили из уст в уста, множа подозрения и обвиняемых. Говорили, что дело «весьма пахнет костром», то есть искали колдовство, обвиняли какого-то герцога де Пастрона, якобы дурно говорившего о королеве, и австрийского посланника графа Мансфельда; передавали, будто Мария-Луиза сообщала Месье <sup>66</sup> о своих подозрениях и что герцог Орлеанский послал ей противоядие, которое прибыло в Мадрид на следующий день после смерти королевы...

Все казалось правдой, и все могло быть правдой. Возможно, ближе всех к истине была одна из дам французского посольства, госпожа де Лафайет, чьи слова звучат как эпитафия: «Испанский король страстно любил королеву; но она сохраняла к своей родине любовь слишком сильную для такой умной женщины».

Некогда госпожа де Лафайет оказалась свидетельницей смерти матери Марии-Луизы, Генриетты. Теперь она оказалась очевидицей и смерти дочери. Она оставила нам свидетельство трогательного сходства последних минут обеих жертв.

Английский посланник, призванный к смертному ложу бывшей английской королевы, спросил ее, не отравлена ли она. «Я не знаю, — говорит госпожа де Ла-файет, — ответила ли она утвердительно, но я хорошо знаю, что она его просила ничего не сообщать ее брату королю, чтобы избавить его от этого горя, и особенно позаботиться о том, чтобы он не захотел мстить...»

Испанская королева была так же кротка перед лицом смерти, как и ее мать, свидетельствует госпожа де Ла-файет. «Королева просила французского посланника уверить Месье, что она, умирая, думала лишь о нем, и бесконечное число раз повторяла ему, что она умирает естественной смертью. Эта предосторожность, ею принятая, очень увеличила подозрения, вместо того чтобы их уменьшить». Мученица трона, она и на пороге смерти не произнесла ни одного проклятия своим мучителям. Святое молчание увенчало безмолвную жертву, которой была ее жизнь. Мир праху твоему, бедная королева!

## IX

Мария-Луиза унесла с собой ту тень разума, тот проблеск духа, который еще сохранял Карлос II. Все прежние развлечения — охота, бой быков, аутодафе — стали ему неприятны. Король запирался ото всех в своем кабинете или бродил с утра до ночи по песчаной пустыне вокруг Эскориала. Остальное время он посвящал ребяческим играм или ребяческим подвигам веры. Он любовался редкими животными в зверинце, а еще больше — карликами во дворце. Если ни те ни другие не разгоняли черных мыслей, клубившихся у него в голове, он читал Ave или Credo <sup>67</sup>, ходил с монашескими процессиями, иногда морил себя голодом,

---

<sup>66</sup> Месье — титул брата короля во Франции. В данном случае речь идет о герцоге Орлеанском, отце Марии-Луизы

<sup>67</sup> Католические молитвы, аналогичные православным «Богородице Дсво, радуйся» и «Верую»

иногда бичевал. Его физический упадок в последние годы жизни принял характер разложения; в тридцать восемь лет он казался восьмидесятилетним стариком. Портрет той эпохи рисует его почти трупом: провалившиеся щеки, безумные глаза, свисающие редкие волосы, судорожно сжатый рот... Его желудок перестал переваривать пищу, потому что из-за уродливого строения челюсти он не мог ее пережевывать и глотал куски целиком. Лихорадки терзали его еще сильнее, чем в детстве. Через каждые два дня на третий конвульсивная дрожь, упадок сил, приступы бреда, казалось, предвещали близкий конец. Однако жизнь теплилась в нем еще десять лет. Его даже женили вновь, но этот брак без всякой надежды на потомство был простой политической махинацией. Его вторая жена Мария-Анна Нейбургская, преданная Австрии, деятельно поддерживала права австрийского эрцгерцога Карла на испанское наследство.

Другими претендентами на трон были сын баварского курфюрста, опиравшийся на королеву-мать, изменившую к тому времени собственному роду, и герцог Анжуйский, внук Людовика XIV.

Карлос видел себя окруженным людьми, ожидающими его смерти. Ни одно средство воздействия на его пораженный разум не было забыто заговорщиками, ни один ужас домашних раздоров не миновал его. Безумие короля пытались обратить против его же родных. При дворе вновь запахло серой. Королеву-мать едва не сразило то же оружие, которым она несколько раз пыталась воспользоваться сама. Исповедник Карлоса, подкупленный австрийской партией, вызвал дьявола в присутствии короля и заставил нечистого признаться в том, что болезнь Карлоса происходит от чашки шоколада с порошком из человеческих костей, данной ему королевой-матерью четырнадцать лет назад. Чтобы излечиться от колдовства, король должен был каждое утро пить освященное масло; австрийский император Леопольд рекомендовал ему воспользоваться услугами знаменитой венской чародейки. Королева-мать всполошилась и призвала на помощь инквизицию. Великий инквизитор взамен на обещание кардинальской шапки арестовал исповедника как подозреваемого в ереси за суеверие и виновного в принятии учения, осуждаемого Церковью, поскольку тот оказал доверие дьяволу, воспользовавшись его услугами. Богословы, однако, заявили о том, что поведение исповедника с церковной точки зрения беспорочно, и монах был отпущен. Дело замяли, но Карлос никогда не смог оправиться от этого кошмара.

Только народ, столь же безумный в своей любви, как и в ненависти, оставался верен своему королю. Безумный взгляд Карлоса принимали за взор духовидца, а его телесные немощи лишь увеличивали преданность: народы любят тех государей, которых жалеют, они прощают все тем, кто не ведает, что творит. Безумие защищало его от любых обвинений. Тем не менее однажды, во время голода, народ ворвался во двор Буен-Ретиро и потребовал короля. Мария-Анна вышла на балкон и сказала, что король спит. «Он спал слишком долго, — ответил ей голос из толпы, — теперь время ему проснуться». Тогда королева ушла со слезами, а через несколько минут появился Карлос. Совершенно обессиленный, он едва дотащился до окна и приветствовал свой народ, шевеля губами. Наступило потрясенное молчание; мгновение спустя раздались крики любви. Выразив свою радость, толпа мирно разошлась.

У каждого из королей этой династии наступал момент, когда ужас смерти сменялся болезненным любопытством к ней. Самый отдаленный предок Карлоса II Карл Смелый <sup>68</sup> наслаждался ее видом, впадая в мрачное исступление. «Вот прекрасное зрелище!» — говорил он, въезжая в церковь, заполненную трупами осажденных. Иоанна Безумная, мать основателя Испанской империи Карла V <sup>69</sup>, таскала за собой на носилках по всей Испании

---

<sup>68</sup> Карл Смелый (1433 — 1477) — герцог Бургундии, боровшийся против абсолютизма Людовика IX

<sup>69</sup> Карл V (1500 — 1558) — император Священной Римской империи в 1519 — 1556 гг., испанский король (Карлос I) в 1516 — 1556 гг., из династии Габсбургов. Пытался создать «мировую христианскую державу», вел

забалъзамированный труп своего мужа; она бдила над ним в течение сорока лет, кладя вместе с собой на ложе. Карл V в монастыре Святого Юста устраивал репетиции собственных похорон. Филипп II за несколько часов до смерти приказал принести череп и возложил на него свою корону. Отец Карлоса II спал в гробу.

Что за демон звал их, чье проклятие тяготело над ними, какой груз давил на их души? Карлос II в свою очередь подчинился этому зову небытия, слышимому им с детства четче всех земных звуков. Последний испанский Габсбург завершил свое царствование странным поступком — он пожелал увидеть всех своих предков.

Гробница испанских королей, называемая Пантеоном, помещается в центре Эскориала, под главным алтарем часовни. В Пантеон ведет лестница из темного мрамора. Спускаясь по ней, оказываешься в восьмиугольной зале длиной десять метров и высотой двенадцать. Она совершенно пуста; только возле одной из стен возвышается престол с бронзовым распятием, и огромная люстра спускается прямо со свода. В отделанных яшмой стенах находятся ниши с гробницами: направо лежат короли, налево королевы. Ледяной блеск разлит повсюду, могильный холод проникает в самое сердце. Ни украшения, ни знаки не отмечают гробниц. К чему они? В течение последних двух веков Испания имела одного короля в четырех лицах.

Шатающейся походкой, бледный как мертвец, Кар-лос спустился туда и приказал открыть все гробы. Кар-лос I предстал перед ним почти совсем разложившийся. Голова сохранилась лучше тела — испортилось лишь одно веко и ввалились ноздри; клочки рыжих волос еще держались на скуле. Филиппа II смерть словно смягчила — в нем не было ничего зловещего. Филипп III сначала явился чудесно сохранившимся, но воздух земли оказался убийственным для мертвеца — он распался на глазах у внука. Зато Мария-Анна Австрийская, умершая совсем недавно, казалось, была готова проснуться. Карлос холодно поцеловал ее руку.

Король был бесстрастен и молчалив, созерцая тех, кому было суждено умереть вместе с ним навсегда. Он не испытывал к ним ни страха, ни любопытства, как бы уже ощущая себя одним из них. Но при виде Марии-Луизы сердце короля разбилось, и он со слезами упал на ее гроб, покрывая ее тело иступленными поцелуями любви — той любви, которая вовеки сильнее смерти.

— Моя королева, моя королева! — восклицал он среди рыданий. — Она с Богом, и я скоро буду вместе с нею!

Его пророчество сбылось несколько месяцев спустя. Он умер в 1700 году, завещав Испанию герцогу Анжуйскому <sup>70</sup>.

## ВОЛЬТЕР И ФРИДРИХ II

*Судьба заставила меня перебежать от одного короля к другому, хотя я боготворил свободу.*

**Вольтер**

*Мелкие мотивы, как всегда, переплетаются с великими идеями.*

**Рене Полю**

На свете есть люди, как будто созданные для того, чтобы любить друг друга только на расстоянии. Их встречи оборачиваются поединком, в котором каждый из них старается подчинить другого или, по крайней мере, не поступиться своей независимостью; они обмениваются колкостями в лицо и злословят друг о друге за глаза и, наконец, расстаются,

---

многочисленные войны. В 1556 г. отрекся от престола

<sup>70</sup> Смерть Карлоса II привела к войне за «испанское наследство» (1701 — 1714), в результате которой внук Людовика XIV герцог Анжуйский сохранил за собой испанский престол и стал править под именем Филиппа V

раздраженные взаимными упреками и обиженные собственным разочарованием в предмете своей любви. Какое-то время они дуются друг на друга, потом кто-нибудь из них — обыкновенно тот, кто, унизив другого, считает себя еще более им униженным, — делает жест примирения; отношения возобновляются, оживленные неумеренными заверениями в любви и преданности, пока новая ссора не заставляет их призвать гром небесный на голову вероломного притворщика и лицемера. Дальнейшие отзывы таких людей друг о друге полны самых высоких оценок добродетелей противной стороны и самых неподдельных сожалений, что эта сторона не употребила своих добродетелей на пользу единственной персоны, которая их заслуживала.

Вольтер и Фридрих II были именно такими людьми.

Среди галантнейших вельмож и наиболее обаятельных проходимцев того времени немногие могли бы сравняться с королем-философом и королем философов в умении очаровывать; в искусстве искренне обманывать самого себя относительно своих чувств к другому им не было равных (обмануть в своих чувствах друг друга Вольтеру и Фридриху не удавалось никогда). Вольтер и Фридрих были, без сомнения, очень похожими натурами. Дети своего скептического века, они обладали счастливой смесью смелости и гибкости, умением то уступать времени, то пользоваться им, то порождать его. Что побуждало их тянуться друг к другу? — Не симпатия, и, уж конечно, не любовь, и не потребность в любви, а чувство некоего глубинного родства темперамента и умонастроения. Что гнало их друг от друга? — Не ненависть, но понимание, проникновение в сокровенные мысли и намерения другого. Их личные отношения не продолжались и трех лет и закончились гнуснейшим разрывом, но их переписка длилась с небольшими перерывами сорок два года, до самой смерти Вольтера, и составила многотомное руководство для желающих усовершенствоваться в недостойном искусстве лести, причем лести зачастую совершенно бескорыстной и идущей от самого сердца. Впрочем, заметил Вольтер в мемуарах, «эпитеты нам ничего не стоили». Тем не менее они кое о чем говорят.

## ЗНАКОМСТВО

Немногие вольнодумцы XVIII столетия испытали столько гонений и издевательств, сколько пришлось вытерпеть Фридриху, наследному принцу Прусского королевства, за свою приверженность к французским книгам.

Пруссия тогда только что вошла в число ведущих европейских держав. Дед Фридриха II, Фридрих I, в 1701 году добавил к своему титулу курфюрста Бранденбургского титул короля Прусского. Соперничая с Австрией и Саксонией за влияние на германские княжества, он хорошо понимал значение не только военного, но и культурного превосходства и потому, как мог, подражал роскоши Версальского двора. Кое-что перепало также наукам и художествам: в Берлине была основана Академия наук, душой которой стал Лейбниц. В конце концов Фридрих I добился того, что его столицу стали называть «германскими Афинами».

После вступления на прусский престол его преемника, Фридриха Вильгельма I Толстого, об Афинах больше не вспоминали, зато заговорили о «германской Спарте». Отец Фридриха II, прозванный «фельдфебель на троне», был без ума от рослых солдат и не останавливался ни перед какими расходами, чтобы укомплектовать первые шеренги своих гвардейских полков двухметровыми молодцами. Один из этих великанов получал 1300 талеров жалованья — больше, чем профессор Берлинской академии. Ученых король почитал за ничто; о Лейбнице он отзывался как о совершенно бесполезном человеке, не способном, по его мнению, даже хорошо стоять на часах.

Появление на улицах Берлина коренастой фигуры Фридриха Вильгельма с увесистой дубинкой в руке вызывало панику среди гуляющих. Вид празднующихся подданных вызывал в короле сильнейший гнев, который он вымещал на попавшихся под руку бездельниках при помощи дубинки и пинков. Даже слабый пол не мог рассчитывать на

снисхождение. «Честная женщина сидит дома и занимается хозяйством, а не шляется по улицам!» — гремел Фридрих Вильгельм, пинками направляя несчастную к домашнему очагу.

Поймав однажды пустившегося от него наутек берлинца, король спросил, что заставило его обратиться в бегство. Тот чистосердечно признался, что причиной его поспешной ретирады был испуг перед особой его величества. «Ах, негодяй! — возмутился Фридрих Вильгельм. — Ты должен не бояться меня, а любить!» Эта заповедь любви была подкреплена дюжиной самых убедительных колотушек.

Король не был более сдержан и в семье. Французские гувернеры приохотили наследного принца к чтению, игре на флейте и хорошим манерам, чтобы сделать из него настоящего *galant homme* <sup>71</sup>. Вид чувствительной задумчивости на лице сына выводил Фридриха Вильгельма из себя. «Нет, Фриц повеса и поэт: в нем проку не будет! Он не любит солдатской жизни», — горевал коронованный фельдфебель. Чтобы выбить из принца французскую дурь, король бросал в камин книги, ломал флейты и усердно, до вывихов пальцев на ногах, пинал доморощенного *galant homme*'а и его учителей. Принцу приходилось ночью тайком покидать дворец и в доме у кого-нибудь из своих молодых друзей предаваться порокам образованности. Но если дежурному офицеру удавалось выследить его, то король не ленился подняться с постели, чтобы лично накрыть всю компанию и раздать всем сестрам по серьгам.

Деспотизм и побои отца навели принца на мысль искать убежище в Англии. Но побег не удался, он был пойман и арестован за дезертирство. Фридрих Вильгельм настаивал на смертном приговоре для него, однако такая неслыханная дикость возмутила судей и министров, они отказались осудить на смерть наследника престола. Вмешательство иностранных дворов окончательно образумило взбесившегося солдафона. Фридрих отделался несколькими месяцами заключения; был казнен лишь его паж, принявший участие в заговоре.

Буря, пронесшаяся над головой Фридриха, оборвала последние лепестки его юношеского идеализма. Он постиг важнейшую заповедь придворного евангелия: «Лицемерие сделает вас свободными» <sup>72</sup>. Выказав интерес к военному делу (впрочем, далеко не притворный), принц добился примирения с отцом, а подарив ему несколько дюжих гренадеров, он вконец растрогал старика. Прошлое было забыто. Король выделил сыну придворный штат, подарил замок Рейнсберг и позволил ему жить как заблагорассудится.

Рейнсберг называли еще Ремусберг, «город Рема», по имени брата легендарного основателя Рима. Историки того времени верили старинному немецкому преданию, согласно которому Рем, изгнанный Ромулом, нашел пристанище на берегах Рейна и основал здесь поселение. В окрестностях замка велись археологические раскопки с целью обнаружить следы пребывания героя на немецкой земле. Фридрих так увлекся этой легендой, что дал своим приближенным римские имена.

Вообще антично-средневековая театральность пропитывала весь быт Рейнсберга. Принц основал рыцарский орден, избравший своим покровителем Баярда. Эмблемой ордена была шпага, лежащая на лавровом венке, а его девиз: «Без страха и упрека» — повторял девиз легендарного рыцаря. Рыцарское братство состояло из двенадцати ближайших друзей Фридриха, у каждого из которых было свое прозвище: сам принц назывался Постоянный, Фуке, гроссмейстер ордена, — Целомудренный, герцог Вильгельм Баварский — Золотой

---

<sup>71</sup> В буквальном переводе с французского: «галантный человек», выражение, заменявшее в то время понятие «джентльмен». Согласно тогдашнему авторитету в вопросах светскости, лейпцигскому профессору Готшеду, «*galant homme*» должно означать: учтивый человек, умеющий хорошо вести себя с дамами, носящий белое белье (обычай, медленно распространявшийся по Европе из Англии и Голландии), «действительно образованный»

<sup>72</sup> Аллюзия на евангельское: «Истина сделает вас свободными» (Ин. 8, 32)



колчан и т. д. Рыцари носили кольца в виде согнутого меча с надписью: «Да здравствует кто не сдастся!» — и давали обет блюсти доблесть душевную, храбрость воинскую и славу вождя. В разлуке они обменивались выпренными письмами в старофранцузском рыцарском стиле. Позже Фридрих вступил в масонскую ложу «Авессалом», а после восшествия на престол сделался гроссмейстером Великой ложи.

Не стесняемый более отцом, окруженный друзьями, разделявшими его мысли и увлечения, Фридрих зажил в свое удовольствие, деля досуги между книгами, музыкой, театром и веселыми беседами, в которых оттачивал свое остроумие. Вообще он любил все развлечения, кроме охоты, считая ее «убийством души, потерей времени и столь же полезным занятием, как сметание пыли в камин».

Принц верил только во французскую культуру. Его кумиром был Вольтер, к тому времени уже прославленный автор «Эдипа», «Заиры», «Генриады», «Трактата о метафизике» и «Истории Карла XII». В кабинете принца висел портрет поэта, о котором Фридрих говорил: "Эта картина, как Мемноново изображение, звучит под блеском солнца <sup>73</sup> и оживляет дух того, кто на нее взглянет". В своем поклонении он заходил так далеко, что утверждал: "Одна мысль «Генриады» стоит целой «Илиады».

Фридрих и сам считал себя поэтом, так как писал французские стихи, подражая стилю Вольтера, что, впрочем, по самим стихам понять было нелегко — его лучшие оды не поднимались выше образцов тогдашней школьной поэзии. Родной язык Фридрих презирал и знал по-немецки ровно столько, сколько было необходимо, чтобы выбрать лакея или подать команду гренадерам. К немецким писателям он был равнодушен и не читал их, полагая, что немецкий язык не способен достичь силы выражения, грации в оборотах и гармонии в стихах, свойственных языку французскому. Правда, состояние немецкой литературы того времени отчасти оправдывало такое мнение. Но несчастье Фридриха как поэта заключалось в том, что он и по-французски знал как иностранец, из-за чего, при всем своем незаурядном воображении и остроумии, не мог придать должной живости стихам и убедительности выражениям и образам. До конца своей жизни он нуждался в литературных секретарях-французах, поправлявших его солецизмы <sup>74</sup> и фальшивые рифмы <sup>75</sup>].

В 1736 году Фридрих вступил в переписку с Вольтером, послав ему на первый раз не стихи, а почтительную прозу и свой портрет. (Надо сказать, что письма прусского короля, как и его исторические сочинения, стоят много выше его стихотворных опусов, в них виден талант простоты и здравомыслия — явление редкое среди эпигонов.) Польщенный поэт подарил принцу рукопись одной из своих трагедий, которую Фридрих называл с тех пор своим золотым руном. Тогда же принц попросил Вольтера взять на себя труды по изданию «Анти-Макиавелли» — сочинения, в котором Фридрих разоблачал политический цинизм великого итальянца. Вольтер охотно взял на себя эту почетную обязанность <sup>76</sup>.

Их первое свидание состоялось в августе 1740 года, когда Фридрих, уже в качестве короля прусского, предпринял поездку по Рейну. В Везеле он заболел и очень сокрушался,

---

<sup>73</sup> Мемнон — в греческой мифологии царь Эфиопии, принявший участие в Троянской войне и погибший в поединке с Ахиллом. Одна из двух колоссальных фигур Мемнона, воздвигнутая недалеко от египетских Фив, в древности была повреждена во время землетрясения и с тех пор на рассвете издавала звук, считавшийся приветствием Мемнона своей матери — богине утренней зари

<sup>74</sup> Солецизм — неправильный языковой оборот, не нарушающий смысла выражения (например: «Сколько время?»)

<sup>75</sup> Этот приговор, вынесенный временем стихам Фридриха, следует, быть может, несколько смягчить. Многим современникам прусского короля его поэзия казалась весьма значительным литературным явлением; Державин даже вдохновлялся ею при создании своих «Чи-талагайских од» (1775)

<sup>76</sup> После вступления на престол Фридрих благоразумно решил не публиковать эту книгу

что не может приехать в Брабант, где тогда жил Вольтер. Поэт поспешил явиться сам. Во дворце маркграфини, куда его немедленно проводили, он увидел маленького, изможденного болезнью человечка с большими голубыми глазами, лежащего в постели в одной рубашке. Первые впечатления Фридриха вряд ли были лучше: перед ним стоял сухой старикашка, казалось готовый вот-вот отдать Богу душу, но, впрочем, весьма живой и любезный.

В этот день Вольтер, сидя на постели короля, читал ему «Магомета». Фридрих только «удивлялся и молчал».

Славословия поэта в адрес венценосного покровителя поэзии и философии щедро оплачивались звонкой монетой и королевскими милостями. Однако, когда они расстались, Вольтер отозвался о своем меценате как о «респектабельной, любезной потаскушке» <sup>77</sup>, а Фридрих пожаловался друзьям, что «придворный шут» обошелся ему слишком дорого. Тон последующих отношений был задан.

Следующая их встреча состоялась через два года, во время Силезской войны. Вольтер прибыл в Берлин в качестве неофициального представителя французского двора и тщетно пытался заставить прусского короля отнестись к нему как к дипломату. Фридрих не придавал значения этим потугам. Расстались они холодно.

Причина их взаимного недовольствия заключалась в том, что они оба были подвержены странному желанию поменяться ролями и обнаружить превосходство именно в той области деятельности, в которой другой по праву считал себя стоящим неизмеримо выше. Вольтер снисходительно поправлял королевские стихи, а Фридрих возвращал поэту его заметки о политическом положении Европы, приписав на полях несколько игривых строк. Таким образом, первый видел в другом лишь неисправимого графомана, а тот в свою очередь считал его тщеславным стихотворцем, возомнившим себя государственным человеком. Раздражение мешало быть справедливым.

Фридрих был посредственным литератором, но выдающимся государственным деятелем. Едва ли будет преувеличением сказать, что он занимался государственными делами больше, чем все европейские государи, вместе взятые <sup>78</sup>. Он желал быть не первым, а единственным своим министром; при нем не было места не только для Ришелье или Мазарини, но и для Кольбера и Лувуа <sup>79</sup>. Он лично разбирал дела, от которых отмахнулся бы начальник департамента; если иностранец хотел получить хорошее место на плацу во время развода, он писал королю и на другой день получал его собственноручный ответ. Эта почти болезненная деятельность не оставляла ни сил, ни времени, чтобы дать развиваться литературному таланту. Зато Пруссия являла собой образец порядка и уважения к собственности. Фридрих придерживался широкой веротерпимости и уничтожил пытку; смертные приговоры в его царствование были редки и выносились только убийцам. Его бережливость в придворных расходах была иногда чрезмерной и более приличной содержательнице пансиона, нежели королю: из-за нескольких лишних талеров, переплаченных его поваром за устриц, он мог поднять шум, как из-за сданной крепости; но он украшал Берлин великолепными постройками и не жалел средств, чтобы привлечь в академию выдающихся ученых. Право, Фридриху можно было простить несколько дурных од.

В свою очередь Вольтер, прошедший полвека при самых разных дворах Европы, менее всего походил на «придворного шута». Ему можно поставить в вину льстивость, но не

---

<sup>77</sup> Намек на гомосексуальные склонности Фридриха II

<sup>78</sup> Эти лавры великого труженика, вторые по значимости в венце монархов после лавров милосердия, отняла у него Екатерина II, о которой Фридрих с неудовольствием и беспокойством осведомлялся: неужели правда, что русская императрица работает больше его?

<sup>79</sup> Кольбер, Лувуа — знаменитые министры Людовика XIV

раболепие. «У меня хребет не гибкий; я согласен сделать один поклон, но сто сразу меня утомляют», — с полным правом говорил он. При дворах он искал безопасности. Его сто тридцать семь псевдонимов не всегда спасали от преследований; чтобы свободно мыслить и писать, Вольтеру нужен был сильный покровитель. Его пресловутое корыстолюбие тоже объясняется довольно просто. Вольтер ценил деньги так, как они того заслуживают. («Не нужно думать ни о чем другом, кроме денег, пока не имеешь шести тысяч франков годового дохода, а потом вовсе не нужно о них думать», — говорил в этом случае Стендаль.) Материальная обеспеченность оберегала его независимость от диктата издателей и капризов сильных мира сего.

Несмотря на скрытую борьбу и плохо сдерживаемое раздражение, их отношения внешне оставались прекрасными. Каждый из них надеялся в конце концов взять верх.

## ПЕРЕГОВОРЫ И ОТЪЕЗД

В конце сороковых годов Фридрих стал настойчиво приглашать Вольтера навсегда поселиться в Берлине. Король, победоносно окончивший к тому времени две войны и выигравший пять сражений, писал поэту, что теперь его честолюбие состоит в том, чтобы писать свой титул следующим образом: «Фридрих II, Божьей милостью король Пруссии, курфюрст Бранденбургский, обладатель Вольтера и проч.». Вольтер благодарил, однако не спешил с отъездом.

В своем стремлении стать единственным «обладателем» поэта Фридрих зашел так далеко, что велел своим агентам в Париже подбрасывать под двери влиятельных вельмож письма, порочащие Вольтера, в надежде, что того вышлют из Франции. К счастью для Вольтера, этим письмам не придавали значения. Напротив, казалось, что двор благоволит к нему. Госпожа де Помпадур поручила ему написать пьесу по случаю бракосочетания дофина. Пьеса была поставлена в срок — за это Вольтер получил звание камергера и историографа Франции. Сам он не питал иллюзий насчет достоинств своего нового творения. «Мой Генрих IV, моя Заира и моя американка Аль-зира не доставили мне ни одного взгляда короля. У меня было много врагов и весьма мало славы; почести и богатство сыплются наконец на меня за ярмарочный фарс».

Еще более сильным доводом в пользу жизни в отечестве была давняя связь Вольтера с «божественной Эмилией», маркизой дю Шатле, образованной женщиной, с которой он уединился в поместье Сирей. Госпожа дю Шатле считала прусского короля своим опаснейшим соперником и, пока была жива, с успехом противостояла его посягательствам на «обладание» поэтом. «Из двух философов я предпочитаю даму — королю», — говорил Вольтер.

Но в 1749 году произошло несколько событий, приблизивших для Фридриха желанный миг.

Во-первых, в этом году умерла госпожа дю Шатле — во время родов, ставших печальным концом ее увлечения драгунским офицером де Сен-Ламбером. Вольтер знал об их отношениях, но смотрел на них сквозь пальцы. Однако для него было сильным ударом обнаружить в медальоне, снятом с шеи покойной, портрет своего соперника: он полагал, что занимает гораздо больше места в сердце женщины, с которой прожил рядом шестнадцать лет.

Вольтер был раздавлен горем. Некоторое время он избегал общества. Удрученный, рассеянный, он бродил ночью по комнатам в парижском доме на улице Тра-верзьер и звал свою Эмилию.

Постепенно он все же утешился. Место госпожи дю Шатле заняла госпожа Дени, его племянница. (Фридрих сразу же выказал свою ревность: «О служанке Мольера все еще говорят; о племяннице Вольтера говорить не будут».) Это была веселая, в меру легкомысленная женщина, уже успевшая стать вдовой и с тех пор отвергавшая новые предложения, — быть может, не без тайного намерения когда-нибудь сделаться госпожой де

Вольтер <sup>80</sup>. Она стала любовницей Вольтера еще в 1744 году, но ни одна живая душа из их окружения не подозревала об этом.

Во-вторых, Париж поставил под сомнение его трагический талант. Успех «Катилины» старого Кребильона превзошел все ожидания, Людовик XV назначил пенсию счастливому автору. В парижских кофейнях решили, что истинное трагическое вдохновение, которое отличало Корнеля и Расина, можно теперь найти только у Кребильона. Взбешенный Вольтер написал «Семирамиду», «Ореста» и «Спасенный Рим», но не сумел восстановить свое пошатнувшееся положение первого трагического поэта. Мнение о превосходстве Кребильона поддерживалось с такой страстью, что позднее д'Аламберу в «Предварительной речи к Энциклопедии» нужно было иметь настоящее мужество, чтобы поставить Рольтера наравне с ним.

Наконец, на Вольтера дохнуло холодом со стороны Версаля. Людовик XV не переносил его, королевская свита не хотела, чтобы он заправлял придворным театром (этого желания Вольтер не скрывал), госпожа Помпадур дулась на него за экспромт, в котором он фамильярно журил ее за небольшие погрешности в произношении. Вольтер попытался восстановить свое положение, написав в придворном духе историю войны 1744 года и похвальное слово Людовику Святому, но ни то ни другое не поправило дела.

В досаде на двор и столицу он сделался более внимательным к соблазнительным посулам из Берлина. В ответных письмах прусскому королю он стал подробно излагать причины, по которым не может поехать к прусскому двору: в общем, Вольтер желал, чтобы его уговорили. Фридрих так и понял своего корреспондента и постарался быть как можно более убедительным. Вольтер сетовал на климат Пруссии — король слал ему дыни, выращенные в Потсдаме; поэт намекал на непостоянство королей — Фридрих указывал на свою академию, почти всю состоявшую из иностранцев; Вольтер вздыхал о своем безденежье — король сулил выдать шесть тысяч франков на дорожные расходы и т. д.

"Нет, дорогой Вольтер, — убеждал его Фридрих, — если бы я предполагал, что переселение будет неблагоприятно для Вас самого, я первый бы Вас отговорил. Ради Вашего счастья я пожертвовал бы удовольствием считать Вас своим навсегда. Но Вы философ, и я философ, у нас общие научные интересы, общие вкусы. Что же может быть более естественным, чем то, чтобы философы жили вместе и занимались бы одним и тем же?! Я уважаю Вас как своего наставника в красноречии, поэзии, науках. Я люблю Вас как добродетельного друга. В стране, где Вас ценят так же, как на родине, у друга, чье сердце благородно, Вам незачем опасаться рабства, неудач, несчастий. Я не утверждаю, что Берлин лучше Парижа, будучи далек от такой бессмысленной претензии. Богатством, величиной, блеском Берлин уступает Парижу. Если где-либо господствует изысканный вкус, то, конечно, в Париже. Но разве Вы не приносите хороший вкус всюду, где бы Вы ни появились? У нас есть руки, чтобы Вам аплодировать, а что касается чувств, питаемых к Вам, мы не уступим никакому другому месту на земном шаре.

Я уважал дружбу, которая привязывала Вас к маркизе дю Шатле, но после ее смерти считаю себя Вашим ближайшим другом. Почему мой дворец должен стать для Вас тюрьмой? Как я, Ваш друг, могу стать Вашим тираном? Признаюсь, я не понимаю такого хода мыслей. Заверяю Вас, пока я жив, Вы будете здесь счастливы, на Вас будут смотреть как на апостола мысли, хорошего вкуса... Вы найдете тут то утешение, которое человек с Вашими заслугами может ожидать от человека, умеющего ценить Вас".

Вольтер был прав, когда утверждал, что «такие письма редко пишутся их величествами».

Не довольствуясь этим, Фридрих играл на тщеславии Вольтера, делая вид, что перенес свое уважение на д'Арно — многообещающего молодого поэта, вынужденного покинуть Францию и нашедшего убежище в Берлине. Король сочинил несколько стишков,

---

<sup>80</sup> В романских странах допускаются близкие отношения и браки между дядей и племянницей

развивавших одну поэтическую метафору: Вольтер — заходящее солнце, д'Арно — восходящее. Уловка помогла. Друзья Вольтера не преминули прочесть ему эти стихи. Поэт, лежавший в это время в постели, в бешенстве вскочил и забегал по комнате в одной рубашке; прислуга немедленно была послана за паспортом и почтовыми лошадьми. Нетрудно угадать, чем должна была закончиться поездка, начавшаяся таким образом.

Перед отъездом Вольтер в последний раз посетил Компьен — он еще надеялся, что его, может быть, станут удерживать или, по крайней мере, дадут дипломатическое поручение. Но Людовик лишь сухо подтвердил, что камергер и историограф может ехать, куда он сочтет нужным, а госпожа Помпадур ограничилась тем, что холодно попросила передать прусскому королю ее комплименты. Никаких других поручений не последовало.

Париж проводил поэта карикатурой, продававшейся за шесть су: на ней Вольтер был изображен пруссаком, одетым в медвежью шкуру.

Теперь он уже рвался в Берлин. Путешествие, однако, затянулось. Болезнь на две недели задержала его в Клеве, а прусские дороги оказались так плохи <sup>81</sup>, что к четырем лошадям, которые везли карету, пришлось пристегнуть еще двух. «Я направляюсь в рай, но путь выложен сатаной», — писал он с дороги Фридриху.

Наконец дорожная тряска закончилась. 10 июля 1750 года Вольтер прибыл в Сан-Суси.

## САН-СУСИ

Однажды, гуляя по Потсдаму, Фридрих любовался окрестностями города и решил построить дворец на месте так называемого «королевского виноградника». Он сам наметил план постройки и парка. Строительство продвигалось быстро. В 1745 году был заложен фундамент, а через два года король уже поселился в Сан-Суси (так он назвал свою резиденцию).

Дворец возвышался на холме, скрытом в шесть уступов, которые образовали широкие террасы, обсаженные деревьями и кустарником; бюсты античных героев, мудрецов и скульптуры на мифологические сюжеты отражали политические, философские и художественные пристрастия хозяина. Легкая, изящная, гармоничная архитектура Сан-Суси подчеркивала его частное, неофициозное назначение. Внутреннее убранство дворца было выдержано в том же стиле. Здесь не было тяжеловесной роскоши и пышности отделки. Комнаты выглядели несколько холодновато, так как деревянная обшивка из резного дуба была выкрашена в очень светлые тона, а простые шелковые шторы на больших окнах позволяли свету заливать все пространство залов и галерей. Мода еще запрещала увешивать стены картинами; их заменяла столярная резная работа или скульптурная лепка, покрытая матовым золотом, благодаря чему она с удивительной четкостью выделялась на белом, голубоватом или лиловом фоне стен. Дикие розы, ветви с плодами, диковинной формы раковины и тысячи других фантастических орнаментов гармонично сочетались с декоративными рисунками, изображавшими четыре времени года, четыре стихии, пастушеские идиллии, аллегии, мифологические или сельские сцены, — иногда в стиле китайской живописи.

Меблировка комнат отличалась исключительной простотой: несколько кресел, стульев и табуреток, небольшие инкрустированные столы и лакированные угольные столики, деревянные позолоченные консоли и клавикорды — ничего громоздкого, никаких «музеев редкостей». Все предметы искусства были вынесены в галереи. Из-за этого высокие салоны казались, быть может, чересчур обширными и пустыми.

---

<sup>81</sup> Фридрих II намеренно не ремонтировал дорог, усматривая в этом двойную выгоду: во-первых, он хотел, чтобы иностранцы, проезжающие через Пруссию (а их было немало), тратили как можно больше денег на дорожные издержки, вынужденные остановки в трактирах и т. д., что значительно пополняло казну и поднимало благосостояние пруссаков; во-вторых, он надеялся, что плохие дороги в случае войны задержат продвижение вражеских армий

Сан-Суси был слит с частной жизнью Фридриха: название этой резиденции фигурирует в его письмах друзьям, в то время как на деловых бумагах король неизменно ставил название своей столицы, подчеркивая этим, что он хочет быть в Берлине — королем, а в Сан-Суси — человеком. Свои сочинения Фридрих выпускал в свет за подписью «Философ Сан-Суси», что можно было прочитать и как «Беззаботный философ»<sup>82</sup>.

Название дворца имело для короля и другой смысл — в духе чувствительного и несколько унылого романтизма, который так любила та эпоха. Под одной из террас он распорядился устроить склеп для своих останков. Это святилище было скрыто от посторонних глаз скульптурной группой, высеченной из каррарского мрамора и изображавшей Флору, играющую с амуром. Однажды Фридрих указал одному из друзей место своего склепа и произнес: «Quand je serai là, je serai sans souci!» («Когда я буду там, — я буду без забот»).

Кабинет короля выходил окнами как раз на это место. Передают, что, когда Фридрих бывал раздражен, он подходил к окну и при первом взгляде на богиню цветов, хранительницу его гробницы, успокаивался.

Образ жизни Фридриха был изнурителен для него самого и его окружения.

Король вставал летом в пять часов, зимой в шесть. Если камердинер не будил его вовремя, — например, уступив приказанию сонного господина оставить его в покое, — то немедленно терял свое место; поэтому прислуга не останавливалась даже перед таким радикальным средством, как обливание спящего Фридриха холодной водой.

Королевская спальня могла показаться роскошной: серебряная решетка прекрасной работы, украшенная амурами, окружала балюстраду, на которой вроде бы должна была стоять кровать. Но за пологом находились книжные полки, а Фридрих спал на жалкой койке с тоненьким тюфяком, спрятанной за ширмой, — за эпикурейской декорацией Сан-Суси скрывался аскетизм его владельца.

Лакей разводил огонь в камине и брил короля; одевался Фридрих без посторонней помощи. Королевский гардероб состоял из одного великолепного парадного костюма, прослужившего Фридриху всю жизнь, и двух-трех старых, нескольких заношенных, запачканных табаком жилетов и огромных, порыжевших от ветхости сапогов. Одевшись, король пил кофе в обществе двух-трех фаворитов. Тот, кому он бросал платок, проводил четверть часа с ним наедине — «без последних крайностей», по выражению Вольтера, так как Фридрих «плохо излечился».

После кофе в кабинет являлся паж с огромной корзиной, наполненной письмами на имя короля, привезенными последним курьером. Это были депеши из посольств, доклады министров, известия о сборе податей, планы строений, проекты осушения болот, жалобы, просьбы о титулах, чинах, должностях. Фридрих был вполне уверен, что его окружают шпионы, поэтому тщательно осматривал печати на каждом письме. Затем он делил бумаги на несколько кучек и выражал свое решение по каждому документу двумя-тремя словами, а иногда и резкими эпиграммами; секретари быстро записывали его резолюции. Одновременно генерал-адъютант получал распоряжения по военному ведомству.

Покончив с делами к одиннадцати часам, король шел осматривать сад, но делал это не с удовольствием, а с придирчивой мелочностью, указывая садовникам на упущения и выражая свои пожелания. Затем он устраивал смотр гвардейскому полку. (В это время секретари отвечали на письма, о которых Фридрих высказал свое мнение; для них не существовало ни выходных, ни праздников, ни даже перерывов на обед: их никогда не отпускали до ужина.) Возвратясь в кабинет, Фридрих, опасаясь измены, выборочно прочитывал несколько ответов на утреннюю корреспонденцию. Если он замечал малейшее отступление от своей резолюции, то бедняга-секретарь, получивший пять-шесть лет тюрьмы, мог считать, что он еще счастливо отделался. Деловая часть дня заканчивалась подписанием

---

<sup>82</sup> Sans souci (фр.) — буквально: «без забот»

приготовленных бумаг; курьер в тот же день развозил их.

Обед продолжался недолго и состоял из небольшого числа блюд. Как уже говорилось, Фридрих был бережлив и отпускал на королевский стол (с учетом сотрапезников, которых, впрочем, было немного) тридцать шесть эку в день; ни одной бутылки шампанского нельзя было откупорить без его личного указания.

Два-три часа после обеда король посвящал сочинению стихов. В семь часов вечера избранное общество собиралось на домашний концерт, чтобы послушать флейту Фридриха. Потом все шли ужинать, и за столом беседа принимала самый непринужденный характер. Порой собеседники расходились в четыре часа утра; у лакеев от долгого стояния распухали ноги.

В Сан-Суси не проникали ни женщины, ни священники: первых отвергала королевская плоть, вторых — его разум. Ближайшее окружение Фридриха состояло из нескольких лиц, преимущественно иностранцев.

Из старых рейнсбергских друзей ближе всех к королю стоял Жордан. Он происходил из французской купеческой семьи и некоторое время был протестантским проповедником. После смерти жены он оставил Францию и много путешествовал. Его незаурядные познания доставили ему в Рейнсберге место библиотекаря, а после коронации Фридриха — титул тайного советника и должность вице-президента Академии наук. Знаток большого света, Жордан отличался огромной работоспособностью, из-за чего Фридрих называл его «андалузским конем, запряженным в плуг». Он был незаменим как литературный советник. Высокие душевные качества Жордана закрепили за ним прозвище «ваше человеколюбие».

Другим ближайшим другом короля был маркиз д'Аржанс, заурядный писатель, обладавший единственно талантом любезности. Этот провансалец, изгнанный из Франции за вольнодумство, был суеверен без капли религиозности. Он с ожесточением обрушивался на христианство, но безоговорочно верил снам и предсказаниям, не решался садиться обедать, если за столом было тринадцать человек, бледнел, когда кто-нибудь опрокидывал солонку, и умолял гостей не класть ножи и вилки крест-накрест. Собственное здоровье было предметом его неустанных и самых тщательных забот. Если у него вдруг учащался пульс или начинала болеть голова, то меры, принимаемые им для восстановления хорошего самочувствия потешали весь Берлин. Малодушный и самонадеянный, он был нужен Фридриху главным образом как объект для шуток, не отличавшихся особым добродушием.

Братьев Кейт, Георга и Якова, Фридрих долго заманивал к себе. Кейты были шотландцы, приверженцы Стюартов, прошедшие военную службу во многих странах (в том числе и в России). Фридрих чрезвычайно уважал этих заслуженных воинов и держал их при себе в качестве военных советников.

Постоянное место за столом короля имели также д'Арже, литературный секретарь Фридриха, поэт д'Арно (оба французы) и Альгаротти, ученый-нью-тонианец, сын итальянского банкира. Последний был одним из немногих, кто сохранял в Сан-Суси независимость — финансовую и умственную.

Фридрих переманил к себе и европейскую знаменитость — ученого-естествоиспытателя Мопертюи, сделав его президентом Берлинской академии и своим собеседником. Мопертюи прославился после того, как в 1736 году вместе с Цельсием совершил экспедицию в Лапландию для подтверждения гипотезы Ньютона о сплющивании земного шара у полюсов. Ученым удалось измерить дугу меридиана. В память об этой экспедиции Мопертюи заказал свой портрет, где он был изображен слегка надавливающим на Северный полюс своей рукой. Вольтер в стихотворении, прославляющем научный подвиг «новых аргонавтов», подхватил этот образ: «Земной шар, который Мопертюи сумел измерить, станет памятником его славы». Мопертюи был смел и тщеславен, носил вызывающий костюм и рыжий парик; его манера держать себя говорила о том, что президент Берлинской академии вовсе не стремился быть сносным человеком для окружающих. Однако король уверял, что «на него можно положиться».

Некоторой известностью, правда скорее скандального рода, пользовался и Ламетри,

врач по образованию и философ по призванию, автор трактата «Человек-машина». Он приехал в Берлин со своей любовницей, бросив в Париже жену и дочь. Ламетри даже по отзыву Вольтера был «самый откровенный безбожник во всех медицинских факультетах Европы...»; он «писал и печатал по вопросам морали все, что можно только представить себе наиболее бесстыдного... Избави меня Бог от такого лекаря! Он бы прописал мне вместо ревеня средство от запора, да еще сам бы надо мной насмеялся!». Впрочем, добавляет Вольтер, Ламетри был «человек веселый, забавник, ветрогон». Фридрих, разумеется, назначил его не придворным врачом, а профессором философии.

Одним из немногих немцев, пользовавшихся расположением короля, был барон фон Кноббельсдорф, творец Берлинского оперного театра и Тиргартена. Он основательно изучил архитектуру и садоводство в Италии и Франции; это был знаток своего дела, однако отсутствие светского лоска закрепило за ним прозвище «королевский дуб».

Наконец, единственной женщиной, вхожей в Сан-Суси, была сестра Фридриха Вильгельмина, маркграфиня Байрейтская.

Иностранцы были весьма высокого мнения о прусском дворе. «Можно по справедливости назвать прусский двор школой вежливости, — писал один путешественник. — Там господствует такая простота в обращении, что совершенно забываешь о различии рангов и сословий». Немцы-провинциалы, напротив, осуждали царящие там гомосексуальные нравы и называли Сан-Суси центром атеизма и враждебности ко всему немецкому.

## МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

В Берлине Вольтер был принят как признанный глава республики свободных умов. Фридрих даже поцеловал его костлявую руку. Правда, король оборвал Вольтера, когда тот начал сыпать комплиментами от имени госпожи Помпадур. «Я ее не знаю», — процедил Фридрих, который вообще был любезен с дамами, но продажных женщин не переносил. Однако медоточивые уста короля тут же заставили поэта забыть об этой неловкости.

Оба делали вид, что очарованы друг другом. Фридрих писал Жордану: "Я видел Вольтера... Он обладает красноречием Цицерона, приятностью Плиния и мудростью Агриппы <sup>83</sup>". Вольтер в свою очередь писал в Париж: «Я видел одного из самых приятных людей в мире. Каждый стал бы искать его общества, даже если бы он не был королем. Это философ, без всякой суровости, кроткий и снисходительный, любезный и обаятельный в общении. Он сам забывает о том, что он — монарх, в сношениях со своими друзьями, и меня самого заставил позабыть, что возле меня сидит государь, повелевающий стотысячной армией. И я должен был насильственно напомнить себе об этом».

Двор старался не уступить королю в любезности. Принцы, фельдмаршалы, министры ухаживали за Вольтером как за божеством, кстати и некстати цитируя стихи из его трагедий. Его присутствие держало умы в напряжении — никому не хотелось сплеховать перед этим великим насмешником.

Вольтеру отвели замок Шарлоттенбург, в его распоряжение были предоставлены королевские повара и кучеры. Фридрих пожаловал ему камергерский ключ, почетный крест и назначил пять тысяч талеров жалованья.

Придворные обязанности Вольтера, по сути, сводились к тому, чтобы жить в роскоши, вдыхая фимиам лести и почестей. Казалось, он наконец обрел то убежище, о котором мечтал. Большую часть дня он был совершенно свободен и мог всецело посвятить себя творчеству. В утренние часы он трудился над окончанием «Века Людовика XIV» и «Опыта о нравах и духе народов», писал новые песни «Орлеанской девственницы» и сочинял стихи принцессам. «Я люблю их всех девятерых, — говорил он о музах, — надо искать счастья у возможно

---

<sup>83</sup> Агриппа Неттесхеймский Генрих Корнелий (1456 — 1535) — немецкий гуманист, философ-неоплатоник



большого числа дам».

Он ставил домашние спектакли для прусского двора — в Берлине этот вид развлечения был в новинку и вызывал всеобщий восторг. Играли, разумеется, трагедии Вольтера — «Заиру», «Альзиру», «Магомета», «Брута», «Спасенный Рим» и др. Братья и сестры Фридриха наперебой требовали ролей для себя и покорно внимали наставлениям автора, не стеснявшегося в выражениях. «У вас внутри должен сидеть дьявол! — кипятился Вольтер. — Иначе нельзя добиться чего-либо в искусстве. Да, да, без дьявола под кожей нельзя быть ни поэтом, ни актером». Нередко он и сам принимал участие в спектакле. Передают, что особенно ему удавалась роль Цицерона.

Вечер Вольтер должен был проводить с Фридрихом. Часа два они занимались разбором королевских сочи-нений. Присутствие Вольтера заставило Фридриха с новым рвением взяться за перо: он готовил к печати «Сочинения философа Сан-Суси», стихотворную «Военную науку» и ряд биографий современников (сочинения короля выходили малым тиражом — только для немногих избранных). Вольтер был суровым критиком. Он хвалил удачные места и безжалостно вычеркивал все, что, по его мнению, никуда не годилось. «Эта строфа ни гроша не стоит!» — то и дело восклицал он или ехидно спрашивал, прослушав длиннейшую оду: «Как это вам удалось сочинить четыре хорошие строки?» Фридрих безропотно по сто раз правил свои рукописи. В записках, пересылаемых учителю, он пытался убедить его, что невысоко ставит свои стихотворные опыты: «Занятия поэзией служат мне лишь отдыхам. Я знаю, что мои поэтические дарования весьма ограничены, но писать в стихах для меня удовольствие, которого я не хотел бы лишиться, тем более что оно решительно для всех безвредно: публика никогда не видит моих произведений и, стало быть, не имеет случая над ними скучать. Стихи мои не назначаются для света. Они стерпимы для друзей — и этого довольно. Я плаваю в поэтическом океане на пробках и пузырях и пишу гораздо хуже, чем мыслю; идеи мои почти сильнее, чем выражения. Вы, любезный г-н Вольтер, пишете для славы; я — для препровождения времени. И мы оба достигаем цели, хотя различными путями. Пока солнце на небе, пока сохранится хоть тень знания, хоть искра вкуса, пока не переведутся головы, любящие мысль, и уши, чувствующие гармонию, до тех пор ваше имя и творения ваши будут жить в веках. А о моих скажут: „Видно, этот король был не совсем слабоумный! Будь он простым гражданином, то мог бы, по крайней мере, служить корректором в какой-нибудь типографии и не умер бы с голоду“. Затем книгу мою бросят, потом употребят на папильотки, и делу конец». Был ли Фридрих искренен в своем поэтическом самоуничижении? Вольтер, безусловно, не верил ни одному его слову, но в виде утешения посылал в ответ стихи, воспевавшие короля, который утром управляет государством, после обеда пишет стихи, а вечером становится блестящим застольным товарищем. Час до ужина обыкновенно посвящался музыке. Фридрих появлялся из внутренних покоев с нотами и флейтой и сам раздавал оркестрантам их партии. Исполняли в основном его собственные музыкальные произведения или сочинения Кванца, директора придворной капеллы.

Во время этих концертов король брал маленький реванш. Фридрих владел флейтой с замечательным искусством; особенно в адажио игра его была мягка, нежна, увлекательна. Профессиональные музыканты удивлялись его глубокому знанию контрапункта и смелой фантазии. Он первый ввел в инструментальную музыку речитатив, что в то время считалось дерзостью, но вскоре это новшество было принято знаменитыми композиторами. В одном речитативе Фридрих удачно выразил мольбу о пощаде, чем привел в восторг слушателей. «Где вы берете эти звуки?» — спросил короля Фаш, основатель Берлинской певческой академии. "В моем воображении, — ответил Фридрих. — При сочинении этой пьесы я представлял себе минуту, когда Волумния, мать Кориолана, умоляет его удалить вольсков из Рима и спасти отечество <sup>84</sup>, — оттого она и вышла удачно".

---

<sup>84</sup> Легендарный римский полководец и герой Гнсий Марций Корио-лан, в 491 г. до и. э. изгнанный из Рима плебеями, бежал к вольскам и в 488 г. до н. э. привел их под стены родного города. Лишь уговоры его жены (а

За веселым ужином начиналась война умов и остроумий. Постепенно собеседники уступали поле сражения двум сильнейшим бойцам — Вольтеру и Фридриху. Мопертюи, плававший рыжим париком, считал себя слишком важной персоной, чтобы участвовать в словесном фехтовании, тем более что присутствие Вольтера делало его еще более угрюмым и кислым, чем обычно; д'Арже откровенно скучал в мужском разговоре; Ламетри больше следил за сменой блюд, чем за движением беседы; прочие от времени до времени вставляли более или менее удачные замечания.

Вольтер был превосходным собеседником. Госпожа Графинья, незадолго перед тем посетившая его в поместье Сирей, вспоминала: «Все собирались за ужином, и тогда-то надо было послушать Вольтера! Его трудно было вытащить из-за стола, но раз он появлялся за ужином, то этот самый человек, который казался умирающим и как будто всегда стоял одной ногой в могиле, делая другой необычайные прыжки, вдруг оживлялся и расточал свое сверкающее вдохновение по поводу каждого предмета. Ужинать вместе с ним было истинным наслаждением». Что касается Фридриха, то природная живость его ума в сочетании с широкими житейскими и научными познаниями делали его достойным соперником Вольтера в застольных беседах.

«Нигде в мире никогда не говорилось с такой свободой обо всех человеческих предрассудках, — вспоминал Вольтер ужины в Сан-Суси, — нигде они не вызывали столько шуток и столько презрения. Бога щадили, но все, когда-либо его именем обманывавшие людей, не встречали никакой пощады». Папа Римский не совсем ошибался, когда называл Фридриха «еретическим маркграфом Бранденбургским».

Короля весьма занимал вопрос о свободе воли. Вольтер, отвечая ему, указывал на два главных аспекта этого вопроса: существование Бога и бессмертие души. «Бог существует — версия наиболее правдоподобная, которую могут принять люди, — говорил он. — И такой Бог не допустит ни мучеников, ни палачей. Он — то же самое, что понятие об атоме. С таким Богом связаны законы, управляющие вселенной. Но его свойства и его природа никому не известны. Все споры о провидении и справедливости Бога — праздные рассуждения».

Что касается души, продолжал Вольтер, то «я вовсе не уверен, что имею доказательства против ее духовной природы и бессмертия, но все вероятности говорят против них». Бог, пожалуй, мог бы наделить материю свойством мыслить, но зачем вмешивать сюда Бога? По его словам выходило, что бессмертие души — гипотеза, малопонятная для разума и бесполезная для общества.

Из всего этого следовал непреложный вывод: «Шар, толкающий другой шар; охотничья собака, с необходимостью, но добровольно преследующая оленя, или этот олень, перепрыгивающий глубочайший ров с наименьшей неизбежностью и охотой; лань, порождающая на свет другую лань, а та в свою очередь третью, — все это не более неодолимо предопределено, чем мы предопределены ко всему, что мы делаем».

Иногда, воодушевленный венгерским, Вольтер читал «Орлеанскую девственницу». Фридрих восхищался новыми песнями этой поэмы, написанными Вольтером в Сан-Суси, а именно теми, где конюха принимают в аду и где прекрасную Доротею хотят сжечь на костре за сопротивление, оказанное ею дяде-епископу, пытавшемуся ее изнасиловать. Разговор, обыкновенно следовавший вслед за чтением, Вольтер сравнивал с беседой семи мудрецов, сидящих в борделе.

Итак, все выглядело как нельзя лучше. Но мудрецы, собиравшиеся за королевским столом, знали, что дружба, как и любовь, по большей части есть только промежуточный этап на пути от равнодушия к вражде.

## НАЧАЛО РАЗМОЛВКИ

Осенью Вольтер написал госпоже Дени: «...дружба Фридриха может оказаться ненадежной, вполне вероятно, он поведет себя как король». Далее письмо полно таинственных и многозначительных «но»:

«Вечерние собрания великолепны. Король — душа всего. Но... Я имею оперы и комедии, смотры и концерты, мои занятия и книги. Но, но... Берлин красивый город, принцессы восхитительны, фрейлины хорошенькие. Но...»

«Милое дитя, — заканчивает Вольтер, — ветер становится холодным».

Что же скрывалось за этими словами?

Сентиментальный гуманизм Фридриха носил абстрактный характер и редко принимал во внимание конкретного человека. Чувствительность в молодости обыкновенно оборачивается цинизмом в зрелую пору жизни; к тому же чувствительность Фридриха выражала скорее его литературные вкусы и пристрастия, чем природную склонность души. Король отнюдь не был добр; но его остроумие и образованность позволяли ему выражать свою злобу более приличным способом, чем это делали другие государи (правда, он оставил за собой наследственное право на пинки и тычки, но пользовался им только в минуты чрезвычайного раздражения и распространял его действие на одних немцев).

Фридриху нужны были люди, которые могли бы забавлять и потешать его и которых он мог бы превирать. У него была склонность к жестоким шуткам, что в человеке зрелых лет и твердого ума служит верным признаком дурного сердца. Он очень ловко находил слабые стороны у других и охотно делился своими открытиями: досада и смущение захваченных врасплох «друзей» были лучшей наградой для него. Если в ком-то замечали чрезмерную заботу о своем платье — на него проливали масло; у скупца выманивали деньги; ипохондрика убеждали, что он болен; желавшего уехать пугали дорожными опасностями. Д'Аржансу король подарил дом, стены которого были украшены картинами из прошлой жизни его нового обитателя, неприличного и унижительного содержания. Когда у д'Арже умерла жена, Фридрих послал вдовцу сочувственное письмо и одновременно сочинил и распространил насмешливое стихотворение о покойнице. За столом король обычно просил забыть, что у него под началом состоит шестидесятитысячная армия и что он волен над жизнью и смертью сотрапезников; однако последним было нелегко выбрать, как держать себя с ним. Если человек осторожничал, то говорили, что это портит королю удовольствие, а за доверчивую откровенность король платил оскорблениями. Вольтер говорил, что Фридрих гладит и ласкает одной рукой, между тем как другой наносит легкие царапины.

Ссора Вольтера и Фридриха была не столкновением идей (хотя было и это, — например, Вольтеру не нравилась милитаризация Пруссии, и он считал, что в Берлине «дух казармы сильнее, чем дух академии»); их скрытая и явная борьба была столкновением характеров, которые не умели подчиняться. Они оба все острее осознавали ложность своего положения и фальшивость чувств, высказываемых друг другу. Несомненно, Вольтер ничему не мог научиться в Берлине, и, что гораздо важнее, ему некого было поучать: король был вольтерьянцем, так сказать, по самому складу своего ума и характера. В свою очередь Фридрих-устал ждать признания своего превосходства от человека, который привык первенствовать сам. Конечно, сказывалась и усталость от многочасового ежедневного общения.

Их нараставшее раздражение прежде всего отразилось на ужинах, которые перестали быть веселыми из-за участвовавших перебранок. Вслед за тем до Вольтера дошли слова Фридриха о нем: «У него все уловки обезьяны, но я не подам вида, что замечаю это, — он мне нужен для изучения французского стиля. Иногда можно научиться хорошему и от негодяя. Апельсин выдавливают, а корку отбрасывают». Вольтер не замедлил с ответом. Получив очередной пакет с королевскими стихами, присланными для разбора, он обратился к Ламет-ри и Мопертюи, с которыми в это время беседовал: «Извините, господа, что я вас оставляю. Король прислал мне свое грязное белье — надо его поскорее вымыть».

Вскоре после этого Вольтер заметил, что ему подают хуже очищенный сахар, безвкусный шоколад, чай и кофе без аромата и совсем перестали отпускать свечи. Он

пожаловался королю на слуг, хотя, конечно, понимал, откуда дует ветер. Фридрих посочувствовал ему и пообещал разобраться. Тем не менее все осталось по-прежнему. На повторную жалобу король огрызнулся:

— Не могу же я повесить этих каналов из-за куска сахара!

Одновременно он перестал присылать в Шарлоттенбург свои стихи.

«Я был в настоящей опале», — вспоминал Вольтер.

На всякий случай он перевел свое состояние — триста тысяч франков — на имя герцога Вюртембергско-го под залог его земель.

## ДЕЛО ГИРШЕЛЯ

Зима 1750/51 года была очень тяжела для Вольтера. В замке царили холод и сырость — дрова, предназначенные для него, постигла участь сахара и свечей. Вольтер страдал от болей в желудке и стал похож на обтянутый кожей скелет. Как всегда в таких случаях, он принимал без разбора лекарства и возбуждал себя бесчисленными чашками кофе.

Потеряв расположение короля, Вольтер счел необходимым уделить больше внимания личным делам. Он имел обыкновение вкладывать значительную часть капитала в государственные бумаги. Здесь, в Берлине, ему показалось, что он может совершить выгодную спекуляцию.

В то время в Германии весьма прибыльным делом считалась скупка и перепродажа саксонских податных свидетельств, с правом получения процентов с них в срок, указанный в документах. Однако Фридрих запретил пруссакам производить финансовые операции с саксонскими бумагами.

Вольтер был камергером прусского двора, но не прусским подданным. Соблазн наживы был слишком велик для него, между тем как ему более, чем кому-либо другому, следовало опасаться нарушить волю короля.

Он решил действовать через Авраама Гиршеля, берлинского негоцианта, у которого незадолго перед тем взял напрокат бриллианты для роли Цицерона в придворном спектакле. Теперь Вольтер поручил ему скупить саксонские податные свидетельства за шестьдесят пять процентов их стоимости. Гиршель выехал в Дрезден и написал оттуда, что может приобрести бумаги только за семьдесят процентов. Вольтер дал свое согласие на сделку. Буквально на следующий день он получил от Гиршеля письмо, где тот говорил уже о семидесяти пяти процентах стоимости. Вольтер заподозрил, что его поверенный ведет нечистую игру, и опротестовал самый крупный из выданных ему векселей. Гиршель возвратился в Берлин, потребовав возмещения дорожных издержек. Вольтер вместо этого выразил желание приобрести находящиеся у него бриллианты. Покупка состоялась за тридцать тысяч талеров; прибыль от сделки должна была удовлетворить все претензии Гиршеля к Вольтеру.

Мотивы и детали дальнейшего поведения Вольтера неясны. Он почему-то стал требовать обратно деньги, утверждая, что оценка камней была завышена; Гиршель отказывался это сделать и в свою очередь обвинил Вольтера в том, что он пытался возвратить ему поддельные драгоценности. Достоверно известно только то, что произошла бурная сцена, во время которой Вольтер схватил почтенного негоцианта за горло. Тот подал в суд. Начался скандальный процесс, закончившийся не в пользу поэта.

Фридрих получил отличный повод унизить Вольтера: королевский камергер нарушает королевский приказ да еще судится с евреем — куда уж дальше! (Впрочем, нелестный для Вольтера отзыв об этой истории дал и Лессинг, которому тогда было двадцать два года: его, голодного студента, Вольтер нанял для перевода на немецкий язык требуемых для суда бумаг.) Напрасно Вольтер пытался представить дело так, что будто бы лишь теперь узнал от берлинского бургомистра о запрете покупать саксонские податные документы, — король не дал провести себя.

Фридрих стал холоден и резок со своим камергером; после окончания рождественского карнавала он уехал в Потсдам, впервые не взяв с собой Вольтера, который заканчивал

процесс. Рождество было для поэта необычайно грустным. «Я пишу тебе у печки, с тяжелой головой и больным сердцем, — делился он с госпожой Дени своими горестями. — Смотрю в окно на Шпрее, она впадает в Эльбу, а Эльба — в море. Море принимает и Сену, а наш дом в Париже близко от Сены. Я спрашиваю себя, почему я в этом замке, в этой комнате, а не у нашего камина?»

Через четыре дня в своем насквозь промерзшем жилище он получил письмо от Фридриха: "Вы можете вернуться в Потсдам. Я рад, что это неприятное дело кончено, и надеюсь, что у Вас не будет больше неприятностей ни с Ветхим, ни с Новым Заветом <sup>85</sup>. Дела такого рода обесчещивают. Ни самыми выдающимися дарованиями, ни своим светлым умом Вы не сможете смыть пятна, которые угрожают навсегда запачкать Вашу репутацию".

Побитого пса пускали в дом.

В эту зиму несчастья сыпались на Вольтера одно за другим. У него началась цинга, и он потерял почти все зубы. Его впалый рот приобрел то саркастическое выражение, которое мы привыкли видеть на скульптурах Гудона.

## РАЗРЫВ

Между тем королевский кружок редел. Первым его оставил Ламетри — он умер, съев в конце обильного обеда паштет, начиненный трюфелями. Кто-то пустил слух, что перед смертью он исповедался. Фридрих был этим возмущен и навел справки. Присутствовавшие при кончине заверили короля, что Ламетри умер, как жил, «отрицая Бога и врачей». Фридрих, «очень довольный», сочинил надгробное слово философу и назначил пенсию девице, с которой жил покойный.

Ему передали также, что Вольтер по этому поводу сказал: «Со смертью Ламетри освободилось место королевского атеиста». Фридрих оставил острогу без внимания.

Вслед за тем Сан-Суси покинули Альгаротти и д'Арже. Они уехали по своей воле, быть может не желая далее терпеть королевские шутки.

Оставшиеся участники ужинов косо посматривали на Вольтера, снова занявшего свое место за круглым столом. У каждого из них накопился свой счет к нему — Вольтер был не из тех, кто щадит чужие самолюбия. Более других был недоволен Мопертюи, которого приезд Вольтера отодвинул на второе место. Вскоре их отношения приобрели характер непримиримой вражды.

Фридрих с присущей ему язвительностью объяснял причину их ненависти друг к другу следующим образом: «Из двух французов, живущих при одном и том же дворе, один непременно должен погибнуть». Были, однако, и другие основания для раздоров.

Мопертюи недавно опубликовал исследование о так называемом «принципе минимального действия», которому он приписал значение нового закона механики (того же мнения, в частности, придерживался и Эйлер). Другой член Берлинской академии, Самуэль Кениг, выступил с возражениями, ссылаясь на отрывок из письма Лейбница, из которого явствовало, что великий ученый уже знал об этом принципе, но не счел его столь значительным, чтобы возвести в закон. Оскорбленный Мопертюи через суд потребовал от Кенига предъявить оригинал цитируемого письма. Кениг ответил, что владеет только копией, снятой для него владельцем письма, ученым Гиенци, который к этому времени уже умер, так что получить оригинал письма не представляется возможным. Научная честность Кенига до сих пор никем не ставилась под сомнение. Однако Мопертюи публично опозорил его и добился его исключения из академии.

Внимание Вольтера в этой истории привлекла не научная, а моральная сторона. Он написал памфлет под названием «Диатриба доктора Акакия», где взял под защиту Кенига и высмеял притязания Мопертюи на роль крупного ученого современности. «Философские

---

<sup>85</sup> То есть ни с иудеями, ни с христианами

письма» Мопертюи в самом деле содержали много нелепиц. Так, там утверждалось, что все животные произошли от некоего прототипа (вероятно, Мопертюи пытался приложить учение Платона к биологии); что при сильном душевном возбуждении можно предвидеть будущее; что при вскрытии мозга людей можно узнать о строении души, для чего предлагалось использовать в качестве подопытных жителей Патагонии. Мопертюи выдвигал проекты строительства «латинского города» для лучшего изучения латыни, отстаивал необходимость бурения дыр до центра земли для научных целей и советовал мазать больных слюной, чтобы остановить опасное потение, а главное — не платить врачам. Вольтер, как никто, умел подметить смешную сторону идей, поэтому памфлет удался на славу.

Фридрих, которому Вольтер прочитал рукопись «Акакия», от души посмеялся над Мопертюи, но взял с автора слово не публиковать это сочинение, порочащее авторитет президента академии, чье содержание обходилось королю в весьма кругленькую сумму. Он обещал выступить посредником в этом деле и действительно опубликовал статью, в которой, однако, весьма неравномерно распределил остроты между Мопертюи и Вольтером.

Последний счел, что это освобождает его от данного королю слова и напечатал «Акакия», правда анонимно. Впрочем, авторство памфлета ни у кого не вызывало сомнения — не узнать стиль Вольтера было невозможно.

Теперь оскорбленным почувствовал себя король. Все же он еще какое-то время сохранял чувство юмора. Он послал одного придворного к Вольтеру, поручив ему убедить упрямого попросить прощения у Мопертюи. Вольтер резко ответил: «Пусть король идет в ж...». Когда Фридриху передали эти слова, он расхохотался.

Однако скандал разрастался. Мопертюи требовал человеческих жертвоприношений. Голос повелителя сто-шестидесятитысячной армии не мог успокоить двух раздраженных литераторов. 24 декабря 1752 года сатира Вольтера была по королевскому приказу сожжена под его окнами рукой палача.

1 января 1753 года Вольтер, по настоянию Фридриха, отослал ему камергерский ключ и крест, сопроводив их следующим четверостишием:

Je les resus avec tendresse,  
Je les renvoie avec clouleur,  
Comme un amant jaloux, dans sa mauvaise humeur,  
Rend le portrait de sa maitrise. 86

Раньше он называл эти вещи великолепными безделками, теперь — знаками рабства. В письмах в Париж он извещал, что трудится над составлением словаря королевских выражений. Согласно Вольтеру, «мой друг» на языке Фридриха означало «мой раб», «мой дорогой друг» — «ты безразличен для меня», «я вас осчастливлю» — «я буду терпеть тебя, пока ты будешь мне нужен», «поужинаем со мной сегодня» — «я хочу сегодня позабавиться над тобой» и т. д.

Пушкин в своей статье о Вольтере, касаясь этого эпизода, пишет: «К чести Фридриха II скажем, что сам от себя король, вопреки природной своей насмешливости, не стал бы унижать своего старого учителя, не надел бы на первого из французских поэтов шутовского кафтана, не предал бы его на посмеяние света, если бы сам Вольтер не напрашивался на такое жалкое посрамление. До сих пор полагали, что Вольтер сам от себя, в порыве благородного огорчения, отослал Фридриху камергерский ключ и прусский орден, знаки непостоянства его милостей; но теперь открывается, что король сам их потребовал обратно. Роль переменена: Фридрих негодует и грозит, Вольтер плачет и умоляет...»

Надо сказать, что Вольтер, желая загладить свой проступок, пытался свалить вину за

---

86 Я их получил с нежностью, отсылаю с горем, как ревнивый любовник, в минуту досады, отдает портрет возлюбленной (фр.)

опубликование «Акакия» на переписчика и издателя. Фридрих, отвечая ему, писал: «Ваше бесстыдство меня удивляет. Тогда как поступок ваш ясен как день, вместо сознания вины вы еще стараетесь оправдаться. Не воображайте, однако, что вы можете убедить меня в том, что черное — бело: иногда люди не видят, потому что не хотят всего видеть. Не доводите меня до крайности; иначе я велю все напечатать, и тогда мир узнает, что если сочинения ваши стоят памятников, зато вы сами, по поступкам своим, достойны цепей. Я бы желал, чтоб только мои сочинения подвергались стрелам вашего остроумия. Я охотно жертвую ими тем, которые думают увеличить свою известность унижением славы других. Во мне нет ни глупости, ни самолюбия других авторов. Интриги писателей всегда казались мне позором литературы. Не менее того я уважаю всех честных людей, которые занимаются ею добросовестно. Одни зачинщики интриг и литературные сплетники в моих глазах достойны презрения».

Вольтер прикинулся несчастным, просил лишить его жизни, раз уж у него отнята милость монарха... В тот же вечер состоялось формальное примирение; Фридрих даже пошутил над Мопертюи. Вольтер получил знаки рабства обратно.

Однако быть по-прежнему накоротке они, разумеется, уже не могли. В марте Вольтер выговорил себе отпуск на Пломбьерские воды, пообещав непременно вернуться в Берлин. Фридрих, сделавший вид, что верит клятве, все же попросил оставить ключ, орден и рукописи своих стихов, подаренные Вольтеру. Беспокойство короля относительно своих сочинений объяснялось тем, что в сборнике находились его эпиграммы на европейских государей, а также поэма «Палладиум», пожалуй превосходившая в непристойности даже «Орлеанскую девственницу», так как, по замечанию одного английского писателя, непристойный немец в большинстве случаев хуже непристойного француза.

26 марта Вольтер навсегда покинул Берлин. Он отбыл как барин: в карете, запряженной четверкой лошадей, с двумя лакеями на козлах. В багаже он увозил все те вещи, которые Фридрих просил возвратить ему.

Теперь он был свободен и зол.

Приехав в Лейпциг, он немедленно напечатал в местных газетах сатирические статьи против Берлинской академии и Мопертюи. Последний прислал ему вызов; Вольтер ответил новыми остротами. В Берлине по рукам ходила анонимная пародия на стихи короля. (В подобных случаях, желая отказаться от авторства, Вольтер обычно приводил неотразимый аргумент: «Я не мог написать таких плохих стихов!»).

В Лейпциге Вольтер посетил известного писателя профессора Готшета. Последний, подобно Сократу, имел обыкновение приводить в смущение сограждан, имеющих репутацию умных и образованных людей. Но если великому греку нужно было для этого задать собеседникам множество вопросов, то славному профессору достаточно было просто некоторое время послушать их разговор. Обыкновенно он становился в оконной нише возле, карточного стола и записывал каждое слово научных и литературных светил. Дождавшись окончания игры, он подходил к столу и говорил примерно следующее: «Я долгое время мечтал побывать в обществе великих людей, работающих на пользу отечества. Поэтому я и почел себя счастливым сегодня, когда мое желание исполнилось». После этого многообещающего вступления он громко зачитывал мудрые изречения, которыми обогатили человечество ничего не подозревавшие светила в течение тех двух-трех часов, пока длилась игра: «Снимайте. Я сдаю первый. Разве это дозволено? О да! От всего сердца. Четыре трефы. Пять взяток. Играйте! Черви. Еще. Козырь. Победа. Зачем вы оставили карту? Для меня это слишком высоко. Наша взяла. Я играю бубны. Покупаю шесть. А я все остальные. Вы взяли игру. Победа. Ваш слуга. У вас была хорошая игра» и т. д. Готшед и Вольтер произвели друг на друга наилучшее впечатление.

Из Лейпцига Вольтер направился в Гот, где его радушно приняла принцесса Саксен-Готская. Пять недель, проведенных у нее, были для него счастливой передышкой, и он писал своим друзьям о «лучшей из всех земных принцесс, самой кроткой, самой мудрой, самой ровной в обращении» и к тому же не сочинявшей стихов.

Вечером 31 мая Вольтер прибыл во Франкфурт-на-Майне. Здесь его ожидала госпожа Дени, которая, по словам философа, «имела мужество покинуть Париж, чтобы разыскать меня на берегах Майна».

Во Франкфурте Вольтер для начала расхворался (это с ним случалось в каждом новом городе); затем его арестовали. Фридрих все-таки настиг беглеца.

Король мучился судьбой своих рукописей, боясь, что Вольтер опубликует их. Кроме того, он тешил свое литературное тщеславие, уверяя, что его камергер (теперь уже, без всяких сомнений, бывший), «вороватый, как сорока», совершит литературное воровство, то есть присвоит себе авторство «Палладиума» и других шедевров.

Вольтера задержал барон Фрейтаг, прусский военный советник и резидент. Дальнейшие события известны по двум источникам: воспоминаниям самого Вольтера, которым, видимо, не стоит чрезмерно доверять, и мемуарам Коллини, секретаря Вольтера.

По Вольтеру, Фрейтаг явился к нему в гостиницу в сопровождении купца Шмидта, якобы некогда присужденного к штрафу за обмен фальшивых денег. «Оба уведомили меня, что я не выеду из Франкфурта, пока не возвращу драгоценности, мной у Его Величества увезенные».

Коллини сообщает: «Когда все было готово к отъезду и лошадь стояла у крыльца... Фрейтаг в сопровождении прусского офицера и франкфуртского сенатора именем короля потребовали у Вольтера возвращения ордена, камергерского ключа, рукописи Фридриха II и книжки его стихов». Потом он упоминает и Шмидта, но говорит о нем гораздо сдержаннее.

Между Вольтером и Фрейтагом произошел следующий разговор.

— Увы, месье, — сказал Вольтер, — я не взял с собой из этой страны ничего. Клянусь вам, что не увожу даже никаких сожалений. Каких же украшений бранденбургской короны вы требуете от меня?

— Сьер монсир, — отвечал Фрейтаг на ломаном французском языке, — лэтр де поэши де мон гран метр (это, месье, поэтические произведения моего повелителя).

Вольтер сказал, что его багаж еще не прибыл из Лейпцига, и затем стал уверять Фрейтага, что имел полное право увезти «лэтр де поэши», поскольку это подарочный экземпляр. Но Фрейтаг был неумолим и потребовал от Вольтера дожидаться багажа и вернуть стихи.

По рассказу Вольтера, над ним учинили форменное насилие: его отправили в другую гостиницу под конвоем двенадцати солдат; госпожу Дени якобы даже «волочили по грязи» (Коллини не известны эти подробности). Содержали их в той же самой гостинице, где остановился Вольтер; откуда они 20 июня бежали в Майнц, но были возвращены Фрейтагом.

21 июня во Франкфурт пришел приказ Фридриха отпустить арестантов сразу, как только Вольтер отдаст требуемые вещи. 25-го король велел освободить обоих узников без всяких условий. Фрейтаг, однако, почему-то задержал их еще на две недели.

Вольтер был разъярен. Когда надзиратель Дорн вошел к нему в номер с вестью об освобождении, арестант чуть не пристрелил его из пистолета — Коллини едва успел схватить его за руку! Вольтер возмущался и тем, что с него взыскали сто гульденов за насильственное содержание в гостинице, и его, конечно, можно понять. Позже он утверждал, что его ограбили догола, хотя ему были возвращены все изъятые вещи вплоть до табакерки. (Справедливости ради следует заметить, что Фридрих иногда давал приказы грабить дома своих врагов, но с тем, чтобы его имя не было скомпрометировано.)

Как бы то ни было, у Вольтера имелись к раздражению все основания — ведь арест подданного чужого государства произошел по приказу прусского короля в свободном имперском городе.

Уплатив таким образом по всем счетам, Вольтер уехал в Майнц и прожил там три недели, чтобы «высушить свои вещи после кораблекрушения».

Может показаться невероятным, но через несколько лет Фридриха и Вольтера вновь потянуло друг к другу! Во время Семилетней войны они возобновили переписку, полную горьких упреков и великодушных уверений в забвении прошлого. Однако взаимная обида



была слишком сильна; чтобы совершенно изгладиться из памяти. Вольтер впоследствии часто повторял друзьям:

— Он сто раз целовал эту руку, которую потом заковал.

История эта сильно подействовала и на других писателей. Так, д'Аламбер упорно отказывался ехать в Берлин, несмотря ни на какие посулы «философа Сан-Суси».

Постскриптум. Восемьдесят три года спустя Пушкин, тяготившийся своим камер-юнкерством, писал, подводя итог размышлениям о бурном романе Вольтера и Фридриха II: «Что из этого заключить? что гений имеет свои слабости, которые утешают посредственность, но печалят благородные сердца, напоминая им о несовершенстве человечества; что настоящее место писателя есть его ученый кабинет и что, наконец, независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы».

## КОМУ МЕШАЛА БАСТИЛИЯ?

14 июля 1789 года восемьсот парижан и двое русских взяли Бастилию. С тех пор в сознании людей штурм знаменитой королевской тюрьмы стал символом порыва народа к свободе, во Франции этот день даже отмечается как национальный праздник.

Откровенно говоря, нам, с нашей русской колокольной, трудно понять, что так умиляет французов в этом событии. Мы, потомки палачей и жертв «великой октябрьской», уже не столь легко поддаемся очарованию революционных символов, зная, что любой из них символизирует не свободу, равенство и братство, а ложь, кровь и безумие. Взятие Бастилии — не исключение.

## ТЮРЬМА ДЛЯ АРИСТОКРАТОВ

Начнем с вопроса, к которому нас приучил Лев Толстой, — зачем? Вопрос этот призывает искать смысл самого громкого и известного события. Между тем во всем, что связано со взятием Бастилии, господствует полная бессмыслица. Спрашивается, зачем народ разрушил тюрьму для аристократов и почему это событие должно вызывать ликование у так называемых простых людей?

Действительно, Бастилия была привилегированной тюрьмой. Она была рассчитана на 42 персоны, но вплоть до царствования Людовика XIV в ней редко сидело больше одного-двух узников одновременно — в основном это были мятежные принцы крови, маршалы Франции, герцоги или, на худой конец, графы. Им отводили просторные верхние комнаты (правда, с железными решетками на окнах), которые они могли меблировать по своему усмотрению. В соседних комнатах жили их лакеи и прочая прислуга.

При Людовике XIV и Людовике XV Бастилия несколько «демократизировалась», но осталась тюрьмой для благородных сословий. Простолюдины попадали туда крайне редко. Условия содержания заключенных соответствовали аристократическому статусу тюрьмы. Узники должны были получать довольствие соответственно тому званию и сословию, к которому принадлежали. Так, на содержание принца выделялось 50 ливров в день (вспомним, что на эту сумму четверка знаменитых мушкетеров Дюма жила почти месяц не зная печали), маршала — 36, генерал-лейтенанта — 16, советника парламента — 15, судьи и священника — 10, адвоката и прокурора — 5, буржуа — 4, лакея или ремесленника — 3. Пища для заключенных делилась на два разряда: для высших сословий (из расчета от 10 ливров в день и выше) и для низших сословий (меньше 10 ливров). Например, обед первого разряда состоял в скоромные дни из супа, вареной говядины, жаркого, десерта; в постные дни — из супа, рыбы, десерта; к обеду ежедневно полагалось вино. Обеды второго разряда состояли из такого же количества блюд, но были приготовлены из менее качественных продуктов. В праздничные дни — святого Мартина, святого Людовика и на Крещение —

предусматривалось лишнее блюдо: полцыпленка или жареный голубь. Заключенные имели право гулять в саду Арсенала и на башнях.

С воцарением Людовика XVI Бастилия потеряла характер государственной тюрьмы и превратилась в обычную тюрьму, с той разницей, что преступников содержали в ней в сравнительно лучших условиях. В Бастилии окончательно исчезли пытки, и было запрещено сажать заключенных в карцер. 11 сентября 1775 года министр Мальзерб, много способствовавший смягчению тюремных правил, писал коменданту Бастилии: «Никогда не следует отказывать заключенным в занятиях чтением и письмом. Ввиду того, что они так строго содержатся, злоупотребление, которое они могли бы сделать при этих занятиях, не внушает опасений. Не следует также отказывать тем из них, которые пожелали бы заняться какого-либо другого рода работой; при этом надо только следить, чтобы в их руки не попадали такие инструменты, которые могут послужить им для бегства. Если кто-либо из них пожелает написать своим родным и друзьям, то это надо разрешать, а письма прочитывать. Равным образом надлежит разрешать им получать ответы и доставлять им таковые при предварительном прочтении. Во всем этом полагаюсь на ваше благоразумие и человечность».

Такое вот высокогуманное учреждение — прообраз современных тюрем цивилизованных стран — почему-то вызывало самую лютую ненависть французов. Две других тюрьмы — Бисетр и Шарантон, где умирали с голоду и копошились в грязи политзаключенные и уголовники из простолюдинов, — никто и пальцем не тронул.

С величайшим энтузиазмом взяв и разрушив тюрьму для аристократов, французы скоро стали этих самых аристократов бросать не в одну, а во множество тюрем, резать и гильотинировать. Чисто революционная логика, не правда ли?

## **ТЮРЬМА, КОТОРОЙ УЖЕ НЕ БЫЛО**

Нужно ли было разрушать Бастилию?

С 1783-го по 1789 год Бастилия была почти пуста, и если бы туда не помещали преступников, которым было место в обыкновенных тюрьмах, то крепость стала бы совершенно необитаемой. Уже в 1784 году за неимением государственных преступников пришлось закрыть Венсенскую тюрьму, которая была как бы филиалом Бастилии. С другой стороны, содержание Бастилии обходилось казне очень дорого. Один комендант получал ежегодно 60 тысяч ливров жалованья. Если добавить к этому расход на содержание гарнизона, тюремщиков, врача, аптекаря, священников, а также деньги, выдаваемые на питание для заключенных и их одежду (только в 1784 году на это ушло 67 тысяч ливров), то сумма получается громадная.

Исходя из этих соображений, министр финансов Нек-кер предложил упразднить Бастилию, «ради экономии». Об этом говорил не он один. В 1784 году городской архитектор Парижа Курбе представил официальный план открытия «площади Людовика XVI»... на месте крепости. Есть сведения, что и другие художники занимались составлением проектов различных сооружений и памятников на месте Бастилии. Один из этих проектов любопытен: предлагалось срыть семь башен крепости, а на их месте воздвигнуть памятник Людовику XVI; пьедесталом ему должны были служить груды цепей государственной тюрьмы, а на них должна была возвышаться фигура короля, протягивающего руку жестом освободителя по направлению к восьмой, сохраненной башне. Остается только пожалеть, что этот замысел не был осуществлен.

8 июня 1789 года, уже после созыва Генеральных штатов, в Корблевскую академию архитектуры поступил схожий проект Дави де Шавинье — этот памятник Генеральные штаты хотели поставить Людовику XVI, «как восстановителю народной свободы». Памятник не был установлен, но сохранились эстампы, которые изображали короля, протягивающего руку к высоким башням тюрьмы, которые разрушают рабочие.

В архиве Бастилии находятся два рапорта, представленные в 1788 году Пюже, вторым

лицом в крепости после коменданта. Он предлагает снести государственную тюрьму, а землю продать в пользу казны.

Все эти проекты вряд ли бы существовали и обсуждались, если бы не отражали настроения верховной власти. Разрушение Бастилии было предрешиено, и если бы это не сделал народ, это сделало бы само правительство.

К 14 июля 1789 года башни и бастионы Бастилии были еще целы, но ее уже как бы не существовало — она превратилась в призрак, в легенду. Как известно, восставшие после долгих поисков нашли в этой «твердыне деспотизма» всего семь узников — четверо из них были финансовыми мошенниками, пятый — распутник, заключенный в Бастилию по желанию своего отца, шестой проходил по делу о покушении на Людовика XV, седьмой насолил одной из фавориток этого короля. За день до штурма из Бастилии в Шарантон был переведен еще один узник — небезызвестный маркиз де Сад, сидевший здесь за свои многочисленные преступления, иначе и он 14 июля был бы освобожден народом, как «жертва королевского произвола».

## **ШТУРМ НА БИС**

Взятие Бастилии — результат чисто французского легкомыслия.

Прежде всего верх легкомыслия проявила власть. Хотя после созыва Генеральных штатов Париж с каждым днем все более революционизировался, Людовик XVI, недурной в общем-то человек, больше всего на свете обожавший охоту и столярное ремесло, — упорно отказывался предпринять контрмеры. Надо отдать ему должное — он любил свой народ. На все предложения ввести в Париж войска и силой подавить мятеж, король в ужасе восклицал: «Но ведь это значит пролить кровь!» В Версале старались не замечать, к чему идет дело.

13 июля город очутился во власти вооруженных шаек. Очевидец вспоминал, что в ночь на 14 июля «целое полчище оборванцев, вооруженных ружьями, вилами и кольями, заставляли открывать им двери домов, давать им пить, есть, деньги и оружие». Все городские заставы были захвачены ими и сожжены. Среди бела дня пьяные «твари выдергивали серьги из ушей гражданок и снимали с них башмаки», нагло потешаясь над своими жертвами. Одна банда этих негодяев ворвалась в Лазаристский миссионерский дом, все круша на своем пути, и разграбила винный погреб. После их ухода в приюте осталось тридцать трупов, среди которых была беременная женщина.

«В течение этих двух суток, — пишет депутат Генеральных штатов Балли, — Париж чуть не весь был разграблен; он спасен от разбойников только благодаря Национальной гвардии». Днем 14 июля разбойничьи шайки удалось обезоружить, нескольких бандитов повесили. Только с этого момента восстание приняло чисто политический характер.

Легкомысленно повели себя парижане. Хотя на призыв Камила Демулена идти на Бастилию (обычная ба-рабанно-революционная демагогия: «Раз животное попало в западню, его следует убить... Никогда еще такая богатая добыча не давалась победителям. Сорок тысяч дворцов, отелей, замков, две пятых имущества всей Франции будут наградой за храбрость... Нация будет очищена» и т. д.) откликнулось человек 800, остальной Париж собрался в Сент-Антуанском предместье полюбоваться зрелищем.

Площадь перед Бастилией была забита глазеющим народом, аристократия заняла места получше — на валах и возвышенностях; знатные дамы наблюдали за происходящим, сидя в специально захваченных с собой креслах. Аплодисменты артистам с ружьями не умолкали.

Ценой этого шикарного зрелища были голод, террор, всеобщее озверение, внешние и внутренние войны, гибель шести миллионов французов.

## **ПОБЕДИТЕЛИ ИНВАЛИДОВ**

Взятие Бастилии, как и почти все «славные» революционные победы, в военном отношении было делом более чем скромным. Успех штурма следует целиком отнести на счет

численного превосходства восставших и испуга осажденных. 14 июля комендант крепости де Лоне имел в своем распоряжении всего лишь 32 швейцарца Салис-Самадского полка, 82 инвалида и 15 пушек. Даже с этими ничтожными силами де Лоне сумел продержаться почти двенадцать часов.

Сигнал к началу штурма ранним утром подали двое молодых людей, Даван и Дассен, которые спустились по крыше парфюмерной лавки на крепостную стену, примыкавшую к гауптвахте, и спрыгнули во внешний (комендантский) двор Бастилии; Обер Бонмер и Луи Турне, бывшие солдаты, последовали за ними. Вчетвером они перерубили топорами цепи подъемного моста, который рухнул вниз с такой силой, что подпрыгнул от земли чуть не на два метра; при этом один из горожан, толпившихся у ворот, был раздавлен, другой покалечен.

Народ с криками торжества ринулся через комендантский двор ко второму подъемному мосту, уже непосредственно ведущему в крепость, но здесь их встретил мушкетный залп. Толпа в замешательстве рассыпалась по двору, усыпав землю телами убитых и раненых: большинство штурмующих не знали, каким образом были открыты первые ворота, и решили, что это сделал сам комендант, чтобы завлечь их в ловушку.

Между тем де Лоне, несмотря на постоянный обстрел крепости, до сих пор удерживал солдат от ответного огня. Раненых на носилках понесли в город как доказательство «измены» коменданта Бастилии. Среди них был умирающий гвардеец, чей вид заставил его товарищей по оружию двинуться на помощь осаждавшим. Около двух тысяч гвардейцев провозгласили своими командирами Гюллена, директора королевской прачечной, и гренадера Лазара Гоша, будущего знаменитого революционного генерала.

Когда солдаты входили на комендантский двор, густой дым заволакивал крепость — это горели казармы и лавки; перед вторым подъемным мостом штурмующие подожгли несколько телег с сеном, которые, однако, лишь мешали навести на ворота пушки.

Гарнизон в свою очередь через бойницы у ворот наудачу осыпал осаждавших картечью из двух небольших орудий.

Эли, офицер полка королевы, и купец Реоль бросились вперед, чтобы оттащить от ворот телеги. Как только они расчистили место перед воротами, подъемный мост стали обстреливать из пушек — таким образом надеялись перебить поддерживавшие его цепи. Одновременно по крепости велась ружейная стрельба со всех окрестных крыш, правда не причинявшая гарнизону ни малейшего вреда. Ответный орудийный огонь из крепости только увеличивал ярость толпы, беспрестанно повторявшей брошенную кем-то фразу: «Мы наполним своими трупами рвы!»

К воротам крепости приволокли девушку, обнаруженную в казармах. Как уверяли поймавшие ее, это была дочь коменданта. Девушка говорила, что она дочь командира инвалидов Мансиньи, как это и было на самом деле, но ей не верили. Толпа окружила ее, крича: «Надо сжечь ее живьем, если комендант не сдаст крепость!» Мансиньи, с высоты башни увидев свою дочь, лежавшую без чувств на земле, бросился ей на помощь и был убит двумя выстрелами. Девушку действительно стали обкладывать соломой, чтобы сжечь, но Обер Бонмер вырвал ее из рук озверевшей толпы и отнес в безопасное место, после чего вернулся под стены Бастилии.

Шел шестой час с начала штурма крепости, надежды на его успешное окончание постепенно таяли. У восставших не было ни единого руководства, ни военного опыта (гвардейцы ограничивались огневой поддержкой, не участвуя непосредственно в штурме). За это время гарнизон потерял, за исключением Мансиньи, только одного защитника: инвалида, убитого ядром; потери же осаждавших составили 83 убитых и 88 раненых. В ход пошли самые несуразные проекты, с помощью которых хотели заставить гарнизон сложить оружие. Качали насосом воду, в надежде залить пороховые ящики, расставленные на башнях возле орудий, но струя едва достигала середины башен; какой-то пивовар предлагал сжечь «эту каменную глыбу», поливая ее лавандовым и гвоздичным маслом, смешанным с порохом; один молодой плотник, питавший страсть к истории и археологии, носился с чертежом

римской катапульты.

Бастилия безусловно устояла бы, не будь в числе ее защитников инвалидов, с большой неохотой стрелявших в соотечественников. «Бастилия была взята не приступом, — свидетельствует один из участников штурма, — она сдалась еще до атаки, заручившись обещанием, что никому не будет сделано никакого зла. У гарнизона, обладавшего всеми средствами защиты, просто не хватало мужества стрелять по живым телам; с другой стороны, он был сильно напуган видом этой огромной толпы. Осаждающих было всего восемьсот — девятьсот человек; это были разные рабочие и лавочники из ближайших мест, портные, каретники, суровщики, виноторговцы, смешавшиеся с Национальной гвардией; но площадь Бастилии и все прилегающие улицы были переполнены любопытными, которые сбежались смотреть на зрелище». Гарнизону же с высоты стен "казалось, что на них идет весь миллионный Париж.

Инвалиды, с самого начала штурма выражавшие недовольство комендантом, заставили де Лоне согласиться на капитуляцию. Подъемный мост опустился. Бонмер, Эли, Гюллен и другие руководители штурма вошли в крепость. Между тем остальные, не зная о капитуляции крепости, продолжали стрельбу. Один из офицеров гвардии, Гумбер, взобрался на вал, чтобы подать народу знак о сдаче Бастилии, но его мундир ввел в заблуждение толпу, и он был убит несколькими выстрелами. Тогда гренадер Арне сорвал с головы шляпу, нацепил ее на ружье и замахал ею. Не прекращая стрелять, народ повалил к воротам.

Было четыре часа сорок минут пополудни. Бастилия пала.

Над комендантом Бастилии восставшие учинили зверскую расправу. Аббат Лефевр, очевидец расправы над комендантом, свидетельствовал, что де Лоне «защищался как лев». Желая избавиться от мук, он пнул одного из нападавших в пах и крикнул:

— Пусть меня убьют!

Эти его слова прозвучали как последний приказ. Его сразу подняли на штыки и поволокли его труп к канаве, вопя: «Это чудовище предало нас! Нация требует его головы!» Человеку, получившему пинок, было предоставлено право самому отсечь коменданту голову. Этот безработный повар, рассказывает французский историк Тэн, «пришедший в Бастилию, просто чтобы поглазеть на происходящее... рассудил, что если, по общему мнению, дело это такое „патриотическое“, то за отсечение головы чудовищу его еще могут наградить медалью», без лишних слов принялся за дело. Взяв протянутую ему саблю, он несколько раз ударил по шее трупа; затем он вытащил из кармана нож с черной рукояткой и «в качестве повара, умеющего справляться с мясом», быстро закончил операцию и насадил голову коменданта на пику.

Расправа была учинена также почти над всеми офицерами гарнизона. Трупы всех убитых офицеров отнесли в морг, кроме тела де-Лоне, которое не было найдено. Только полгода спустя какой-то солдат принес семье коменданта его часы и некоторые другие драгоценные вещи; но он категорически отказался объяснить, каким образом они попали к нему.

На следующий день в городе начались массовые избиения «аристократов». Франция вступала в эпоху, о которой позже один депутат выразился так: «Престол Божий и тот пошатнулся бы, если бы наши декреты дошли до него».

## **...ДО ОСНОВАНИЯ, А ЗАТЕМ? ЗАТЕМ ОСКОЛКИ ПРОДАДИМ**

В Версале узнали о взятии Бастилии только в полночь (король в этот день отметил в дневнике: «Ничего»). Как известно, лишь один придворный — герцог де Лианкур — понял смысл случившегося. «Но ведь это бунт!» — удивленно воскликнул Людовик XVI, услышав новость. «Нет, ваше величество, это не бунт, это революция», — поправил его Лианкур.

А когда королю доложили о смерти де Лоне, он равнодушно отозвался: «Ну что ж! Он вполне заслужил свою участь!» (Интересно, думал ли он так о себе, поднимаясь на эшафот три года спустя?) Людовик в тот же день надел трехцветную кокарду, увидев которую

Мария-Антуанетта брезгливо поморщилась: «Я не думала, что выхожу замуж за мещанина».

Так отреагировал двор на событие, возвещавшее будущую гибель монархии.

Зато в обоих полушариях взятие Бастилии произвело огромное впечатление. Всюду, особенно в Европе, люди поздравляли друг друга с падением знаменитой государственной тюрьмы и с торжеством свободы. В Петербурге героями дня стали братья Голицыны, участвовавшие в штурме Бастилии с фузеями в руках. Генерал Лафайет послал своему американскому другу, Вашингтону, ключи от ворот Бастилии — они до сих пор хранятся в загородном доме президента США. Из Сан-Доминго, Англии, Испании, Германии слали пожертвования в пользу семейств погибших при штурме. Кембриджский университет учредил премию за лучшую поэму на взятие Бастилии. Архитектор Палуа, один из участников штурма, из камней крепости изготовил копии Бастилии и разослал их в научные учреждения многих европейских стран. Камни из стен Бастилии шли нарасхват: опранные в золото, они появились в ушах и на пальцах европейских дам.

В день взятия Бастилии, 14 июля, мэрия Парижа, по предложению Дантона, создала комиссию по разрушению крепости. Работы возглавил Палуа. Когда стены Бастилии были снесены более чем наполовину, на ее руинах устроили народные гулянья и вывесили табличку: «Здесь танцуют». Окончательно крепость разрушили 21 мая 1791 года. Камни ее стен и башен были проданы с аукциона за 943 769 франков.

Разрушение Бастилии не означало того, что новая власть больше не нуждалась в тюрьмах. Напротив, очень скоро наступили времена, когда о Бастилии, как, пожалуй, и обо всем старом режиме, многие французы стали вспоминать с ностальгией. Революционный произвол оставил далеко позади себя злоупотребления королевской власти, а каждый город обзавелся собственной якобинской бастилией, которая, в отличие от Бастилии королевской, не пустовала.

До недавнего времени в мире существовало два непонятных праздника, славящих братоубийственную резню, — 7 ноября и 14 июля. Теперь остался один.

## ШАРЛОТТА КОРДЭ

*Таким образом прекраснейшее и презреннейшее столкнулись и уничтожили друг друга.*

**Карлейль**

Культ политического убийства едва ли имеет право на существование, и если тем не менее он существует, многократно подтвержденный авторитетом Платона, Плутарха, Шекспира, Макиавелли<sup>87</sup>, Вольтера, Мирабо, Шенье, Стендаля, Гюго, Пушкина, Герцена, то, как правило, распространяется на те исключительные случаи, когда чувство справедливости отказывается осудить убийцу: слишком чист его облик, слишком чудовищны преступления его жертвы. Убийство Марата относится именно к таким случаям.

Благородство побуждений, толкнувших Шарлотту Кордэ на этот шаг, не вызывало сомнений у крупнейших ученых и писателей, изучавших историю Французской революции. Тьер, Тэн, Карлейль, Ленотр, М. Алданов писали о ней скорее как о жертве, чем как о преступнице. Приведу свидетельства двух последних авторов. «Историки, политики, поэты вот почти полтора столетия совершенно по-разному оценивают поступок Шарлотты Кордэ, — пишет Марк Алданов. — Но разногласия больше не касаются ее личности. Только еще несколько изуверов сомневаются в высокой красоте морального облика женщины, убившей Марата».

У Ленотра читаем: «Если статуя ее не воздвигнута до сих пор на одной из наших

---

<sup>87</sup> Макиавелли даже писал о «судьбе тиранов», подразумевая под этим неизбежность для них насильственной смерти или изгнания

площадей, то это происходит оттого только, что тот, кого она убила, причислен к лику, так что официально ему будут отдаваться все почести, в то время как его убийце принадлежат все симпатии».

Судить политических деятелей, как и вообще людей, только по их делам было бы чересчур просто и вряд ли правильно (иначе убийство Цезаря Брутом и убийство Нероном своей матери следует в равной мере признать дворцовой уголовщиной). Их намерения и побуждения должны приниматься в расчет не меньше, чем сами поступки; рискну даже сказать, что они одни и имеют значение, так как над нашими делами мы не властны <sup>88</sup>.

## ЮНОСТЬ

Мария Шарлотта Кордэ д'Армон родилась 27 июля 1768 года в Нормандии, в коммуне Линьерэ. Ее семья принадлежала к обедневшему аристократическому роду. Мать Шарлотты вела свое происхождение от Корнеля.

Доходы господина д'Армона были весьма скудны. Дом, в котором Шарлотта провела свое детство, был покрыт соломенной крышей, как и большинство окрестных ферм. Опрятная бедность сопровождала Шарлотту всю жизнь. Впоследствии конфискация вещей преступной «аристократки» обогатила революционное правительство одним платьем, двумя нижними юбками, двумя парами чулок и несколькими косынками.

После смерти госпожи д'Армон, случившейся в 1782 году, отец поместил Шарлотту на воспитание в монастырь Богоматери в Кане. К этому времени характер девушки вполне оформился. Ее воспитательница госпожа Понтекулан обрисовала его следующим образом: «Эта девочка беспощадна к самой себе; никогда не жалуется она на страдания, и надо угадать, что она больна, — так твердо переносит она самую сильную боль». Эти слова заставляют подозревать, что в многочисленной семье (у четы д'Армон было пятеро детей) Шарлотта была очень одинока.

Воображение юной монастырской воспитанницы в равной степени волновали мистические тайны Креста и тайны монастырской библиотеки; последние, возможно, чуть больше. Сочинения аббата Рейналя, Боссюэ, Плутарха, Корнеля сменяют друг друга на ее ночном столике; «Общественный договор» и «Исповедь» Руссо были прочитаны еще дома. Как у всякой сильной души, современность вызывала у Шарлотты отвращение. Деяния древних казались ей свободными от пошлости и мелочности, которые она видела в своих соотечественниках. «Как мало в наше время истинных патриотов, готовых умереть за отечество! — восклицает она в одном из писем. — Почти везде эгоизм!» Презрение к современникам приобрело у нее крайние формы. Госпожа Маромм, близко знавшая Шарлотту, пишет: «Ни один мужчина никогда не произвел на нее ни малейшего впечатления; мысли ее витали совсем в другой сфере. К тому же я утверждаю, что она менее всего думала о браке. Она отвергла несколько прекрасных партий и объявила о своем твердом решении никогда не выходить замуж».

Обетом безбрачия Шарлотта окончательно порвала с настоящим, с действительностью. Она предпочитала жить в мире своих грез. Ее мыслями и чувствами полностью завладела суровая доблесть античности; культ родины, республики и самопожертвования сделался ее религией. Шарлотта заимствовала у Корнеля девиз: «Все для отечества». Героическая мономания служения родине, служения несколько жутковатого, в котором нет места ничему

---

<sup>88</sup> «Все, все, что делают люди, — делают по требованию всей природы. А ум только подделывает под каждый поступок свои мыслимые причины, которые для одного человека называет — убеждения, вера и для народов (в истории) называет — идеи. Это одна из самых старых и вредных ошибок. Шахматная игра ума идет независимо от жизни, а жизнь от него... Одно искусство чувствует это. И только то настоящее, которое берет себе девизом: нет в мире виноватых!» (Л. Толстой «Дневник»). Сошлюсь также на учение о воле Шопенгауэра и Ницше и на учение Лютера о Предопределении. Думаю, что и Тот, кто сказал, что ни один волос не упадет с головы человека без воли Отца, придерживался того же мнения

личному, ничему будничному, рано развила в ней необыкновенную серьезность и сосредоточенность. Шарлотта говорила мало, думала много; случалось, что она вздрагивала, словно очнувшись, когда с ней заговаривали.

## ГРАЖДАНКА КОРДЭ

Революция оборвала последние духовные связи Шарлотты с семьей. Господин Кордэ д'Армон, сделавшийся депутатом провинциального собрания, ограничил свою революционность рамками конституционной монархии, хотя и требовал скорейших реформ законодательства и всего феодального порядка в духе новых идей. Шарлотта же сразу приняла сторону республиканцев. Правда, и в их среде она держалась особняком. Начавшиеся гонения на Церковь возбуждали в ней негодование. Республиканизм и религиозность мирно уживались в ней. Впрочем, подобные противоречия в страстных натурах, подобных Шарлотте, только делают их человечнее и симпатичнее в наших глазах; неуклонная последовательность в убеждениях вопреки голосу сердца иссушает душу и приводит разум к безумию.

Декретом 13 февраля 1790 года в стране были закрыты монастыри. Шарлотта возвратилась из аббатства к отцу в Аржентон. Она пробыла здесь недолго. Господин д'Армон, не имея возможности содержать детей на собственные средства, вскоре отослал ее в Кан к одной из родственниц, старой тетушке госпоже Бреттевиль. Там Шарлотта встретила поначалу очень холодный прием: тетка приняла ее за самозванку. Госпожа Левальян, соседка и подруга госпожи Бреттевиль, получила поручение дознаться, кем на самом деле является нежданная гостья и что ей нужно. Первая беседа только усугубила подозрения. «Она ничего не говорит, задумчива и замкнута в себе, — делилась посредница своими впечатлениями с госпожой Бреттевиль. — Какие-то мысли поглощают ее. Не знаю почему, но она меня пугает, точно замышляет что-то недоброе».

Недоразумение скоро прояснилось, Шарлотта сблизилась с обеими старушками и очаровала их. «Я не могу больше жить без нее, — признавалась тетка. — В ней какая-то чарующая смесь энергии и кротости. Это сама доброта в соединении с правдивостью и тактом».

Из своих сверстниц Шарлотта подружилась с мадемуазель Левальян и мадемуазель Фодоа, отец которой был роялистом. В его доме возникали частые и жаркие споры о политике, в которых Шарлотта в одиночестве отстаивала свои взгляды. Во время одного из таких столкновений она воскликнула:

— Прекрасные времена древности воспроизводят образ великих республик! Герои тех времен не были людьми пошлыми, как наши современники, они стремились к свободе и независимости. Все для отечества, для одного отечества!

— Но послушать тебя, подумаешь, что ты республиканка, — укоризненно возразила ей госпожа Левальян.

— Почему бы и нет? Если бы только французы были достойны республики!

— Что ты! А короли, помазанники Божий, разве ты их отвергаешь?

— Короли созданы для народов, а не народы для королей.

В другой раз, за обедом в честь отъезда в Кобленц <sup>89</sup> старшего сына господина Фодоа хозяин и гости подняли тост за короля и встали. Шарлотта не притронулась к бокалу и осталась сидеть. Турнели, племянник госпожи Бреттевиль, уезжавший вместе с сыном Фодоа, сделал гневное движение и обратился к ней:

— Почему же ты отказываешься пить за здоровье короля, такого хорошего, такого добродетельного?

— Я верю, что он добродетелен, — ответила Шарлотта, — но слабый король не может

---

<sup>89</sup> Кобленц — немецкий город на границе с Францией, место сбора французских дворян-эмигрантов



быть хорошим королем, он не способен предотвратить несчастья своего народа.

Однако грезить о возрождении доблестей античного республиканизма становилось с каждым днем все труднее. Хотя террор еще не был провозглашен и узаконен, произвол революционной черни уже захлестывал страну. Нормы человеческой морали были попорчены давно, теперь фанатизм революционеров все чаще обрушивался на законы Божеские.

В апреле 1792 года в Версоне, деревне, расположенной неподалеку от Кана, местный кюре отказался приносить обязательную конституционную присягу. Часть крестьян поддержала его. На усмирение мятежников была послана Национальная гвардия Кана с двумя пушками. Дело кончилось кровопролитием и победой революционеров.

Это событие потрясло Шарлотту, показав ей, что — как она и опасалась — французы недостойны республики. Ее письмо подруге с сообщением об этой резне свидетельствует о повороте в ее умонастроении: «Вы спрашиваете, что случилось в Версоне? Совершились возмутительные насилия: 50 человек убиты, избиты; женщины изнасилованы... Кюре успел спастись, бросив на дороге покойника, которого везли хоронить... Приход тотчас преобразился в клуб; праздновали новообращенных, которые выдали бы своего кюре, если бы он к ним вернулся. Вы знаете народ — его можно изменить в один день. От ненависти легко переходит он к любви... Я во всех отношениях была бы рада, если бы мы поселились в вашей местности, тем более, что в близком будущем нам грозят восстанием». В этом же письме есть слова, указывающие на то, что Шарлотта внутренне созрела для той жертвы, которая в недалеком будущем обессмертит ее имя. «Умирать приходится лишь раз в жизни, — пишет она, — и в нашем ужасном положении меня успокаивает мысль, что никто, кроме меня, ничего не потеряет...»

Следующее письмо тому же адресату содержит еще более пространные размышления Шарлотты о происходящем. Из него видно, что она уже пребывает в смятении, разрываясь между попытками сохранить верность своим убеждениям и отвращением, вызываемым в ней новым деспотизмом:

«Упреки, которые делает мне господин д'Армон и вы, друг мой, очень меня огорчают, — мои чувства совсем иные. Вы роялистка, как те, что окружают вас. У меня нет ненависти к нашему королю, — напротив того, потому что у него добрые намерения; но, как вы сами сказали, ад полон добрых намерений и тем не менее не перестает быть адом. Зло, причиняемое нам Людовиком XVI, слишком велико... Его слабость составляет и его, и наше несчастье. Мне кажется, стоит ему только пожелать — он был бы самым счастливым королем, царствующим над любимым народом, который обожал бы его и с радостью бы видел, что он сопротивляется дурным внушениям дворянства... Ибо ведь это правда — дворянство не хочет свободы, которая одна может дать народу спокойствие и счастье. Вместо того мы видим, что король наш сопротивляется всем советам добрых патриотов, и сколько от этого бедствий? А предстоят еще большие бедствия, — после всего, что мы видели, нельзя уже питать иллюзий... Все указывает нам, что мы приближаемся к страшной катастрофе... И можно ли после этого любить Людовика XVI?.. Его жалеют, и я его жалею, но не думаю, чтобы такой король мог составить счастье своего народа». Наконец давно подготавливавшийся в ней переворот свершился. Казнь Людовика XVI заставила эту республиканку признать людей, требовавших его смерти, палачами свободы. Имеется письмо — точный слепок ее душевного состояния через несколько дней после этого трагического события, оно адресовано мадемуазель Дюфайо, одной из ее знакомых. «Вы знаете ужасную весть, дорогая Роза, — сердце ваше так же, как мое, содрогнулось от негодования. Итак, наша бедная Франция в руках людей, принеших нам столько зла. Я содрогаюсь от ужаса и негодования. Будущее, подготовленное подобными событиями, грозит самым ужасным, что только можно себе представить. Ясно, что ничего худшего не могло случиться. Я почти завидую судьбе покинувших отечество родных, — так мало надеюсь я на возвращение того спокойствия, о котором я еще недавно мечтала. Все эти люди, обещавшие нам свободу, убили ее; это палачи — и только. Прольем слезы над судьбой нашей бедной Франции... Все наши друзья — жертвы преследований; тетушка моя

подверглась всевозможным неприятностям с тех пор, как узнали, что она дала приют Дельфину, когда он отправлялся в Англию. Я бы последовала его примеру, но Бог удерживает нас здесь для других целей... Мы здесь — жертвы всякого рода разбойников, они никого не оставляют в покое, так что можно бы возненавидеть эту республику, если бы мы не знали, что человеческие преступления не доходят до небес...»

Редко встречаются строки, где бы демон, владеющий человеком, был виден с такой ясностью. Тетива спущена, стрела обрела свободу направленного полета. Она еще не знает своей цели (ее знает Стрелок), но чувствует, что ее полет может прервать только чья-то грудь. Грудь того, кто должен ответить за все преступления.

## ДОКТОР МАРАТ

В Марате с началом революции обнаружилось столько патологических признаков, что лучшие французские историки признавали его едва ли не сумасшедшим. Тэн, например, писал: "Марат граничит с душевнобольным; тому доказательством служит его звериная экзальтация, непрерывное возбужденное состояние, чрезвычайная, почти лихорадочная подвижность, неиссякаемый писательский зуд, автоматизм мышления и тетаническое<sup>90</sup> состояние воли, постоянная бессонница, крайняя нечистоплотность".

Современная психиатрия, наверное, согласится с одними доводами и отвергнет другие. Суть не в этом. К сожалению, даже признав в Марате душевнобольного, историк уже не может поместить его в психиатрическую лечебницу. Современники же признавали Марата вполне нормальным человеком, более того, сотни тысяч людей пристально внимали его словам — одни с надеждой и верой, другие с ненавистью и страхом.

Справедливее видеть в поступках Марата проявление общего безумия мира, живущего столкновением воли и страстей. Всякая сильная страсть граничит с безумием, а Марат знал одну из сильнейших страстей — честолюбие. Он сам писал о себе с обескураживающей откровенностью, за которую, впрочем, он заслуживает некоторой благодарности от потомков: «С раннего детства меня мучила жажда славы; когда мне было 5 лет, мне хотелось быть школьным учителем, в 15 лет — профессором, в 18 лет — писателем, в 20 лет — творцом гениальных произведений, а затем в течение всей моей жизни моим постоянным стремлением было стать апостолом и проповедником высших идей». В самих этих желаниях, разумеется, нет ничего предосудительного, все они весьма почтенны и разумны, в последнем случае дерзки или дерзновенны, но настораживает саморазоблачение: причина всему — не желание послужить просвещению или истине, а мучительная жажда славы.

Между тем Марат действительно обладал незаурядными задатками и способностями. Многие историки долгое время держались мнения, что до революции он был всего лишь ветеринаром, — видимо, из-за недостатка сведений о нем и в немалой степени из-за заманчивой символики его преобразования: этакий ветеринар-гуманист, сначала лечивший бешенство у животных, а затем распространявший его среди людей. На самом же деле, когда пора юношеских мечтаний миновала, Марат выбрал медицинскую карьеру и получил диплом доктора медицины. Его искусство обеспечило ему место лейб-медика при дворе графа Артуа, члена королевской фамилии. В научных кругах Марат был известен как автор трактата «О человеке» и монографий по оптике и электричеству; все эти труды, по отзывам специалистов, были далеко не посредственные и в свое время вызвали живой интерес.

В медицинском мире Марата знали как сторонника живосечений и экспериментов над животными. Одно время он заключил с неким мясником контракт, по которому тот предоставлял ему для опытов предназначенных к забою животных. Существует письмо Марата, адресованное английскому ученому Дэю, где наш доктор откровенно и выразительно высказывает свои мысли и чувства по поводу этих экспериментов. Оно

---

<sup>90</sup> Здесь: судорожное напряжение (от греч. tetanus — столбняк)

написано за семь лет до падения Бастилии, человеком уже зрелым и вполне сложившимся (Марату тогда было тридцать девять лет), следовательно, изложенные в нем мысли глубоко продуманы. Вот выдержки из этого письма.

«Вы пишете, что не можете видеть, как режут невинное животное; поверьте мне, что мое сердце так же чувствительно, как и Ваше, и я так же, как и Вы, не нахожу удовольствия смотреть на страдания животных».

«Желая оказать много добра одним, приходится причинять немного боли другим; только таким образом можно стать благодетелем человечества».

«Я никогда не мог бы произвести всех моих наблюдений и открытий над мышцами и кровью, если бы не отрезал головы и конечности большому числу животных. Должен признаться, что сначала мне было больно это делать, и я испытывал даже отвращение, но я постепенно привык к этому и утешал себя тем, что действую так во имя блага человечества».

«Если бы я был законодателем, то настоял бы, во имя блага моей родины и всего человечества, чтобы на преступниках, приговоренных к смертной казни, врачи производили трудные или новые операции, и, в случае удавшейся операции, приговоренные к смерти были помилованы или присуждены к более слабому наказанию».

Эти эксперименты не принесли Марату широкой известности; его кандидатура в члены Мадридской академии была отклонена. Революция открыла перед ним новое, широкое поле для экспериментов. Скальпель был заменен гильотиной, и живосечению подверглись десятки тысяч людей — согласно все тому же давно сформулированному принципу: «Желая оказать много добра одним, приходится причинять немного боли другим».

Марат основал газету «Друг народа», вскоре ставшую полуофициальным органом вынесения смертных приговоров. В 1792 году Марат на страницах газеты потребовал казни 20 000 человек, через год — 40 000, а затем 270 000, — все это, разумеется, «ради блага родины и всего человечества». Окровавленные останки казненных он предложил развесить на стенах Конвента — в острастку будущим изменникам. После ареста короля он в каждом номере «Друга народа» требовал смерти для «предателя Капета», которому еще недавно льстиво посвящал свои научные труды.

Непосредственное воздействие призывов Марата на умы парижан было ужасно. В сентябре 1792 года жаждущая крови толпа вломилась в тюрьмы Парижа и растерзала находящихся там «аристократов» — а на самом деле всех, кто попадался ей под руку: священников, дворян, буржуа, мещан, крестьян, мужчин и женщин... Заводилами и предводителями резни были нанятые Маратом уголовники. По подсчетам французского историка П. Карона, в девяти тюрьмах зверской расправе подверглись от 1090 до 1395 человек из 2782 заключенных. Примеру Парижа последовали и некоторые другие города.

По настоянию жирондистов Марат был предан суду Революционного Трибунала за разжигание гражданской войны и подстрекательство к убийствам. Но 24 апреля 1793 года он был оправдан — у судей не нашлось «мотивов для обвинения». Покидая зал суда, Марат вызывающе крикнул, обращаясь к жирондистам:

— Никакая земная сила не может помешать мне видеть изменников и изобличать их, вероятно благодаря высшей организации моего ума!

На улице толпа увенчала его дубовым венком и на руках отнесла домой.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Последний год Шарлотта жила очень замкнуто, ее подруги, Фодоа и Левальян, покинули Францию. Из дому она выходила только затем, чтобы ходатайствовать за политических преступников: священников, монахов, эмигрантов. Просьбы «милостивой Мари» (так называли ее в Кане) обычно выполнялись. Свободное время у нее поглощало чтение. По ее словам, за два года она прочла около пятисот политических брошюр, не считая

газет и книг. Чтение выработало в ней отвращение к Горе <sup>91</sup> и сочувствие Жиронде <sup>92</sup>.

Взаимная неприязнь Горы и Жиронды весной 1793 года перешла, по выражению Карлейля, в «бледную злобу». Государственной философии, порядочности и красноречию жирондистов Гора противопоставляла смелость, убежденность и решимость, перерастающую в свирепость. Исход столкновения был предрешен. 31 мая Робеспьер и Марат добились от Конвента декрета об аресте «преступных депутатов» по сфальсифицированному обвинению в военном заговоре против республики. Из двадцати двух обвиненных жирондистов восемнадцать нашли убежище в Кане, где жители недавно высказались против нарушения прав депутатов.

Конвент объявил о введении режима революционного террора. Все, кто мог, торопились покинуть страну. Родные Шарлотты настаивали на ее скорейшем отъезде в Англию. Она не возражала: дорожные хлопоты облегчали исполнение плана, который к тому времени всецело завладел ее мыслями.

20 июня она пришла в интендантство к жирондисту Барбару с просьбой дать ей рекомендательное письмо к министру внутренних дел, чтобы ходатайствовать в Париже за госпожу Форбэн, лишенную своего содержания канониссы. Присутствовавший при разговоре жирондист Лувэ вспоминал позднее: «В интендантство, где мы помещались, явилась к Барбару молодая девушка высокого роста, стройная, благовоспитанная, с скромными манерами. Во всем ее лице, во всей фигуре поражала смесь кротости и достоинства, свидетельствующая о чудной душе».

Барбару дал ей письмо к депутату Дюперрэ, заметив при этом, что рекомендация изгнанника может скорее повредить, чем помочь. Шарлотта предложила ему передать через нее в Париж письма капских жирондистов. Барбару назначил ей день, когда письма будут готовы.

Шарлотта шла домой взволнованная, ее глаза сверкали, лицо пылало. По пути она зашла в мастерскую соседа, плотника Люнея. После приветствий разговор коснулся политики. Здесь ее чувства прорвались наружу. Она ударила рукой по столу, воскликнув: «Нет, не удастся Марату царствовать над Францией!» — и быстро вышла, оставив соседа в изумлении.

Почему выбор Шарлотты остановился именно на Марате? Видимо, он олицетворял для нее само зло, прятавшееся за дорогими ей словами «республика», «родина», «свобода»; он был для нее вдохновителем насилия, которое ежедневно совершалось у нее на глазах и о котором она читала в газетах; ни разу не видев его, она чувствовала к нему инстинктивное омерзение: кровавая гадина. К тому же Марат добился своего: его имя было известно всей Франции. Робеспьера еще заслоняли люди, которые, как выяснилось позже, были выше его ровно на голову; у Дантона, при всей его кровожадности, были несомненные заслуги в обороне Франции от интервентов; «красный священник» Жак Ру должен был смущать Шарлотту своим саном; Фу-кье-Тенвиль и Сен-Жюст только расправляли свои не-топыриные крылья. Робеспьер и Дантон держали в своих руках Конвент, Марат владел Парижем, а значит, Францией. Это решило его судьбу.

8 июля Шарлотта вторично пришла к Барбару за письмами. Вместе с ним в комнате находился депутат Петион. Во время разговора он иронично высказался о республиканских убеждениях «красавицы аристократки, возжигавшей свой патриотизм у очага жирондистов».

— Вы судите, не зная меня, гражданин Петион, — с достоинством ответила Шарлотта. — Будет время, когда вы меня узнаете.

Рано утром 9 июля она сожгла всю свою корреспонденцию вместе с брошюрами и газетами и сказала госпоже Бреттевиль, что хочет зарисовать сушильщиц сена за городом.

---

<sup>91</sup> Депутаты крайних взглядов, занимавшие верхние скамьи в Конвенте

<sup>92</sup> Депутаты департамента Жиронда, сторонники умеренной демократии

Держа папку в руках, она направилась к двери и на пороге столкнулась с сыном плотника Люнеля. Мальчик ласково спросил ее, когда она вернется. Шарлотта смутилась, на ее глаза навернулись слезы. Овладев собой, она отобрала для него несколько своих рисунков из папки.

— Не забудь меня, мой маленький друг, — сказала она. — Ты меня больше не увидишь.

Ее упакованный сундук уже четыре дня стоял в бюро дилижансов иод предлогом готовящегося отъезда в Англию. В десять часов утра Шарлотта села в дилижанс, идущий в Париж, и навсегда покинула Кан.

В дороге она так приглянулась одному из путешественников, что он недолго думая предложил ей руку и свое состояние (по крайней мере, он уверял, что таковое у него имеется). Шарлотта пыталась обратить все в шутку, но мужчина был так навязчив, что ей пришлось пригрозить ему разбудить других пассажиров. Отвергнутый жених пришел в дурное настроение и ночью пел жалобные песни, «располагающие ко сну», по словам самой Шарлотты.

В четверг, 11 июля, дилижанс переехал мост Нейи. Впереди лежал Париж с его тысячью черных куполов. Шарлотта не проявила к открывшемуся перед ней виду никакого интереса.

## В ПАРИЖЕ

В полдень Шарлотта ступила на землю Парижа. Конторщик из бюро дилижансов дал ей адрес гостиницы «Провидение», которую ей рекомендовали в Кане: улица Вье-Огюстен, 19. Посыльный с багажом проводил ее. Она заняла 7-й номер на первом этаже. Даже теперь она выбрала комнату подешевле: комод, кровать, письменный стол и три стула составляли всю меблировку.

В течение всего дня Шарлотта оставалась в гостинице. Читателю не нужно воображать никаких драматических сцен: утомленная двумя ночами в дилижансе, она велела мальчику-службе приготовить постель и сразу уснула. Вечером она спустилась в контору гостиницы и, как настоящая провинциалка, спросила у матушки Роллье, каждый ли день Марат бывает в Конвенте. Та, как настоящая парижанка, гордо ответила, что понятия не имеет об этом. Шарлотта вернулась в номер и не выходила оттуда до следующего дня.

12 июля она отправилась к депутату Дюперрэ на улицу Сен-Тома-дю-Лувр, 41. Это был ее первый выезд в Париже, но ей не пришло в голову по пути осмотреть город — она приехала по делу. Дюперрэ был ей нужен, чтобы пройти вместе с ним в Конвент, где она надеялась встретить Марата. Но выяснилось, что Дюперрэ плохой помощник — этим утром у него опечатали все бумаги по подозрению в связях с генералом Диллоном<sup>93</sup>. К тому же он сказал Шарлотте, что Марат болен и уже несколько дней не присутствует в Конвенте.

Приходилось на ходу менять первоначальный план. Ждать выздоровления Марата было немыслимо: каждый потерянный день множил аресты и казни. Шарлотта размышляла недолго.

— Прощаясь с вами, быть может, навсегда, — сказала она Дюперрэ, — я дам вам дружеский совет: уходите из Конвента. Вы уже не можете быть в нем полезны. Отправляйтесь к вашим друзьям в Кан.

— Вы забываете, что мое место в Париже и что я не могу покинуть его! — возразил удивленный Дюперрэ.

— Берегитесь, вы делаете неосторожность. Повторяю — уезжайте. Поверьте моему слову: спасайтесь до завтрашнего вечера, послезавтра будет уже слишком поздно и для вас, и

---

<sup>93</sup> Диллон — французский генерал, обвиненный Конвентом в роялистском заговоре; якобинцы хотели связать его имя с жирондистами

для многих других!

Видя, что ее слова только увеличивают изумление Дюперрэ, она простилась с ним и уехала в гостиницу.

В субботу, 13 июля, она проснулась в шесть часов утра (Париж никак не повлиял на ее провинциальные привычки) и написала Марату письмо:

«Гражданин, я приехала из Кана. Ваша любовь к отечеству дает мне основание предполагать, что Вам интересно будет узнать о несчастных событиях в этой части республики. Будьте добры принять меня и уделить мне несколько минут. Я доставлю Вам возможность оказать большую услугу Франции».

Затем она вышла из гостиницы и попросила указать ей дорогу в Пале-Рояль, превращенный в то время в нечто вроде торгового центра. Там ей пришлось подождать до семи часов, когда открывались магазины и лавки. У какого-то ножевщика, кажется Будэна (следователи почему-то не озаботились разыскать его и узнать точное имя), она купила за два франка громадный кухонный нож с рукояткой из черного дерева в бумажном футляре, сделанном под шагреновую кожу. В этом выборе орудия возмездия была какая-то жутковатая символика, о которой Шарлотта, конечно, не подозревала: сторонник живосечений должен был сам почувствовать «немного боли» от того инструмента, которым он некогда орудовал «для блага родины и человечества». Пока лавочник заворачивал покупку, уличный глашатай новостей прокричал о только что свершившейся казни над тридцатью национальными гвардейцами, обвиненными в покушении на одного из членов Конвента. Шарлотта ничем не выдала своих чувств.

По улице Круа-де-Пти-Шан Шарлотта вышла на площадь Национальных Побед, где заметила стоянку извозчиков. Она села в одну из карет и велела кучеру везти себя к Марату. Кучер ответил, что не знает, где живет «Друг народа».

— Справьтесь!

Кто-то из товарищей подсказал кучеру адрес. Около девяти часов утра карета остановилась на узкой и темной улице Кордельеров у дома Марата. Шарлотта легко выпрыгнула из кареты и, пройдя во двор, постучала. Дверь открыла женщина со стеклянным глазом.

— Где квартира гражданина Марата? — спросила ее Шарлотта.

Привратница внимательно осмотрела ее и сказала, что Марат болен и никого не принимает. Шарлотта пыталась настаивать, но, убедившись, что ничего не добьется, передала письмо, села в карету и вернулась в гостиницу. Оттуда она написала Марату второе письмо и отправила его по почте:

«Я написала Вам сегодня утром, Марат; получили ли Вы мое письмо? Надеюсь, Вы мне не откажете ввиду важного дела; достаточно того, что я несчастна, чтобы иметь право на Ваше покровительство».

Закончив это письмо, она стала писать «Призыв к потомству», уверенная в том, что ей не суждено живой выйти из дома Марата (а может быть, и не желая этого). «Смерть Марата пошатнет кровавые троны Дантона и Робеспьера... Я хочу, чтобы мой последний вздох был полезен моим согражданам. Пусть моя голова, ко-горую будут носить по Парижу, будет эмблемой единения всех друзей закона».

Весь день она провела очень тихо, ничем не тревожа матушку Роллье. Около шести часов вечера надела серую полосатую юбку из канифаса, шляпу с черной кокардой и зелеными лентами, спрятала на груди «Призыв к потомству» и метрическое свидетельство и, выйдя из гостиницы, остановила первого попавшегося извозчика:

— Улица Кордельеров, 20.

## ДОМ МАРАТА

В старину этот дом назывался Дворцом Кагора. В 1793 году он принадлежал госпоже Антеоль де Серваль и ее двоюродному брату Фаньо, принося им 3000 франков годового

дохода — из них 450 франков за квартиру Марата, снятую на имя девицы Эврар. Это был обыкновенный буржуазный дом конца XVIII века. Через ворота слегка закругленной формы, проделанные между двух лавок, посетитель попадал в маленький дворик с колодцем; справа под широкой аркой каменная лестница вела на каменную площадку, выходившую во двор. Здесь была дверь квартиры Марата; вместо шнура для звонка со стены свисал железный прут с ручкой. Рядом с дверью находилось окно, летом всегда полуоткрытое, потому что в квартире Марата стойко держался чад от жаркого и запах приготовляемых соусов.

За дверью находилась темная передняя, направо от нее — узкая столовая, далее шли кабинет и маленькая (в ней едва могли разместиться шесть человек) комнатка с каменным полом, служившая ванной. Она была оклеена обоями, изображавшими витые колонны на белом фоне. На одной стене висела карта Франции и также зачем-то рисунок, изображавший скрещенные пистолеты, над которыми крупными буквами было начертано:

«СМЕРТЬ».

Комнаты, выходившие на улицу, были больше и обставлены лучше. Рабочим кабинетом Марату служила маленькая комната с одним окном.

Кроме Марата, в квартире жили три женщины. Роль хозяйки исполняла Симона Эврар. Марат был на двадцать лет старше ее; в 1790 году, когда они сошлись, ей было двадцать шесть лет. Симона не была красива: среднего роста, волосы и глаза черные, нос длинный, подбородок круглый. Марата она обожала и с истинным самопожертвованием сразу предоставила ему все свое небольшое состояние на издание «Друга народа». По выражению Шометта <sup>94</sup>, Марат взял ее в жены «в один прекрасный день перед лицом солнца». Газета «Гора» (№ 53) приводила следующие подробности: Лафайет Мари Жозеф (1757 — 1834) — маркиз, участник войны за независимость США; в начале Французской революции командовал Национальной гвардией. После восстания 10 августа 1792 года — противник якобинцев] и его агентами, Марат принужден был скрываться; его приняла девица Эврар, которая, читая газету этого патриота, прониклась глубочайшим уважением к нему. Марат, преисполненный благодарности к своей освободительнице, обещал ей жениться на ней. Марат, не верящий в то, что пустой обряд составляет ценность брака, и не желавший в то же время оскорблять чувство скромности гражданки Эврар, подзвал ее однажды к окну своей комнаты и, сжав своей рукою руку своей возлюбленной, вместе с нею преклонился перед Верховным Существом. «Здесь, в этом великолепном храме природы, — сказал он ей, — я беру Его в свидетели моей верности и клянусь тебе Создателем, который слышит нас».

Судя по всему, Симона была нетребовательной женщиной — ее удовлетворил и «храм природы». Ее брак с Маратом так и не был оформлен. После смерти Марата в его бумагах нашли следующее обязательство:

"Прекрасные качества девицы Симоны Эврар покорили мое сердце, и она приняла его поклонение. Я оставляю ей в виде залога моей верности, на время путешествия в Лондон, которое я должен предпринять, священное обязательство жениться на ней тот час же по моем возвращении; если вся моя любовь казалась ей недостаточной гарантией моей верности, то пусть измена этому обещанию покроет меня позором.

Париж, 1 января 1792 года,  
Жан Поль Марат, Друг народа".

По замечанию Ленотра, это был новогодний подарок людоеда содержавшей его женщине.

Мария Барбара Обэн, уже знакомая нам одноглазая женщина, была консьержкой.

---

<sup>94</sup> Шометт Пьер Гаспар (1763 — 1794) — якобинец, с декабря 1792 года прокурор Парижской коммуны; один из проповедников дехристианизации. Казнен по решению якобинского Конвента

Марат давал ей работу — складывать листы его газеты. Третьей женщиной в квартире была кухарка Жанетта Маре-шаль.

## СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР

Поднявшись на площадку перед квартирой Марата, Шарлотта увидела, что дверь открыта; консьержки на месте не было. Она вошла в приемную и очутилась перед кухаркой, державшей в руке ложку, которую ее только что попросила принести Симона Эввар, чтобы размешать в миндальном молоке кусочки глины — это лекарство было прописано Марату его докторами. Обэн складывала на полу листы газеты. Жанетта вернулась на кухню, а консьержка единственным глазом изучающе уставилась на посетительницу.

В эту минуту в переднюю с улицы вошли двое мужчин: Пиллэ, молодой человек, который принес Марату счет за последний номер газеты, и Лоран Ба с кипой бумаги для «Друга народа» (газета издавалась прямо на дому у Марата). Марат принимал ванну; Пиллэ впустили к нему. Просматривая бумаги, Марат попросил Пиллэ приоткрыть окно, затем признал счет верным и возвратил его.

Выйдя из ванной, Пиллэ увидел препирательство Шарлотты с Обэн, которая убеждала девушку уйти. Пиллэ попрощался и вышел, но спроводить Шарлотту никак не удавалось. На шум из кухни вышла Симона Эввар. Узнав, что упрямая посетительница уже приходила утром, она согласилась пойти к Марату и спросить, не примет ли он ее. Вернувшись с утвердительным ответом Марата, Симона проводила Шарлотту через столовую, впустила девушку в ванную и закрыла дверь, после чего вернулась в прихожую. Спустя два часа она уверяла следователя, что инстинктивно чего-то боялась, — возможно, ее просто кольнула понятная ревность. Во всяком случае, через минуту она снова открыла дверь в ванную, — Шарлотта спокойно сидела около ванны спиной к окну. Симона с графином в руках подошла к Марату и спросила, не много ли глины в молоке. Марат ответил, что глины не много, но все же она может вынуть кусочек. Симона прихватила стоявшее здесь же блюдо с телятиной, рисом и мозгами, предназначенное для ужина, и ушла.

Едва она успела поставить блюдо на кухне, как из ванной донесся хриплый клекот. Она бросилась назад и рывком распахнула дверь.

— Ко мне, мой добрый друг! — еще успел воскликнуть Марат, и тотчас голова его упала на грудь, погруженную в красную от крови воду. Струя крови толщиной с палец била у Марата из груди, и страшные ручейки уже тянулись к дверям спальни.

Бледная Шарлотта стояла у окна; нож лежал на полочке среди газет, совершенно мокрых от крови.

По показаниям Шарлотты, когда она вошла, Марат сидел в ванне, имевшей вид сапога, тело его было покрыто какой-то коростой (у него была экзема). Перекинутая через ванну доска служила ему письменным столом.

Он спросил Шарлотту, каковы политические настроения в Кане, что делают жирондисты, а потом потребовал от нее назвать их имена. Шарлотта послушно стала перечислять, Марат вносил их в записную книжку.

— Хорошо, — наконец сказал он своим хриплым замогильным голосом, — через несколько дней я отправлю их на гильотину.

В следующую секунду он увидел в своей груди черную рукоять ножа (боль пришла позднее). Шарлотта вложила в удар все силы.

Сбежавшиеся женщины подняли истошный крик, но ничего не предпринимали. Шарлотта сумела выйти в прихожую, но здесь маленький и слабосильный Лоран Ба сбил ее с ног ударом стула и кинулся на поверженную: «бросил это чудовище на землю и удерживал ее за груди», по его рассказу.

Входная дверь квартиры оставалась открытой. Дантист Клэр Мишон Делафонде, главный арендатор дома, прибежал на шум и увидел в прихожей Лорана Ба, который бил лежащую Шарлотту кулаками. Не останавливаясь, Делафонде проследовал в ванную и здесь



увидел умирающего Марата, тщетно пытающегося что-то произнести. Последние удары сердца извергали потоки крови из раны, которую Симона тщетно пыталась зажать рукой.

Делафонде вытащил Марата из ванны и перенес в соседнюю комнату, поручив Обэн привести доктора Пел-летана, члена Совета здоровья. Через консьержку слух об убийстве распространился по всему городу.

Через несколько минут дом оказался полон народу, требовавшего выдать ему убийцу. Кровь из ванной на башмаках разносили по всей квартире; в спальне кровь из раны Марата залила стены; окровавленная вода разлилась до самой кухни.

В прихожей два человека держали за руки связанную Шарлотту, казавшуюся кроткой и спокойной, несмотря на перенесенные побои. Прибывший по вызову полицейский комиссар Гальяр-Дюмениль толкнул ее в одну из комнат для предварительного допроса. Вместе с ним туда вошли четыре депутата: Мор, Шабо, Друэ и Лежандр.

Во время борьбы с Лораном Ба косынка сползла, и грудь Шарлотты обнажилась; она попросила развязать ей руки, чтобы привести в порядок туалет. Ее просьбу исполнили, она отвернулась, поправила платье и надела перчатки, чтобы скрыть следы веревок на запястьях. Затем она спокойно повернулась к комиссару.

При допросе она сохраняла полное самообладание и ясность мышления. На вопрос, что побудило ее пойти на преступление, ответила, что при виде разгорающейся во Франции междоусобной войны предпочла пожертвовать своей жизнью ради спасения отечества; на требование назвать сообщников сказала, что никто на свете даже не подозревал о ее намерениях. Прочитав протокол, она потребовала исправить некоторые неточности в своих словах.

— Вы отправитесь на эшафот! — вскричал Шабо, выведенный из себя ее спокойствием.

— Я это знаю, — хладнокровно ответила она.

Шабо и Друэ вызвались сопроводить ее в тюрьму. Когда Шарлотту около полуночи вывели на улицу, толпа перед домом уже успела расспросить кучера и узнала, что он привез молодую аристократку. Крики негодования усилились, а когда в дверях появилась преступница со связанными сзади руками, раздались вопли, требующие немедленной расправы над ней.

При виде враждебной толпы силы покинули Шарлотту. (Перед толпой терялись и Марий <sup>95</sup>, и Наполеон, — видимо, это общая слабость личностей с сильно развитым индивидуальным началом.) Ее почти без чувств бросили в экипаж, карета тронулась, с трудом продвигаясь среди обступивших ее людей, старающихся заглянуть в окна.

## ПОХОРОНЫ МАРАТА

Всю ночь тело Марата бальзамировали, в доме жгли благовония. Свет из окон озарял лица людей, толпившихся вокруг дома, дальше горели огни сотен факелов. Одинокие крики: «Марат умер! Народ, у тебя нет больше друга! Смерть аристократам!» — время от времени подхватывались всеми, заглушая плач женщин и грудных детей.

Неестественно-патетические и злобно-мстительные вопли не смолкали два последующих дня. Наутро секции клубов огласились рыданиями и призывами к отмщению. В Комитете Общественного Спасения кричали, что «фурия, исшедшая из Кана, вонзила кинжал в грудь апостола и мученика революции»; Шабо в Конvente подытожил свой рассказ о допросе Шарлотты призывом: «Пусть же суд накажет эту кровожадную женщину, подвергнув ее и ее сообщников самым жестоким пыткам!» — и предложил перенести останки Марата в Пантеон. Монтаньяры, якобинцы и кордельеры оспаривали друг у друга

---

<sup>95</sup> Марий Гай (ок. 157 — 86 гг. до н. э.) — римский полководец, победитель германских племен кимбров и тевтонов, участник гражданских войн в Италии, диктатор Рима

право на тело «Друга народа». Этой чести удостоились кордельеры: было решено похоронить Марата на следующий день в Саду кордельеров, где он по вечерам читал народу свою газету.

15 июля тело Марата было выставлено в старинной церкви, занимаемой клубом кордельеров. Рядом с гробом стояла ванна и висела окровавленная простыня Марата. Церемонию похорон разработали художник Давид и Французский Театр.

Конвент (триста подлецов и четыреста недоумков, по определению современника) явился на похороны в полном составе. Каждый депутат подходил к гробу и кидал цветы на тело Марата. Громадная толпа слушала нескончаемые речи ораторов. Представление об этом мутном потоке революционно-похоронного словоблудия может дать речь депутата Друэ: «О, люди слабые и заблудшие, вы, которые не осмеливались поднять на него своих взоров, подойдите и созерцайте окровавленные останки гражданина, которого вы при жизни не переставали оскорблять!» Как будто этот оратор не знал, что те, кому «Друг народа» был не по нутру, уже не могли «подойти и созерцать», за отсутствием головы.

Не обошлось, разумеется, и без кощунства. Из толпы раздался возглас: «Сердце Иисусово — сердце Марата, у вас равные права на наше почитание!» Какой-то оратор тут же подхватил и развил эту мысль, приравняв (вряд ли понимая, что говорит) Симону Эвра к Богородице, а затем, воодушевшись, воскликнул: «Иисус был пророк, а Марат — божество!» Его заглушил гром рукоплесканий. Нашелся, однако, недовольный, заявивший: «Марата нельзя сравнивать с Иисусом, ибо человек этот породил суеверия и защищал королей, а Марат имел смелость раздавить их. Не надо говорить об Иисусе, это глупость; для республиканцев нет другого Бога, кроме философии и свободы».

Бюсты Марата шли нарасхват. Народ умилялся и проливал слезы, молясь на это грубое и звероподобное лицо. В салонах читали чеканное четверостишие маркиза де Сада, которое в переводе на презренную прозу звучит примерно так: «Единственный истинный республиканец и дорогой кумир! Потеряв тебя, Марат, мы утешаемся, глядя на твое изображение, мы, нежно любящие великого человека, усыновившего добродетели. Из праха Сцеволы родится Брут».

Впрочем, были и другие мнения, которые широко не оглашались. Робеспьер почтил память «Друга народа» такими словами: «Марат наделал много глупостей, пора было ему умереть».

## В ТЮРЬМЕ

Шарлотту по случайности поместили в ту камеру тюрьмы Аббэ, где недавно содержались жирондист Бриссо и госпожа Ролан. Последняя оставила описание этого помещения: «Это была маленькая темная комнатка, с грязными стенами и толстыми решетками; по соседству находился дровяной сарай — отхожее место для всех животных дома. Но так как эта комнатка вмещает по объему лишь одну кровать и можно помещаться в ней отдельно, то обыкновенно ее, в виде любезности, дают новому лицу или тому, кто желает пользоваться этим преимуществом... Я не знала, что комната эта тогда же предназначалась Бриссо, и не подозревала, что вскоре ее займет героиня, достойная лучшего века, — знаменитая Шарлотта Кордэ».

К Шарлотте приставили двух жандармов. В остальном тюремное начальство отнеслось к ней довольно снисходительно и даже позволило ей написать письмо Барбару в Кан и отцу в Аржентон. Письмо Барбару начинается словами: «В тюрьме Аббэ, в комнате, принадлежавшей Бриссо, на второй день приготовления к миру». Далее Шарлотта описывает уже известные нам подробности своего путешествия в Париж и убийства Марата. «Я хотела, уезжая из Кана, убить его на вершине его горы, но он уже не бывал в Конvente», — пишет она. Только один ее поступок, по ее мнению, нуждается в оправдании: «Признаюсь, я прибегла к хитрости, чтобы побудить его принять меня. Все средства хороши в подобном случае». После просьбы защитить свою семью от преследований она говорит о себе: «Я

наслаждаюсь эти два дня миром, счастье моего отечества составляет мое счастье. В моей жизни я ненавидела лишь одно существо. И все-таки ненависть моя, — я доказала, как она сильна, — не так велика, как моя любовь к тысяче других существ. Пылкое воображение, чувствительное сердце обещали бурную жизнь; пусть те, кто мог бы сожалеть обо мне, примут это во внимание, и они порадуются безмятежному спокойствию, ожидающему меня в Елисейских полях, в обществе Брута и нескольких героев древности... Объявляю всем парижанам, что мы беремся за оружие лишь против анархии, это — истинная правда». Здесь письмо обрывается (ее вызвали на вторичный допрос, а затем перевели в тюрьму Консьержери) и возобновляется записью от 16 июля: «Меня судят завтра в 8 часов; вероятно, в 12 часов я покончу жизненные счета... Не знаю, как пройдут последние минуты, а ведь дело венчает конец. Мне нечего притворяться равнодушной к своей судьбе, так как до этого мгновения у меня — ни малейшего страха смерти. Я никогда не ценила жизнь иначе, как по той пользе, которую она может принести... Я напишу одно слово отцу, Я ничего не говорю другим моим друзьям и прошу у них лишь скорого забвения: сожаление их оскорбило бы мою память...»

Отцу она написала: «Простите, милый папа, что я распорядилась своей жизнью без Вашего разрешения. Я отомстила за многих безвинных жертв и предупредила много других бедствий. Народ, когда-нибудь вразумленный, порадует, что его освободили от тирана. Я постаралась уверить Вас, что я уехала в Англию, в надежде, что мне удастся сохранить инкогнито; но это оказалось невозможным. Надеюсь, что Вас не будут беспокоить. Во всяком случае, вы найдете защитников в Кане. Прощайте, милый папа. Прошу Вас забыть меня или, скорее, — радоваться моей судьбе. Вы знаете Вашу дочь: предосудительная цель не могла руководить ею. Целую сестру мою, которую люблю всем сердцем, также всех родных... Меня судят завтра, в 8 часов, 17 июля».

## СУД

Революционный Трибунал заседал в Тюильри в зале Равенства под председательством Фукье-Тенвиля. Решения этого судилища не подлежали апелляции. Суд над Шарлоттой происходил с участием присяжных и защиты. Шарлотта выбрала своим адвокатом Дуль-сэ де Пантекулана, но он не явился, и суд назначил ей другого защитника — депутата от Кана Шово де Ла-гарда, знаменитого впоследствии адвоката жирондистов.

Лагард оставил воспоминание об этом заседании Трибунала. По его словам, появление Шарлотты в зале произвело потрясающее впечатление: так велико было обаяние ее облика и сила нравственного превосходства. «Ни один живописец не дал нам верного изображения этой необыкновенной женщины, — пишет Лагард. — Искусство не могло бы воспроизвести отражавшуюся в ее лице великую душу. Точно так же не трудно было буквально записать слова ее, но невозможно описать как раз то, что меня поразило более всего, а именно — интонации ее голоса, почти детского и всегда гармонизировавшего с простотой ее внешних приемов и с невозмутимой ясностью ее выражения, — что с виду так мало согласовалось с теми мыслями и чувствами, которые она выражала. Нельзя так же дать понятия о том впечатлении, которое она произвела на присяжных, судей и на громадную толпу зрителей: казалось, они ее принимали за судью, призвавшего их к высшему трибуналу».

Приведу некоторые ответы Шарлотты на вопросы судей, — и без интонаций ее голоса они все же дают понятие о великой душе этой женщины. На вопрос Фукье-Тенвиля, что побудило ее убить Марата, она ответила:

— Его преступления. Я убила одного человека, — здесь она сильно повысила голос, — чтобы спасти сотни тысяч других, убила негодяя, свирепое дикое животное, чтобы спасти невинных и дать отдых моей родине. До революции я была республиканкой, у меня никогда не было недостатка в энергии.

— Кто внушил вам такую ненависть?

— Мне не нужно было ненависти других, достаточно было моей собственной.

Был только один момент, когда она смутилась. Судебный пристав показал ей нож со следами засохшей крови на лезвии и спросил, узнает ли она его. Шарлотта отвернулась и взволнованно сказала:

— Да, я узнаю его, узнаю!

— Вероятно, вы упражнялись в таких преступлениях, — ядовито заметил Фукье-Тенвиль.

— Чудовище! Он принимает меня за убийцу! — презрительно ответила Шарлотта: ее совесть говорила ей, что убийца — это тот, кто соглашается жить после убийства.

Затем слово предоставили защитнику. Положение Лагарда было сложное не только из-за неопровержимости улики и преступного умысла, не только из-за враждебной настроенности судей и присяжных, но и из-за того, что сама подсудимая не желала оправдательного приговора.

"Когда я встал, чтобы говорить, — вспоминает Лагард, — в собрании сначала послышался глухой и смутный шум, как бы изумления... Затем настало мертвое молчание, пронизавшее меня до мозга костей. Пока говорил прокурор, присяжные поручили передать мне, чтоб я молчал, а председатель — чтоб я ограничился утверждением, что обвиняемая не в своем уме. Все хотели, чтобы я унизил ее. Что касается Кордэ, выражение лица ее было все то же. Но взглядом она давала мне понять, что не желает быть оправданной. В этом после прений я не мог и сомневаться; притом оправдать было невозможно, ибо, помимо ее признаний, имелось законное доказательство предумышленности убийства. Тем не менее, твердо решив исполнить свой долг, я ничего не хотел сказать, что моя совесть и подсудимая могли бы отвергнуть. И вдруг меня осенила мысль ограничиться простым замечанием, которое, в собрании народа или законодателей, могло бы служить основой полной защиты, и я сказал: «Подсудимая хладнокровно сознается в совершенном ею ужасном покушении... сознается и в сопровождающих его ужасных обстоятельствах, — словом, она сознается во всем и не пытается оправдаться. В этом, граждане присяжные, вся ее защита. Это невозмутимое спокойствие и полное самоотречение, так сказать, перед лицом смерти, не в природе вещей и объясняются лишь экзальтацией политического фанатизма, вложившего ей в руку меч. Граждане присяжные, вам судить, какое значение должно иметь это нравственное соображение на весах правосудия».

Лагард действительно сказал все, что можно было сказать в оправдание Шарлотты перед этими упырями, уже заранее вынесшими приговор. Решение присяжных было: «Да, виновна».

Председатель встал и прочитал приговор: «Трибунал, выслушав заключение прокурора о применении закона, присуждает Шарлотту Кордэ к смерти... повелевает, чтобы означенная Мария Шарлотта Кордэ была отведена на место казни, одетая в красную рубашку, согласно параграфу четвертому первой статьи первой части Уголовного кодекса... и повелевает, кроме того, чтобы имущество означенной Кордэ было передано во владение республики».

Казнь должна была состояться вечером того же дня.

Хладнокровно выслушав приговор, Шарлотта подошла к адвокату.

— Благодарю вас за смелость, с которой вы меня защищали, — сказала она. — Она достойна вас и меня.

## КАЗНЬ

В тюрьме Шарлотту уже ожидал конституционный священник. Она поблагодарила, но от его услуг отказалась: оставаясь ревностной католичкой, не признавала ренегатов.

В шестом часу вечера повозка с Шарлоттой выехала из тюремного двора. Громадная толпа встретила ее появлением бешеным рёвом, в котором особенно выделялись проклятия и брань фурий гильотины — так называли женщин, за плату оскорблявших жертв Революционного Трибунала. Внезапно разразилась короткая, но сильная гроза. Шарлотта ехала стоя на телеге, в красной рубашке, вспыхивавшей кровавым багрянцем при каждом

сверкании молний, — такой она сохранилась в памяти всех, кто ее видел. Особенно поражал ее ясный взор, которым она обводила толпу. «Бессмертие сияло в ее глазах; на лице ее отражалась благородная ясность, спокойствие добродетели и сострадание к проклинавшему ее народу», — пишет очевидец. А молодой депутат города Майнца Адам Люкс, влюбившийся в Шарлотту на суде, нашел для выражения своего преклонения еще более сильные выражения: «Прекрасные очи ее говорили о душе столь же нежной, сколь мужественной; очи чудные, способные расстрогать скалы!.. Взор ангела, проникший в мое сердце и взволновавший его неведомым дотоле чувством, которое изгладится лишь с последним моим вздохом».

Гроза стихла, снова выглянуло солнце. Путь до эшафота длился почти два часа. Все это время твердость и кротость не оставляли Шарлотту, хотя ее и осыпали проклятиями и руганью люди, недостойные этого имени. Ее взгляд блуждал по толпе, словно ища в ней человеческое существо. Вдруг она увидела горящие глаза Адама Люкса<sup>96</sup> — этого было достаточно, теперь она знала, что она не одна.

Около семи часов повозка въехала на площадь Революции. Взойдя на ашафот, Шарлотта вздрогнула, увидев гильотину. Палач<sup>97</sup> сделал попытку заслонить от нее орудие казни, но Шарлотта остановила его:

— Оставьте, я имею право быть любопытной: я этого никогда не видела.

Палач сорвал с ее груди косынку; Шарлотта покраснела. Спустя несколько секунд палач показал ее голову с еще пунцовыми щеками народу.

## ПРЕКРАСНЕЙШАЯ

В заключение будет уместно вернуться к эпиграфу и сказать несколько слов о внешности Шарлотты Кордэ. Некоторые приведенные цитаты могут подтолкнуть читателя к представлению о том, что Шарлотта была красавицей. К сожалению, прижизненных достоверных изображений ее не существует. Единственный портрет, снятый с нее в зале суда и поправленный в камере, принадлежит художнику-любителю. На нем Шарлотта представлена не очень привлекательной блондинкой сильного сложения, с голубыми глазами и в чепчике. Ее лицо выражает кротость и серьезность, в нем совершенно отсутствуют всякая патетика и героизм. Паспорт Шарлотты в чем-то расходится с этим изображением, а в чем-то подтверждает его: «...ростом 5 футов и 1 дюйм, волосы и брови у нее каштановые, глаза серые, лоб высокий, нос длинный, рот маленький, подбородок круглый, раздвоенный, лицо овальное...» Итак, ясно, что не красавица; однако в ее облике было что-то необыкновенное, заставившее одну ее подругу в возрасте восьмидесяти лет вспомнить о ней в таких выражениях: у Шарлотты, по словам этой дамы, был такой кроткий вид, что она внушала к себе любовь раньше, чем успевала заговорить, это был ангел Божий.

Впрочем, имеется одно, и вроде бы веское, свидетельство, ставящее под сомнение обаяние Шарлотты, — реестр Революционного Трибунала. «Эта женщина, — значится в нем, — про которую говорили, что она очень красива, вовсе не была красивой; лицо у нее было скорее мясистым, чем свежим, она была лишена грации и нечистоплотна, как почти все философы и умницы женского пола. Ее лицо было грубо, дерзко, безобразно и красно. Ее полноты, молодости и вида знаменитости было достаточно, чтобы ее сочли красивой во время допроса... Шарлотте Кордэ было двадцать пять лет; то есть, по нашим понятиям, она

---

<sup>96</sup> Люкс после казни вернулся домой в полубреду. На следующий день он публично предложил поставить Шарлотте памятник с надписью: «Более великая, чем Брут». Друзья отговаривали его печатать эту статью, ссылаясь на смертельную опасность для автора, но Люкс был непреклонен и твердил, что было бы прекрасно умереть ради Шарлотты

<sup>97</sup> Знаменитый Сансон, законопослушно умертвивший Людовика XVI, Марию-Антуанетту, жертв революционного террора, а потом и самого Робеспьера

была почти старой девой, в особенности если принять во внимание ее мужеподобные манеры и мальчишеское сложение; она была лишена чувства стыда и скромности».

Последних чувств были явно лишены авторы этого документа, когда ставили в вину избитой и вывалянной в грязи женщине, проведеншей трое суток в тюрьме, нечистоплотность и несвежий цвет лица и попрекали ее, добровольно обрекшую себя смерти, видом знаменитости и безбрачием. Что касается прочего, опровергать эти свидетельства не имеет смысла — эти люди увидели то, что хотели увидеть. Для нас Шарлотта Кордэ остается прекрасным образом свободной Франции, как и другая прекрасная дева — мужеподобная Жанна д'Арк.

## ТАЛЬМА

### I

Слава актера издавна признана одной из самых эфемерных. Действительно, актер царит в сиюминутном, преходящем; он либо состоялся сейчас, здесь, на сцене, либо не состоялся вовсе. Знать его — означает видеть его, наблюдать его игру, проживать десятки жизней вместе с его героями, которых он наделяет своей душой.

Но ведь преходяща любая слава. Ее пресловутое бессмертие редко превышает две-три сотни лет. Великие знают это лучше нас. Стендаль, например, говорил, что хочет, чтобы его книги читали через сто лет. Правда, у писателя, художника, ученого, полководца остается хотя бы надежда на признание потомков — у актера эта надежда отнята с самого начала. Поэтому он избирает ту славу, которая не может быть отсроченной и, следовательно, не может обмануть. Мысль о том, что все — суета сует, не нова, но как знать, может быть, именно актер делает из нее наилучший вывод. Ведь говорит же Шекспир устами Гамлета: «Блажен, в ком кровь и ум такого же состава. Он не рожден под пальцами судьбы, чтоб петь, что та захочет».

### II

Год рождения великого французского актера не вполне ясен. Его биограф Реньо-Варен говорит, что с 1816 года Тальма начал из странного кокетства скрывать свой возраст. Однажды, когда у них зашла об этом речь (надо было указать год рождения Тальма на гравюре с его портретом), Тальма, вместо ответа, снял с полки четыре книги: биографические собрания, изданные в Брюсселе и Лейпциге, а также парижские «Биографии современников» и «Биографии знаменитостей» и по очереди прочитал вслух статьи, посвященные ему: «Тальма (Франсуа-Жозеф) родился в Лондоне 17 января 1766 года»; «Тальма родился в Париже 15 января 1760 года»; «Тальма родился в Париже в январе 1762 года»; «Тальма (Жозеф-Франсуа) родился 15 января 1767 года».

— Но кто говорит правду? — спросил изумленный биограф.

— Любезный друг, — ответил Тальма, — разве вы не знаете, что актер то же, что хорошенькая женщина, — то есть что он не имеет лет? Каков, например, возраст Отелло, которого я сыграл вчера, Леонида, которого я создал на прошлой неделе, или Жоада<sup>98</sup>, которого я сыграю в субботу? Друг мой, актер должен обладать всеми возрастами, как и всеми характерами.

— Но речь идет не о драматических героях, а о человеке, который их представляет!

— В таком случае вы обратились неудачно: я родился так давно, что уже позабыл об

---

<sup>98</sup> Персонаж трагедии Расина «Лталия»

этом.

— Так, значит, граверу придется самому порыться в актах гражданского состояния в приходе Святого Николая...

— Пусть он возьмет среднюю цифру — пожалуй, он попадет в самую точку! — очень живо воскликнул Тальма.

Большинство биографов последовали этому совету и отнесли его рождение к 1763 году, хотя сам актер в мемуарах настаивает на 1766 годе.

Тальма был сыном дантиста, убежденного адепта философской «секты» просветителей, который избрал своим местожительством свободную Англию. Какие мотивы — профессиональные или политические — толкнули его на этот шаг, точно неизвестно, но мы знаем, что, несмотря на конкуренцию среди дантистов, удачно вырванный зуб у лорда Гаркорта доставил ему рекомендацию к наследнику английской короны принцу Уэльскому. Лейб-дантист быстро пошел в гору. Тальма-старший, видимо, не отказывал в помощи и бедным, но не любил прибедающих, что видно из следующей истории. Как-то, уже после революции, к нему пришел французский маркиз-эмигрант и, ссылаясь на свое разорение, умолял сделать искусственную челюсть по цене, которая была даже ниже себестоимости. Человеколюбие и сострадание к соотечественнику взяли верх, Тальма-старший согласился. Однако из разговора с другим эмигрантом он узнал, что маркиз в действительности очень богат. Поэтому, когда маркиз в назначенный день пришел к нему, лейб-дантист ни слова не говоря выдернул ему зубы, после чего заявил, что передумал, и назначил за работу цену, значительно превышающую обычную. Маркиз схватился за голову, но делать было нечего, и ему пришлось раскошелиться.

Детство Тальма прошло частью в Лондоне, частью в Париже — в учебном заведении Вердье, куда он был отправлен отцом, видимо не желавшим, чтобы мальчик наблюдал разгульную жизнь лондонской золотой молодежи во главе с кутилой-принцем. Пожалуй, главное, чем молодой Тальма обязан Англии, — это открытием для себя «необузданного» (как писали тогда театральные критики) гения Шекспира, создавшего героев, столь непохожих на галантных Ахиллесов, которых мальчик встретил на французской сцене.

Увлечение театром началось у Тальма с юных лет. Его первый актерский опыт относится к девятилетнему возрасту. Вердье ставил в школе свою трагедию «Тамерлан», и Тальма досталась в ней крохотная роль наперсника (*confident*), рассказывающего в конце о смерти друга. Это было постоянное амплуа в классической трагедии, придворный или воин, роль которых — выслушивать монологи главных героев и либо подавать реплики, либо произносить резюме. Здесь впервые сказалось основное качество будущего Тальма-актера — его необыкновенная впечатлительность, собственное внутреннее потрясение от страстей своего героя, которое он с необыкновенной силой передавал зрителям. Несмотря на то что его роль не превышала двадцати стихов, маленький Тальма так сжился со своим героем, что его голос задрожал и сорвался, он зарыдал и упал без чувств. Когда он пришел в себя, до него долетели звуки аплодисментов — возможно, это решило его судьбу.

Тальма начал брать уроки декламации. Желание отца видеть его продолжателем своего ремесла не вызывало в нем встречного рвения — юноша испытывал отвращение перед анатомическими занятиями до такой степени, что в день посещения анатомического театра ничего не мог взять в рот. Зато «вскрытием» психологии любимых героев Тальма мог заниматься бесконечно. Все же ему пришлось посвятить медицине почти полжизни.

Дату его творческого совершеннолетия можно установить довольно точно — это 30 марта 1778 года, в один из тех дней, когда Париж с истинно французским энтузиазмом чествовал Вольтера, вернувшегося на родину в феврале этого года из своего имения Ферне, где он прожил отшельником двадцать лет. Вот как описал чествование парижанами своего кумира Д.И. Фонвизин:

"Прибытие Вольтера в Париж произвело точно такое в народе здешнем действие, как бы сошествие какого-нибудь божества на землю. Почтение, ему оказываемое, ничем не разнится от обожания... Сей восьмидесятилетний старец сочинил новую трагедию:

«Ирена, или Алексей Комнин», которая была и представлена.

...При выезде со двора карета его препровождена была до Академии бесчисленным множеством народа, беспрестанно рукоплескавшего. Все академики вышли навстречу. Он посажен был на директорском месте и, минуя обыкновенное баллотирование, выбран единодушным восклицанием в директоры на апрельскую четверть года. Когда сходил он с лестницы и садился в карету, тогда народ закричал, чтоб все снимали шляпы. От Академии до театра препровождали его народные восклицания. При вступлении в ложу публика аплодировала многократно с неописанным восторгом, а спустя несколько минут старший актер, Бризар, вошел к нему в ложу с венком и надел ему на голову. Вольтер тотчас снял с себя венок и с радостными слезами вслух сказал Бризару: «Ah, Dieu! Vous voulez donc me faire mourir!»<sup>99</sup> Трагедия играна была с гораздо большим совершенством, нежели в прежние представления. По окончании ее новое зрелище открылось. Занавес опять был поднят. Все актеры и актрисы, окружая бюст Вольтеров, увенчивали его лавровыми венками. Сие приношение публика препроводила рукоплесканием, продолжавшимся близ четверти часа".

Среди этого гула восторга выделяется голос Тальма, сказавшего после спектакля: «Я бы сыграл иначе». Это прозвучало как приговор эпохе классицизма, называвшей трагедии Шекспира «варварскими», а самого поэта «площадным шутом». Символично, что Вольтер умер ровно через два месяца после этих слов Тальма. Боги живут нашей смертью и умирают нашей жизнью, говорили древние. Жизнь театра Тальма — это смерть театра Вольтера.

### III

Французскому театру ко времени появления в нем Тальма насчитывалось немногим более 130 лет. Кардинал Ришелье одарил Францию трагедией, Мазари-ни — оперой, — «каждый согласно своему характеру», по замечанию Дюма-отца.

Актеры долгое время были париями общества и вели полуголодное существование в двух театрах: Бургонском отеле и Маре. Костюмов не было; платья для представлений брались напрокат в Лоскутном ряду. Мизерную плату за вход собирал у дверей директор театра, который, как правило, одновременно был и актером. Первым актером, который стал получать сносную плату, был Гуго-Герю, чей дебют состоялся в 1597 году в Маре. Чуть позже Генри Легран, не сходявший с подмостков пятьдесят шесть лет, мог уже снимать меблированные комнаты. В 1631 году актеру Мондори была назначена первая пожизненная пенсия. А Фло-ридор первым купил за 20 000 ливров директорскую должность в Бургонском отеле у Белльроза, ушедшего в монастырь. Одновременно возросли гонорары драматургов. Директор Маре говорил про Корнеля: «Кор-нель очень нас обидел; прежде нам продавали пьесы за три экю и сочиняли их в одну ночь; к этому все привыкли, и мы получали большие выгоды. В настоящее же время пьесы господина Корнеля обходятся нам очень дорого и приносят нам менее выгоды». С «Си-дом» Корнеля соперничала только «Марианна» Тристана л'Эрмижа, не сходявшая со сцены целый век. Прочие драматурги вынуждены были подчиниться мнению публики или искать для себя другие виды славы. Так, Пюже де ла Сер, при постановке одной из трагедий которого толпа выломала дверь и задавила четырех привратников, говорил хвалившим «Сиду»: «Я уступлю место господину Корнелю только в том случае, если хотя бы на одной его пьесе будет убито не четыре, а пять привратников театра».

Актерское искусство того времени сводилось к декламации, актера ценили за голос. Подражание античному театру проявлялось также в ношении масок. Роберт Герен, переименовавший себя в Гро-Гильома, осмелился выступать без маски. Взамен ее он покрывал лицо мукой, за что и получил от товарищей прозвище La Farine (Мука). Видимо,

---

<sup>99</sup> Ах, Боже! Вы хотите уморить меня! (фр.)



его и следует считать первым реформатором французской сцены.

Расцвет театра наступил в эпоху Людовика XIV. Пьесы Корнеля, Мольера, Расина становились событием в Париже. Король сам участвовал в балетных постановках в роли Солнца, декламируя стихи вроде следующих:

Уже я правлю сам моими бегунами, За ними льется свет огромными волнами; Вручила вожжи мне небесная десница, Богине властью обязан я своей. Мы славою равны: она цариц денница, Светило я царей.

Несмотря на это, в ремесле актера была одна важная деталь, о которой не следует забывать: избрать эту профессию означало обречь себя на муки ада. Церковь не прощала тех, кто, быть может, последовательнее всех осуществлял евангельское требование жить сегодняшним днем, — это казалось ей посягательством на вечность. Комедианты той эпохи знали, что отлучены от церкви: ради Мольера они лишались вечного спасения. Знаменитая Адриена Лекуврер на смертном ложе хотела исповедаться и причаститься, но отказалась отречься от ремесла, которому посвятила всю жизнь, и тем самым утратила право на исповедь.

Век Просвещения вырвал актера из рук дьявола; театральный костюм перестал быть санбенито<sup>100</sup>, на котором пылали языки адского пламени и извивались черти и драконы. Поэтому Вольтер был не только драматургом, чьи постановки приносят хороший доход: его трагедии были мистериями, в которых актеры получали очищение.

Ко времени появления Тальма в театре Французской Комедии ведущим актером в ней был Лекэн — ученик Вольтера и лучший его истолкователь. Некрасивый, с глуховатым голосом, он резко отличался своей внешностью от лощеных красавцев актеров придворного театра. Видимо, это обстоятельство послужило не последней причиной его вольтерьянства, но не только оно. Лекэн действительно был талантлив, он первый уловил тот дух историзма, который нес с собой надвигающийся XIX век. Он начал театральную реформу, чьим символом и знаменем вскоре стал Тальма. Лекэн усилил психологизацию трагической читки и мимическую выразительность, пытался придать костюму черты исторической достоверности. Его озадачивало то, что античные герои на сцене выступают в париках, камзолах и чулках; начиная с 1756 года в роли Нина («Семирамида» Вольтера) он выходил из могилы с обнаженными руками, окровавленный и с растрепанными волосами. Особого успеха это воскресение не имело.

Лекэн экспериментировал и со сценой. В 1759 году он удалил с нее скамьи, где по обычаю сидело дворянство. Таким образом, аристократия была удалена им с театральной сцены за тридцать лет до того, как революция убрала ее со сцены исторической.

Лекэн умер в 1778 году, незадолго до приезда Вольтера в Париж. Передают, что когда актер Бель-кур сказал Вольтеру, указывая на своих товарищей: «Вы хотите видеть Лекэна? Вот, сударь, все, что осталось от Французской Комедии», — тот лишился чувств.

Среди мимов особой славой пользовался Дюгазон, известный, в частности, тем, что придумал сорок способов движения самой неподвижной частью лица — носом. Популярностью пользовался также Дезессар. Он был невероятно толст, так что на сцене для него делали специальную мебель. Дюгазон однажды сыграл с ним злую шутку. Он попросил Дезессара надеть траурное платье и отправился с ним к первому министру, якобы для того, чтобы устроить его судьбу. На вопрос, почему его товарищ в трауре, Дюгазон невозмутимо отвечал, что таковое платье прилично наследнику и пояснил, что вчера в Ботаническом саду умер слон и он, Дюгазон, от имени Французской Комедии, просит министра, чтобы место павшего слона было дано Дезес-сару. Эта шутка дала повод к знаменитой дуэли: Дюгазон начертил мелом огромный круг на животе противника, говоря, что выстрел, попавший за круг, будет не в счет. Дуэль кончилась веселым завтраком в ближайшем трактире.

---

<sup>100</sup> Санбенито — одежда приговоренных к аутодафе — желтый мешок с нарисованными языками пламени, дьяволами и драконами

Эти люди стали учителями Тальма. Правда, окончательное решение посвятить себя сцене он принял только в тридцать лет — до этого его, видимо, удерживала воля отца и материальные соображения. Но в 1786 году Тальма сделал выбор, отклонив предложение герцога Шартрского стать придворным дантистом. Он поступил в школу декламации, которая вскоре стала комплектовать кадры для Французской Комедии. Тальма проучился в ней два года, проштудировав за это время около ста восьмидесяти ролей.

Его дебют состоялся 21 ноября 1787 года в театре Французской Комедии в роли Сеида в «Магомете» Вольтера. Тальма на всю жизнь запомнил те наставления, которые дал ему Дюгазон перед выходом на сцену:

"Добивайтесь великого или, по крайней мере, поражающего: надо оставить по себе след и разжечь любопытство зрителя. Быть может, было бы лучше дать правильный образ, чем заботиться только о силе впечатления, но любители театра многочисленны, а знатоки — редки. И все же вы соберете все голоса, если соедините силу изображения с правдивостью образа.

Не опьяняйтесь аплодисментами и не отчаивайтесь от свистков. Свистки убивают только дураков, аплодисменты кружат голову лишь пустым людям. Расточаемые без разбора, они задерживают развитие таланта в начале его пути... Освистывали Лекэна, Превиля, Фле-ри — а они бессмертны; а где те иксы и игреки, которых покрывали градом аплодисментов, где они?

Поменьше трюков и побольше учения; поменьше снисхождения к себе и побольше преодоления препятствий; в этом залог успеха, если не внезапного и торжествующего, зато, по крайней мере, стойкого и солидного.

Вы хотите пленять женщин и молодых людей? Выступайте в чувствительном жанре: весь мир его любит, как сказал Вольтер, и никто не сочувствует ему. Чтоб нравиться массе, которая много чувствует и мало рассуждает, выбирайте обаятельные или ужасающие роли: они немедленно воздействуют на зрителя. Как устоять перед проявлением воли Магомета, великодушием Августа или угрызениями совести Ореста?

Являются ли подлинный талант, прекрасная техника и удачный дебют гарантией успеха? Первоначально — да. Но необходимо продлить успех; надо принудить публику к постоянству. Коллективное тело, именуемое публикой, имеет свои капризы, как и отдельный человек. Нужно потакать этим капризам. Что мне еще сказать? Если успеха достигают благодаря достоинствам, возможно, что его удерживают благодаря недостаткам. Но помните, что ваши недостатки должны соответствовать недостаткам ваших судей; все же прочие скройте в тени таланта.

Есть дебютанты, взлетающие, как ракеты, сверкающие несколько месяцев и уходящие во мрак забвения. Бывает несколько причин этому. Быть может, это были дутые таланты, непригодные для творческой деятельности. Несколько показов истощают их до конца. Случается и так, что уклонившись с путей своих наставников, они идут по крутой тропинке новаторства. Но здесь отвага может быть оправдана только в том случае, если она опирается на гениальность. Бывает и так, — и это уже неизлечимо, — что, слепо идя по следам знаменитостей, они становятся скверными копиями блестящих оригиналов. Не восприняв достоинств, они обезьянят недостатки. Такому актеру лучше всего провалиться в будку суфлера и отправиться в По — развлекать басков. Но вас да сохрани от этого".

Дебют Тальма был отмечен успехом у публики и у критики. Через два года его избирают в число со-сьетеров — актеров, которые получали не фиксированный гонорар (такие актеры назывались пенсионеры), а определенное число паев; сообразно им сосьетеры получали долю прибыли и участвовали в убытках. Фактически сосьетеры являлись распорядителями театра.

Но пока Тальма приходилось играть жеманных и томных «вторых любовников» в комедиях. Трагедийные роли доставались «старым парикам» — маститым актерам.

А раз так, то — да здравствует революция!

#### IV

«Революция — небывалое событие в истории, и при всех усилиях мысли нельзя определить — чем она кончится», — писал английский историк Гиббон. Зато определить, с чего она начинается, довольно просто — с искусства.

В 1782 году Людовику XVI предложили поставить «Фигаро» в придворном театре. Король, прочитав пьесу, воскликнул:

— Сначала нужно будет разрушить Бастилию — иначе было бы опасной непоследовательностью допустить представление этой пьесы. Этот человек (Бомарше. — С. Ц.) издевается над всем, что должно уважать в государстве!

Но спустя два года опасная непоследовательность все-таки была допущена — придворные от души хохотали и хлопали обаятельному проходимцу, показывавшему со сцены их полную ничтожность и ненужность. Вслед за ними хохотать и хлопать начала вся Франция.

Через пять лет пала Бастилия.

Монархию охраняют не стены — ее щитом служит священный трепет, охватывающий людей при словах «его величество». Чтобы понять весь ужас царевубийства 1793 года, следует помнить, что за предыдущие сто сорок лет во Франции сменилось всего три короля. В этом долголетьи было что-то от бессмертия. В глазах народа монарх терял все атрибуты личности, превращаясь в безликую абсолютную данность, божественное существо, которое может повторить вслед за Богом Моисея только одно свое определение: «Я — сущий».

Богов низвергают их дети. Подобно тому, как Кро-нос был свергнут Зевсом с Олимпа, Людовик XVI был отправлен на эшафот театром — этим любимым детищем французской монархии.

Приписывать Тальма какие-либо политические убеждения — значит говорить о театре, сидя в балагане. Да, он сразу сблизился с молодыми патриотами, в то время как «черная эскадра» театра — ведущие актеры — чванились титулом «господ актеров Французской труппы короля», благодаря чему имели честь репетировать домашние спектакли королевы в Трианоне, а актрисы жили с королевскими камергерами, заправилами театрального дела. Но в революции Тальма привлекла не борьба Законодательного собрания с королем и не война плебеев с аристократией. Революция была его вдохновением, возможностью говорить на языке трагедии с трагическими зрителями; она представлялась ему в виде статуи Свободного Искусства, с ореолом трагизма на челе.

Его час пробил 4 ноября 1789 года. В этот день во Французской Комедии была премьера «Карла IX» — ранее запрещенной трагедии Мари Жозефа де Шенье (брата известного поэта). Вследствие того что актер, которого прочили на главную роль, предпочел ей более симпатичный характер Генриха Наваррского, роль короля передали Тальма. То, что творилось в этот день в театре, не поддается описанию. Потрясающий образ полубезумного, до смерти перепуганного тирана с кровавыми каплями пота на лбу, в припадке самоиступления расстреливающего с балкона Лувра гугенотов, спасающихся от Варфоломеевского избиения, поверг зал в немой ужас. Мирабо из ложи первым подал знак к рукоплесканиям, и театр буквально взорвался от аплодисментов. Это был не просто успех, это был триумф. Из уст в уста по залу передавали слова Дантона: «Если „Фигаро“ убил знать, „Карл IX“ убьет монархию!» Спектакль был сыгран тридцать три раза подряд — случай по тем временам неслыханный!

Конечно, изрядную долю этого триумфа следует отнести на счет антироялистской направленности пьесы. Тальма ошибался, принимая вооруженных булочников и сапожников за новых афинян, спешащих в театр, чтобы бескорыстно насладиться искусством и пережить катарсис. Среди идеалов революции нет ни одного, который не был бы опровергнут ей самой. Вместо свободного искусства вожди революции потребовали от Тальма дальнейшего «разоблачения тиранов», целую галерею которых представил на потребу публике все тот же М.Ж. Шенье, предусмотрительно отбросивший к тому времени от своего имени частицу

«де», столь неуместную при «пламенном обличении» деспотов. Искусство заменялось политическим лубком, вдохновение — «служением революции», истина — фальшью и ложью.

Психологизм игры Тальма оказался ненужным, а его стремление соблюдать историзм в костюме нашли просто смешным и вызывающим. Если публика еще снесла его появление в соответствующем одеянии в «Карле IX», то его античных героев не приняли прежде всего сами актеры. Когда в «Бруте» Вольтера он в тоге появился среди римлян в напудренных париках и с трехцветной кокардой (ее ношение вменялось в обязанность при любом костюме), актер Нодье счел это личным оскорблением и несколько раз пытался вызвать Тальма на дуэль. А актриса госпожа Вестрис устала за кулисами на его одеяние:

— Но у вас голые руки, Тальма!

— Так было и у римлян.

— Но, Тальма, вы без камзола!!

— Римляне их не носили.

— Свинья!!!

Другие просто иронически замечали, что он выглядит как античная статуя.

Во время революций люди заметно глупеют. Репертуар парижских театров вскоре стал состоять из идиотических трагедий (в одной из них весь сюжет заключался в том, что молодой человек закрывает собой пушку, которая стреляет по революционным войскам) или не менее идиотических фарсов, вроде пьесы-утопии Силь-вена Марешаля «Страшный суд над королями», где венценосцы всех стран, объединившись, погибали под вулканической лавой. Даже в «Фигаро» граф Альмавива носил гордое звание «гражданин» и соблазнял девиц с той же неизменной трехцветной кокардой во лбу.

Тальма от подобного «искусства» воротило. Античные трагедии шли не часто, поэтому он стал играть все реже. Одно время он надеялся отвести душу в трагедиях любимого Шекспира, но экспериментальные переводы известного драматурга Дюси <sup>101</sup> повергли Тальма в ужас. Дюси не стеснялся подправлять Шекспира: так, к «Венецианскому мавру» он придумал вторую концовку — благополучную, для чувствительных сердец. Актеры должны были заканчивать трагедию так или иначе, в зависимости от реакции партера.

Все это заставило Тальма уйти из Французской Комедии; при помощи Дантона он основал Французский Театр на улице Ришелье. Дальше дружбы с Дантоном революционность Тальма не пошла: Марата и Робеспьера он ненавидел, террор вызывал у него отвращение. Вскоре его труппа оказалась в числе «подозрительных», аресты актеров и друзей шли полным ходом.

Платон, изгнавший из своего идеального государства поэтов и актеров, советовал его будущим правителям отвечать тем, кто будет спрашивать, почему в их государстве нет трагедии: «Наше государство и есть лучшая трагедия». Но практики не расточают слов. Тот, кто задавал этот вопрос в Париже 1794 года, слышал в ответ только скользкий лязг шестидесятипятикилограммового ножа гильотины.

## V

Смерть Робеспьера спасла Тальма от эшафота, ставшего последними подмостками для многих его собратьев по ремеслу. А давнее знакомство с одним молодым лейтенантом-корсиканцем открыло перед ним двери Сен-Клу и Мальмезона <sup>102</sup>: после 1799 года он играет в дворцовых спектаклях и обучает искусству декламации братьев и сестер

---

<sup>101</sup> Дюси Жан Франсуа — французский драматург конца XVIII в. Обработал драмы Шекспира для французской сцены. При этом очень вольно обращался с сюжетом

<sup>102</sup> Сен-Клу и Мальмезона — дворцы, которые занимали Наполеон и Жозефина в период консульства

Наполеона. Первый консул балует его, посещает спектакли, входит в обсуждение ролей. По соблазнительной, но опровергнутой легенде Тальма обучал Наполеона манерам королей. Зато достоверно известно, что Наполеон давал сценические советы Тальма: «Берите пример с меня, Тальма. Мой дворец — сцена современной трагедии, а я сам — трагический герой. Но я не воздеваю глаза и руки к небу, как это делают ваши Цезарь и Цинна». Оба они, конечно, не нуждались в советах друг друга: если их актерское дарование было весьма схоже, то амплуа сильно разнились.

Революционные выходки Тальма были забыты, его популярность соперничала с популярностью Наполеона. «У меня, как и у моих подруг, — пишет одна дама, вспоминая те годы, — было лишь одно желание: увидеть Тальма в трагедии и присутствовать на параде первого консула». Тальма и Наполеон даже вместе изменились внешне: у них исчезла республиканская худоба, и восторженный пламень в глазах сменился спокойной уверенностью гения.

Для Тальма наступило время свершений. Публика сменила гнев если не на милость, то, по крайней мере, на пристальный интерес, хотя, может быть, и сдобренный некоторым раздражением. Его манера игры притягивала и пугала в буквальном смысле: порой ему удавалось достигнуть того же эффекта, который происходил на первых сеансах братьев Люмьер, — люди в зале вскрикивали от ужаса. Однажды, говоря в роли Цинны стих об отрубленной голове, он выставил из-за спины руку, в которой держал шлем с красной выпушкой. Это произвело такое впечатление, что многие женщины закричали. В другой раз, в «Отелло», когда Тальма занес кинжал, зрители настолько забылись, что наперебой стали умолять его, чтобы он пощадил девушку, — в пору было менять концовку трагедии согласно второму варианту предусмотрительного Дюси.

Новаторская отвага Тальма, несомненно, была подкреплена гениальностью, но это была гениальность особого рода, граничащая с душевным расстройством. Его основным актерским методом была передача чувств посредством движения и мимики, но к чувствам своего героя он присоединял такую дозу собственной страсти, что иногда его взгляд действительно становился безумным. Его натура представляла собой какой-то генератор — роль для него была всего лишь искрой, при помощи которой он начинал извергать из себя чудовищную энергию своей души. Его злейший зоил, театральный критик Жоффруа, не шутя говорил, что игра Тальма — это имитация «конвульсий сумасшедшего» или «приступов эпилепсии», крики, недостойные высокого искусства трагедии. «Ведь это именно пантомима Тальма привлекает любопытных, — жаловался поборник высокой трагедии, — это его искаженное лицо, блуждающие глаза, прерывающийся голос, его мрачный, зловещий вид, его дрожание, его конвульсии...»

Другой критик, Шарль Морис, выделил шесть любимых жестов Тальма: поднимать пояс; нервно потирать руки; скрещивать их, закидывая на плечи; проводить рукой по лбу, откидывая назад волосы; поднимать глаза к небу; заставлять дрожать левую ногу, сгибая ее. Но что это теперь может сказать нам о Тальма? Ведь каждый актер сделал бы это по-своему.

Даже такой тонкий знаток театра и человеческих страстей, как Стендаль, затруднялся однозначно определить игру Тальма. Он отмечал неестественность его резкого голоса, неприятную манерность, с которой он выворачивал кисти рук, но также и его безупречную посадку головы, и неуловимый взор. (Впрочем, возможно, что эта «апофеоза взгляда», по выражению мадам де Сталь, объяснялась близорукостью Тальма.)

В «Гамлете» и «Андромахе» Расина, считал Стендаль, Тальма был безупречен и неподражаем.

Может быть, разгадка заключается в том, что судороги страсти на лице Тальма были не чем иным, как гримасами революции, — а революция вещь неестественная. Тальма как-то признался, что делал профессиональные наблюдения на заседаниях Конвента и во время уличных событий.

Слава несколько изменила только внешние привычки Тальма. Если раньше друзьям, приходившим к нему ночевать, приходилось застилать постель скатертями, то теперь Тальма

зажил шире, обставил квартиру мебелью по старинным рисункам, стал делать долги, которые, правда, старательно записывал. Женщины всегда мало интересовали его, «мужские» разговоры он не поддерживал, за что получил от актеров прозвище «девственный Ипполит»<sup>103</sup>. В молодости ему случилось провести шесть месяцев в обществе молодой англичанки, которая ни разу не смогла упрекнуть его в том, в чем обычно принято упрекать французов. Он был женат дважды (с первой женой его заставил расстаться Наполеон, почему-то не выносивший ее), и оба раза женщинам, чтобы услышать от него предложение, приходилось брать инициативу в свои руки.

По существу, Тальма был одинок, что, впрочем, по отношению к гению можно и не уточнять. Его вторая жена оставила следующий набросок внутреннего мира великого актера; скупость и сухость этой зарисовки говорят сами за себя: «Тальма родился чувствительным, но чувство надо было в нем разбудить. Он легко забывал самое для него дорогое, если оно было вдали от него. Занятый личными переживаниями, он мало обращал внимания на внешний мир, мало вникал в жизнь. Он мог засыпать, когда хотел, и спал часто и долго. Утомленный внутренней мучительной работой, он отвлекался от нее, уходя в себя. Мягкий и спокойный разговор мало привлекал его. Ему нужен был страстный, живой, возбужденный спор: тогда он выходил из обычного спокойствия, и с пылом, поражающим окружающих, защищал свое мнение, которое, быть может, не всегда было правильным, но никогда не было лишено оригинальности и остроты. Многие его взгляды считались дикими, словно этот человек жил вдали от людей и их обычаев».

Как он относился к своему положению придворного актера? Смущало ли оно его, мешало ли ему? Был только один случай, когда Тальма захотел подчеркнуть свою независимость, — после коронации Наполеона он некоторое время перестал бывать во дворце, объяснив друзьям, что теперь между Французской Комедией и Тюильри слишком большое расстояние. Император, которому передали эти слова, нахмурил брови:

— Не понимаю, за что Тальма дуется на меня?

На другой день Тальма был в Тюильри.

Разворачивать этот случай в обширные размышления на тему «Художник и власть» вряд ли имеет смысл. Повиновение не есть раболепие; свобода художника давно определена поэтом и проявляется, так или иначе, в каждой конкретной судьбе:

... Зависеть от царя, зависеть от народа —  
Не все ли нам равно? Бог с ними.

Никому  
Отчета не давать, себе лишь самому  
Служить и угождать; для власти, для ливреи  
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи...<sup>104</sup>.

Эту свободу знал и Тальма. Его искусство не служило никому, кроме его гения. Мысль об угождении кому-либо была ему противна; подачки всякого рода счастливо миновали его. Наполеон одно время хотел пожаловать ему орден Почетного легиона, но не решился раздражать общественное мнение, все еще строгое по отношению к артистам.

Всеевропейское признание пришло к нему в 1808 году. Собираясь на свидание с Александром I в Эрфурт, Наполеон сказал:

— Тальма, я тебя повезу играть перед партером царей.

---

<sup>103</sup> Ипполит — греческий герой, сын Тесея и амазонки Ан-тиопы, или Ипполиты, молодой стрелок, посвятивший себя девственной богине Артемиде; из-за этого Ипполит отклонил любовь своей мачехи Федры

<sup>104</sup> А.С. Пушкин. Из Пиндсмонта

Там, в Эрфурте, Тальма продемонстрировал Европе, по-видимому, все, чего может достичь искусство в мире политики. На представлении Вольтерова «Эдипа», когда Тальма в роли Филоклеты произнес: «L'amitié сTun grand homme est un bienfait cles dieux» <sup>105</sup>, Александр I повернулся к Наполеону и демонстративно пожал ему руку.

«Зрелище — петля, чтоб заарканить совесть короля», — говорит Гамлет.

## VI

Реставрация Бурбонов внешне ничего не отняла у его славы и ничего не прибавила к ней. В день въезда Людовика XVIII в Париж Тальма было поручено прочитать со сцены куплеты академика Брифо во славу Бурбонов. Каждый куплет заканчивался стихом: «Да здравствует король!» Эти слова Тальма произносил очень слабо. После спектакля Людовик, толстый человек с бычьим взглядом и опухшими ногами, тяжело пыхтя, все же сделал ему комплимент за чтение, добавив:

— Я могу быть несколько строгим, господин Тальма, ведь я видел Лекэна.

В последние годы жизни Тальма играл мало, и в основном Шекспира. Один за другим умирали его друзья, Жоффруа и другие недоброжелатели усиливали нападки. Тальма все глубже уходил в себя. В 1818 году Ламар-тин рисует его мудрым созерцателем — отшельником в халате, с лицом, схожим с профилями на бронзовых римских медалях.

Люди, пережившие гигантомахию <sup>106</sup>, смотрят на жизнь иначе, чем мы. Александр I после отречения Наполеона погрузился в мистицизм, находя утешение в безрадостных истинах книги Иова и в сомнительных беседах заезжих пасторов; Людовик XVIII на все предложения своих министров о реформах отвечал, что, прожив столько лет в эмиграции, имеет лишь одно желание — умереть на троне; генералы, участники легендарных походов, презрительно улыбались, когда колониальные полковники рассказывали в их присутствии о своих сражениях и победах.

В актере эта отрешенность от мира, от его обманчивой видимости была еще более острой, не говоря о том, что она была и более удивительной. Тальма жаловался друзьям, жене:

— Когда я выхожу на сцену и вижу в зале разодетых, веселых и беспечных людей, я думаю: «Через несколько лет они все будут лежать в гробах». Когда я смотрю на красивую женщину, на ее очаровательные формы, мне мерещится скелет под ее платьем...

Так же когда-то смотрел на людей принц Гаутама. Гениальная впечатлительность Тальма оборачивалась против него, безумие порой заглядывало прямо ему в глаза. Однажды он не смог доиграть спектакля: ему показалось, что перед ним разверзлась черная пропасть. Он стал отказываться от ролей: поднимая кинжал над матерью в «Гамлете», он боялся, что не сможет сдержать себя и убьет партнершу.

И все же мысли Тальма до конца принадлежали театру. Некий принц как-то сказал, глядя на актера, которого хватил на сцене аполексический удар: «Человек еще жив, но артист умер». Чаша сия миновала Тальма. Умирая, он говорил окружающим его людям, что его исхудалые щеки должны очень идти к роли Тиберия.

## БРАММЕЛ — ЧЕЛОВЕК МИРА СЕГО

### I

---

<sup>105</sup> Дружба великого человека — благодеяние богов (фр.)

<sup>106</sup> Гигантомахия — в греческой мифологии битва богов с гигантами, великанами, порожденными Геей из капель крови, пролившейся при оскотлении бога неба Кроноса

Легче познать людей вообще, чем одного человека в частности, говорит Ларошфуко. Это тем более верно, если речь идет о человеке, чья жизнь есть всецело влияние на других. Здесь мы имеем дело с артистом, который играет не в определенные часы и дни, а в течение всей жизни. Он знает, что лицо и личина — одно, как едины душа и тело, и потому не задается вопросом, кому предназначаются восторженные рукоплескания взволнованной им толпы — ему или надетой на него маске. Если он к тому же великий артист (а подлинный артист всегда велик), то он повторяет вслед за Сенекой: «Знай: великое дело играть одну и ту же роль».

Изучая людей подобного рода, чувствуешь, что постоянно обманываешься. Лицо и личина непрестанно двоятся, а попытка сорвать маску равнозначна стремлению понять жизнь, анатомируя труп. Загадка этих людей не в том, что они недостаточно глубоки, а в том, что они даже не поверхностны.

«Вы — дворец в лабиринте», — написала Брамме-лу одна женщина, отчаявшаяся найти подступы к сущности этого человека. Афоризм — каравелла истины, на которой мысль лавирует среди противоречий бытия.

Сама того не зная, эта женщина дала нам ключ к пониманию великого денди. Да, Браммел был лабиринтом, а в лабиринте имеют значение даже ложные ходы и тупики. Не надо бояться заглянуть в них — важно лишь помнить, что нитью Ариадны в этом лабиринте служит тщеславие.

Мимолетный властелин мимолетного мира, Браммел царствовал милостью граций, как выражались о нем современники. Однако влияние этого человека, о котором Байрон сказал, что предпочел бы родиться Браммелом, чем Наполеоном, не ограничивалось сферой моды. Дендизм не имеет синонимов в других языках. Браммел не был ни пошлым фатом, ни безмозглым щеголем. Подобно тому, как Наполеон был мерилем политического успеха, Браммел в глазах людей того времени олицетворял меру вкуса. Само сопоставление этих имен в устах поэта говорит о многом, хотя вряд ли теперь мы можем вполне понять его смысл. Знаменитый фрак Прекрасного немного расскажет о былой популярности его владельца (которая была если не глубже, то шире популярности императора французов, ибо подражать костюмам и манерам Браммела на протяжении двадцати двух лет стремились миллионы людей по всей Европе), поскольку главным шедевром Браммела был он сам. Его фраки и галстуки — только сброшенная кожа змеи, сохранившая великолепный узор, но навсегда лишенная упругой грациозности тела.

В жизни и характерах Наполеона и Браммела можно обнаружить много общего. Правда, те черты Браммела, которые роднят его с Наполеоном, как правило, наиболее остро позволяют ощутить и различие между этими людьми. Это особенно заметно при сравнении тщеславия одного и другого. В титанических свершениях Наполеона угадывается неискоренимая потребность гения превзойти пределы человеческого. Он как бы чувствует, что является чем-то большим, чем мир, к которому принадлежит душой и телом, и потому старается вобрать его в себя; он заглатывает его, как удав кабана, и в утробе страшным напряжением мышц ломает ему ребра, чей хруст и есть те фанфары славы, которые слышны вот уже двести лет. Тщеславие Браммела не менее высокой пробы, но совершенно лишенное честолюбия, также неразрывно связано с миром, но удовлетворяется всеобщим вздохом восхищения, а еще более — молчаливым преклонением. Ему нет нужды потрясать мир, оно чувствует себя в нем монархом, занявшим трон славы по праву престолонаследия. Его спокойствия не возмущают ни лесть, потому что она бесполезна, ни проклятия, которые невозможны. Если Наполеон — это демон славы, то Браммел — ее блаженный.

## II

На пути к славе ему пришлось взять на себя единственный труд — родиться. Джордж Брайан Браммел появился на свет в 1778 году в Вестминстере. Его отец был частным



секретарем лорда Норта, известного тем, что в парламенте он засыпал на министерской скамье в знак презрения к оппозиции. Будучи человеком деятельным и приверженным к порядку, отец Джорджа устроил на этой службе свое благосостояние и остаток жизни провел в Беркшире на должности первого шерифа. Его дом был известен широким гостеприимством. Фокс <sup>107</sup> и Шеридан <sup>108</sup> были в нем частыми гостями и поэтому совсем не случайно Джордж Браммел позднее слыл одним из первых собеседников Англии.

Двенадцати лет он был отдан в Итон, а затем в Оксфорд, где провел четыре года, страдая от холода в комнате и от страха выглядеть не столь элегантно, как более богатые ученики. Трудно сказать с достоверностью, принес ли он свою манеру держаться и одеваться из дому, или выработал ее здесь, но известно, что вскоре за ним укрепились клички *Buck* и *Macaroni* <sup>109</sup>, которые тогда давали законодателям элегантности вместо более общепринятого «денди». Никто не имел большего влияния на товарищей, чем Браммел; он притягивал к себе, он вел за собой, потому что держался на расстоянии. Он, как и Наполеон, словно оправдывал слова Макиавелли: «Мир принадлежит холодным умам».

Браммел вышел из Оксфорда в 1794 году, через три месяца после смерти отца, и был зачислен корнетом в 10-й гусарский полк под начало принца Уэльского. Он не мог пожелать себе лучшего командира.

Они сразу сошлись: «первый джентльмен Европы», как называли наследника престола, гораздо более гордился изяществом своих манер, чем высотой общественного положения. Принцу было тридцать два года, и он стремился сделать блеск своей молодости вечным. «Нарисовать его портрет не составит труда, — говорит Тек-керей. — Сюртук со звездой, парик, под ним — лицо, расплывшееся в улыбке. Но, прочитав о нем десятки книг, перевернувши старые газеты и журналы, описывающие его здесь — на балу, там — на банкете, на скачках и так далее, под конец убеждаешься, что нет ничего и не было, только этот самый сюртук со звездой, и парик, и под ним — улыбающаяся маска; только одна пышная видимость».

Когда-то он был красив и носил прозвище Принц Флоризель <sup>110</sup> — этим именем он подписывал свои письма к актрисе Мэри Робинсон, исполнявшей роль Пердиты. Принц начал свою молодость с изобретения новой пряжки на башмаках: она имела один дюйм в длину, пять в ширину, закрывала почти весь подъем и доставала до полу с обеих сторон. Изобретение имело бешеный успех среди придворных. Однако щеголять изяществом во дворце, где король проводил время, мурлыкая под нос Генделя и проверяя конторские книги, а королева вышивала на пяльцах и нюхала табак, — занятие неблагодарное. Поэтому разгул, в который вскоре ударился принц, был бы извинителен и для человека с менее пылким темпераментом, чем у него. А кровь у принца Уэльского буквально кипела в жилах. Он сделался завсегдатаем всех злых мест Лондона. Молодость канула в бешеной игре, умопомрачительных попойках, неистовом обжорстве и беззастенчивом распутстве. Он был идиолом золотой молодежи; только на сюртуки наследник тратил 10 000 фунтов в год. Он ввел в моду синие фраки с полированными стальными пуговицами, размером с яйцо. Общество мгновенно облачилось в них. Принц, не довольствуясь одной только славой, сумел извлечь из своего нового изобретения и некоторые практические выгоды. Надо сказать, что сам он застегивал фрак только при холоде, другие же в его присутствии должны были быть застегнутыми всегда. Однажды лорд Ярмут сел играть с ним и все проигрывал, пока не

---

<sup>107</sup> Фокс Чарльз Джеймс (1749 — 1806) — лидер радикального крыла вигов. Славился как оратор

<sup>108</sup> Шеридан Ричард Бринсли (1751 — 1816) — английский драматург и политический оратор

<sup>109</sup> Буквально: «самец» и «макаронны», но также и «щеголь», «фат»

<sup>110</sup> Принц Флоризель — персонаж «Зимней сказки» Шекспира

догадался, что его пуговицы, как семь зеркал, отражают его карты. Он тотчас расстегнул фрак, а на гневный взгляд раздосадованного его догадливостью принца простодушно ответил: «Здесь слишком жарко, ваше высочество».

Похождения принца Уэльского стали фактом внутренней политики Англии: помимо ежегодных выплат 120 000 фунтов стерлингов на его содержание, парламент был вынужден погасить два его неоплатных долга — в 160 000 и 650 000 фунтов. Впрочем, народ все прощал ему — ведь принц был большой демократ: он не только давился в толпе вместе с остальными зрителями на боксерских матчах, но и сам любил, скинув сюртук, схватиться на кулачки с каким-нибудь лодочником.

С годами принц Уэльский обрюзг, его мучила одышка и головокружения. Но он продолжал вести прежний образ жизни и гасил приступы дурноты стаканом коньяка. Увы, он старел, вместе с ним старели и делались скучны его собутыльники, и потому Браммел попал ему на глаза как нельзя более кстати. «Со своей лимфатической и застывшей красотой Ганноверского дома, — пишет один из биографов Браммела, — которую он старался одушевить нарядной одеждой, оживить огненной игрой алмазов, имея душу столь же золотую, как и тело, но храня, однако, природную грацию, эту последнюю добродетель придворных, будущий король признал в Браммеле часть самого себя, ту часть, которая оставалась доброй и светлой».

Браммела представили принцу на знаменитой Виндзорской террасе, в присутствии самого взыскательного светского общества. Здесь он и выказал все, что почитал принц: цветущую юность наряду с уверенностью опытного человека; самое тонкое и смелое сочетание дерзости и почтительности; гениальное умение одеваться и замечательную находчивость и остроумие в ответах. С этого момента он занял очень высокое положение в мнении общества, которое затем не покидал уже никогда. Вся аристократия салонов устремила к нему, чтобы восторгаться им и подражать ему.

### III

Пока это было только везение — Браммел «родился с серебряной ложкой во рту»; как говорят англичане. Но у него была и своя звезда, которая решает нашу жизнь за нас.

Байрон сказал о портрете Наполеона в императорской мантии: «Кажется, он родился в ней». То же можно сказать и про знаменитый голубой фрак Браммела, им изобретенный.

В моде можно быть оригинальным, как некий лорд, носивший фрак с одной фалдой с невозмутимостью человека, на чьем сюртуке их было две; можно быть эксцентричным, как золотая молодежь Парижа 1795 года, почтившая конец террора красной нитью на открытой шее и волосами, связанными в пучок на затылке; можно быть глупцом, как член Конвента Жавог, который разгуливал по улицам нагишом в надежде, что такой костюм наиболее соответствует идеалу античности. Ко времени Браммела денди решились носить потертое платье (другие пределы были уже пройдены): прежде чем надеть фрак, они протирали его с помощью отточенного стекла, пока он не становился своего рода кружевом или облаком. Работа была очень тонкая и требовала немало времени.

Браммел одним своим появлением опроверг все их усилия и одновременно вывел денди из положения *lazzaroni*<sup>111</sup> гостиных, сделав дендизм синонимом хорошего вкуса. Его подход к костюму родился в точке пересечения оригинальности, которая не выходит за пределы здравого смысла, и эксцентричности, протестующей против него. Сам Браммел придавал искусству туалета совсем не то значение, которое можно было бы ему приписать. Его портные, Дэвидсон и Мейер, которых многие хотели представить отцами его славы, вовсе не занимали в его жизни много места. Браммела отталкивала сама мысль, что портные могут играть какую бы то ни было роль в его славе, как Наполеон не терпел притязаний

---

<sup>111</sup> Нищие (ит.)

маршалов на славу его побед. Он более полагался на тонкое очарование благородной и изысканной непринужденности, которой обладал от природы. Только в первый момент своего появления в обществе, когда Чарльз Фокс вводил на коврах лондонских салонов красные каблуки, Браммелу пришлось заботиться о форме. Однажды он появился на рауте в перчатках, облежавших его руки как мокрая кисея, так что были видны очертания ногтей. Эти перчатки повергли в благоговейный трепет присутствующих. Но в глазах самого Браммела они имели цену лишь тем, что были изготовлены четырьмя художниками: тремя специалистами по кисти руки и одним — по большому пальцу. Впоследствии, не упраздняя изысканности вкуса своей юности, он упростил покррой и погасил краски своей одежды. Он мог потратить несколько часов на туалет, но, одевшись, забывал о нем, и в этом еще раз сказывалось отличие человека со вкусом от заурядного щеголя.

Он вступил на престол законодателя мод и вкуса так же уверенно, как Наполеон на свой. Все содействовало его необычайной власти, и никто ей не противился. Браммел имел скорее почитателей, чем соперников среди наиболее выдающихся политических деятелей, знати и творческой элиты. Женщины способствовали его славе, разнося ее по всем салонам от Лондона до Петербурга, но Браммел не сделался распутником. Он царствовал, как султан без гарема. Тщеславие душило в нем все другие страсти. У Браммела не было ни головокращения, ни вскруженных им голов — это удваивало его власть над женщинами, так как любая из них, примеривая наряды или прикалывая цветок, думала о его суждении, а не о той радости, которую доставит этим своему возлюбленному. Одна герцогиня на балу чуть не во всеуслышание внушала своей дочери, чтобы та тщательно следила за своими жестами и словами, если случится, что Браммел удостоит ее разговором.

В первую пору он еще ходил на балы, но позднее счел это чересчур обыденным для себя. Явившись на несколько минут в начале бала, он пробежал его взглядом, высказывал свое суждение и исчезал, олицетворяя знаменитый принцип дендизма: «Оставайтесь в свете, пока вы не произвели впечатление, лишь только оно достигнуто, удалитесь».

Все ступени прижизненной славы были пройдены им очень быстро. В двадцать лет Браммел-человек исчез — вместо него появился Браммел-легенда, Браммел-символ. Личина стала лицом.

#### IV

Дендизм несовместим с военным мундиром, даже гусарским. Браммел покидал строй во время занятий, не повиновался приказам полковника, который, впрочем, находился под его обаянием и не был с ним суров: за три года Браммел сделался капитаном. Но когда полк было решено перевести в Манчестер, Браммел подал в отставку. Он сказал принцу Уэльскому, что не хочет оставлять его; на самом же деле он не хотел оставлять Лондон: денди в Манчестере, городе фабрик, так же неуместен, как Наполеон в роли правителя на острове Эльба.

Браммел поселился в Лондоне на Честерфилд-стрит, 4, напротив дома Джорджа Сэлвина — одного из светил моды, которого он затмил. Его доходы не были на уровне его положения, но роскошь Браммела была скорее обдуманна, чем блестяща. Он оставлял ослепляющую пышность другим, сам же никогда не нарушал великую аксиому туалета: «Чтобы быть хорошо одетым, не надо носить одежду, бросающуюся в глаза». Но во всем, что касалось интерьера, экипажа, стола, он не терпел экономии. У него были отличные выездные лошади, великолепный повар и домашняя обстановка в духе аристократического салона. Браммел давал восхитительные обеды, на которых общество было подобрано не менее обдуманно, чем вина. Подобно своим современникам, он любил пить до опьянения, ибо дендизм спасал от скуки только наполовину. Но и пьяный он оставался элегантен и остроумен. Впрочем, понятия о пьянстве тогда сильно отличались от нынешних. Пили все — от денди до министров. Генерал Пишегрю выпивал за обедом двенадцать бутылок шампанского — если в этот день не заключал пари на большее количество или не хотел

удивить кого-либо из гостей. Премьер-министр Уильям Питт отправлялся в парламент, предварительно распив дома бутылку портвейна, а из парламента шел в ресторан Белами, чтобы утолить жажду еще двумя-тремя бутылками. Выражение «пить как Питт и денди» стало пословицей.

Проповедники-моралисты рисовали Браммела куклой без мозгов и души, как и всю эпоху Англии 1794 — 1816 годов — эпоху Уильяма Питта, Фокса, Байрона, Вальтера Скотта и Браммела! — именовали эпохой упадка и безумия. На него смотрели как на существо приземленное и порочное, но его чувственность и порочность были только ложными ходами того лабиринта, которым он являлся. Браммел был весь преисполнен той, так сказать, породистой одухотворенности, которой природа наделяет наиболее удавшуюся ей тварь — будь то лошадь или человек. Он блистал больше выражением лица, чем правильностью черт. Его великолепные локоны, с невыразимым благородством ниспадающие на открытый лоб, были рыжего цвета, а падение с лошади во время атаки навсегда исказило его греческий профиль. Однако манера держать голову была привлекательнее его лица, а осанка — красивее превосходного стана. «Он не был ни красив, ни дурен, — говорит его биограф Листер, — но было во всем его существе выражение утонченности и сосредоточенной иронии, а в его глазах невероятная проницательность». Разве это портрет куклы? Утонченная элегантность поднимала Браммела на вершины духовности, а он в свою очередь одухотворял все, к чему прикасался, — от человека вряд ли можно требовать большего.

Не следует забывать, что Браммел умел выводить из оцепенения общество, охваченное сплином и пресыщенное до предела, при этом сам оставаясь холодным и не жертвуя ничем из личного достоинства. Его уважали за все, даже за капризы. Там же, где на толстокожих не действовала грация, его ум подчинял людей чудовищной силой ироничной насмешливости, ибо, по словам одного французского писателя, ирония всегда заинтересовывает, но никогда не позволяет себя разгадать. Браммел не бросал свои язвительные слова, а ронял их. Его ирония будила ум и будоражила кровь в собеседниках. Порой она была жестокой, но дендизм — дитя скучающего общества, а скука не делает человека добрым. Браммел больше стремился изумлять и подчинять, чем нравиться, а вершина изумления — ужас.

Браммел замешивал свое обаяние на ужасе и симпатии, лаская и царапая. Но действие его иронии было заключено не только и не столько в словах, а и в звуке голоса, линии жеста, наконец даже в молчании. Превосходно владея разговором, Браммел умел быть молчаливым. От него вообще осталось мало слов и приводить их здесь не имеет смысла. Их время прошло, как прошло время самого дендизма.

## V

Наверное, он был счастлив. С 1799-го по 1814 год не было ни одного раута в Лондоне, где бы на его присутствие не смотрели как на торжество, а на отсутствие — как на несчастье. Свет не нанес ему ни одной раны, не отнял ни одной радости. Газеты печатали его имя во главе самых знаменитых гостей. Он был президентом клуба Уатъе, членом которого состоял Байрон. Браммела дарили дружбой самые разные люди — от чопорного Шеридана, навлекшего на себя гнев прекрасного пола тем, что он сделал слепок своей руки как прекраснейшей в мире, до герцогини Девонширской, писавшей стихи на трех языках и не брезговавшей целовать лондонских мясников, чтобы приобрести лишние голоса в пользу Фокса. Поэзия тех лет была полна им; его дух витает над «Дон Жуаном» Байрона. Рассказывали, что мадам де Сталь была в отчаянии оттого, что не понравилась ему. (Ее не переносил также Наполеон — еще одна черта, сближающая двух властелинов мира; но неприязнь императора знаменитая писательница перенесла легко, ибо он отказал ей только в уме, Браммел же усомнился в ее женственности.)

В 1813 году Браммел стоял на невиданной высоте. Его звезда светила так ярко, что начала ослеплять его. Его отношения с принцем Уэльским с некоторых пор сделались весьма натянутыми. Старая, принц тучнел все больше и больше, а Браммел с гордой

насмешливостью неувыдаемой красоты подтрунивал над этим: он перенес прозвище дворцового привратника-толстяка Big Ben (Большой Бен) на его хозяина, а его фаворитку Фиц-Герберт звал Benina. Однажды в Гайд-парке Браммел сказал, метя в идущего принца: «Кто этот толстый человек?» Ни один биограф Браммела не обходит стороной знаменитый анекдот со звонком. Передают, что во время очередной попойки за ужином Браммел, чтобы выиграть самое непочтительное в мире пари, указал принцу на звонок: «Джордж, позвоните». Принц повиновался, но сказал вошедшему слуге: «Уложите в постель этого пьяницу». Сам Браммел отрицал этот рассказ.

Принц не мог потерпеть подобной развязной уверенности в своем могуществе от человека, которого продолжал считать своим протеже, и в 1813 году решил просто отдалить Браммела от себя в надежде, что денди падет сам собой, но тот продолжал стоять, ни на йоту не утратив своего положения в обществе. Более того, до слуха принца дошло, что директоры клуба Уатъе серьезно обсуждали, пригласить ли на устраиваемое торжество принца или нет, так как он поссорился с Браммелом, без которого, очевидно, праздник не состоится. Более всего принца взбесило то обстоятельство, что Браммел с дерзким великодушием настоял на его приглашении. При их следующей встрече принц не сдержал своего дурного настроения, но элегантная холодность Браммела была неуязвима.

Размолвка с принцем обошлась Браммелу сравнительно дешево, он мог делать вид, что ничего особенного не произошло. Но на беду, их ссора совпала по времени с денежными затруднениями, с которыми Браммелу до сих пор удавалось справляться.

В клубе Уатъе играли наиболее рьяно, и Браммел мог оставаться на высоте, лишь играя как все. Он был игрок, и игрок страстный. Неудачная игра значительно подорвала его состояние — основу его элегантности. А в 1814 году, после падения Наполеона, приехавшие в Англию русские и прусские офицеры еще более взвинтили ставки. Это погубило Браммела — он прибег к услугам ростовщиков и погряз в долгах. При этом он начал терять достоинство, в нем появился цинизм, ранее ему не свойственный.

У Браммела было и свое отречение и своя Святая Елена. С математической точностью высчитав время своего разорения, он не стал дожидаться развязки. 16 мая 1816 года, пообедав каплуном, присланным ему Уатъе, он выпил бутылку бордо и велел закладывать карету. 17-го Браммел был в Дувре, а 18-го навсегда покинул Англию. Его вещи были проданы с аукциона. В одной из табакерок нашли его собственноручную записку: «Я предназначал эту табакерку принцу-регенту, если бы он лучше держал себя со мной».

Браммел поселился в Кале, этом убежище английских должников. Остатки его состояния и помощь друзей позволили ему еще несколько лет носить прозвище «царь Кале». Оттуда он перебрался в Париж, но ненадолго. Беседа, составлявшая один из главных элементов его обаяния, сделалась для него невозможной, а Браммел, коверкающий французские фразы, немислим.

Его престиж все же пережил его разорение. Кале надолго превратилось в место паломничества европейской аристократии. Браммел принимал ее у себя с гордой надменностью. Потеряв корону, он сохранил королевские привычки. Когда один лорд прислал ему приглашение на обед, который назначил в три часа пополудни, Браммел ответил, что никогда не ест в этот час и отклонил приглашение. Своих новых подданных «царь Кале» и вовсе стыдился. Однажды некий буржуа, пригласивший Браммела на обед в этот день, приветствовал его, идущего с неким джентльменом. Браммел невозмутимо обратился к приятелю: «Кто это вас приветствует?»

Мир беспощаден к своим свергнутым владыкам, он поражает их в самые уязвимые места. Конец Браммела был ужасен. Король изящества был затравлен нищетой, один из самых блестящих умов эпохи погасило безумие. Палаты сумасшедшего дома стали расплатой за палаты Виндзора. Браммела охватила страсть к элегантности: когда ему кланялись, он не снимал шляпу, боясь испортить прическу; в определенные дни он приказывал прислуге убрать помещение по-праздничному, надевал свой голубой фрак с золотыми пуговицами, пикейный жилет и черные обтягивающие панталоны, как в дни

молодости, и застывал посреди комнаты... Затем он начинал громко выкликать имена принца Уэльского, леди Кон-нигам и прочих высокопоставленных лиц Англии — ему казалось, что они входят к нему. Он предлагал руку дамам, заговаривал с мужчинами — это длилось часами... Вдруг разум возвращался к нему, и он падал в кресло, заливаясь слезами.

Излагать дальнейшее излишне, ибо безумие — самый безнадежный из лабиринтов. Браммел заблудился в нем. Мы же вольны покинуть его, когда вздумается.

## ЗНАМЯ НА ТЮИЛЬРИ

### I

1 января 1814 года префект парижской полиции проснулся несколько раньше обычного — нужно было присутствовать на прощальной аудиенции императора со столичными и имперскими властями перед его отъездом в армию. Открыв глаза, он еще некоторое время понежился в блаженном утреннем тепле постели, потом встал, накинул халат и подошел к окну.

Небо, затянутое пепельно-серыми тучами, обещало скверный, ненастный день. Набережная Сены была безлюдна. Мокрый снег, шедший всю ночь, еще падал редкими снежинками в черную воду; он отметил белыми мазками крыши, карнизы, линию парапета, но на земле стоял или был перемешан колесами экипажей с обычной грязью парижских улиц — у извозчиков этой ночью было много работы.

Префект полиции окинул взглядом привычный ряд домов, теснящихся друг к другу на том берегу, их намокшие, местами облупившиеся фасады за черной сеткой ветвей каштанов и невольно поймал себя на мысли, что больше всего на свете ему хотелось бы провести этот день дома, сидя в кабинете у окна, также с видом на эту набережную, покуривая за чашкой кофе ароматные английские сигары из недавней партии конфискованной контрабанды и листая какой-нибудь, не совсем глупый роман. «И в самом деле, — подумал он, — не послать ли на сегодня все к черту — и аудиенцию, и службу, сказать больным, покапризничать немножко... Было бы славно порыться в библиотеке, найти что-нибудь историческое. Жаль, что теперь не пишут исторических романов: современные герои ужасно плаксивы или чрезмерно добродетельны. Дамы требуют от авторов чувствительности, философии или, что еще хуже, художественного богословия. Читать такие книги — все равно что чистить луковицу: щиплет глаза на каждой странице... Впрочем, вместо романа можно, например, перелистать Безанваля»<sup>112</sup>.

Мемуары с некоторых пор стали излюбленным чтением префекта полиции. Особенно он выделял свидетелей минувшего столетия, у которых находил выгодные отличия от современной изящной словесности: нелитературность чувств и речей, непредсказуемость событий, отсутствие античной мишуры и пространных описаний, которые он с неприятным чувством вины всегда пропускал в романах. Его удивляло то, как мемуарный жанр меняет привычную шкалу оценки книги, как циничность автора вдруг становится желаемой откровенностью, погоня за сплетнями — подбором исторических сведений, погрешности стиля — непосредственностью, длинноты — скрупулезностью, пристрастность — убежденностью. Порой он забавлялся странным сходством некоторых мест в воспоминаниях какого-нибудь блестящего вельможи с донесениями полицейских агентов и доброхотов-осведомителей, но и в этих случаях оставался снисходительным к автору — видел в этом лишнее доказательство жизненной правды написанного. В минуты мысленного злословия, следовавшие за подобными открытиями, префект полиции говорил себе, что мемуары, собственно, и есть донос современника на свою эпоху, как, возможно, и вся

---

<sup>112</sup> «Мемуары» П.В. де Безанваля (1722 — 1791) были изданы в 1806 г.

литература является одним большим доносом на человеческий род. Конечно, возникал вопрос, кому адресуется этот донос, но префект полиции был атеист и потому относил этот вид доносительства к числу объективно бескорыстных порывов человеческой души.

И все же главное заключалось в том, что префект полиции предавался чтению мемуаров не без тайного умысла. Мысль о составлении собственных Записок все чаще приходила ему в голову, и префект полиции, будучи неискушен в сочинительстве, искал среди признанных авторитетов жанра некий образец для подражания. Безанваль, по его мнению, был одной из подходящих фигур.

«А что, уж если я остаюсь дома, то не начать ли сегодня, прямо сейчас?» — подумал вдруг префект полиции. От этой мысли сладко заныло под ложечкой, и он в волнении отошел от окна. Неизведанная прелесть авторского уединения в тиши кабинета, над грудой документов и рукописей овладела его воображением. «Конечно, сегодня же и начать! Набросать план, рассортировать документы, переписку, донесения, отчеты... О, это будет великий труд! Один только архив потребует не меньше месяца... Нет, какой там месяц — больше!.. Ах, как долго, но что поделаешь...»

Он подошел к камину и в задумчивости погладил остывшие камни. "О чем же, собственно, я собираюсь писать? Ну, это, положим, более или менее ясно, — о том, как сын сельского ветеринара, волонтер 1793 года, неглупый, честлюбивый, целеустремленный, благодаря давнему знакомству с неким учителем монастырской школы сумел впоследствии, когда этот учитель в результате известных событий успел стать министром полиции Французской республики <sup>113</sup>, оказать ему кое-какие услуги, которые не были забыты; после чего целеустремленный сын сельского ветеринара еще не раз засвидетельствовал свою расторопность и преданность, в частности при поимке Кадудалья <sup>114</sup>, и был назначен префектом парижской полиции. Этот город исповедал мне свои грехи. Да, за полтора десятка лет — и каких лет! — я видел всех выдающихся людей Франции, о большинстве из них я знаю все, или почти все, — то есть то, что знают о них их жены, друзья, лакеи и любовницы: не очень выгодный ракурс для знаменитости, да и не столь интересный, как это принято думать. Хотя, что говорить, случаются прелюбопытные историйки... Впрочем (моим читателям будет интересно узнать мое мнение на этот счет), мои наблюдения приводят к выводу, что среди людей, которых называют гениями, редко встретишь подлинно утонченные формы разврата, подлости, низости и прочих мерзостей, обычно составляющих так называемую частную жизнь. Все это, конечно, есть и у них, особенно разврат, столь же неотвязно сопутствующий гению, как нимб святому, но их эгоизм наивен, как у ребенка, и потому чаще всего привлекателен и неотразим. Иное дело посредственность, имеющая в руках власть и средства цивилизации, — о, здесь есть на что посмотреть!.. Зато в общественной жизни, в политике эгоизм заурядного человека столь же наивен, как у гения в частной жизни. Отчего это? Не берусь судить. Однако мой совет читателям таков: не ждите от гения чего-нибудь выдающегося в разделе бульварной хроники. Кто не верит мне, пусть сравнит в «Жизнеописаниях» Светония банальные грешки Цезаря с изощренным греховодни-чеством Тиберия, Калигулы, Вителлия или любого другого божественного скота. Итак, знаменитости, конечно, займут подобающее место в моих Записках, но будет несправедливо, если я опишу только высшие классы. Париж воров, бродяг, проституток и подмастерьев — не менее любопытное зрелище: я ведь имел возможность сравнивать. Ах, какие сюжеты я мог бы подсказать писателям — это настоящее золотое дно для литературы! Но кто из них найдет в себе смелость сделать героем романа сыщика, или, как выражаются

---

<sup>113</sup> Речь идет о Ж. Фуше, герцоге Ортрантском (1759 — 1820), видном деятеле революции и министре полиции в 1799 — 1811 гг. и в 1815 г.

<sup>114</sup> Кадудаль Жорж (1771 — 1804) — один из предводителей шуанов, организатор покушений на Наполеона в 1800-м и в 1803 гг. Казнен

по ту сторону Ла-Манша, *detectiv'a*? Боюсь, что наши дамы сочтут такого автора непристойным. Страшно себе представить: главный герой входит в салон и рекомендует: «Я — сыщик!» Нет, до тех пор, пока романы пишутся для дам, такой автор обречен ходить в литературных изгоях <sup>115</sup>. Однако, — вновь парадоксы жанра, — в мемуарах префекта полиции уголовные истории будут вполне уместны и не должны вызвать негодование. У меня есть чем побаловать публику. Ошибается тот, кто думает, будто нравы простонародья целомудреннее разврата, царящего в парижских салонах. Везде одни и те же страсти, внизу, пожалуй, даже больше распушенности, ибо меньше условностей.

Что бы там ни говорили, но аристократ не зарежет своего соседа за два су. С другой стороны, конечно, жестокость голодного бандита более понятна и извинительна, чем людоедство в белых перчатках. Впрочем, я воздержусь от оценок. Достаточно и того, что мой баронский титул не заставил меня забыть свое происхождение, — это обстоятельство послужит мне защитой об обвинений в предвзятости".

Нарастающий грохот приближающегося экипажа прервал его размышления. Цоканье копыт звонко раздавалось в утренней тишине по всему кварталу. Шум смолк под самым окном дома префекта полиции. «Неужели ко мне? — удивился он. — Что еще случилось в такую рань?» Он поспешно выглянул вниз. На улице из обычной закрытой повозки, путаясь в плаще, торопливо вылезал молодой человек, в котором префект полиции сразу узнал Рошамбо, чиновника своей префектуры, несшего сегодня ночное дежурство. Префект полиции нахмурился и, поплотнее запахнув халат, спустился в гостиную. Вошедшей горничной он сделал знак, что не нуждается в докладе и приказал впустить посетителя. Рошамбо не заставил себя ждать.

— Тысяча извинений, господин префект... — начал он еще на ходу, как только завидел своего начальника, но тот прервал его:

— К черту извинения, Рошамбо... Что случилось?

— Неотложное дело, господин префект. На площади Карусель собирается толпа. Я счел необходимым поставить вас в известность. В такой день...

— Что за толпа, Рошамбо? Выражайтесь яснее!

— Ничего определенного, господин префект, пока что человек полтора, но люди все прибывают — обоего пола, всех возрастов и состояний. Общественный порядок ничем не нарушается, но цель собрания неизвестна.

— Почему?

— Из-за ночных гуляний все агенты были задействованы, но за ними уже послано. Думаю, что к этому часу они уже на месте.

— Хорошо, Рошамбо, ждите меня здесь.

Префект полиции позвонил и приказал прислуге подать горячую воду и платье. «Что ж, мемуары придется отложить, — думал он, поспешно намыливая щеки и подбородок. — А может быть, и в самом деле еще не время? Подождем, чем закончится эта война. Ведь, в конце концов, важно не то, что я напишу в мемуарах, а то, в каком виде я захочу предстать перед читателями, — не отдаленными потомками (о, для них я писал бы весело, не стесняясь!), а перед современниками, для которых и пишется большинство мемуаров. Возможно, еще следует подумать, нужно ли заострять внимание на моем ветеринарском происхождении... А, черт, порезался!»

В экипаже префектом полиции окончательно овладело дурное настроение. Он поминутно чувствовал, как пропущенные волоски на выбритом наспех подбородке больно цепляются за воротничок. Сидевший напротив Рошамбо избегал встречаться с ним взглядом.

Постепенно размышления префекта полиции принимали все более тревожный оттенок.

---

<sup>115</sup> Впервые литературный герой представится подобным образом в романе Ч. Диккенса «Холодный дом» (1850): «Я — Баккет, из детективов. Я — агент сыскной полиции». Однако уже в 1830 — 40-х гг. основатель Сюрте (французской уголовной полиции) Эжен Видок, о мемуарах которого столь неодобрительно отзывался А.С. Пушкин, неоднократно подсказывал сюжеты для романов О. Бальзаку и другим писателям



Толпа перед Тю-ильри в день отъезда императора в армию, без сомнения, не могла предвещать ничего хорошего. Всплеск народного энтузиазма и патриотизма был запланирован на вторую половину дня, — он сам согласовал детали с министром полиции. Следовательно, если сходка и запланирована, то не им. Тогда кем? «Хорошенькое дельце, — думал префект полиции, зябко кутаясь в соболью шубу, — довоенный подарок русского посланника, — интересно, знает ли уже об этом Савари?» Впрочем, гораздо сильнее осведомленности министра полиции его интересовал император: знает ли он? «Наверное, знает. Встает ни свет ни заря...» Префект полиции недоумевал: самые точные сведения говорили о том, что никакого широкого заговора в Париже еще нет. Роялисты расклеивают прокламации, либералы должны выразить свое негодование в почтительной речи на сегодняшней аудиенции; кажется, как всегда, немного интригует Талейран, и, как всегда, главным образом в свою пользу. Парижане все еще обожают республику и императора, хотя и с удовольствием распевают «Короля Ивето» — антинаполеоновские куплеты некоего Беранже. «Тогда что же, стихийные беспорядки?» Но опыт префекта полиции отрицал существование стихийных беспорядков.

Все сомнения, Впрочем, быстро отпали, как только коляска префекта въехала на площадь Карусель перед Тюильри. Префект полиции сразу приник к окошку и через минуту с облегчением откинулся назад. Его взгляд, устремленный на Рошамбо, стал таким ласковым, что молодой человек с недоумением в свою очередь приник к окну, сняв с головы высокую шляпу.

«Слава Богу, это только зеваки. И чтобы установить это, ему были нужны агенты!.. Боже, какими идиотами я команду», — весело думал префект полиции, наслаждаясь замешательством Рошамбо.

Причина скопления народа была ясна при первом же взгляде на площадь. Все собравшиеся перед дворцом глядели в одном направлении — поверх щеголеватой дворцовой решетки на крышу главного павильона Тюильри. Там, на месте привычного трехцветного полотнища, развевалась какая-то черная тряпка <sup>116</sup>.

Префект полиции вышел из повозки и с наслаждением вдохнул холодный воздух. «Все в порядке, это не по моей части. Бедный комендант...» Он направился ко дворцу, расталкивая людей. Со всех сторон слышалось обсуждение того, кто и зачем решил подшутить над императором в его собственном дворце. Кое-кто даже громко называл предполагаемое имя смельчака. Префект полиции шел, не прислушиваясь: он уже заметил в толпе своих людей. Кроме них, там и тут сновали какие-то личности, вероятно роялисты, рассовывая в руки зевак небольшие листки. Один такой листок с любопытством разглядывал полицейский агент. Проходя мимо него, префект полиции сердито вырвал листок из его рук, быстро взглянул — косматый казак вручает Наполеону визитную карточку русского царя и куплеты внизу — и, смяв, отбросил: уже видел.

## II

Было около восьми часов, когда префект полиции, миновав двух огромных гренадеров в шинелях, неподвижно застывших под бронзовыми конями на главных воротах, поднялся по дворцовой лестнице. Сбросив шубу и шапку на руки лакеям, он быстрым шагом пересек Маршальский и Тронный залы и очутился в парадном кабинете императора. Находившиеся там несколько человек обернулись в его сторону и молча раскланялись. Это были министр полиции Савари, плац-адъютант Оже, обер-церемониймейстер Сегюр, дворцовый комендант и два гоф-фурьера. Префекту полиции доставило некоторое удовольствие то, что из начальников остальных четырех полиций империи его опередил один Савари, хотя все они, — префекту полиции это было прекрасно известно, — узнали о случившемся

---

<sup>116</sup> Действительное событие, отмеченное в мемуарах современников

одновременно с ним самим. Спустя несколько минут один за другим прибыли коллеги: начальник тайной полиции, главный инспектор жандармерии и, последним, начальник почтового ведомства — его, впрочем, данное происшествие касалось меньше всего.

Комендант был совсем плох. Это никого не удивляло; однако никто из присутствующих и в мыслях не имел упрекнуть его в недостатке хладнокровия. Вспышки императорского гнева были хорошо знакомы каждому из них, они наводили леденящий ужас не только на провинившегося, но и на всякого, кто волей-неволей становился их свидетелем. Поэтому людей, присутствовавших сейчас в кабинете, не успокаивало даже то, что вина коменданта была слишком очевидна, чтобы опасаться за себя. Конечно, ничего из ряда вон выходящего в случившемся тоже не было: проникнуть во дворец было легко. Любой парижанин знал, что караул в Тюильри невелик и охраняет, главным образом, внутренние покои императора. Это было распоряжение самого Наполеона, сохранявшееся неизменным пятнадцатый год, со времен консульства. Было очевидно, что на этот раз жизнь императора не подвергалась опасности (впрочем, внести в этот вопрос окончательную ясность — дело министра полиции). Некоторая пикантность происшествия заключалась в том, что оно случилось именно сегодня, накануне отъезда императора в армию: Наполеон был чрезвычайно чуток к неблагоприятным предзнаменованиям. Никакого сочувствия комендант, однако, тоже не вызывал — в Тюильри привыкли к частой смене комендантов.

Поговорили о последних новостях, о новогоднем маскараде в Тюильри и ратуше, о вчерашнем «Отел-ло» с Тальма в заглавной роли.

— Тальма совершенно перестал играть во французских трагедиях. Кажется, он почти презирает их!..

— О, вы правы. Это наше вечное самоуничужение!

— Теперь он черпает вдохновение в необузданных страстях этого Шекспира, от которого нынче без ума вся Германия.

— Но когда немцы были законодателями литературной моды?

— Я думаю, что Шекспир не для Парижа. Здесь слишком тонко чувствуют... Старина Дюси, при всем своем таланте, едва ли смог облагородить этого английского варвара.

— И все же некоторые его сцены недурны. В них есть нечто от высокой поэзии.

— Но душить женщин, фи!.. Слава Богу, у Дюси хватило ума и вкуса оставить Дездемону в живых.

— Говорят, что Тальма близок к душевному расстройству. Вчера, в роли мавра, он был как-то особенно дик. Вы обратили внимание? Эти блуждающие глаза, эти телодвижения помешанного... Моей даме стало дурно. Клянусь, был момент, когда я боялся за актрису!

— Кстати, как вы находите мадам в роли Дездемоны?

— М-м.. Наша красавица уже в возрасте. К тому же у нее опавшая грудь, но, не касаясь этого, в остальном она все еще великолепно сложена...

Разговор поддерживали главным образом дворцовые офицеры. Прочие отделялись репликами или молчали. Начальник тайной полиции обдумывал, как связать сегодняшнее происшествие с действиями роялистов, — знал, что на доводы в пользу роялистского заговора император охотнее всего сделает вид, что верит. Не верил в заговор, разумеется, и сам начальник тайной полиции: считал, и не без основания, что заговор может возникнуть не раньше того времени, когда союзная армия окажется в двух лье от Парижа. Он решил, однако, поговорить об этом с министром полиции, чтобы склонить его в пользу своего мнения. Был уверен, что ему удастся без труда убедить в своей правоте Савари, полного профана в полицейской службе, сменившего на посту министра всезнающего Фуше.

Савари, действительно, совершенно не представлял, что скажет императору. Как всегда в затруднительных случаях, — а для Савари почти каждый случай был затруднительным, — полицейская деятельность представлялась ему самым большим недоразумением в его жизни. В минуты откровенности он признавался себе, что его главной добродетелью, как министра, было, пожалуй, чрезмерное утомление себя работой. В этом, впрочем, он ничем не отличался от прочих министров Наполеона. Савари утешал себя тем, что если император, который, без

сомнения, не заблуждался на его счет, держит его на этом посту, значит, так нужно для блага Франции. Император все делал исключительно для блага Франции. И все же мысли об отставке приобретали в последнее время в глазах Савари все большую привлекательность.

Плац-адъютант Оже был предупредительно учтив с комендантом и размышлял, кому следующему император поручит эту хлопотливую должность. В общем, кандидатура не имела особого значения, поскольку последние десять лет фактическим негласным комендантом Тюильри был сам Оже. Все же некоторые нюансы — покладистость, веселость характера, умение пить — следовало учитывать. Этот, бывший, был не из зануд.

Префект полиции, человек общительный и недурной остротой, тяготился молчанием. Он пожалел, что не сунул в карман листок с карикатурой: можно было бы развлечь общество.

Аудиенция была назначена на девять. К половине девятого салон стал наполняться придворными, чиновниками, депутатами Законодательного корпуса. Зал запестрел мундирами всевозможных цветов и покроев, с богатым золотым шитьем (придворный блеск всегда был предметом особой заботы Наполеона). Вошли архиканцлер Камбасерес в фиолетовом мундире, Лебрен — в черном мундире главного казначея, Талейран, сменивший красный обер-камергерский мундир на пунцовый вице-великого курфюрста; министры, сенаторы, каждый в своем облачении, перемешались с синими, зелеными, белыми генеральскими мундирами.

Сразу стало шумно. Префект полиции оживился и с самым любезным видом начал прохаживаться между образовавшимися группами сановников и военных. Ему доставляло чрезвычайное удовольствие наблюдать надменное великолепие людей, о каждом из которых он знал решительно все — от процента, получаемого ими на биржевых спекуляциях, до количества и сравнительного достоинства их любовниц. «Поразительно, — думал он, — как Наполеону удалось не только понаделать из бывших сапожников и торговцев полновесных князей и баронов, но и заставить их совершенно искренне забыть свое плебейское прошлое. Хотя кто из них сейчас способен на какую бы то ни было искренность? Она невозможна при столь полном обращении в придворных, — а император ничего не делает наполовину. И все-таки я испытываю к ним какое-то сложное чувство, видимо, чем-то родственное чувствам пастыря после исповеди прихожан: в нем и теплота, и грустная умиленность, и черт его знает что еще, — в общем, все ингредиенты любви, но не сама любовь... Ого, кажется, мои утренние литературные размышления настроили меня на философский лад!» Ему было известно, что старые придворные, помнившие тот, настоящий, двор Бурбонов, почти открыто презирали новую знать и новый этикет (самого императора могли ненавидеть, но презирать не смел никто). Он помнил, как на одном из съездов германских вассалов Наполеона в Париже кто-то из монархов (подлинный король, не из тех, выпеченных на *fabrique de sires* <sup>117</sup>) довольно громко сказал Наполеону, указывая на его придворных: «Я приказал бы повесить половину этих людей, а остальными заполнил бы свою прихожую». Сам префект полиции был далек от подобных мыслей, порой даже с недоумением предчувствовал, что через каких-нибудь три-четыре десятка лет большинство этих людей войдет в легенду, как уже становились легендой Робеспьер, Дантон и многие другие, некогда безвестные люди. Правда, механизм складывания легенд префект полиции относил к области непостижимого. Кроме того, он не испытывал никакого почтения к старой аристократии — те же страстишки, только побольше лоска и остроумия (навсегда запомнил прочитанное когда-то в «Гулливере»: «Аристократ — это несчастный человек с прогнившим телом и душой, который вобрал в себя все болезни и пороки, завещанные ему десятью поколениями развратников и дураков»). Однако для салонной беседы предпочитал старую аристократию. В этом можно было усмотреть противоречие, но префект полиции охотно и даже с некоторой гордостью допускал в себе противоречия — относил их к сложности своей натуры

---

<sup>117</sup> Фабрика королей (фр.) — Так парижские остряки называли Тю-ильри

(противоречия в других расценивал как недостаток ума).

Кружки в салоне составились главным образом вокруг Камбасереса, Бертье и Лебрена.

В кружке Камбасереса явно скучали. Несмотря на свой жизнелюбивый характер, архиканцлер, как это часто случается с эпикурейцами, с годами сделался довольно тяжелым для окружающих человеком. Излюбленной его темой стало состояние его здоровья, о котором он мог говорить часами с кем попало и где угодно. Вот и сейчас, Камбасерес, не обращаясь ни к кому в отдельности, обстоятельно описывал, какой его орган дал о себе знать нынче утром, каков был характер болей и что думают о его недомогании медицинские светила Парижа. Эти разговоры люди несведущие принимали за проявление ограниченности, начинающегося слабоумия или за невоспитанность. На самом же деле Камбасерес уже так давно находился на той ступени власти, которая позволяет неограниченно распоряжаться благосостоянием и жизнью миллионов людей, что чувствовал себя неотъемлемой деталью сложнейшей государственной машины, и потому совершенно искренне считал необходимым сообщать сведения о здоровье этой важной детали с той же долей серьезности и основательности, с какой он говорил о других государственных делах. К тому же подробные ответы на вопросы, задаваемые из учтивости, были для Камбасереса самым простым способом дать выход своему обычному равнодушию к людям, не задевая их при этом. Тем не менее большинство людей, толпившихся вокруг него, по тем или иным причинам считали для себя полезным знать о состоянии печени и почек архиканцлера, а те немногие, кто оказался рядом просто из любопытства, опасались чересчур демонстративно недослушать речь второго лица империи. Префект полиции не относил себя ни к тем, ни к другим, но все же посчитал необходимым здесь задержаться.

В который раз он поразился перемене, происшедшей в облике архиканцлера за последние месяцы. Камбасерес действительно очень сдал. Его исхудавшее длинное лицо стало еще безобразнее, необычайно желтая кожа пожелтела еще больше, достигнув какого-то неестественного оттенка. На этом изможденном лице одни глаза, обведенные темными кругами, поражали неожиданно живым, удивительно проницательным взглядом.

Причиной ухудшения состояния Камбасереса были не столько выставляемые напоказ недуги, сколько непоправимые события минувшей осени. Лейпцигская катастрофа и подход союзной армии к Рейну буквально лишили его сна. Гений Наполеона явно иссекал вместе с людскими ресурсами Франции, а перспектива возвращения в страну Бурбонов, казавшаяся столь дикой еще полгода назад, становилась легко угадываемой политической неизбежностью. Камбасерес, подобно Талейра-ну и еще нескольким другим умным людям, понимал, что на смену Наполеону может прийти только старая династия. Именно эта, неопровержимо-ясная для него мысль повергала Камбасереса, цареубийцу, произнесшего двадцать один год назад роковое *la mort* <sup>118</sup>, в состояние даже не отчаяния, а ледяной апатии, из которой уже не выводили ни развлечения, ни участвовавшие в последнее время шуточки императора, прежде приводившие архиканцлера в холодную ярость: «Мой бедный Камбасерес, в этом нет моей вины, но твое дело ясно: если Бурбоны возвратятся, то они отправят тебя на виселицу». Привычные радости больше не таили для умевшего пожить архиканцлера ничего привлекательного. Он перестал ездить в театр (раньше бывал в нем каждый день) и интересоваться женщинами. По старой привычке еще давал свои знаменитые обеды (считал, что не может быть хорошего правительства без отличного стола, и любил повторять, что обед, заслуживший всеобщее одобрение, — это его Маренго и Фридланд <sup>119</sup>, но сам на них в основном тяжело пил, не думая о неизбежных коликах в печени. Он воскрешал в памяти страшные дни террора, ежедневной, ежечасной борьбы за власть, —

---

<sup>118</sup> Смерть (фр.). Этим словом в 1792 г. большинство членов Конвента проголосовало за казнь Людовика XVI

<sup>119</sup> Маренго и Фридланд — места знаменитых побед Наполеона

тогда это означало и за жизнь, — и пытался вернуть себе былую уверенность, умение нащупать порой единственную спасительную нить, ведущую из лабиринта интриг к новому величию, новому могуществу, но лишь с ужасом все тверже убеждался в собственном бессилии. Трезвый расчет показывал тщетность любых усилий. Теперь надежда была только на счастливую звезду маленького располневшего человека в сером военном сюртуке, некогда так кстати оказавшегося под рукой <sup>120</sup>. И архиканцлер все чаще ловил себя на мысли, что впервые в жизни он готов положиться на столь странную для политика опору.

Вокруг Бертье собрались все те, кто хотел услышать последние известия из армии — таких в салоне было большинство. Князь Невшательский и Ваграмский расположился на диване в своей любимой позе — почти развалился. Он был невысок ростом и дурно сложен. Все в его облике было как-то нехорошо: голова чересчур велика, неопределенного цвета волосы слишком курчавы; руки, безобразные от природы, сделались с возрастом просто ужасны, на концах длинных узловатых пальцев запеклась кровь (Бертье постоянно грыз пальцы, даже в разговоре). Эта привычка, в совокупности с заиканием, сопровождавшимся чрезвычайно живыми гримасами, делала Бертье очень выгодной фигурой для салонных остряков. Одежда начальника Генерального штаба Великой армии отличалась исключительной простотой — всегда и везде он был одет так, что мог явиться к Наполеону по первому же вызову, в любое время дня и ночи. Под мышкой Бертье сжимал кожаный футляр с топографическими картами восточной границы Франции. По поступившим к нему сведениям союзные армии переходили Рейн двенадцатью или пятнадцатью колоннами на протяжении от Базеля до Кобленца, имея только в первом эшелоне не меньше двухсот пятидесяти тысяч солдат. Сорок шесть тысяч человек, сосредоточенные в корпусах Мармона, Макдональда, Виктора и Нея, медленно откатывались перед неприятельской армадой. То была лишь тень армии, среди которой к тому же свирепствовал тиф. Из Майнца комендант доносил, что поутру всюду находят мертвых солдат, лежащих вповалку: «Пришлось наряжать каторжников, чтобы свалить трупы на большие телеги, обвязав их веревками, словно снопы с сеном. Каторжники не хотели идти на эту работу, но им пригрозили картечью».

Собственно, Бертье, как и Наполеон, не нуждался в картах для того, чтобы представить себе картину вторжения. Вся Европа с ее ландшафтом, городами и местечками размещалась в его голове еще со времен революционных войн. Бертье мог описать местность, в которой никогда не был, так же обстоятельно, как если бы недавно вернулся оттуда. Ясность, с которой он представлял самые сложные движения войск, наряду с замечательным талантом топографического черчения (еще Людовик XVI поручал ему рисование карт королевской охоты) и обеспечивали ему бессменное пребывание в должности начальника штаба во всех походах Наполеона. Очень давно кое-кто делал попытки столкнуть Бертье с Наполеоном, приписывая головокружительные победы молодого главнокомандующего итальянской армии кропотливой работе начальника его штаба. Но поссорить их не удалось. На все интриги Наполеон реагировал одной короткой фразой: «Бертье — это скотина!» — и только. Он слишком хорошо знал ограниченность военных дарований Бертье, его полную неспособность к инициативе, слишком твердо верил в свою безраздельную власть над его волей (так оно и было), чтобы опасаться в нем соперника. С русского похода император часто злился на него при неудачах, сваливал всю вину за них на просчеты в штабной работе, презрительно бросая в лицо Бертье: «Я знаю, что вы ничего не стоите, но, к вашему счастью, другие этого не знают», — однако обойтись без этой нетребовательной тени своего военного гения уже не мог.

Когда префект полиции оставил кружок Камбасере-са и перешел к кружку Бертье, здесь уже завязался оживленный разговор. Обступившие Бертье штатские забрасывали вопросами двух известных генералов, ко-горые чрезвычайно охотно высказывали свое

---

<sup>120</sup> Камбасерсс был одним из тех, кто в 1799 г. обеспечил приход Наполеона к власти

мнение в присутствии начальника штаба. Сами того не замечая, они уже втянулись в профессиональный спор о предпочтительных достоинствах оборонительных линий Ша-гильон — Верден и Шомон — Мец. Собственно, вопросы штатских косвенно предназначались самому Бертье, но тот, несмотря на свою обычную учтивость, безучастно грыз пальцы. В голове князя Невшательского и Ваграмского беззвучно маршировали пятнадцать неприятельских колонн. Они захватывали без боя неукрепленные города, обходили укрепленные пункты, прикрывая их заслонами, и устремлялись прямо к сердцу Франции — Парижу. На крайнем левом фланге Бубна овладевал Женовой и направлялся к Лиону через Юрские горы и долину Соны; в центре армия Швар-ценберга подходила к Дижону, Лангру и Бар-сюр-Об; на правом фланге оба корпуса Блюхера через Лотарингию выходили к Сен-Дизье и Бриенну. К концу января концентрация союзных войск должна была завершиться на пространстве между Марной и истоками Сены и тогда противостоять их дальнейшему продвижению в глубь Франции становилось невозможным. В мозгу Бертье постепенно всплывали два пункта: Ша-лон и Шомон — предупредить концентрацию союзных армий французские войска могли, только находясь в одном из этих городов. В каком именно? Бертье напряженно обдумывал оба варианта, боясь ошибиться, как в 1809 году, когда он, неправильно выбрав пункт сосредоточения, чуть было не поставил под угрозу всю кампанию в Австрии. Тогда понадобились весь гений Наполеона и невероятное везение, чтобы поправить ошибку. Теперь же речь шла о Франции! Бертье чувствовал страшную тревогу (Францию любил искренне: через год он покончил с собой, выбросившись с балкона при виде победных неприятельских колонн) и одновременно испытывал облегчение от того, что ответственность сейчас лежит не на нем, что рядом есть император, который, вероятно, уже знает правильное решение. В военную непогрешимость Наполеона Бертье верил безоговорочно.

Напряженную сосредоточенность начальника штаба префект полиции объяснил про себя его очередным любовным увлечением. Влюбчивость Бертье была хорошо известна, как и забавные ситуации, в которые он порой попадал из-за чрезмерной пылкости. Однако новая избранница князя Невшательского и Ваграмского, кажется, не стоила того, чтобы впасть из-за нее в меланхолию. «Впрочем, — подумал префект полиции, — в его годы любовные огорчения сопутствуют мужчине с удручающим постоянством». Кто-то в нем усмехнулся. «Да, да, разумеется, в наши годы», — нехотя поправил он себя.

Взгляд префекта полиции задержался на Талейра-не. Опальный министр иностранных дел стоял особняком, в совершенном одиночестве. Его глаза не выражали ничего, кроме ледяного презрения. Придворные задерживались возле него ровно столько, сколько требовала учтивость, и поспешно отходили: никто не решался открыто демонстрировать близость к человеку, о котором император выражал сожаление, что он до сих пор не расстрелян. «Конченный человек, а жаль», — подумал префект полиции (ошибался в этом, как все <sup>121</sup>). Он никогда не мог преодолеть в себе невольного восхищения умом великого дипломата. Он улыбнулся, вспомнив ходячие остроты Та-лейрана и пожалел, что Фуше нет в Париже. В затянувшейся словесной дуэли бывшего министра полиции, говорившего, что если бы на свете не существовал Талейран, то его, Фуше, считали бы самым порочным и лживым человеком, и бывшего министра иностранных дел — этих двух, быть может, самых невеселых людей Франции — префект полиции держал сторону Талейрана, чье определение министра полиции как человека, «который сначала заботится о делах, которые его касаются, а затем обо всех тех делах, что его совсем не касаются», считал универсальным, делая единственное исключение для Савари. Кроме того, префект полиции не шутя прибавлял имя Талейрана к именам семи греческих мудрецов, так как считал, что человек, сказавший: «Прежде всего — не быть бедным!» — стоит от истины не дальше тех, кто учил, что человек

---

<sup>121</sup> Талейран возглавил антинаполеоновский заговор в марте 1814 г. и обеспечил реставрацию Бурбонов. Позднее вновь занял кресло министра иностранных дел

— мера всех вещей и что надо познать себя.

Он поклонился Талейрану. Тот вернул поклон, не меняя выражения лица. Префект полиции нисколько не обиделся — напротив, еще раз восхитился совершенной непроницаемостью этого человека.

Со стороны группы финансистов, обступивших главного казначея, доносился раздраженный голос какого-то банкира: «Размен не больше двенадцати франков за тысячу на серебро!.. Пятьдесят франков на золото! Это черт знает что, господин Лебрен! Вы должны отменить лимит по ссудам...» Лебрен слабо возражал: «Но, господин барон, император собирается укрепить акции государственного банка наличностью из своей казны. Господа, биржа не может и дальше играть на понижение в такой момент...» Префект полиции с интересом прислушался. Подобно большинству владельцев ценных бумаг, он терпел значительные убытки из-за падения их стоимости. К тому же на него распространялся двадцатипятипроцентный вычет из жалованья гражданских чиновников. За минувший год ему пришлось наполовину сократить расходы. Нехватка звонкой монеты ощущалась им весьма болезненно — не терпел экономить на удовольствиях. Особенно его раздражала все возрастающая капризность прислуги. «Ох, скоро будем жить совсем без денег. И как тогда все будет?» Представить такую жизнь ему, однако, никак не удавалось; впрочем, не очень и хотелось.

Дослушать речь главного казначея префекту полиции не дал один знакомый генерал, который, взяв его под локоть, начал бурно выражать негодование действиями начальника тайной полиции. Оказывается, заслуженный вояка хотел устроить званый обед на двадцать персон, — только для своих, — о чем, в соответствии с правилами военного времени, известил начальника тайной полиции. Тот, однако, заупрямился, ставя неперенным условием присутствие на обеде своего агента. Дойдя до этого места своего рассказа, генерал обиженно умолк. Префект полиции оглянулся на начальника тайной полиции, принявшего незаинтересованный вид, и любезно улыбнулся генералу, прося переходить к сути просьбы. Генерал хотел, на правах, так сказать, старой дружбы, чтобы префект полиции некоторым образом поручился за его лояльность перед министром полиции, избавив тем самым от необходимости приглашать в дом филера.

Префект полиции размышлял недолго. Соблазн досадить конкуренту был слишком велик.

— Список приглашенных у вас с собой? — сказал он генералу. — Дайте мне.

Просмотрев не больше трети списка, префект полиции улыбнулся и вернул бумагу — он уже увидел имена двоих своих осведомителей.

— Любезный друг, вам не о чем беспокоиться. Я переговорю с Савари. Я вижу, что у вас собирается хорошо подобранное общество. Вам нет необходимости приглашать в него незнакомых лиц.

И в восторге от шутки, понятной только ему самому, префект полиции направился к Савари, с наслаждением чувствуя на своей спине взбешенный взгляд начальника тайной полиции.

### III

Рабочее утро Констан Вери, камердинера Наполеона, начиналось без четверти семь. На него возлагалась обязанность будить императора. Констан служил у Наполеона четырнадцать лет (прежде был камердинером Жозефины). За это время у него было два отпуска: три дня и неделя. Констан был малообразован, писал несуразно крупными буквами, без всяких правил орфографии; зато был умен, скрытен и исполнен своеобразного достоинства. Как и все камердинеры Парижа, состоял осведомителем полиции. Наполеон знал об этом и закрывал глаза — понимал, что иначе не может быть, достаточно и того, что Констан умел быть скромным относительно своего коронованного господина. Эти ценные качества приносили Констану шесть тысяч франков годового жалованья с доплатой двух

тысяч франков на платье, кроме того, казна оплачивала ему квартиру в семь комнат, стол на четыре куверта, карету с упряжкой и кучером, ежегодный бесплатный вход на четыре больших представления при дворе. Помимо всего этого, экстренные выплаты императора за беспокойство во время походов за годы империи составили 261 000 франков. Упомянутое же достоинство камердинера императора состояло в том, что Констан категорически отказывался признавать то, что он хоть чем-нибудь обязан Наполеону. Как ни странно, но именно «лакейской преданности» и не было у первого лакея империи <sup>122</sup>.

Выверенной за долгие годы походкой (на весь путь — ровно четыре минуты) Констан миновал парадные залы дворца и через галерею Дианы поднялся по особому ходу на лестницу, ведущую во внутренние покои императора; прошел мимо швейцара с булавой у дверей залы Телохранителей, где дежурили пажи под командой капрала конной гвардии, и зашагал через полутемные маленькие комнаты, чуть сутулясь, чтобы не задеть головой потолок. Эти комнаты, спланированные согласно общему заблуждению архитектуры XVI века, принимавшей тесноту за уют, и составляли, собственно, «домашний очаг» Наполеона. Впечатление «очага» было, впрочем, довольно слабое. Скучностью мебелировки дворец Тюильри больше походил на гостиницу. Все личные вещи властелина Европы умещались в несколько чемоданов. Из-за императорской мантии все-таки всегда выглядел нищий поручик, готовый к мобилизации в течение часа. От себя в украшение Тюильри Наполеон добавил немного: распорядился усыпать стены и потолки вензелем "N", вышить на шторах золотых пчел — символ императорского достоинства — и установить в галереях и залах бюсты героев и полководцев (в числе прочих и Брута, который, видимо, должен был напоминать республиканцам о ненависти императора к тирании).

По узкой винтовой лестнице Констан осторожно поднялся в так называемые малые покои его величества, сделанные в виде антресолей и повторявшие планировку нижних комнат. Их называли еще «секретными», потому что попасть туда можно было только через внутренние покои. Сделав несколько шагов по узкому коридору, Констан подошел к дверям комнаты, где находился последний страж Наполеона — мамелюк Рустам.

Рустам еще подростком был приобретен Наполеоном в Египте у шейха Эль-Бекри. Многие офицеры, участвовавшие в египетской экспедиции, — Евгений Богарне, Мюрат, Бессьер и другие, — тоже обзавелись мамелюками, но всеевропейской известностью пользовался один Рустам. Он обучился французской военной выправке и, насколько мог, французскому легкомыслию и ветрености. Основу его популярности составлял бесподобный костюм, сшитый по рисункам Изабэ <sup>123</sup>: шитый золотом кафтан, бархатный тюрбан, также раззолоченный, с голубым или красным султаном, великолепной работы сабля на шикарной перевязи и пистолеты за атласным поясом. Выдающимися качествами Рустам не блистал; был, как и полагается мамелюку, храбр, наблюдателен, расторопен в услугах. Интерес к нему раздували. «Moniteur» <sup>124</sup> печатал отзывы «дикаря» о премьерах драм, каждый живописец, желающий поправить свои дела, спешил снять с него портрет, который затем воспроизводился гравюрой в тысячах экземпляров. Получить согласие мамелюка на сеанс было нелегко. Падчерица Наполеона Гортензия Богарне однажды воспользовалась падением Рустама с коня, чтобы выпросить у прикованного к постели героя несколько сеансов, а чтобы он не скучал, она напевала ему веселые песенки. Всякий турист спешил повидать знаменитость. «У Рустама красивая фигура и добродушное выражение лица, — записал в путевом дневнике один из них. — Цвет лица его не очень смуглый. Он высок и дороден». Впрочем, слава Рустама не выходила за пределы той популярности, которая выпадает на

---

<sup>122</sup> Констан оставил Наполеона после подписания им акта отречения от престола в Фонтенбло

<sup>123</sup> Изабэ — французский художник, мастер миниатюры и рисунка

<sup>124</sup> Ведущий парижский журнал официального направления



долю некоторых вещей знаменитых людей.

Он привык к известности, но не испортился нравом, сохранив привлекательную наивность. Престиж его устоял до самого падения Наполеона, несмотря на нелепые попытки роялистов приписать ему свирепость характера и роль палача при корсиканском чудовище. Все же европейская цивилизованность убила в нем главную добродетель мамелюка — верность <sup>125</sup>. В оправдание Рустама можно сказать лишь то, что он вряд ли отдавал себе отчет в своих поступках.

Впустив по условному стуку камердинера, Рустам тотчас запер за ним дверь. Они неодобрительно посмотрели друг на друга — при полном взаимном равнодушии испытывали в отношениях некоторую брезгливость. Констану было непонятно доверие Наполеона к этой наряженной кукле; Рустам же просто не обращал внимания на мужчин без шпаги (этого к тому же про себя называл почему-то «евнухом»), Констан покосился на вделанный в стену шкаф: когда-то он настоял, чтобы для большей чистоплотности и опрятности помещения мамелюк спал в нем. Сейчас дверцы шкафа были плотно прикрыты, однако Констану все равно казалось, что постель внутри не убрана. Малейшая неопрятность пробуждала в нем глухую ярость — качество, некогда чрезвычайно ценимое Жозефиной.

Констан подошел к зеркалу, чтобы в последний раз перед входом к императору хорошенько осмотреть платье (Наполеон не переносил небрежности в одежде у слуг). Французский фрак из зеленого сукна с золотым шитьем на отворотах и воротнике, белый кашемировый жилет, черные брюки и шелковые белые чулки — все выглядело безупречно. Он еще раз покосился в сторону шкафа — определенно постель не убрана! — и одновременно с боем настенных часов громко сказал, постучав в дверь императорской спальни:

— Ваше величество, пора вставать, пробило семь часов!

Наполеон предпочитал спать в спальне на антресолях (была еще одна, внизу), где чувствовал себя необычайно покойно. Над этой комнаткой трудились сразу две знаменитости: Фонтен и Персье <sup>126</sup>. Стены были украшены обоями из лионской парчи, панели — золотым орнаментом; лепные пилястры окаймляли дверные и оконные проемы. На позолоченном потолке теснились мощные фигуры Юпитера, Марса, Венеры и Аполлона, выписанные в два цвета с золотом на лазоревом фоне; крылатые гении поддерживали пышные гирлянды с гербом, императорскими вензелями и трофеями. Кровать стояла на возвышении, обшитом бархатом, в глубине комнаты, напротив окна. Мебели почти не было, кроме нескольких позолоченных и покрытых гобеленами кресел и огромного комода, обитого медью. Возможно, кто-нибудь иной предпочел бы, чтобы спальный уют был менее помпезен, но Наполеон не мог представить, что великолепие может быть чрезмерным. В воззрениях на искусство император французов ничем не отличался от других коронованных особ, по недоразумению застрявших на страницах истории. К тому же, подобно всем основателям династий, Наполеон преувеличивал влияние пышности на верноподданнические чувства подчиненных.

Император открыл глаза при первых звуках голоса камердинера — обладал способностью мгновенно переходить от сна к бодрствованию. Вообще, некоторые его физиологические особенности уже тогда порождали множество легенд. Так, утверждали, что он спит три-четыре часа в сутки. Действительно, природа со времен Цезаря не создавала более совершенного организма, приспособленного для власти над миром: физических и умственных перегрузок для Наполеона, казалось, не существовало. Сам он с гордостью

---

<sup>125</sup> Рустам покинул Наполеона после первого отречения. В период Ста дней у Наполеона был другой мамелюк, следовавший за ним на остров Святой Елены

<sup>126</sup> Персье Шарль (1764 — 1838), Фонтен Пьер (1762 — 1853) — французские архитекторы, представители стиля ампир

говорил, что не знает пределов своей работоспособности. И в самом деле, когда это было нужно, Наполеон мог спать и три, и два часа в сутки, мог не спать несколько дней кряду, сохраняя физическую бодрость и ясность мысли. Но в обычных условиях Наполеон скорее не давал спать другим, сам же спал, и хорошо спал. Крайнее утомление подчиненных рассматривал как неизбежный результат (если не причину) добросовестного выполнения своих обязанностей. Темп работы Наполеона истощал людей за считанные месяцы. Вряд ли он шутил, когда заявлял, что его министр должен начать страдать задержкой мочеиспускания через три месяца после вступления в должность. Однажды он увидел своего секретаря заснувшим над письмом к жене. «Дорогая, — прочитал император, — сегодня я снова не смогу прийти обедать домой; меня уже третьи сутки не выпускают из дворца». Наполеон только хмыкнул: «Однако у него еще есть силы, чтобы нежничать!» Себе он без особой надобности никогда не отказывал в крепком семичасовом сне, несколько минут дремал и после полудня (мгновенно засыпал в то время, которое сам себе назначал) — только так мог восстановить огромные затраты энергии ума и тела. Не любил ночных пробуждений; приказывал будить себя только при плохих новостях, хорошие подождут до утра.

Проснувшись, Наполеон с удовольствием ощутил в теле желанную бодрость. На всякий случай проверил: глубоко вздохнул и прислушался к внутренним ощущениям, — нет, кажется, в самом деле, все хорошо. Последние два года его здоровье стремительно ухудшалось. Он страдал желудочными спазмами со рвотой, болями при мочеиспускании, его бил упорный, сухой кашель. Злые языки приписывали эти недомогания сифилису. Врачи говорили разное; он не верил ни одному, даже Корвизару, пользовавшему пол-Парижа. Когда кто-нибудь при нем называл медицину наукой, император смеялся и говорил, что каждый случай излечения следует считать чудом. Был твердо уверен в том, что человеческий организм — это часы без механизма подзавода, которые остановятся тогда, когда им будет положено остановиться, если только врачи не приблизят этот срок. Да и чем могли помочь эти смешные люди, чья наука предписывала полный покой ему — человеку, которого один день вынужденного безделья изнурял больше целого года нечеловеческого труда!

Прилив бодрости Наполеон приписал предстоящему сегодня отъезду в армию. Войну и славу любил по-настоящему, не так, как все остальное — власть, деньги, женщин: с отсутствием того или иного не мирился, но переносил легко; отказаться от войны не мог никогда, как никогда не прощал своим маршалам малейшего ущемления своих прав на победу. Часто говорил, и был вполне искренен, что охотно променял бы бессмертие души на бессмертие своего имени. Говорил также, возможно менее искренне, что предпочел бы не жить совсем, чем умереть в безвестности. Война была его жизнью, слава — воздухом, которым он дышал. Иногда он думал, что, посылая людей в бой, отпускает им грехи, особенно самый страшный — грех безвестного существования; тогда удовлетворенно улыбался: до конца своих дней так и не утолил ревнивой зависти к духовному всемогуществу религии. Всегда стремился подчеркнуть самодостаточность своей власти: при коронации нетерпеливо вырвал императорский венец из рук папы и сам возложил на себя; впоследствии всячески унижал гордого старика. При случае с завистью заметил Александру I: «Вы одновременно император и папа — это очень удобно». В жизнеописании Александра Великого с недоумением читал те места, где говорилось о воздании тому божественных почестей; самому Наполеону в Египте никто таких почестей не воздавал. «Теперь любая парижская торговка овощами поднимет меня на смех, вздумай я сделать что-нибудь подобное!» Все же думал об этом без иронии («славы никогда не может быть слишком много!»), но и без злобы: просто как о нереальном деле. В отличие от других правителей, никогда не сетовал на успехи просвещения, знал, что со времен фараонов просвещение нисколько не мешало одному человеку безраздельно властвовать над другими. В существование какого-нибудь самостоятельного божественного начала Наполеон верил плохо, в искренность веры других — еще хуже. Не мог сдержать своего удивления, когда речь заходила о папе Пии VII: «Представляете, он действительно верит в Бога!» Впрочем,

существование такого начала никогда не отрицал, но считал, что вне политики оно не имеет смысла. Поэтому был самым веротерпимым политиком Европы после Фридриха Великого<sup>127</sup>. Значение церкви, особенно римской, с ее громадным политическим авторитетом, Наполеон понимал несравненно лучше. Во Франции он восстановил отнюдь не католическую веру, как думали многие, а Католическую церковь, как это отлично понял Пий VII. К «вечным» вопросам Наполеон был вполне равнодушен, зато ничтожнейший политический нюанс способен был целиком завладеть его вниманием. Однако в последнее время, оставаясь в одиночестве, особенно утром и вечером, он все чаще задумывался о себе, о том, что останется после него: "Как там говорил этот странный олимпиец из Веймара<sup>128</sup>: в конце концов, Бог — это только старый еврей с бородой? Положим, так оно и есть. Но допустим, что Он меня все же сотворил — для чего? Несомненно, именно для того, чем я занимался всю жизнь — для войны и славы. Следовательно, для моих войн и моей славы были сотворены и другие люди. Какой еще смысл можно найти в моей жизни? Я покорил полмира, опустошил Испанию, оставил гекатомбы трупов в России, прославил Францию во всех уголках цивилизованного мира и обессмертил свое имя... Никто на земле от сотворения мира не совершал более невозможных дел, не вынашивал более грандиозных замыслов. Исчезну я, исчезнут мои дела, исчезнет даже мой Кодекс<sup>129</sup>, но шум этих событий будет вечно тревожить слух человечества. Моя слава упрочена, мое имя будет жить столько же, сколько имя Бога. А раз так, то пусть болтуны-философы ищут во всем этом какой-то особенный смысл. Единственный смысл моей жизни — это я сам, моя власть над людьми и временем. Я — не пасынок истории, безнадежно ждущий в передней, когда о нем соблаговолит вспомнить досужий историк. Я — сама история, судьба для миллионов людей".

Быстро всунув ноги в изрядно стоптанные туфли, Наполеон поправил на голове мадрасовый платок, которым повязывался на ночь, накинул белый мультонный халат и впустил Константа. Камердинер приветствовал императора и сразу принялся за работу. Первым делом он открыл окно и зажег в курильнице аялуджин, чтобы надуть и очистить воздух в комнате. Затем вынул из личного несессера императора фарфоровый прибор и приготовил чай (пользоваться другой посудой было запрещено). Сахар в целях безопасности Наполеон положил сам, размешал его золотой ложечкой и осторожно сделал пробный глоток (при малейшем постороннем привкусе сразу отталкивал от себя чашку, по совету Корвизара). Распробовав напиток, удовлетворенно кивнул и устроился в кресле.

— Что нового в Париже, Констан?

В обязанности камердинера входил и пересказ городских сплетен, вплоть до ссор между дворцовыми лакеями. Наполеон интересовался и этим: в огромном личном хозяйстве, именуемом Французской империей, для него не существовало незначительных событий. Политические новости не входили в компетенцию Константа. Рассуждений о политике со стороны лакея император не терпел; подобные попытки были пресечены давным-давно самым решительным образом. Но «новости из лакейской» развлекали Наполеона. Они обостряли в нем то чувство безграничного презрения к людям, которое было ему необходимо для того, чтобы заставлять их слепо выполнять его волю. Людей Наполеон знал превосходно, современники записали за ним множество чрезвычайно метких характеристик государственных и военных деятелей, поэтов, писателей, живущих и умерших

---

<sup>127</sup> Фридрих II Великий (1712 — 1786) — прусский король, придерживающийся политики просвещенного абсолютизма. Обеспечил широкую веротерпимость и свободу совести в Пруссии

<sup>128</sup> Так Наполеон называл Гете

<sup>129</sup> Так называемый Кодекс Наполеона — свод гражданского и уголовного законодательства, легший в основу буржуазного европейского права. Наполеон считал Кодекс одной из величайших своих заслуг

знаменитостей. Он умел очаровать Гете и Лапласа, Александра I и каирского кади <sup>130</sup>, польского эмигранта и новобранца-гренадера. Но, рассчитывая политические ходы, Наполеон неизбежно упрощал и огрублял свои знания о людях, сводя все их поступки к двум основным мотивам: страху и выгоде. Поэтому, сталкиваясь с тем, как целыми народами — испанцами, русскими, немцами — овладевали чувства бескорыстия и самоотречения, Наполеон терялся и становился от этого упрямым, жестоким и почти невменяемым в своем стремлении добиться цели во что бы то ни стало. В его действиях в подобных случаях историки и мемуаристы склонны были видеть некие роковые ошибки, на которые указывали с добросовестностью посредственности, как будто, избежав этих ошибок, можно было истребить в противнике патриотизм и самоотверженность. На самом же деле гений Наполеона оставался прежним всегда и везде, и упрекать его в упадке гениальности можно с тем же правом, с каким человеку, спотыкающемуся в темноте, можно поставить в вину упадок зрения.

Рассказ Константа все больше и больше прибавлял императору настроения. Ему казалось, что голубоватый свет первого утра нового года обещает перемены к лучшему. «Ламерсье сказал мне при коронации, что если я перестелю постель Бурбонов, то не просплю в ней и десяти лет. Вздор!» (После коронования Наполеон проспал в ней девять лет и девять месяцев.) Уверенность в своих силах переполняла его. Конечно, все будет хорошо. Франция дает новых конскриптов <sup>131</sup>, новые ассигнования на войну, она верит ему, она идет за ним, несмотря на недовольное брюзжание либералов в Законодательном корпусе. Они пораспустились в его отсутствие, но новые победы заткнут им глотки. «Мои французы равнодушны к свободе, они не понимают и не любят ее. Единственная их страсть — тщеславие, и единственное политическое правление, которым они дорожат, есть политическое равенство, позволяющее всем и каждому надеяться занять любое место. Кто, кроме меня, может дать им эту надежду?» У него еще будет время приструнить недовольных и маловеров, но сначала надо вышибить обратно за Рейн полумиллионную орду этих троих коронованных ничтожеств, возмнивших себя вершителями судеб Европы. "Они бьют моих маршалов, — эта скотина Бернадот все же кое чему научил их <sup>132</sup>, — и порой выглядят совсем неплохо, особенно русские и пруссаки. Да, мои старики сильно сдали..." — думал Наполеон, в котором просыпалось обычное в последнее время раздражение против генералитета. Он чувствовал, что лишь многолетняя вышколенность еще заставляет их повиноваться ему. Возможной измены, впрочем, не боялся — слишком презирал и маршалов. Понимал, что опасность для жизни могла исходить только от фанатика, а среди его маршалов не было фанатиков. Каждый из них прекрасно знал, что поднявший руку на императора будет пристрелен первым же встреченным гренадером. "Все выдохлись, даже Ней... Я могу надеяться только на себя, на свою звезду. Впрочем, когда было иначе? Моя воля всегда была тем потоком, который увлекал людей, словно камни, и бросал их на очередную преграду, возводимую против меня. И чем тверже была преграда, тем стремительнее был поток, сильнее удар, с тем большей охотой люди разбивали себе лбы, уверенные в том, что делают это по своей воле и в своих интересах — из честолюбия, тщеславия, жажды славы, чинов, наград... Однако похоже, что теперь мой поток увлекает лишь мелкую гальку. Как редко люди! Каждая потеря невосполнима! Кто заменит мне Дезе,

---

<sup>130</sup> Мусульманский судья (араб.)

<sup>131</sup> Призывников

<sup>132</sup> Бернадот Жан Батист (1763 — 1844), князь Понте-Корво, маршал Франции. В 1810 г. уволен Наполеоном и избран наследником шведского престола. Основатель ныне правящей шведской королевской династии. В 1813 г. подал союзным армиям тактическую идею не вступать в сражение с Наполеоном, а громить его маршалов. Следование этому совету обеспечило союзникам благоприятный исход летней кампании 1813 г. и разгром остатков армии Наполеона под Лейпцигом

Дюрока, Ланна? <sup>133</sup> Они могли забывать о себе!.. Среди моих врагов больше преданности, чем в моем окружении. Я всегда говорил, что роялисты — единственные люди, которые умеют служить. Жаль, что я не могу вернуть им их поместья. Что ж, у такого человека, как я, нет друзей, у него могут быть только слуги. Я знаю это, я никого не люблю и потому свободно вершу свою судьбу и судьбу мира. Что любовь, что дружба! — Я не искал их.

Я привнес в мир непомерно-мощный грозовой разряд свободы, и должно минуть еще не одно поколение, прежде чем люди смогут жить, не задыхаясь в этом освеженном, разреженном воздухе".

Почувствовав, что окончательно придал себе величественный настрой, Наполеон по привычке повел правым плечом и протянул Констану пустую чашку. Констан, не прерывая рассказа о любовных похождениях жены известного генерала ("...он застал ее в объятиях кучера, Ваше Величество, и в ответ на пожелание впредь быть разборчивее, услышал: «*Qu'importe la piece, si il m'emeut*» <sup>134</sup>), наполнил ее и получил поощрительный щипок за ухо. Сохранить в неприкосновенности свои уши и нос на протяжении всего разговора с императором было нелегко. Наполеон или щипал их собеседнику, когда бывал им доволен, или драл их, чтобы показать свое неудовольствие; причем в обоих случаях щипок был приблизительно одинаковой силы, так что у счастливого, удостоенного императорской похвалы, нередко выступали слезы на глазах. Камердинер благодарно улыбнулся, испытывая сильное желание потереть зардевшееся ухо, но не потер и только подумал, что Наполеон является, вероятно, величайшим занудой из всех коронованных особ, когда-либо занимавших Тюильри.

Наполеон, не переставая рассовывать в ячейки памяти сведения, сообщаемые камердинером, вернулся к мыслям о положении на границах Франции. "Они разбили моих маршалов и думают, что уничтожили меня. Тем не менее они не перестали меня бояться. Они переправились через Рейн, но еще три-четыре недели будут трусливо жаться к его берегам, пока не соберут на этой стороне всех, кого они ведут против меня.

Шварценберг известный кунктатор <sup>135</sup>, но чтобы разбить Ганнибала, нужен был Сципион, а именно Сципиона у них и нет... Они воображают, что во Франции нет Аустерлицев, Иен, Ваграмов! <sup>136</sup> Во Франции есть я — будут и новые Аустерлицы! Надо действовать, каждый потерянный час готовит несчастья в будущем. Я все еще могу расходовать триста тысяч человек в год. Я не дам им этих трех недель, я буду бить их порознь, как бил всегда. Я раздам оружие мужикам, как Александр, нет — как якобинцы! Земля будет гореть у них под ногами. Через полтора-два месяца они уйдут за Рейн, — уйдет все, что от них останется, а к лету я вновь буду на Висле, — только там можно будет говорить о мире. Но это будет лишь начало. Сейчас они называют себя союзниками — это собрание предателей и клятвопреступников, — посмотрим, как они вцепятся друг другу в глотку при первых неудачах! Конечно, первым раскроет мне свои иудины объятия этот австрийский ублюдок Франц. Родственничка придется простить <sup>137</sup>, но Меттерниха <sup>138</sup> он

---

<sup>133</sup> Дезе, Дюрок, Ланн — французские генералы и маршалы, сподвижники Наполеона со времен итальянской кампании, состоявшие с ним в дружеских отношениях. Погибли до 1814 г.

<sup>134</sup> Не все ли равно кто, если он меня возбуждает (фр.)

<sup>135</sup> Медлитель (лат.). Прозвище римского полководца Фабия, путем мелких стычек постепенно вытеснившего Ганнибала из Италии

<sup>136</sup> Места наиболее известных побед Наполеона

<sup>137</sup> Наполеон был женат на Марии-Луизе, дочери австрийского императора Франца I

<sup>138</sup> Меттерних Клеменс (1773 — 1859) — князь, министр иностранных дел и фактический глава

повесит — это будет неременным условием. Фридрих-Вильгельм? — Он заранее знает, что прощения ему нет, и снова убежит к Александру в Ме-мель, как в 1806 году <sup>139</sup>. Пруссии больше не будет. Тогда, в Тильзите, я сохранил это гнездо предателей, поддавшихся уговорам Александра; теперь я не повторю прошлых ошибок. Я должен быть суровым, ибо окружен врагами, — вся верная мне Европа осталась в снегах России. Канальи-саксонцы, покинувшие меня под Лейпцигом, разделят участь Пруссии. Александр останется один и снова попытается очаровать меня своими лисьими улыбочками... О, это настоящий византиец времен упадка империи! Ах, Александр, я верил тебе... Как я мог верить тебе! Тильзит был лучшим временем моей жизни. Весь мир лежал перед нами, готовый стать единым целым под сенью лучших законов и экономического процветания. Англия, эта вечная смутьянка, сеющая раздоры в Европе, была бы укрощена, и что тогда значило бы для нас жалкое слово «невозможно»!.. Александр, Александр, твой несчастный отец понимал это лучше тебя... <sup>140</sup> Что ж, я загоню Россию обратно в Азию, навсегда отучу ее смотреть в сторону Европы. Сейчас Александр мечтает войти в Париж, как я вошел в его Москву; через год он не сможет приехать и в Варшаву. Я восстановлю, наконец, как обещал, Польское царство: что может быть болезненнее для Александра? Ненависть шляхты к русским послужит надежным щитом Европе от русских притязаний <sup>141</sup>. Да, прежняя Европа никуда не годится, она слишком легко колеблется. Ей недостает монолитной неподвижности Римской империи. Надо будет подумать об этом, но после, после... Теперь она желает войны — когда и кому я отказывал в этом?.. Но что такое? Какое знамя?"

— Что? Что ты говоришь, Констан?

Камердинер повторил утреннюю историю с заменой знамени на Тюильри. Он ждал, что император рассердится и заранее, под видом осмотра порядка в комнате, отошел подальше, чтобы уберечь уши от возможных посягательств. Однако Наполеон остался спокоен и только в чисто-голубых глазах императора появилось такое тоскливое выражение, что Констан поспешно отвел взгляд. Он почему-то вспомнил, что подобные глаза ему не раз приходилось видеть у детей, которых их сверстники не взяли в общую игру.

#### IV

В продолжение утреннего туалета Наполеон был сосредоточен и молчалив, драл уши всем, кто попадался под руку: камер-лакеям, недостаточно подогревшим воду в ванной (любил почти кипятки), Констану и Ру-стаму, не заметившим, что он нечисто побрился... Прислуга сбилась с ног, выполняя его распоряжения. «Этот человек создан для лакеев», — сердито бормотал про себя Констан. За завтраком император поцеловал сына, почти не заметил императрицу, особенно быстро, не жуя, проглотил любимого цыпленка *a la Marengo*, отщипнул кусок пирожного со взбитыми яйцами и пролил кофе на свои белоснежные

---

австрийского правительства в 1809 — 1821 гг. С 1813 г. сторонник свержения Наполеона и реставрации Бурбонов во Франции

<sup>139</sup> В 1806 г. Пруссия потерпела военное поражение от Наполеона. Фридрих-Вильгельм III бежал под покровительство России. В Тильзите Александру I удалось уговорить Наполеона сохранить Пруссию как государство, но половина ее территории отошла к Франции

<sup>140</sup> Павел I в 1800 — 1801 гг. пошел на тесный военно-политический союз с Наполеоном, направленный против Англии, что послужило одной из причин его убийства

<sup>141</sup> Наполеон обещал восстановить независимое Польское государство с 1805 г., что являлось главной причиной военной и дипломатической поддержки его польской эмиграцией. Польский легион, входивший в состав Великой армии, единственный из всех союзников Франции, сохранил верность Наполеону до его отречения. Мицкевич сравнивал Наполеона с Мессией, посланным Провидением Польше

лосины. Переодеваться не стал, только подтянул ботфорты, скрыв под ними пятно.

Когда в парадном кабинете возвестили о появлении Наполеона, все, как по команде, замолчали. Лица у собравшихся мгновенно изменились, выражение любезности, удивления или скуки уступило место сдержанно-строгой сосредоточенности. «Половина этих людей напишут в мемуарах, что они смотрели на лицо императора, стараясь прочитать на нем судьбу Франции, — подумал префект полиции. — Впрочем, может быть, нечто подобное напишу и я. Не писать же никому не интересную банальность, что судьбы стран не читаются на лицах императоров».

Наполеон был одет в зеленый мундир стрелка конной гвардии. Воротник и обшлага мундира были красные, заостренные отвороты украшены вышитыми золотом охотничьими рогами, пуговицы — с орлом в короне, как у гусар. Бахрома небольших эполет скрывалась в складках мундира, который, вообще, сидел на Наполеоне, не любившем скованности движений, несколько мешковато. Серебряная звезда с большим орлом Почетного легиона и орден Железной Короны украшали его грудь. На ногах императора были узкие лосины из белого казимира на эластичных подтяжках и новые, недавно для него разношенные ботфорты с маленькими серебряными шпорами. В левой руке он держал знаменитую черную шляпу без галуна, с трехцветной кокардой на черной шелковой петлице.

Наполеон быстрым шагом обошел выстроившихся в линию придворных, слегка кивая в ответ на приветствия малозначительных или малоугодных людей и трепля двумя пальцами по щеке тех, кому хотел выказать благорасположение; кое-кому отрывисто бросал несколько слов. Префекта парижской полиции почти не заметил — так быстро прошел мимо, что кивнул уже не ему, а следующему в ряду человеку. «К сожалению, наш император имеет все необходимые качества, чтобы быть любезным, кроме одного — охоты к этому, — подумал префект полиции и обрадовался: — А вот это непременно вставить в мемуары!»

Поздоровавшись со всеми, с кем он считал необходимым поздороваться, Наполеон присел на угол кресла возле камина, отставив левую ногу и положив шляпу на колено правой, чтобы прикрыть кофейное пятно. Камбасерес, Бертье, Талейран, Коленкур<sup>142</sup>, Лебрэн немедленно обступили кресло с обеих сторон. Наполеон, не взглянув на них, сделал знак начать аудиенцию.

Были зачитаны резолюции императора на просьбах и жалобах, рассмотренных его канцелярией на сегодняшний день. Почти все они, даже те, которые носили денежный характер, были удовлетворены: день отъезда императора из столицы должен запомниться милостями. Лица, получившие бумагу с собственноручной подписью Наполеона, рассыпались в благодарностях, выражали крайнюю почтительность и верноподданность и отходили. Их сразу обступали любопытствующие взглянуть на императорскую роспись (Наполеон знал это и в дни торжеств и аудиенций тщательнее, чем обычно, выводил буквы после "N"). Все это время Наполеон с удовольствием рассматривал свои необыкновенно изящные руки — он привык к крайней почтительности и верноподданности. «Дома они покроют мою подпись лаком, а после моей смерти попытаются подороже продать эти бумажки академическому архиву», — думал он, почему-то злясь на людей, которым только что оказал благодеяние.

Депутация от Законодательного собрания стояла несколько особняком от придворных. Возглавлявший ее председатель Законодательного собрания еще и еще раз пробегал глазами листки с записью своей речи. Он очень волновался. Речь, произнесенная в день отъезда императора в армию, имела все шансы стать, согласно принятой со времен революции газетно-парламентской классификации, не просто «выдающейся», «прекрасной» или «вдохновенной», а никак не менее чем «исторической». Общее мнение депутатов либерального направления, к которому, «при некоторых расхождениях», относил себя

---

<sup>142</sup> Коленкур Луи (1773 — 1827) — маркиз, один из немногих аристократов, примкнувших к Наполеону. В 1807 — 1811 гг. посол в Петербурге. Автор интереснейших «Мемуаров»

председатель, сводилось к тому, что в этой речи Наполеон должен был услышать о неизменной готовности Франции к новым жертвам во имя спасения отечества и понять, что в благодарность за эти новые жертвы Франция ждет от императора некоторых уступок в отношении расширения депутатских полномочий. Готовя речь, председатель постарался самыми яркими красками изобразить все то, что император должен был услышать, но вплоть до настоящей минуты не был вполне уверен, что из описания жертв, на которые готова Франция, император сможет понять необходимость расширения депутатских полномочий. Тем не менее речь чрезвычайно нравилась председателю (накануне он несколько раз читал ее жене — ей тоже понравилось чрезвычайно). Он уже представлял ее стройные столбцы в завтрашних газетах (копию отдал редактору «Moniteur» еще вчера). Про себя председатель считал, что особенно ему удалась концовка речи; ее выразительно расположенные строки стояли у него перед глазами:

"Нация хочет свободы и мира, если это возможно, но не отказывается от войны, если она необходима, чтобы их обрести.

Настал час, когда каждый француз, по примеру достойных граждан Римской республики, должен положить все свое достояние и саму жизнь на алтарь отечества.

Да хранит Господь Бог Францию, Императора и всех нас!"

Следовало еще окончательно решить, нужно ли сдерживать слезу, которая неизменно наворачивалась на глаза председателю, когда он доходил до конца своей речи.

Ему еще ни разу не доводилось произносить исторические речи, но внутреннее чутье оратора подсказывало председателю, что слеза все-таки более прилична для речи «вдохновенной» или «возвышенной».

Когда было покончено с прошениями и жалобами, Камбасерес объявил о желании Законодательного собрания засвидетельствовать свое уважение к императору. Наполеон достал из левого кармана табакерку, откинулся на спинку кресла и принялся нюхать табак в своей обычной манере — поднося к носу щепотку и медленно просыпая ее на жилет и лосины. Он всегда испытывал неприязнь к депутатскому корпусу, презрительно называл депутатов «адвокатами» и «идеологами» (у него это были бранные слова). Забыть и простить им свое унижение 18 брюмера <sup>143</sup> он не мог — не забывал и не прощал ничего. Впрочем, придя к власти, не обращал на них особого внимания, ограничивал их законодательные права и увеличивал возрастной депутатский ценз — на политическом языке Наполеона это называлось «упрощать и усовершенствовать учреждения». В ответ депутаты благодарили императора за отеческую заботу о благе страны и становились в глухую оппозицию, раздражавшую Наполеона тем больше, чем меньше она давала явных поводов для раздражения. Вчера либералы вывели его из себя, и он прервал сессию Законодательного собрания. От предстоящего засвидетельствования уважения к себе со стороны депутатов Наполеон ждал только скрытых подвохов и намеков. Однако он решил держать себя в руках — сегодня нужно быть милостивым ко всем.

Председатель Законодательного собрания начал свою речь с выражения самой неподдельной радости оттого, что тяжелое бремя государственных забот не пошатнуло драгоценного здоровья императора, которое в настоящий, нелегкий для отечества час, как никогда, необходимо Франции. Радость председателя по этому поводу была столь велика, что начисто вытеснила из его памяти два следующих абзаца. Пришлось импровизировать, прежде чем память вновь поставила его мысль на проторенную недельной зубрежкой колею. Из-за этого вступление несколько затянулось (впрочем, в завтрашнем «Moniteur» все будет выглядеть гладко, редактор предусмотрительно напечатал переданную ему копию речи).

— Нашествие полчищ азиатов, увлекших за собой все силы Европы, воскрешает в

---

<sup>143</sup> 18 брюмера (ноября) 1799 г., в день государственного переворота, приведшего Наполеона к власти, депутаты Законодательного собрания не дали Наполеону говорить и призывали убить его. Наполеон, по свидетельству очевидцев, полностью растерялся. Его выручил Мюрат, с помощью гренадеров разогнавший депутатов



нашей памяти доблесть маленькой Эллады перед лицом всего мира. Казаки русского царя могут не сомневаться, что во Франции они найдут и новый Марафон, и новые Фермопилы! — наконец с облегчением вспомнил председатель начало нового абзаца, посвященного характеристике нелегкого часа Франции. Дальше он уже не сбивался.

Он говорил о том, что Франция напрягает последние силы в неравной борьбе, что граждане отдают чуть ли не половину доходов на военные нужды, что в минувшем году поставлены под ружье конскрипты призыва 1814-го и отчасти 1815 годов; что курс акций за год упал с 1430 до 715 франков, а рента с 87 до 50 (при этих словах увидел выражение живого сочувствия и одобрения на лицах сановников). Нация, терпящая такие лишения ради победы, безусловно, достойна гения своего вождя, нисколько не сомневался председатель, и, разумеется, ее порыв полностью бескорыстен. Ни один француз не посмеет в такой тяжелый для отечества час вносить смуту в государство какими-либо несвоевременными требованиями, отвлекающими внимание императора от главной задачи. Эти требования народные избранники хранят у себя до того времени, когда его императорское величество пожелает узнать, чем оно может отблагодарить нацию, принесшую столько жертв ради величия его имени (выражение сочувствия и одобрения на лицах пропало). Пока же каждый француз горит лишь одним желанием — с оружием в руках восстановить поправленную славу Франции.

— Все мы уверены в том, что близок час, когда ваше величество, подобно Юпитеру Победителю, поразит врагов Отечества и свободы молниями, которые выковала для вас Франция.

В продолжение всей речи Наполеон с нарастающей тревогой прислушивался к нудящей боли, вдруг появившейся в правом боку под ребрами. Он прекратил нюхать табак и нервно тербил шляпу; опыт говорил ему, что после обеда ему не миновать желудочных спазм, которые неизменно наступали вслед за болями в боку. Взгляд императора стал блуждающим, он хмурил лоб и водил правым плечом. Боль все прочнее связывалась в его сознании с тем, что он сейчас слышал. В нем нарастало раздражение, он все яснее чувствовал, что если фраза о Юпитере Победителе еще соответствует его величию, то все остальное как-то косвенно задевает его. Вопреки сомнениям председателя, Наполеон превосходно понял смысл речи, хотя почти совсем ее не слушал.

Воспоминание о вчерашнем столкновении с Законодательным собранием подхлестнуло Наполеона. Он решил, что с этими следует быть скорее твердым, чем милостивым.

Не дав оратору договорить концовку речи, которой тот так дорожил, Наполеон резко встал и облокотился на камин; пальцы его левой руки смяли угол шляпы. Тяжелый взгляд императора мгновенно задвинул назад в ряды депутатов председателя, который попятился с таким испугом, словно на самом деле увидел перед собой вместо невысокого человека с одутловатым лицом и непропорционально большой головой грозного Юпитера Победителя.

Воцарилось молчание. Выдержав паузу, Наполеон заговорил, стараясь не морщиться от неприятного ощущения в боку:

— Милостивые государи, мое отсутствие не будет продолжительным. Через полтора месяца я восстановлю границы Франции на Рейне и к концу весны заключу мир на берегах Вислы <sup>144</sup>. Франция устала; ей нужны спокойствие и восстановление торговли. Я защищу привилегии французской коммерции в Европе и налажу работу государственных учреждений. Мои французы снова смогут наслаждаться всеми благами мира, покоящегося на престоле могущества и славы. Новые победы вернут Франции должное уважение европейских народов к великим идеям свободы, равенства и братства, начертанных на знаменах французской армии!

Звучный, немного низкий голос Наполеона был хорошо слышен во всех концах залы.

---

<sup>144</sup> Наполеон уверял, что будет вновь на берегах Вислы, вплоть до своего отречения. Видимо, это была его навязчивая идея

Его певучие интонации завораживали слушателей, полностью подчиняли их волю силой какой-то необъяснимой убедительности, которая была ему присуща. "Среди всех этих людей нет ни одного, кто не верил бы всей душой в то, что он сейчас слышит, — думал префект полиции, кося глазами по сторонам. — А между тем среди них едва ли найдется один человек из ста, который сохранил бы способность верить во что бы то ни было. Кажется, верю и я... Хочу верить, во всяком случае. Как там говорил о нем старый лис Сийес <sup>145</sup>: этот человек все знает, все хочет и все может? Да, это так... Значит, что же — великий человек?" Существование великих людей префект полиции отрицал, — исходя из личного опыта и так, вообще. Находил более соответствующим истине деление людей на занимательных и малоинтересных, однако и последних относил к столь редко встречающемуся типу, что был склонен считать интересными и их. Находясь в хорошем настроении, шутил, что шеф полиции должен обращать внимание на все, что дышит. Понятие же «великий человек», по его мнению, было весьма неопределенным и довольно бессмысленным. Во-первых, некоторые из великих относились, как ни странно, к категории людей малоинтересных — в особенности грешили этим политики и писатели. Во-вторых, веру в существование великих людей префект полиции относил к числу устоявшихся предрассудков, коренившихся, как любой предрассудок, согласно Вольтеру, в незнании и обмане. «Да, в мире стало бы гораздо меньше великих людей, если бы государственные и полицейские архивы сделались доступными любопытству толпы. Во многом уже сейчас мы употребляем это понятие автоматически, не вдумываясь в его смысл, вот как к семилетнему наследнику престола обращаются „ваше высочество“. Но что значит — быть великим человеком? Можно ли быть им или хотя бы казаться им, находясь, к примеру, в постели с женой, в особенности со своей? Или в ночной рубашке перед лакеем? Или перед человеком, которого признают еще более великим? В конце концов, можно ли быть великим перед самим собой? Нельзя же, в самом деле, допустить, что величие не всегда присуще великим: это был бы абсурд, поскольку все наши представления о мире строятся на признании неизменными качеств вещей. Как не сделать вновь соленой соль, потерявшую силу, так не возратить величия человеку, уличенному в общераспространенной слабости. Все это бесспорно, и вот, однако же, если завтра Наполеон вздумает вооружить и послать против казаков всех префектов полиции Франции, я безропотно подчинюсь и пойду в бой с восторженным криком „Да здравствует император!“, счастливый, что промаршировал перед ним за несколько минут до того, как меня, может быть, убьют или, что хуже, покалечат». Здесь префект полиции улыбнулся, почувствовав, что зашел в мыслях слишком далеко. «Нет, конечно, в бой не пойду, а если и пойду, то без восторга». Много позже, когда префект полиции диктовал свои мемуары, он так и не решил для себя вопрос, был ли Наполеон великим человеком — единственным из огромного числа знакомых ему людей, которые носили это звание с гораздо меньшим на то правом. Префект полиции ограничился тем, что привел свое размышление о безропотной готовности пойти по приказу Наполеона воевать с казаками как доказательство того, что в императоре французов все же было нечто такое.

— Нарушение монархами союзных держав всех ранее заключенных со мной договоров заставляет меня действовать решительно, — вновь обрел слух префект полиции. — Я хочу только мира. Я говорил это в Плесвице, Праге <sup>146</sup>, я повторяю то же сейчас, здесь. Моей целью всегда был прочный мир в Европе. Но союзные монархи, затягивая переговоры и сговариваясь против меня за моей спиной, каждый раз выбирали войну. Пока я жив, никто и никогда не посмеет говорить с Францией языком победителя! Пусть будет война — они получают то, что хотят!

Глаза Наполеона лихорадочно сверкали; лицо, напротив, все больше бледнело.

---

<sup>145</sup> Сийес Эммануэль Жозеф (1748 — 1836) — член Директории

<sup>146</sup> Города, где в 1813 г. союзники пытались договориться с Наполеоном об условиях мира

— Кампания этого года должна, наконец, принести победу. Франция пожертвовала для этого всем, говорят мне. Я знаю, что для спасения чести родины мои добрые французы готовы пожертвовать еще большим. Мне нужна армия, и большая армия. Страну спасет армия! Это понимает ребенок, но не понимают господа депутаты Законодательного собрания! Они не дают мне солдат! Где сто пятьдесят тысяч конскриптов прошлых призывов, где сто тысяч новобранцев будущего года, о которых здесь говорили? Я не получил их! Вчера я ждал от Законодательного собрания ответа на мой вопрос: где армия, где вооружение для нее? — и слышал только, что Франция разорена, что она обезлюдела. Как мне смеют говорить это! Для такого человека, как я, миллион людей — ничто! — выкрикнул Наполеон, швырнув на паркет шляпу и с силой притопнув по ней ногой.

«О-ля-ля, не слишком ли, даже для него?» — изумился префект полиции, несколько шокированный такой публичной откровенностью. Но быстро пробежав глазами по лицам людей, увидел, что ошибся: последние слова произвели сильнейшее, почти восторженное впечатление. «Похоже, что никто из них не причисляет себя к этому миллиону», — озадаченно подумал он.

То, что префект полиции вместе с другими принял за вырвавшееся восклицание, необдуманную горячность, было одним из тех приступов яростного гнева, которому Наполеон изредка давал себя увлечь. Так это и казалось всем, кто был тому свидетель. Например, Бурьенн, несколько лет бывший его личным секретарем, даже простодушно уверяет в мемуарах, что во время таких приступов гнева Наполеон мог проболтаться о своих тайных замыслах. Такое мнение о поступках Наполеона было внушено людям — и порой неглупым людям, — начинавшим тогда укореняться представлением о нем как о человеке стихии, человеке рока, — представлением, которое он сам сознательно создал и с таким постоянством поддерживал. Какая-то дьявольская стихия действительно всю жизнь клокотала в нем, однако меньше всего на свете Наполеон мог дать увлечь себя чему бы то ни было, а тем более проболтаться в порыве увлечения. Его разум, всегда холодный и господствующий над чувствами, и воля, никогда не знавшая чужих влияний, умело выбирали для него ту страсть, то чувство, обнаружение которых было в данную минуту наиболее выгодно. Таким образом, то, что внешне казалось произвольным, коренилось на самом деле во всеобъемлющей рациональности натуры Наполеона.

— Я не потерплю интриг у себя за спиной! Господа депутаты должны вместе с Францией работать для победы, а не писать гнусные пасквилы в газетах! — продолжал греметь Наполеон, ударом ноги отпихивая неудобную шляпу.

Разумеется, никто из присутствующих не слышал ни о каких интригах депутатов и не читал гнусных пасквилей в газетах — бдительность полиции и цензуры полностью исключала такую возможность. Тем не менее Наполеон с удовлетворением увидел по лицам людей, что цель достигнута: роспуск Законодательного собрания оправдан и с завтрашнего дня интриг и пасквилей станет еще меньше. Успокоенный, он отступил к камину и провел рукой по вспотевшему лбу, к которому прилипла прядь волос.

— Покидая Париж, я оставляю в нем мою семью — это все, что у меня есть. Находясь с армией за сотни лье от столицы, я должен знать, я хочу быть уверен в том, что парижане позаботятся о ней так, как они заботятся о своих женах и детях. Я хочу, чтобы каждый француз знал и помнил, что король Римский <sup>147</sup> — моя единственная надежда, это будущее Франции! Вы должны мне поклясться — сейчас, здесь — в том, что будете почитать его и повиноваться ему точно так же, как вашему императору. Клянитесь мне в этом!

Едва умолкнул голос Наполеона, как разрозненные поначалу крики: «Да, да, клянемся!» — слились в единодушный рев: «Да здравствует император!» Кричали все — министры, сановники, генералы, депутаты; особый восторг выражали дамы. Крича вместе со всеми, префект полиции с удивлением отметил в себе прилив необыкновенного

---

<sup>147</sup> Титул сына Наполеона (по бонапартистской традиции Наполеона II)

воодушевления, что несколько встревожило его: «Неужели все-таки великий человек?..» Он почему-то поискал глазами Талейрана: надменный старик с тем же ледяным презрением беззвучно шевелил губами. «Нет-нет, это просто моя чрезмерная впечатлительность...»

Под несмолкающие крики Наполеон направился к дверям. Боль в боку, позабытая во время речи, вновь напомнила о себе. «Ах, как некстати... Именно в такой день, когда нужно выглядеть бодрым. Что-то было еще, какая-то неприятность...» Император наморщил лоб. «Ах да, эта глупая шутка со знаменем. Или не шутка — знак, судьба?»

Наполеон вдруг на миг почувствовал страшную усталость, полную незащищенность перед ударами судьбы и полнейшее безразличие — к Европе, к Франции, к себе... Он вспомнил уже начавшиеся измены генералов, депутатскую оппозицию, вымогательство у него чинов, денег, титулов. «Да, да, это знак... Неужели скоро конец?»

У дверей он обернулся. При виде восторженной толпы неприятное чувство исчезло. С нескрываемым презрением Наполеон оглядел разнаряженных людей. «И никого рядом, никого...»

Он кивнул начальнику штаба:

— Бертье, идем работать.

Потирая больной бок, Наполеон направился в рабочий кабинет. «Скорее в армию, только там можно все спасти, все исправить...»

## V

Вечер того же дня в доме префекта парижской полиции.

— Люсьен, отстань, у меня еще куча дел!

— Знаем ваши дела! Брось, Софи, ты все равно не успеешь примерить все свои побрякушки до прихода гостей. Надевай любые — тебе идет все. Да, да, оставь вот это — будет очень хорошо...

— Много ты понимаешь!.. Разве эти серьги идут к голубому?

— И к зеленому, и к красному. Настоящие камни идут к чему угодно.

— Истинно мужская философия! И потом, они ненастоящие.

— Значит, я не узнал подарок нашего отца. О Софи, какую злую роль отводит тебе судьба — блистать в подделках!

— Не злословь, Люсьен. В том возрасте, когда отец дарил мне их, я не могла рассчитывать на большее. Теперь, слава Богу, он стал внимательнее к моим туалетам.

— Я не злословлю, сестренка. Я полон почтения к нашему родителю до такой степени, что лет через двадцать пять, когда у меня самого будут дети, даже охотно возьму на вооружение его золотое правило семейного благополучия: «Отец, который не будет скуп, будет нищ». Беда, однако, в том, что для детей одно равнозначно другому. Макиавелли был прав: француз больше скуп на свои деньги, чем на свою кровь.

— Может быть, отчасти это и так, но все равно не злословь.

— «Отчасти»!.. Ты не хуже моего знаешь, как часто наш отец бывает похож на Сганареля, который, когда бывал сыт, думал, что и вся его семья пообедала.

— Кто этот господин Сганарель?

— Прости, я забыл, что ты читаешь только романы госпожи Жанлис и госпожи Коттэн  
148. Кстати, напомни мне, которая из них возымела «Дерзкие желания»?

— Госпожа Жанлис. Так, значит, этот господин — какой-нибудь персонаж твоего несносного Вольтера?

— Почти угадала — Мольера.

— Мольера? Не помню... Нет, помню — это он у нас в таком синем переплете на верхней полке?

---

148 Жанлис, Коттэн — французские писательницы, авторы «женских романов»

— Браво, завидная начитанность!

— Я никогда не беру оттуда книги... Но ради Бога, Люсьен, оставь в покое нашего отца и меня заодно. Как будто тебе не о чем больше поговорить. Скажи лучше, чего ты ждешь от жизни, ведь летом ты закончишь лицей и нужно будет что-то решать.

— Чего я хочу? Я хочу независимости. Ах, Софи, как я хочу независимости! В этом доме никто не хочет замечать, что я уже взрослый, что я умен, смел, что у меня есть характер. Чтобы зажить самостоятельно, мне не хватает лишь безделицы — денег. Знаешь, Софи, на свете есть такие счастливицы, которые при рождении получают наряду с естественными правами человека еще и кругленькую сумму ренты. Таким образом, к прочим врожденным способностям благосклонная судьба сразу добавляет им еще одну — покупательную. О, Руссо ошибался, отрицая врожденные способности! Нужно ли доказывать, насколько такая врожденная способность выделяет счастливого младенца из круга более отсталых сверстников!.. Но оставим в покое деньги, они приобрели для меня все свойства вещей метафизических, а я не люблю беседовать на туманные темы. Пока что я вижу, что отец распоряжается мной по своему усмотрению, и это бесит меня. Мне следовало родиться первым, Софи, — тогда мне было бы уже девятнадцать и я целых два года жил бы самостоятельно.

— Но чем бы ты занялся?

— Откуда я знаю?.. Писал бы стихи, путешествовал, стал бы адъютантом императора — какая разница! Я способен ко всему, кроме безвестности. Я добьюсь славы любой ценой, нужно только вырваться отсюда.

— Я тоже мечтаю об этом. Но мне труднее, чем тебе: выйти замуж не так просто, как достичь совершеннолетия.

— Как сказать! Ты не можешь выйти замуж последние три года, а я не могу достичь совершеннолетия уже целых семнадцать лет!.. К тому же ты все равно опередишь меня, Софи. Я почти уверен, что твой полковник Фавье сегодня попросит твоей руки.

— Ах! Глупости!.. А почему ты так думаешь?

— Ну, во-первых, сегодня он сопровождает императора в армию — а военные всегда признаются в любви перед отъездом в армию...

— Откуда ты знаешь?

— Читал военный устав... Не перебивай. Во-вторых, он ухаживает за тобой целых — сколько, два? — целых два месяца, и если он сегодня не сделает решительный шаг, то рискует уйти в отставку холостым.

— Ну вот еще, он совсем не такой старый...

— Каким кажется? Ох, молчу, молчу, прекрати драться! Я еще не сказал третью причину...

— Ну?!

— Если полковник забудет это сделать, то наш отец напомним ему — он тоже знает, что вы целуетесь под лестницей, и не позволит после этого полковнику спокойно пасть на поле боя холостым.

— Я окружена шпионами!

— Для вашего же блага, мадемуазель, для вашего же блага. Злодею не удастся избежать венца. Так что подумай, в каких выражениях ты дашь свое согласие, или лучше прочти перед выходом соответствующую страничку у госпожи Жанлис.

— Ты разволновал меня, Люсьен... Так ты думаешь, что сегодня? Ах, пустое... Но знаешь, о чем я тебя хотела попросить?

— Сочинить вам мадригал? Или свадебную оду?

— Нет, ты должен купить мне карту Франции.

— Ого! Полковник ставит непременно условием знание географии?

— Дай мне сказать. Вчера у Мари Рокур, — она затащила меня к себе после маскарада, — я видела на стене большую карту Франции. Рокуры втыкают в нее булавы с разноцветными головками, которые обозначают войска. Очень интересно — сразу видно, где

находятся враги. Эти Рокуры такие патриоты! Я тоже хочу знать, что происходит на границах.

— Конечно, я достану тебе карту, Софи. Только зачем тебе много булавок? Достаточно одной большой булавки, которая будет показывать тебе местонахождение полковника Фавье.

— Насмешник! «Разлука? Я не боюсь ее, ведь ты не сможешь покинуть мое сердце», — говорит Матильда своему другу у госпожи Коттэн. Смейся, смейся, но только после того, как найдешь у своего Мольера что-нибудь столь же возвышенное... Лучше расскажи, что нового в городе и как ты встретил Новый год.

— Что нового? В Париже скоро нечего будет есть. Пока еще можно достать самое необходимое и кое-какие сласти, но это все. Говорят, что в провинциях гавани забиты товарами, однако никто не хочет везти их в Париж... Я зашел в «Погреб»<sup>149</sup> — там дурно кормят, зато хорошо поят, — поэты не переносят плохого вина, оно убивает поэзию. Было, как всегда, весело... Дезожье<sup>2</sup> в своем председательском колпаке был уморителен и, разумеется, пьян, как всегда... В этот раз он подражал одному строгому судье, который заснул во время слушания дела, а проснувшись, закричал: «Повесить его! Повесить!» — «Кого, ваша честь? Речь идет о луге». — «Тогда скосить его! Скосить!» Умора!.. Я читал свои новые куплеты, послушай, кстати, и ты:

«Все, что в меру, — то и благо», —  
Мудрецов завет простой,  
И рубиновую влагу  
Ты слегка разбавь водой.

Кубков стук с ученой речью  
Чаще ты перемежай;  
Не на всех рабынь под вечер  
Взоры томные бросай,

И оставь вакханок юных,  
Если в час ночных бесед  
Пальцы тонкие на струны  
Возлагает кифаред.

Всем понравилось, а тебе, Софи? Их даже успели переложить на музыку — получилось весьма недурно... Что еще? Был Беранже, забавный тип. Я, кажется, рассказывал тебе о нем? Нет? Ну как же — он входит в моду. Старик в свои тридцать четыре — плешивый, бледный, длинные волосы по плечам... Он сам рассказывал, как в двадцать лет не записался в конск-рипты, и это сошло ему с рук: никому не пришло в голову тащить его к военному комиссару — так он был стар на вид. Да я говорил тебе про него, вспомнила?.. Он опять читал свои куплеты — «Короля Ивето» и еще кое-что, не для дамских ушей...

— Люсьен, прочти!

— Ты с ума сошла, я в ответе за твою нравственность перед полковником Фавье!

— Кто это говорит? Недоучившийся школяр!

— Нет, правда не могу, сестренка, — язык не поворачивается. Я попрошу у него в следующий раз переписать. Уповаю на то, что к тому времени ты будешь замужней дамой и я не растлю невинность... Кстати, Беранже говорит, что сочинял эти куплеты, чтобы развлечь своего больного друга, какого-то художника. Думаю, что его друг выздоровел — тут и мертвый расхохочется!.. А знаешь, чем он объясняет откровенность своих сюжетов?

---

<sup>149</sup> «Погреб» — название артистического кафе в Париже. <sup>2</sup>Дезожье — французский поэт, автор фривольных стихов

— Своей распушенностью?  
 — Это с его-то внешностью? Нет — своей гражданственностью.  
 — Как это?  
 — Говорит, что мысль, стесненная в выражениях деспотизмом цензуры, стремится перейти границы дозволенного. Представляешь — скабрёзность как оппозиция! Каков?.. Он мне нравится — забавный малый.  
 — Ты так и просидел там всю ночь?  
 — Нет. Ты уже слышала, что на Тюильри завесили черным крепом знамя? Так вот, это сделали мы.  
 — Мы? Ты?  
 — Нет, Беранже. Но с нашей помощью.  
 — Ты не шутишь? Как это было?  
 — Ночью мы вышли подышать свежим воздухом — многим это было необходимо. На цоколе колонны Великой армии 150 мы увидели листовку роялистов, обращенную к союзникам: «Просят приходить скорее: колонна готова упасть». Беранже с каким-то бешенством сорвал ее и стал вопить на всю улицу, что Наполеон предал свободу и что теперь, по его вине, страна вновь ляжет под Бурбонов. Дезожье и все мы успокаивали его, но он все кричал, что свобода в трауре и он, как поэт, должен объявить об этом всем. Дезожье возразил ему, что поэзия существует не для всех, а для избранных. «Тогда к черту поэзию! — заорал Беранже. — Отвлеките караул перед Тюильри, и я сделаю так, что утром все будут знать о том, что свобода в трауре». Мы подошли к гренадерам, и я стал читать им «Балладу о толстухе Марго» Вийона:

Слуга и «кот» толстухи я, но, право,  
 Меня глупцом за это грех считать:  
 Столь многим телеса ее по нраву,  
 Что вряд ли есть другая, ей под стать...<sup>151</sup>

Впрочем, дальше помолчу, ты не гренадер... Пока я забавлял этих великанов, Беранже залез на крышу главного павильона и завесил трехцветный флаг своим черным плащом. Вот как это было. Надеюсь, ты воздержишься от пересказа этой истории нашему отцу — боюсь, что полиция окажется менее снисходительна к нашему поэту, чем военный комиссариат. Потом мы еще долго ходили по городу, читая прокламации, которые висят на каждом углу. Роялисты очень расторопны... Я принес с собой одну из них — вот, слушай: «Французы, Людовик XVIII, ваш законный государь, только что признан европейскими державами. Их победоносные армии приближаются к вашим границам. Вы получите мир и прощение. Неприкосновенность собственности будет гарантирована, налоги уменьшены, ваши дети вернутся в ваши объятия и снова смогут возделывать поля». Подписано: «Принц Конде»<sup>152</sup>. Слышишь, Софи, твои дети смогут спокойно возделывать поля. Ты рада?

— Фи, как это скучно... Зачем ты мне это читаешь? Я не знаю этого Людовика XVIII, я его никогда не видела. Говорят, он стар?

— Софи, у королей, как и у женщин, нет возраста.

— Насчет женщин согласна, а вот короли... Мы, женщины, хотим обожать своего государя. Например, ты знаешь, что Мари Рокур влюблена в нашего императора и хочет от

---

<sup>150</sup> Колонна, сооруженная в Париже в честь побед Наполеона

<sup>151</sup> Перевод Ю. Корнсева

<sup>152</sup> Конде Луи Бурбон — член королевского дома, предводитель корпуса французских дворян-эмигрантов в войсках союзников

него ребенка? Она страшная патриотка, я тебе уже говорила...

— Я обнажаю голову, но как посмотрят на ее кандидатуру императрица и Государственный совет?

— Опять смеешься? И зачем я тебе это рассказала! Мари обидится страшно, если узнает. Не смей показывать ей, что знаешь, слышишь? Мне тоже нравится наш император — не до такой степени, конечно... В конце концов, он сделал нашего отца бароном. Ну вот, я и готова, мы можем спускаться к гостям...

## VI

Остаток дня Наполеон работал с министрами, военными, чиновниками. Он учредил регентство императрицы, отдал распоряжения по укреплению Парижа и еще десятки других распоряжений, которые считал нужным сделать. Вечером он выехал в Шалон в карете, разбитый болями, нелюдимый, посадив с собой одного Бертье.

Комендант Тюильри был смещен, но приказа расследовать дело со знаменем не последовало. Удивленный префект полиции отнес эту забывчивость к переутомлению императора и по своей инициативе предпринял розыски — просто из любви к профессии. Через два дня агент-осведомитель III степени Мари Рокур сообщила ему имя виновного. Префект полиции сунул данные в пустую папку и потерял всякий интерес к этому делу.

## ЗНАК

Подобно многим другим убежденным республиканцам, лейтенант Жюль Фонтен почувствовал первые уколы ненависти к Бонапарту после плебисцита о пожизненном консульстве [4 августа 1802 г. Декрет Сената провозгласил Наполеона Бонапарта пожизненным консулом на основании плебисцита (за — 3 568 885 голосов, против — 8374)]. Постыдный арест Моро [Генерал Моро был арестован 15 февраля 1804 г. по бездоказательному обвинению в участии в так называемом «заговоре Кадуля» с целью убить Наполеона] и непристойный фарс коронации сделали это чувство преобладающим.

Он был молод, и его память не сохранила никакого другого обвинения против монархии, кроме воспоминаний о мучительном чувстве стыда за отца, преуспевающего руанского адвоката, пытавшегося привить ему свою гордость дворянским титулом, который он приобрел за год до революции, купив небольшое поместье в Кальвадосе, и неприятного ощущения, испытываемого им при взгляде на чересчур белые руки иезуита аббата Паскье, своего наставника, весьма сведущего в вопросах вредности естественных наук для юношества и пользы религии для укрепления трона. Философ, сказавший, что республиканизм есть политическая форма семейного протеста детей против деспотии отцов, был недалек от истины. Республиканизм Фонтена, покоящийся на столь зыбких основаниях, не мог не быть восторженным и бескомпромиссным.

Тем не менее он продолжил службу под знаменами Империи и принял участие в походах 1805 — 1807 годов. При Эйлау он получил несколько ран и был оставлен вместе с трупами на толстом льду одного из прудов, на которых происходило сражение. Морозной ночью он был раздет казаками до рубашки; вслед за тем на него обратили внимание два русских гвардейских офицера. Прикинув к его лицу и удостоверившись, что он жив, они покрыли его шинелью убитого солдата и на своих руках отнесли к фурам, собиравшим раненых. Медицинская прислуга получила от них строгое указание отвезти полумертвого француза в госпиталь ближайшего города и передать особенному попечению врача. Впоследствии Фонтен узнал, что обязан спасением положению своей руки, которой он прикрывал одну из ран: случайно его пальцы сложились в масонский знак. Это происшествие было воспринято им как знамение свыше. Выздоровев, он вступил в ложу



«Соединенные друзья» <sup>153</sup> и остался в России.

Некоторое время Фонтен надеялся, что царь Александр покончит с Наполеоном и восстановит во Франции республику, но Тильзитский мир и свидание в Эрфурте разочаровали его в русском императоре так же, как ранее коронация — в Бонапарте. Тогда он стал думать, что только кинжал патриота может уничтожить ненавистного тирана, пока неудачное покушение Штапса <sup>154</sup> не заставило его усомниться и в этом способе возмездия. Беседы с братьями по ложе помогли ему восстановить пошатнувшееся доверие к царю и лучше уяснить замыслы Провидения относительно судьбы Наполеона.

Из Писания явствовало, что император французов был тем человеком, названным в пророчествах царем Вавилонским, о котором Исайя говорит: «Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе: тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царства, вселенную сделал пустыней и разрушал города ее?» Остановить его беззакония может только Божий избранник: «Господь возлюбил его, и он исполнит волю Его над Вавилоном и явит мышцу Его над Халдеями». Этот избранник — Царь Александр, кроткий ангел мира, что несомненно доказывалось стихом: «Я воззвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя определения Моего». О том же свидетельствовал и Иеремия: «Ибо от севера поднялся против него народ, который сделает землю его пустынею»; и еще: «Вот, идет народ от севера, и народ великий, и многие цари поднимаются от краев земли». Царь Вавилонский будет низвержен в ад, в глубины преисподней, по слову пророка Исайи. Впрочем, подробности его гибели оставались неясны, так как здесь пророк прибег к иносказанию: «Все цари народов, все лежат с честью, каждый в своей усыпальнице; а ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы, — ты, как попираемый труп, не соединишься с ними в могиле». Слова эти можно было понимать и так, что тиран будет убит, однако это должно было случиться не раньше, чем Господь явит на нем свое могущество.

Катастрофа русского похода и последовавший за ней триумфальный въезд «ангела мира» в Париж были встречены Фонтеном с той спокойной внутренней радостью, какую доставляет обладание истинным знанием. Он ждал немедленного возмездия для тирана и потому с большим смущением узнал о даровании Наполеону наследственных прав на остров Эльбу. Такой финал никак не походил на низвержение в ад; оставалось предположить, что Господь предоставил свершить окончательный суд над тираном не Александру, а кому-то другому.

С неясным ощущением неизбежности новых бурь Фонтен осенью 1814 года возвратился во Францию. Дорожные впечатления убедили его в том, что мир еще не избавился от Бонапарта. Отпущенные из русского плена солдаты, чьи бесконечные колонны он видел на дорогах Германии, проходили через города и деревни с кличем: «Да здравствует император!» В Париже уволенные королем офицеры носили в петлицах искусственные фиалки в знак того, что *Caporal de Violette* <sup>155</sup> возвратится не позже весны. Один из них, привлеченный лейтенантским мундиром Фонтена, подсел к нему в кафе. «Я вижу, вы тоже

---

<sup>153</sup> Массонская ложа «Соединенные друзья» была открыта в 1802 г. в Петербурге действительным камергером А.А. Жеребцовым. Ее работа велась на французском языке, но актам французской системы, полученным Жеребцовым в Париже, где он был посвящен во время консульства Наполеона

<sup>154</sup> 12 октября 1809 г. в Шёнбрунне немецкий студент Фридрих Штапс пытался подойти к Наполеону во время смотра, но был быстро отеснен от императора адъютантом Ранном, который при этом нащупал у него под платьем оружие — длинный кухонный нож. Будучи арестован, Штапс сознался, что имел намерение убить императора. Наполеон сам допрашивал его и предлагал ему помилование; Штапс спокойно отвечал, что воспользуется свободой для нового покушения. Наполеон велел его расстрелять; префекту полиции приказано было распространить слух, что Штапс был сумасшедшим

<sup>155</sup> Капрал Фиалка (фр) — прозвище Наполеона, бытовавшее среди бонапартистов в 1814 — 1815 гг.

не у дел, — сказал он. — Не отчаивайтесь, молодой человек! Дни Бурбонов сочтены. Стоит Наполеону водрузить палку со своей шляпой на берегу Прованса, как народ тут же соберется вокруг».

Офицер чем-то понравился Фонтену, и он вяло поддакнул ему. Они познакомились. Из дальнейшего разговора выяснилось, что они оба были при Гогенлиндене <sup>156</sup>. Фонтен был рад встретить человека, как и он сам помнившего последнюю победу республики. Спросив офицера, где он живет, и, узнав, что тот ночует у знакомых, Фонтен предложил ему поселиться у него в снимаемой им квартире из двух комнат. Офицер с готовностью согласился.

Они были почти неразлучны до начала января 1815 года, несмотря на то что офицер делал частые визиты и принимал у них в квартире каких-то людей. После Нового года, проведенного ими весьма бурно, товарищ Фонтен-на подхватил сильнейшую горячку. Фонтен не отходил от него ни на шаг ни днем, ни ночью. В одно утро, когда больной почувствовал улучшение, он сказал Фонтену:

— Благодарю вас за заботу обо мне, друг мой. Все же я еще долго буду слаб, а между тем мне необходимо доставить одному человеку чрезвычайно важное письмо. Могу ли я быть откровенным с вами?

Фонтен поклялся честью, что сохранит услышанное в тайне.

— Я прошу вас доставить это письмо по адресу, — продолжал офицер. — Вы найдете его в ящике моего бюро. Это донесение императору о положении дел во Франции. Предупреждаю, что, если вы попадетесь с ним, вас расстреляют.

— Я готов, — сказал Фонтен, стараясь, чтобы голос не выдал охватившего его волнения.

Всю дорогу до Марселя он старался не думать о том, что он делает и что ему предстоит сделать. Он то с необыкновенной четкостью видел каждый блик, скользнувший по стеклу почтовой кареты, каждое дерево или дом, мелькнувшие за ее окном, то погружался в тупое оцепенение, из которого его выводил только крик кучера, объявлявшего прибытие в очередной пункт назначения. Он боялся поверить в свое избранничество и не мог понять, чем оно больше пугает его — ощущением тяжкого бремени или необыкновенной свободы. В Лионе он сказал себе, что все решит на месте, оказавшись рядом с ним.

В середине февраля Фонтен был в Марселе и через два дня сошел на берег в Порто-Ферайо, переименованный Наполеоном в Космополит.

Вообще, всюду на острове были видны следы кипучей деятельности «нового Санчо Пансы»: украшался дворец, ремонтировались форты, строились шоссе и мосты, осушались болота, насаждались виноградники. Смотры, парады, учения сменяли друг друга; в гавани появился «флот»: шестнадцатипушечный бриг «Непостоянный» и несколько фелюг, казавшихся совсем крохотными рядом с красавцем фрегатом сэра Нила Кэмпбелла <sup>157</sup>.

Город выглядел весьма оживленным. Улицы, кафе и рестораны были полны туристами со всей Европы, шпионами союзных монархов, а также французскими, польскими и итальянскими офицерами, желавшими поступить на службу к Наполеону.

Разузнав, где находится резиденция императора, Фонтен немедленно направился туда. Двухэтажный дом властителя Эльбы, огороженный невысокой стеной, стоял над морем, на краю высокой скалы, поросшей травой. Фонтен изложил караульному офицеру свое дело, и тот провел его к генералу Бертрону, дворцовому распорядителю. Приемная оказалась набита посетителями — Наполеон принимал у себя несколько десятков человек в день. Задав

---

<sup>156</sup> 2 декабря 1800 г. у Гогенлинденского леса (Германия) 120-тысячная армия генерала Моро разгромила 150-тысячную австрийскую армию эрцгерцога Иоанна

<sup>157</sup> Нил Кемпбелл — английский полковник, следивший по поручению правительства Англии за действиями Наполеона на о. Эльба.

Фонтену несколько вопросов, Бертран исчез за дверью кабинета императора; спустя полминуты он приоткрыл дверь и сделал Фонтену приглашающий знак.

Войдя вслед за ним, Фонтен очутился в небольшой комнатке с низким потолком, обставленной со всевозможной роскошью. Император сидел за столом у окна; над его головой красовалась золоченая латинская надпись: «*Napoleo ubicumque felix*» — «Наполеон всюду счастлив». Фонтен поразился перемене, произошедшей в облике императора за восемь лет, прошедших со дня сражения при Эплоу. Лицо его сохранило надменное выражение, но сильно похудело, резко обозначив выдающуюся вперед челюсть. Похудело и все его тело, за исключением живота, который теперь отвисал, что стало особенно заметно, когда Наполеон встал из-за стола и сложил за спиной руки. Фонтен заметил также, что у императора появилась привычка щуриться и глядеть сквозь полуприкрытые веки, изредка мигая левым глазом; с той же стороны слегка подергивалось и ухо.

Прочитав письмо, Наполеон в раздумье зашагал по комнате. Потом он подошел к Фонтену и, по своей давней и неизменной привычке ободряюще дернув его за ухо, сказал:

— Ваше лицо мне знакомо. Вы были со мной при Маренго?

— Нет, сир, — ответил Фонтен. — Я был с Моро при Гогенлиндене.

При упоминании Моро Наполеон нахмурился.

— Ну что ж, мне нужны храбрые офицеры, — сказал он. — Отправляйтесь к генералу Друо, он даст вам взвод.

«Я убью его, как только придет мой черед нести караул во дворце», — подумал Фонтен, выходя из кабинета.

Всю следующую неделю он был спокоен и уверен в себе. Друо сказал ему, что его взвод должен быть готов к дежурству 6 марта.

24 февраля английский фрегат покинул гавань Пор-то-Ферайю, держа курс на Ливорно (раз в три недели Кемпбелл курсировал между Эльбой и Италией). Через два дня, в полдень, Фонтен услышал сигнал к общему сбору. Выведя свой взвод из казармы, он повел его на плац и построил. Прошел час, войска все прибывали; офицеры расспрашивали друг друга о причине сбора, но никто ничего не мог сказать.

В два часа пополудни появился Наполеон. Он шел пешком, сопровождаемый генералами Бертраном, Друо, Мале, Камбронном и несколькими капитанами. Встреченный приветственными криками, он прошел в середину каре, образованного войсками, и заговорил. Солдаты притихли, с удивлением и радостью слушая долгожданные слова императора.

Наполеон начал с того, что приписал свои неудачи измене: если бы не Ожеро и Мармон<sup>158</sup>, союзники нашли бы себе могилу на полях Франции. Далее он объявил причиной своего отречения преданность интересам родины. Но Бурбоны, навязанные Франции иностранными державами, предали нацию. Право народа они захотели заменить правами аристократов. Благо и слава Франции никогда не имели более злых врагов, чем эти люди, взирающие на старых воинов Революции и Империи как на бунтовщиков. Все тяготы ложатся на патриотов, богатства и почести достаются бывшим эмигрантам. Вскоре, пожалуй, награды будут даваться только тем, кто сражался против своей родины, а офицерами смогут быть только те, чье происхождение соответствует феодальным предрассудкам.

— Солдаты! — воззвал император. — В изгнании услышал я жалобы нашей родины. Мы переплывем моря, чтобы вернуть французам их права, являющиеся вместе с тем и вашими правами. Народ зовет нас! Победа двинется форсированным маршем. Трехцветный орел полетит с колокольни на колокольню, вплоть до башни собора Парижской Богоматери. Париж или смерть!

Взрыв ликующих криков покрыл его последние слова. Солдаты и офицеры обнимались

---

<sup>158</sup> В 1814 г. маршал Ожеро, возглавлявший французские войска на юге Франции, перешел на сторону союзников; маршал Мармон подписал капитуляцию Парижа

друг с другом, требуя немедленного выступления. Фонтен не мог прийти в себя от изумления. Десятки рук трясли его, кто-то душил его в объятиях, а он думал только одно: «Я остановлю его».

Началась погрузка на корабли, окончившаяся к семи часам вечера. Поднимаясь по сходням, старые гренадеры кричали: «Париж или смерть!» В восемь часов император вместе со штабом поднялся на борт «Непостоянного», вслед за чем пушечный выстрел возвестил отплытие, и суда вышли в море. При свежем южном ветре эскадра направилась из залива на северо-запад, огибая берега Италии.

Взвод Фонтена вошел в число трех сотен гренадер, разместившихся на бриге императора. Всю ночь солдаты и экипаж перекрашивали обшивку брига: желтый с серым заменили на черный и белый, чтобы обмануть английские и французские фрегаты, курсировавшие между островами Эльба и Капрая.

На другой день флотилия уже была около Ливорно. Вдали показались три военных корабля, один из которых, бриг «Зефир», под белым бурбонским знаменем, направился прямо к «Непостоянному». Тотчас велено было задраить люки. Солдаты сняли свои высокие шапки и легли плашмя на палубу; офицеры передавали приказ Наполеона идти на abordage, если «Зефир» не согласится пропустить их корабль без осмотра.

Бриг под белым флагом на всех парусах неся к «Непостоянному»; корабли прошли один мимо другого, едва не соприкоснувшись бортами. Капитан «Зефира» Анд-риё, состоявший в приятельских отношениях с капитаном Тальядом, ограничился тем, что окликнул его, спросив, куда направляется «Непостоянный». «В Геную», — отвечал Тальяд. «Как себя чувствует император?» — прокричал в рупор Андриё. «Превосходно», — раздалось с «Непостоянного», и корабли разошлись. Фонтен видел, что на последний вопрос Андриё ответил сам Наполеон.

Наутро всем офицерам, солдатам и матросам, умевшим писать, раздали воззвание императора к армии и французам, приказав изготовить побольше копий. Фонтен вместе с другими разлегся на палубе и аккуратно сделал семь копий. Затем принялись изготовлять трехцветные кокарды — для этого достаточно было срезать наружный край кокарды, которую войска носили на Эльбе. Занимаясь всем этим, Фонтен не упускал из виду Наполеона, почти безотлучно находившегося на палубе, но подойти к нему близко было невозможно, так как вокруг него постоянно толпились солдаты и матросы. Они забрасывали его вопросами, на которые он охотно и подробно отвечал.

— В случаях, подобных этому, — доносился до Фонтена его голос, — следует долго обдумывать, но действовать быстро. Я тщательно взвешивал этот план, я обсуждал его со всем тем вниманием, на какое способен. Излишне говорить вам о бессмертной славе и о награде, которая нас ждет, если наше предприятие увенчается успехом. Если же нас постигнет неудача, то от вас, воинов, с юных лет проявлявших равнодушие к смерти во всех ее видах и во всех странах, я не стану скрывать, какая нас ждет участь. Она нам известна, и мы ее презираем.

1 марта в четыре часа пополудни войска высадились на побережье, неподалеку от Канн. Наполеон сошел с брига последним и вместе со всеми немного отдохнул на биваке, разбитом на лугу, окруженном оливковыми деревьями.

С наступлением ночи двинулись в путь.

Шли всю ночь напролет. В прозрачном лунном свете Фонтен видел далеко впереди сутулую фигурку императора, едущего во главе своего маленького отряда. Жители селений, через которые проходила колонна, наглухо закрывали окна или выходили из домов и сбивались в молчаливые кучки; на возгласы солдат: «Да здравствует император!» — они пожимали плечами и покачивали головой. Гренадеры хмурились и недоуменно умолкали. Они жаловались на усталость, и император спешил, вставал в их ряды и подбадривал ветеранов, называя их своими «старыми ворчунами».

В последующие два дня настроение крестьян и горожан изменилось: сыграли свою роль воззвания Наполеона, распространившиеся по Дофине. Дальнейший путь армии

напоминал триумфальное шествие. Героем дня стал гренадер Малон — первый солдат, присоединившийся к отряду Наполеона. Гренадеры заставляли его вновь и вновь повторять его рассказ о том, как полковник Жермановский <sup>159</sup>, встретивший его дорогой, сообщил ему о возвращении императора. Малон не поверил и расхохотался: «Ладно, у меня будет что рассказать дома нынче вечером!» Полковнику стоило большого труда убедить его, что он не шутит. Тогда Малон задумался и заявил ему: «Моя мать живет в трех милях отсюда; я схожу попрощаюсь с ней и сегодня вечером приду к вам». И действительно, вечером он хлопнул полковника по плечу и не успокоился до тех пор, пока тот не обещал ему передать императору, что гренадер Малон решил разделить судьбу своего повелителя.

Все это время Фонтен размышлял, под каким предлогом он может приблизиться к Наполеону, чтобы без помех выстрелить в него. События последних дней вызвали в нем сильнейшие сомнения в своем предназначении. Он вспоминал все случаи, когда Наполеону удавалось спастись от казавшейся неизбежной гибели, и боялся, что и его промедление служит еще одним доказательством необыкновенной благосклонности судьбы к этому человеку. Не доверяя больше своим чувствам, Фонтен искал во всем, что окружало его, какого-нибудь знака, подтверждающего, что он по-прежнему является орудием Провидения.

6 марта в ущелье Лаффрэ путь отряду Наполеона преградил авангард гренобльского гарнизона — батальон 5-го линейного полка и рота саперов. Жермановский, посланный к их командиру для переговоров, возвратился с известием, что тот отказывается вступать в какие-либо сношения и угрожает открыть огонь по бунтовщикам. Наполеон спешил и, приказав гренадерам следовать за ним, медленно двинулся к ущелью.

Солдаты шли, переложив ружья под левую руку и опустив их дулом в землю. Фонтен не спускал глаз с императора, сжимая рукоять пистолета, мокрую от пота.

На выходе из ущелья он увидел королевские войска. Солдаты стояли неподвижно и молчали. Офицер, командовавший ими, выкрикивал какие-то ругательства и требовал открыть огонь. «Стреляйте, негодяи! — кричал он. — Это не Наполеон, а какой-нибудь самозванец!»

Император велел своим гренадерам остановиться. Шеренга за шеренгой застыла у него за спиной в зловещем молчании. Наполеон дернул плечом и с невозмутимым спокойствием направился к королевскому батальону.

— Вот он!.. Пли! — закричал вне себя офицер.

Фонтену показалось, что солдаты сейчас возьмут на прицел. В эту минуту где-то в вышине раздался слабый клекот. Фонтен посмотрел вверх: едва различимый орел парил, казалось, прямо над императором. Он быстро подошел к Наполеону сзади, навел пистолет в спину и спустил курок. Раздался сухой щелчок. Мгновение спустя Фонтен вздрогнул всем телом от ужасной боли, почувствовав, как несколько штыков разом вонзились ему в спину.

Упав лицом в землю, он погрузился в темноту. Последние звуки, которые долетели к нему, были крики: «Да здравствует император!»

## ПОГИБШАЯ ДУША ГРЕНАДЕРА РИКУ

Я вышел в отставку в 184... году. На давнее неопределенное намерение мое оставить службу решительным образом повлиял следующий случай. Молодой солдат, стоявший в карауле у дверей полковой казармы, не пропустил внутрь его величество императора Николая Павловича, который изволил посетить наш полк инкогнито в одну из своих инспекционных поездок. Неопытный часовой не узнал государя; впрочем, его действия находились в строгом соответствии с уставом. Случись это в добрую минуту, солдат, вероятно, получил бы награждение, ибо справедливость неизменно осеняла каждое из деяний Незабвенного. Однако, к несчастью, на этот раз государь пребывал не в духе, будучи

---

<sup>159</sup> Жермановский — предводитель отряда польских улан, входивших в состав войск Наполеона на Эльбе

недоволен общим состоянием дел в нашем полку. Несколько чересчур резких слов, сорвавшихся в минуту раздражения с его языка в беседе с нашим полковым командиром, послужили причиной тому, что после отъезда государя злосчастный часовой был трижды прогнан сквозь строй.

Провинившийся был из моего батальона. Я совершенно точно знал, что приказ об экзекуции исходил не от государя. Поступок полковника казался мне низким; товарищи мои разделяли мое возмущение. Отвечая на высказанный мной протест, полковник задел мою честь, и притом в присутствии посторонних. Дуэль между нами была невозможна. В тот же день я подал прошение об отставке. Я поселился в Петербурге, целиком отдавшись научным и литературным занятиям, к которым влекли меня мои природные склонности.

Если я позволил себе занять внимание читателя некоторыми событиями из моей жизни, то лишь потому, что поступок упомянутого солдата несколько позже вызвал в моей памяти другую историю, о которой, собственно, я и хочу рассказать.

Будучи еще совсем молодым человеком, я посетил Париж. Карл X тогда еще царствовал. Мой тогдашний возраст и положение праздного туриста помешали мне с должным вниманием отнестись к той политической борьбе, которая разворачивалась у меня на глазах и которая окончилась воцарением Орлеанского герцога. Задорная атака молодых романтиков на обветшалое здание классицизма, предшествовавшая взятию народом Тюильри, гораздо сильнее занимала меня. Я был одним из тех, кто бурно рукоплескал первому представлению «Генриха III»<sup>160</sup> во Французской Комедии. На моих глазах обращение к истории — не странно ли? — придавало новые силы действительной жизни. С этой исторической драмой трагический театр обновлялся, становясь более современным, более живым, более страстным, — хотя, увы, как я могу судить по прошествии лет, — и более вульгарным.

В тот день при выходе из здания театра я столкнулся с моим соседом по квартире. Имени его я не знал; все звали его просто папаша Рику. Надо сказать, что средства мои были невелики. Путешествуя без определенной цели, я имел в виду не столько получение удовольствий, сколько смену и разнообразие впечатлений. Я не собирался ни заводить знакомства, ни пускать пыль в глаза. Сообразно с моими намерениями и моим достатком, я снял две комнаты на улице Сен-Фиакр — довольно опрятные, в доме, верхний этаж которого занимала редакция некоей газетки. Кажется, папаша Рику исправлял в ней обязанности рассыльного или что-то вроде этого; впрочем, иной раз его можно было увидеть с кипой бумаг на голове и с налоговой книжкой управления гербовыми сборами в зубах. У меня не возникло никаких сомнений относительно причин его появления в театре: он был одним из тех псевдозрителей, которыми враги молодого автора пьесы наводнили партер, чтобы провалить премьеру (на следующий день я мог убедиться в справедливости своих подозрений, прочитав свежий номер упомянутой газетки с ожесточенными выпадами против «Генриха III» и романтизма вообще).

Рику поздоровался со мной. Я ответил, подавив свое отвращение. Признаюсь, Рику был мне любопытен, но, конечно, не в своем нынешнем положении. Когда-то он был одним из гроньяров, наполеоновских ворчунов, и это обстоятельство заставляло меня с интересом поддерживать те беседы, которые иногда возникали между нами при неизбежных встречах на лестнице и у дверей наших квартир. По правде говоря, трудно было поверить, что этого пьяницу с красноватыми слезящимися глазками знал в лицо сам великий император французов. Однако лента ордена Почетного легиона в петлице его потертого синего сюртука свидетельствовала в пользу правдивости его слов. Что же касается его внешности, то о некогда бравом и, должно быть, весьма воинственном и грозном виде гренадера Рику теперь напоминали одни пышные седые усы, в которых утопал багровый кончик его носа.

---

<sup>160</sup> Историческая драма А. Дюма-отца «Генрих III и его двор» была поставлена на сцене Французской Комедии в 1829 г.

Я не смог отказать себе в жестоком удовольствии поинтересоваться, как понравилась ему пьеса. Он смутился и отвечал какими-то неопределенными звуками. «Кажется, она не должна была разочаровать вас, — продолжал я. — Все эти красочные, полные драматизма картины, вероятно, напомнили вам иные исторические сцены, которые не так давно ставил для всех нас антрепренер всемирного театра. Впрочем, он тоже не избежал свистков толпы, раздраженной и утомленной затянувшимся представлением». Рику встрепенулся. «Осуждать императора! — воскликнул он в волнении. — Я не сделаю этого даже ради спасения собственной души!»

Очевидно, мои слова пробудили в Рику какие-то тягостные воспоминания, потому что наутро я увидел, что веки у него опухли от ночных слез. Завидев меня, он поспешно отвернулся и ушел. Но спустя несколько дней он предстал передо мной в радостном возбуждении, сильно навеселе, напевая солдатскую песенку о полковом умнике, преподающем новобранцу науку грабежа:

N'y va jamais le jour, c'est trop  
Bete. Mais vas-y a la brune,  
Tu ne manqueras jamais ton coup.

[Не ходи днем, это слишком глупо.  
Ступай в сумерки, и, верно, будет удача (фр.)]

Выяснилось, что вчера он был в цирке у Франкони и видел представление «Аустерлицкая битва». Зрелищем он остался доволен, хотя не преминул поведать мне о некоторых замеченных им ошибках: при Аустерлице, по его словам, было так холодно, что ружье примерзало к его рукам; у Франкони же была такая жара, что приходилось бесконечно спрашивать холодного пива и лимонада. Пороховой и лошадиный запахи были безупречны, но, как он заверял, кавалерийские лошади тогда не были так отлично выдрессированы. Он не брался утверждать, правильно ли были представлены маневры инфантерии, так как в клубах дыма, затянувшего настоящее Аустерлицкое поле, он видел только батальоны, маршировавшие в непосредственной близости от него. Зато дым у Франкони удался отлично и так приятно, по его словам, подействовал на его грудь, что он совершенно вылечился от давно докучавшего ему кашля. «А император?» — спросил я его. «О, император! — улыбнулся Рику. — Он совсем не изменился и был, как прежде, в своем сером сюртуке и треугольной шляпе (правда, что скрывать, в день Аустерлица концы его шляпы намокли от снега и обвисли ему на плечи). При виде его сердце вновь забилося в моей груди. Ах, император! — прибавил Рику. — Один Бог знает, как я его люблю! Не раз в этой жизни я ходил за него в огонь, и даже после смерти пойду за него туда же!»

Последние слова он произнес мрачным тоном, словно упиваясь своей обреченностью. Не в первый раз слышал я от него неясные намеки на то, что за любовь к своему императору ему уготован ад. На этот раз любопытство мое было возбуждено сильнее обыкновенного. Я пристал к нему с расспросами, и вот что он мне рассказал.

Рику был бретонец и, следовательно, непреклонный католик. Однажды во время революции, когда приехавший из Парижа комиссар побудил крестьян его деревни расправиться с их кюре, отказавшимся присягнуть Конституции, Рику укрыл несчастного священника у себя в доме. Призванный под знамена революционной армии, он увидел Наполеона во время его первой итальянской кампании. Именно из рук Рику молодой генерал вырвал знамя, под сенью которого мы видим его на знаменитом Аркольском мосту на картине Давида. В тот день Рику посчастливилось заслонить его собой от австрийской пули. Вечером Наполеон пришел к нему в лазарет. «Ты спас мне жизнь, а я лишил тебя славы первым ступить на неприятельский берег. Прости меня, солдат», — сказал он и при всеобщем шумном одобрении вручил Рику запыленное, пробитое в нескольких местах знамя. С этих пор Рику знал, за кого и за что он сражается.

Его обожание по отношению к своему кумиру сделалось беспредельным после восстановления католического культа во Франции. К политике Рику относился равнодушно. С одним и тем же восторженным чувством читал он вместе со священником в конце богослужения и «Domine, salvam fac Republicam; Domine, salvos fac consules» <sup>161</sup>, и «Domine, salvum fac imperatorem» <sup>162</sup>.

Но в 1809 году долг солдата и благочестие верующего сошлись между собой в самом непримиримом поединке, уготовив решительное испытание его совести. Как известно, в этом году папа Пий VII отлучил Наполеона от церкви; в ответ на это, по приказанию французского императора, жандармский отряд генерала Раде захватил Рим и увез папу сначала во Флоренцию, оттуда в Турин, затем в Гренобль и, наконец, в Савону. Рику принадлежал к отряду гренадеров, державших святого отца под караулом.

В Савоне папа жил под строгим надзором в доме префекта. Он отклонил все знаки почета, которыми его хотели было окружить. Терпеливо перенося скудость окружавшей его обстановки, он проводил большую часть времени в молитве и заявлял, что ничего не примет от того, кто незаконно захватил владения Церкви. Несколько раз он решительно отвергал назойливые предложения отказаться от Рима и поселиться в Париже, в архиепископском дворце, с ежегодным содержанием в два миллиона франков. Единственной льготой, которой пожелал воспользоваться гордый старец, было позволение беспрепятственно покидать свои комнаты для того, чтобы служить обедню в расположенной рядом часовне. Всякий раз когда папа проходил через комнату, где находились караульные гренадеры, он протягивал к ним руки и благословлял их, что было большим облегчением и утешением для смущенного Рику.

Между тем упрямство Пия VII, не желавшего утверждать назначенных Наполеоном французских епископов, повлекло за собой новые стеснения для узника. Однажды утром гренадеры получили указание ни под каким видом не выпускать папу из его комнат. На беду, в этот день караул нес именно Рику, свято чтивший в папе наместника Христова. В назначенный час Пий VII по обыкновению появился из своих комнат, чтобы идти в часовню. Рику, в смятении ждавший этой минуты и успевший помолиться всем святым, которых он знал, загородил папе дорогу и объявил о полученном им приказе. Пий VII в удивлении остановился, молча рассматривая бедного Рику. Сопровождавшие папу священники попытались усостыжить дерзкого караульного, наперебой толкуя ему о том, какой грех, какое проклятие он навлекал на себя, препятствуя его святейшеству, верховному владыке Церкви, служить обедню... Но Рику не слушал их, с немой мольбой вглядываясь в строго изучавшие его глаза Пия VII.

Наконец мантия папы шевельнулась — он сделал шаг.

— *Au nom de l'empereur!* <sup>163</sup> — закричал Рику и направил штык прямо на святого отца.

Пий VII с нескрываемым удивлением посмотрел на кончик штыка, слегка дрожавший у его груди, и повернул назад.

В скором времени развод с Жозефиной и намеченный брак с австрийской эрцгерцогиней принудили Наполеона вновь искать благоволения Римской церкви. Все строгости относительно Пия VII были отменены, и он опять получил право служить обедню в часовне. И вот он снова ежедневно проходил мерными тихими шагами мимо караульных солдат, раздавая свое благословение — всем, кроме несчастного Рику, на которого с тех пор всегда смотрел суровым взглядом и поворачивался к нему спиной в то время, когда протягивал к другим благословляющие руки.

---

<sup>161</sup> Храни, Господи, республику; храни, Господи, консула (лат.)

<sup>162</sup> Храни, Господи, императора (лат.)

<sup>163</sup> Именем императора! (фр.)



Вот какую страшную историю поведал мне старый наполеоновский гроньяр. «А между тем, — с отчаянием в голосе заключил он, — я ведь не мог действовать иначе, я получил приказание, я должен был повиноваться императору...» Тут глаза его загорелись, и он добавил: «А ради его приказания, да простит мне Бог, я бы проткнул штыком кого угодно!...»

Я постарался, как мог, уверить его, что вся ответственность за этот грех лежит на императоре, в чем, однако, для него нет никакой опасности, так как ни один черт в аду не посмеет поднять руку на Наполеона.

Рику охотно согласился со мной.

## КАРЬЕРА СВОБОДЫ

*Встревожен мертвых сон — могу ли спать?*

*Тираны дают мир — я ль уступлю?*

*Созрела жатва — мне ли медлить жать?*

*На ложе — колкий терн; я не дремлю;*

*В моих ушах, что день, поет труба,*

*Ей вторит сердце...<sup>164</sup>*

**Байрон**

О Константине Лугине русские летописи минувшего века сообщают немного. Мимолетной тенью скользнул он по страницам мемуаров, его бледный силуэт едва различим в ряду славных героев 1812 года. Он был храбр той нерусской храбростью, которой Лермонтов наделил одного из своих персонажей. Под Смоленском, в дни отступления, Лугин в своем белом кавалергардском колете и в каске ходил на линию огня, словно рядовой, перестреливаясь с французами из ружья, которое нес за ним его слуга. Выстрелы его были метки, так по крайней мере он уверял полковых офицеров, своих товарищей. Подобно Фигнеру, он мечтал убить Наполеона, и однажды прочитал Н.Н. Муравьеву заготовленное им письмо на имя главнокомандующего, в котором, изъявляя желание принести себя в жертву отечеству, просил, чтобы его послали парламентарем к Наполеону; Лугин клялся, что, подавая бумаги императору французов, всадит ему в бок кинжал. В подтверждение своих слов он даже показал своему слушателю кривой кинжал, хранившийся у него под изголовьем. «Лугин точно бы сделал это, если б его послали, — пишет Муравьев, — но, думаю, не из любви к отечеству, а с целью приобрести историческую известность. Мы скоро с места тронулись, и намерение его осталось без последствий...»

Во время заграничного похода имя Лугина не раз встречается в списках отличившихся при Бауцене, Дрездене, Лейпциге, Арси-сюр-Об. В официальном донесении о знаменитом сражении 25 марта 1814 года у Фер-Шампенуаз, где 4300 национальных гвардейцев совершили беспримерный семимильный марш, осылаемые картечью, отбиваясь сначала от пяти, потом от десяти и, наконец, от двадцати тысяч всадников русской и прусской конной гвардии, говорится, что Лугин, находившийся в составе кирасирского полка, с которым генерал Депрерадович преградил отступление трем французским каре, возглавлял эскадрон кавалергардов, врезавшийся в бреши, пробитые артиллерией в живой стене одного из каре, и полностью изрубивший несчастных «сыновей Марии-Луизы»<sup>165</sup>. Все это происходило на глазах у императора Александра, порывавшегося лично возглавить эту атаку и удержанного на месте лишь благодаря неимоверным усилиям всего генерального штаба, единодушно умолявшего его воздержаться от этого шага. Таким образом чин полковника, пожалованный Лугину на другой день, может служить свидетельством того, как высоко оценил Александр

---

<sup>164</sup> Перевод А. Блока

<sup>165</sup> Прозвище, данное французским рекрутам 1814 года, когда императрица Мария-Луиза возглавляла регентство, учрежденное Наполеоном

подвиг, в котором Лугин в какой-то мере олицетворял воинскую доблесть самого императора.

Опубликованный недавно перевод «Записок» Этьена Антуана Роже восполняет досадное невнимание наших соотечественников к незаурядной личности Константина Лугина, позволяя если не глубже заглянуть в его душу, то по крайней мере лучше представить его привычки, образ мыслей, манеру говорить, — то есть все то, что облекает биографический костяк плотью и кровью.

Автор этих мемуаров стоит того, чтобы предварительно сказать несколько слов о нем самом. Благополучно забытый ныне, а некогда весьма популярный во Франции и России драматург, романист и журналист, Роже впервые увидел русских в 1814 году, в Париже. Семнадцатилетний юноша, пылкий и легкомысленный, быстро сошелся с недавними врагами. «В Париже, — пишет он, — быстро привыкают ко всякому новому положению, как бы противоположно оно ни было прежнему. Не прошло недели, как все уже примирилось с присутствием победителей». В его доме на улице Се-рютти поселилось несколько русских офицеров, которые вели себя с Роже запросто, легко допустив в свой круг. «Казалось, они вошли в Париж не как победители, но просто съехались случайно, из любопытства, из простого желания пожить всем вместе», — с восхищением вспоминает Роже свои беседы с ними. Совместные прогулки и посещения театров еще более сблизили его с постояльцами. Не прошло и двух недель их знакомства, как один из офицеров, капитан Шипов, предложил Роже ехать вместе с ним в Россию.

— Но что же я буду делать в России? — спросил Роже.

— Что умеее.

— Увы! Я ни на что не способен.

Тогда Шипов предложил ему вступить в русскую армию.

— Поднять оружие против своего отечества? — возмутился Роже.

— У нас теперь мир, — напомнил ему капитан.

Соблазн был велик: далекая Россия, представленная здесь, в Париже, столь блестящим обществом гвардейских офицеров, казалась Роже сказочной страной, где ему в полной мере удастся проявить свои таланты, в наличии которых он нисколько не сомневался. Он согласился на предложение Шипова. О нем замолвили слово перед великим князем Константином Павловичем, питавшим слабость к французам, и дело быстро сладилось. В конце мая подпрапорщик Измайловского полка Этьен Антуан Роже покинул Париж вместе с русской армией.

Ни в дороге, ни в Петербурге ему не пришлось думать о том, как обеспечить свое существование. «Так как капитан мой еще до отъезда из Франции взял меня на свое попечение, то мне не приходилось беспокоиться, — простодушно признается он. — Прислуга его заботилась об устройстве жизни и о доставлении материальных удобств: постель моя всегда была готова, прибор стоял на столе, платье вычищено, и все это делалось без моего ведома: я пользовался вполне гостеприимством хозяина». Несмотря на все это, Роже, не смущаясь, выдавал себя за состоятельного человека. Ядовитый Ф.Ф. Вигель, близко знавший его в Петербурге, вспоминал позднее: «Это был малый очень добрый, но вооруженный чудесным бесстыдством; он, не краснея, говорил о великих своих имуществах во Франции...»

Оставив в стороне российские впечатления Роже, перейдем сразу к тому месту его «Записок», которое представляет для нас главный интерес, — к его знакомству с Лугиным. Их встреча произошла в 1815 году в Вильне, в период Ста дней Наполеона. Вот что пишет Роже:

"...Гвардия остановилась в Вильне. На другой день после нашего прихода туда я встретился у самого дома, где нам была отведена квартира, с одним из моих соотечественников, графом Эдуардом Шуазелем. Он шел навестить знакомого русского офицера, раненного и; дуэли, который жил в том же доме. Мы обменялись несколькими словами; на обратном пути он зашел ко мне и попросил иногда навещать его раненого

товарища, для которого, по его словам, скука была хуже всякой болезни.

Так началось мое знакомство с Лугиным, скоро обратившееся в дружбу. Лугин был известен за чрезвы. чайно остроумного и оригинального человека. Тонкие остроты его отличались смелостью и подчас цинизмом, но ему все сходило с рук. Смелый на слова, он не струсил и перед делом. Он был одним из инсургентов Боливара и кончил свои дни в Новой Гренаде. Это был человек замечательный во всех отношениях и о нем стоит рассказать.

Когда я познакомился с Лугиным, ему было лет двадцать шесть. Рана, которую он получил на дуэли, была довольно опасна и имела печальные последствия: пуля засела в паху, и он должен был перенести трудную операцию. Его бледное лицо, с красивыми, правильными чертами, носило следы страданий. Спокойно-насмешливое, оно иногда внезапно оживлялось и так же быстро вновь принимало выражение невозмутимого равнодушия. В нем чувствовалась сильная воля, но она не проявлялась так, как это бывает у людей дюжинных — с отталкивающей суровостью, выдающей настойчивое желание повелевать другими. Голос у него был резкий, пронзительный; слова точно сами собой срывались с насмешливых губ и всегда попадали в цель. Он редко говорил с предвзятым намерением; обыкновенно же мысли, и серьезные, и веселые, лились свободной, неиссякаемой струей; выражения являлись сами собой, оригинальные, изящные и замечательно точные. Он был высокого роста, стройно и тонко сложен, но худоба его происходила не от болезни: усиленная умственная деятельность рано истощила его силы. Во всем его существе, в осанке, в разговоре сказывались врожденное благородство и искренность. При резком, беспощадном уме он не был лишен некоторой сентиментальности, жившей в нем помимо его ведома. Это был мечтатель, рыцарь, всегда готовый сразиться с ветряной мельницей.

Хотя я с первого раза не мог оценить этого замечательного человека, но наружность его произвела на меня чарующее впечатление. Рука, которую он мне протянул, была маленькая, мускулистая, аристократическая; темные глаза с бархатистым блеском казались черными; мягкий взгляд обладал необъяснимой притягательной силой. Я не чувствовал ни страха, ни смущения, но он сильно возбудил мое любопытство. Кажется, и он обрадовался моему посещению. Обращался он со мной с ласковой снисходительностью; но разговор, начавшийся шуткой, оживил нас и сразу сблизил: не высказываясь еще вполне, мы невольно почувствовали, что в нас много общего, несмотря на его очевидное превосходство. Мы оба отличались отважным характером, понимали и чувствовали одинаково. Но разница в общественном положении побуждала нас на многие вещи смотреть различно; разногласие выразилось с самого начала по поводу России и моего поступления в русскую армию. Русский не мог судить о причинах, побудивших меня к тому, да и я пока не считал нужным говорить ему о них; он же не понимал или делал вид, что не понимает, каким образом француз мог покинуть свое отечество и ехать в варварскую страну. Я, со своей стороны, не мог понять, как это русский считал себя варваром, когда все в нем — умственное развитие, язык, манеры, привычки — служило опровержением этого мнения и свидетельствовали о существовании высшей, утонченной цивилизации.

После первого свидания я уже не покидал Лугина, до самого моего отъезда из Вильны. Нам было хорошо вместе, и я был рад, что мог доставить ему развлечение. Со своей стороны я был счастлив, что могу беседовать с ним о моем отечестве. Лугин был в Париже в 1814 году и воспользовался этим, чтобы изучить социальное положение и политическую организацию Франции сравнительно с Россией. В то время как другие наслаждались парижской жизнью, он изучал ее, стараясь все понять и отдать себе отчет во всем, что зовется цивилизацией. Внимание его равно привлекали как лица, стоявшие во главе правления, так и низшие управляемые классы народа. Ему все хотелось видеть, знать, понимать, чтобы потом рассказать на родине. Видя, как он интересуется моим детством и юностью, о которых он заставлял меня рассказывать, я понял, что для него мелкие житейские подробности казались такими же существенными, как и крупные события жизни. Он заставил меня также прочесть ему мои стихи, предупредив, впрочем, что хотя он и любит

поэзию, но враг стихов. В его рассуждениях по этому поводу была своя доля правды.

— Стихи — большие мошенники, — говорил он. — Проза гораздо лучше выражает те идеи, которые составляют поэзию жизни, она больше говорит сердцу развитых и умных людей, чем плохо рифмованные строчки, в которых хотят заковать жизнь, в угоду придуманным правилам и в ущерб смыслу: двигаются бедные мысли по команде, точно солдаты на параде, но на войну не годятся, победы одерживает только проза. Наша гвардия — это отлично переплетенная поэма, дорогая и непригодная. Я знаком со всеми замечательными произведениями французской литературы, но люблю только стихи Мольера и Корнеля за их трезвость. Рифма у них не служит помехой. В прозе же Шатобриана, наоборот, я все ищу рифмы и не нахожу, конечно, — оттого я не люблю ее. То, что называют поэзией, годится как забава для народов, находящихся в младенчестве. У нас, русских, поэты играют еще большую роль: нам нужны образы, картины. Франция уже не довольствуется созерцанием, она рассуждает. Впрочем, я человек справедливый и не требую невозможного.

Тотчас же после этого предисловия Лугин потребовал, чтобы я ему прочел описание в стихах дороги от Петербурга до Вильны, сочиненное мною от нечего делать.

— Ну, — сказал он, выслушав меня, — это я еще понимаю: содержания тут нет никакого, потому что вам нечего сказать, — стало быть вы и занялись обработкой формы, чтоб даром не пачкать бумаги. Стих у вас бойкий, живой, но какая цель? Я вижу у вас большой ум, но вас надо вылечить и сделать достойным писать прозой. Прочтемте вместе Боссюэта и Вольтера, самого умного между вашими писателями, несмотря на то, что он писал иногда стихами.

Я возразил, что все искусства, в том числе и поэзия, стремятся стать музыкой, то есть обрести чистую форму, без всякого содержания.

— Сравнивать поэзию с музыкой, да разве это возможно? — воскликнул Лугин. — Музыка свободна, она может быть и туманной, и вполне ясной, в то время как поэзия всегда связана: у нее нет выбора, она всегда туманна, даже когда желает быть ясной. Я тоже поэт, но поэт без слов. Вот я велю привезти фортепьяно и познакомлю вас со своей поэзией.

— Разве вы музыкант?

— В обыкновенном смысле слова — нет. Инструмент для меня то же, что для вас перо, — средство для выражения мыслей и чувств. Я не знаю ни одной но-но, несмотря на это, я заставляю вас прочувствовать что сам чувствую. Я думаю, когда люди еще не умели говорить, то музыка служила вместо слов... Впрочем, недурно пишет стихи, мой юный друг. Старайтесь то ко подражать Мольеру и Корнелю, но никак не Пар Я допускаю легкие стишки, для которых необходима музыка: пустяки, которые не стоит говорить, можно подпеть. Но когда затянут скучную поэму без конца, поневоле задумаешься о своих собственных делах, а неприятно, если дела плохи. Напишите мне какую хотите шансонетку или романс, и, когда у меня будет фор-пьяно, я ручаюсь, что сумею сделать ее сносной.

На другой день, когда я вошел к Лугину, настр-щик приводил в порядок только что привезенное фортепьяно. Как только он ушел, Лугин сел за инструмент и спросил: сдержал ли я слово и готов ли мой труд?

— Лучше не называть это трудом, — отвечал я, я импровизировал романс, чтобы сделать вам удовольствие.

— В таком случае если мы откроем лавочку, фирма будет называться Соединенное общество их ровизаторов. Ну, говорите: я слушаю. Как называется ваш романс?

— Вы один из сотрудников, вы и придумайте название.

Я прочитал три куплета:

Я в мир входил, как в храм. Молитв, а не сражени Искал. Теперь не счесть ни ран, ни поражений. И чтоб, шутя, одобрить этот свет, Я слишком стар, мне семнадцать лет.

Любил я. Но любовь порой коварней тигра. Не первый я, кому жена власы остригла. И чтобы верить женщинам — о нет! Я слишком стар, мне семнадцать лет.

Я ставил зло в вину Творцу, а не творенью. Я рано изнемог в ночном своем боренье. Но чтоб забыть земных страданий след, Я слишком стар, мне семнадцать лет.

— Название найдено: «Русский в 1815 году»! — воскликнул Лугин сразу после окончания моей декламации.

— Если так, то я слагаю с себя всякую ответственность.

— Как! Вы не знаете, что сказал о нас Наполеон: не созрели, а уже сгнили. Мы — ублюдки Екатерины II.

— Которую Вольтер называл Екатериной Великой, полковник!

— Великой! А дальше что? Вольтер был льстец, прочитайте хотя бы его переписку с Фридрихом Великим или с той же Екатериной.

Он взял несколько аккордов, сделал прелюдию и перешел в какой-то мотив. В игре его была замечательная твердость и быстрота.

— Вы музыкант, не отрицайте этого!

— Ну да! Я играю все равно как птицы поют. Один раз при мне учитель музыки давал урок сеестре моей. Я послушал, посмотрел... Когда урок кончился, я все знал, что было нужно. Сначала я играл по слуху, потом, вместо того чтобы повторять чужие мысли и напевы, я стал передавать в своих мелодиях собственные мысли и чувства. Под моими пальцами послушный инструмент выражает все, что я захочу: мои мечты, мое горе, мою радость. Он и плачет, и смеется за меня. Я бы мог назвать ваш романс «Разочарованный Константин», но не решаюсь из скромности.

Так прошло несколько дней. Лугин выздоравливал, но объявленный по случаю вторичного отречения Наполеона обратный поход в Петербург разлучил нас преждевременно.

— До свидания! — сказал он на прощанье. — Я никогда не забуду, что выздоровел благодаря вам.

— А я буду помнить, что не захворал благодаря вам.

Вернувшись в Петербург, я скоро очутился в затруднительном положении, заставившем меня острее почувствовать свое одиночество. С тех пор как я расстался со своим капитаном Шиповым, я получил от него только одно письмо, заботливое и дружеское. Теперь я получил второе, многословное и грустное, очевидно написанное под впечатлением печальных обстоятельств, не допускавших никакого выбора. Бедный мой капитан Шипов! Как он должен был страдать! Ему, вероятно, было легче принять решение, изменившее всю его жизнь, чем написать письмо такого содержания. Он писал, что денежные дела его, по недобросовестности лиц, заведовавших ими, пришли в такой беспорядок, что ему невозможно более оставаться в гвардии, особенно теперь, когда с заключением мира уничтожились надежды на скорое повышение, и что ему выгоднее перейти в армию с чином полковника, так как через несколько лет он сможет снова поступить в гвардию с тем же чином; жить же в Петербурге ему было тяжело, поэтому он не колеблясь должен поступить так, как велит благоразумие. Потом он говорил обо мне, о моем положении, в случае если бы я вздумал продолжить военную службу. Он дарил мне нашу мебель, своих лошадей, сани и дрожки, советуя все это продать как ненужное. Он прибавлял, что у него осталась часть принадлежащей мне суммы денег и что он немедленно ее вышлет. В заключение он советовал, если мне не удастся устроиться так, как бы мне хотелось, уехать обратно во Францию, а на время, проведенное вне отечества, смотреть как на заграничное путешествие.

Это письмо, показывавшее всю честность, благородство и великодушие человека, считавшего себя ответственным за мой сумасбродный поступок, возбудило во мне чувство благодарности к моему другу.

Однако мне приходилось выпутываться самому. Я чувствовал себя одиноким, но не пал духом, хотя прежнего спокойствия и уверенности у меня уже не было. При всем этом воспоминание о Лугине не покидало меня; чем более видел я людей, тем более начинал ценить его оригинальность и зрелость мысли. В разлуке его влияние, подкрепляемое собственными размышлениями, получило еще большую силу. С величайшим нетерпением ожидал я его приезда, расспрашивал всех и каждого, и никто не мог мне ничего сказать. Наконец я узнал, что он в Петербурге, и тотчас же бросился к нему.

— Ну и отлично, — сказал он, выслушав краткий рассказ о моих затруднениях, — вот вы и свободны! Капитан ваш умно поступил, сбросив с себя цепи, приковывавшие его ко двору. Должно быть, и я скоро сделаю то же самое.

— Вы? Кавалергардский полковник! Вы откажетесь от всех выгод, ожидающих вас на службе?

— Очень выгодно разоряться на лошадей и на подобные тому вещи! Еще если б я мог разоряться! Но у меня отец находит возможность все более и более урезывать назначенное им же содержание. Я денно и ночно проклиная мое положение...

— Действительно, вы иногда бываете задумчивы.

— Поневоле задумаешься, мой милый! Меня держат впроголодь. Вы, вероятно, заметили, как я похудел?

— Да, я нахожу, что вы бледны.

— Бледен! Вам, должно быть, слов жалко. Придумайте что-нибудь посильнее. На пиру жизни меня угощают квасом.

— Говорят, от него толстеют...

— Дураки одни, да те и от скуки толстеют. Квас возбуждает сильнейшее желание сделаться отшельником.

— Вы еще не дожили до таких лет.

— Черти только в молодости и бывают набожны. Мне нужны уединение и пустыня. Знаете ли, что мне иногда приходит в голову? Хорошо бы было отправиться в Южную Америку к взбунтовавшимся молодцам... Вы француз, следовательно, должны знать, что бунт — священной обязанностью каждого.

— Вам, стало быть, желательно, чтобы вас повесили на счет испанского короля?

— Ну, довольно об этом. Вам нужна помощь, то есть добрый совет; вы обратились как раз по адресу. Что же вы намереваетесь делать теперь, если намереваетесь что-нибудь делать вообще?

— А что вы мне посоветуете?

— Да я вам советовал бы ничего не делать: это безопаснее...

— Я не могу ничего не делать.

— Вы можете ждать. У вас есть мебель... Я знаю, чего стоит мебель в казармах: за нее дадут гроши... Еще у вас пара лошадей... Каковы они?

— Они пожирают пространство — хорошенькие, серые, породистые малороссийские лошадки.

— Тем хуже: если они на что-нибудь годны, то за них ничего не дадут... А экипажи?

— Имеют то достоинство, что целы.

— Что ж, в сумме получится довольно, чтоб заплатить за хороший завтрак! Разделайтесь поскорее с обломками роскоши и приходите всякий день завтракать ко мне. Но предупреждаю вас — мой повар из спартанцев.

План этот мне понравился, тем более что я уже начинал считать независимость первым условием счастья. Прежде всего я написал капитану, чтобы снять с него ответственность за свою судьбу и поблагодарить за дружбу. Затем я принялся за продажу моего скудного имущества. Благодаря посредничеству моих друзей мне удалось выручить больше, чем я предполагал. На эту сумму я мог спокойно прожить некоторое время, конечно не позволяя себе ничего лишнего. Один француз, живший на Малой Морской, уступил мне за небольшую цену две комнаты. Военной службой я совсем не занимался и даже почти уже решил при первой возможности выйти в отставку. Зимой 1816 года я провел в обществе Лутина, который не переставал поражать меня своей оригинальностью и искренностью. Его огненная фантазия, стремившаяся за пределы существующего, неудержимо увлекала и меня в мир призраков, к цветущим берегам неведомой Южной Америки, о которой мой друг заговаривал все чаще.

Способности его были блестящи и разнообразны: он был поэт и музыкант и в то же время реформатор, политэконом, государственный человек, изучивший социальные вопросы,

знакомый со всеми истинами, со всеми заблуждениями. Таков был этот необыкновенный человек.

Между тем его денежные дела шли все хуже и хуже; к материальным затруднениям прибавились семейные неурядицы из-за постоянных ссор с отцом. Однажды, после одной такой ссоры, я зашел к нему; он сидел за фортепьяно и играл с обычным *brío* <sup>166</sup>.

— Здравствуйте, — сказал я, подходя, чтобы разглядеть выражение его лица.

Оно было спокойно; пальцы делали свое дело. Он кивнул мне, не прекращая игры.

— Что это такое? — спросил я.

— Арагонский болеро. Должно быть, я когда-нибудь слышал этот мотив, и теперь он пришел мне на память.

— Нет, вы обманываете меня — это ваше собственное произведение.

— Очень может быть.

Он доиграл до конца, взял три заключительных аккорда и потом спокойно подошел ко мне поздороваться. На столе лежала книга.

— Полезная это книга, — заметил он, подавая ее мне.

Я взглянул на название: это была испанская грамматика.

На мой вопрос, чем закончился его разговор с отцом, Лугин отвечал, что он нашел наконец способ договориться со стариком. Он предложил отцу план — «отличную спекуляцию», по словам самого Лугина. Суть этого плана заключалась в том, что отец обязался уплатить все его долги и выдать ему пять тысяч рублей с тем, чтобы Лугин мог выйти в отставку и распоряжаться своей свободой по своему усмотрению, ничего более не прося у отца.

— Вы в отставку? — в изумлении воскликнул я. — Кавалергардский полковник!

— Как же я могу служить в кавалергардах с моим ничтожным доходом? Итак, я выхожу в отставку, отправляюсь в Южную Америку и поступаю в ряды тамошних молодцов, которые теперь бунтуют. Таким образом я доказываю свою независимость и ничем не рискую, кроме жизни... Вот моя просьба об отставке, только что испеченная: еще чернила не успели высохнуть! В ней моя будущность, моя свобода. По-испански свобода — *libertade*.

Я был и удивлен, и обрадован. Наконец-то мой бедный Лугин мог разделаться с ростовщиками и вздохнуть свободно.

— Я понимаю, что теперь, после вашей капитуляции, вы уже не можете оставаться в военной службе и тащиться по избитой колее, — сказал я ему. — Но с вашими блестящими способностями вы можете быть полезным в гражданской службе и сразу стать превосходительством.

— Мой милый, — вскричал он, — для меня открыта только одна карьера — карьера свободы, которая по-испански зовется *libertade*, а в ней не имеют смысла титулы, как бы громки они ни были! Вы говорите, что у меня большие способности, и хотите, чтобы я их схоронил в какой-нибудь канцелярии из-за тщеславного желания получать чины и звезды, которые вы, французы, совершенно верно называете *crachats* <sup>167</sup>... Как! Я буду получать большое жалованье и ничего не делать, или делать вздор, или еще хуже — делать все на свете, и надо мной будет идиот, которого я буду ублажать, с тем, чтоб когда-нибудь его спихнуть и самому сесть на его место? И вы думаете, что я способен на такое жалкое существование? Да я задохнусь, и это будет справедливым наказанием за поругание духа. Избыток сил задушит меня. Нет, нет, мне нужна свобода мысли, свобода воли, свобода действий. Вот это настоящая жизнь! Прочь существование ненужной твари! Я не хочу быть в зависимости от своего официального положения, я буду приносить пользу людям тем способом, какой мне внушают разум и сердце. Гражданин Вселенной — лучше этого титула

---

<sup>166</sup> Оживлением (ит.)

<sup>167</sup> Плевки (фр.)

нет на свете. Свобода! Libertade! Я уезжаю отсюда. Поедем вместе! Ваше призвание быть волонтером: я вас вербую.

Тут я поспешил прервать его, чтобы немного охладить порыв увлечения:

— Вы думаете, что я достоин быть вашим Санчо Пансой, благородный Ламанчский герой? Я уже теперь вижу, как будет сиять на вашей голове бритвенный таз! Да, я последую за вами, и всякий раз после неудачной борьбы с ветряными мельницами, которые зовутся действительностью, буду напоминать вам пословицы, изречения народной мудрости. Я тоже не хочу больше носить оружия, но вместо него я вооружусь пером и там, на цветущих берегах Сены, буду осмеивать людские слабости.

— Прелестная мадемуазель, вы все еще мечтаете о стихах! Это не к добру.

— Как, при вашем вольнодумстве вы суеверны?

— Как фаталист я должен быть суеверен. Разве я вам не говорил, что в Париже я был у Ленорман? 168

— Ну и что же она вам сказала?

— Она сказала, что меня повесят. Надо постараться, чтобы предсказание исполнилось.

Мы разошлись: он с лицом, сияющим от восторга, отправился к себе в кабинет, а я пошел домой, подумывая о скором отъезде. Мною овладела тоска по родине: перемена воздуха становилась для меня необходима.

Раз решившись выйти в отставку, мы с Лугиным больше не раздумывали; мысль об освобождении всецело овладела нами, и мы, каждый про себя и вместе, разрабатывали ее во всех подробностях и последствиях. При этом цели у нас были различные.

Желание снова увидеть родину одерживало во мне верх над остальными неясными стремлениями и надеждами. К тому же жизнь искателя приключений, странствующего по белу свету, не особенно прельщала меня; да и к бунтам я не чувствовал природного влечения. Я старался представить себе будущее, рассчитать и взвесить все шансы на успех; мне казалось, что было бы гораздо лучше, если б экспедиция наша имела другую цель, или, по крайней мере, если б она направилась в другую часть земного шара, а не туда, куда предлагал Лугин. Я стал отговаривать его.

— Неужели, — говорил я ему, — наша деятельность может проявиться с успехом только под экватором? Рассмотрим этот вопрос. Старый свет износился и обветшал, новый еще не тронут. Америке нужны сильные руки; Европе, старой, беззубой, с ее центром, вечно обновляющимся Парижем, нужны развитые умы. Куда же мы пойдем? Физической силой похвалиться мы не можем. Конечно, до Орфея мне далеко, но все-таки я думаю, что слово окажется более сильным орудием в моих руках, чем кинжал. Ловкий софизм имеет более шансов на успех в среде старого общества, чем проповедь с оружием среди диких народов. Прежде чем принять окончательное решение, следует подумать. Не мешает также посоветоваться и с желудком и принять в расчет его пищеварительные способности: я нисколько не желаю пробовать человеческого мяса и голодать тоже не хочу, тем более что я почти уверен, что, пользуясь всеми припасами, доставляемыми цивилизацией, я сумею здесь состряпать себе очень порядочный обед.

— Вы изнеженный византиец, и больше ничего, — отвечал Лугин.

Лугина все побаивались за его смелые поступки и слова. Он не щадил порока, и иногда его меткие остроты бывали направлены против высокопоставленных лиц. Поэтому его решение выйти в отставку было принято с затаенным удовольствием: препятствий не оказалось никаких, напротив, все спешили уладить поскорее. Что касается меня, то мое прошение об отставке было удовлетворено без всяких хлопот.

Итак, наше общественное положение уравнилось, и мы могли жить вместе, тесно соединенные общей умственной жизнью. Теперь оставалось ждать удобной минуты для отъезда, а покуда время проходило для меня как нельзя более приятно. Прежние друзья были

---

168 Знаменитая гадалка по картам. По преданию, точно предсказала судьбу Наполеона



забыты для Лугина: я совершенно подчинился ему и был счастлив. С утра я приходил к нему, и мы решали, как проводить день. Чаще всего мы отправлялись за город или же садились в лодку и катались по заливу. С собою мы брали книги, провизию, чай и самовар. Лакей поил нас чаем, он же был и гребцом. Иногда мы высаживались на Крестовский остров и там отдыхали под соснами; иногда ездили в Екатерингоф, и там, под березами, Лугин рассказывал интересные подробности о преобразователе России и его преемниках.

В одну из таких прогулок Лугин, который, как все русские, говорит на всех языках, прочел вслух третью песнь «Чайльд Гарольда», которая только что появилась тогда в Петербурге. Он читал очень хорошо и сразу переводил прочитанное на французский язык. Бледная северная природа вполне гармонировала с печальным тоном рассказа. Лодка тихо покачивалась; серое небо отражалось в волнах залива. Нами овладевало тихое, грустное раздумье. Сколько раз впоследствии, размышляя о судьбе моего друга, я мысленно возвращался к этому дню! Этот поэт, презиравший стихи, философ, не раз повторявший слова Паскаля, что смеяться над философией есть лучший способ философствовать, космополит, отдавший свою жизнь за свободу чужого отечества, — разве не был он русским Байроном, отправившимся искать свою «могилу воина»? Или, быть может, в нем сказалась душа его народа, растворившего, расточившего себя в огромных пространствах своего отечества?

Лето было уже на исходе; наступило время подумать об отъезде. Мы отправились в Кронштадт осведомиться о судах, отходивших во Францию или в Англию.

Трехмачтовый корабль «Верность» из Дьеппа, нагруженный салом, готовился к отплытию в Гавр; мы условились о цене, и два дня спустя, 22 сентября 1816 года, в два часа пополудни, мы вышли из гавани в хорошую погоду и с попутным ветром.

Два года назад я въезжал в ту же самую гавань полный надежд, которым не суждено было исполниться. Но я провел счастливо эти два года. Я уносил с собою много дорогих воспоминаний и уезжал с чувством благодарности за оказанное мне гостеприимство.

Когда корабль вышел из гавани, мы, стоя с Лугиным на палубе, посылали последний привет отцу его, который с вала слал нам свое благословение, осеняя крестом все четыре стороны света. Сын был, видимо, взволнован, но и тут не мог удержаться от шутки.

— Вот добрый отец-то! — сказал он. — Еду я вследствие финансовых соображений, а он хочет показать дело в ином виде. Ну что ж, я ему благодарен: для меня он нарушил свои привычки. Я тоже теперь, разлучаясь с ним, чувствую что-то вроде сожаления. Я полагаю, что эти грустные предчувствия у меня оттого, что он уж слишком расщедрился на прощанье. Помилуйте! Двадцать пять бутылок портеру, двадцать пять бутылок рому, пуд свечей и даже лимоны!.. Правда, он долго не хотел покупать лимонов, но понял, что ром и портер дешевле в Кронштадте, чем в Петербурге. Ему это удовольствие! Да, скупой отец даже готов на подарки, если только есть случай при этом выгадать копейку... Ну а что касается свечей, тут уж я не понимаю... Разве только он, как настоящий русский барин, хочет доказать французам превосходство нашего осветительного материала? Ведь это чистый воск! Жаль: теперь я начинаю понимать, что с ним можно было столковаться. Да, я не так повел дело!

Наше скучное, опасное плавание продолжалось почти месяц. Едва только прошли мы Зунд, как поднялась буря. Матросы выбились из сил, в корабле оказались повреждения, и мы принуждены были искать убежища в одной из природных бухт, образуемых утесистыми берегами Норвегии. Здесь мы были в безопасности от бурь, но могли умереть от скуки, если б не Лугин с его неистощимым запасом остроумия и веселости. Не находя в окружающих его предметах пищи для сарказма, он обращался к своим воспоминаниям и там отыскивал что-нибудь достойное осмеяния или же угорал меня сентенциями вроде:

— Помните, мой друг, что говорил Бенджамин Франклин: бедность, стихотворство и погоня за званиями делают человека смешным.

Когда же серьезность возвращалась к нему, тогда начиналась отважная работа мысли. Его образование благодаря разнообразию элементов, входивших в его состав, было довольно поверхностно, но он дополнял его собственным размышлением. Его философский ум

обладал способностью на лету схватывать полувысказанную мысль, с первого взгляда проникать в сущность вещей, понимать настоящий смысл и связь явлений как в природе, так и в жизни общества и, восходя сам собою до коренных начал всего существующего, приводить все в стройный порядок. Он был самостоятельный мыслитель, доходивший до поразительных по своей смелости выводов. Впрочем, меня они не смущали; напротив, они давали опору моим собственным воззрениям, которые не всегда были согласны с его мнением.

Наш корабль починили, мы снова пустились в путь и после двух недель более ничем не примечательного плавания наконец увидели Гавр при свете заходящего солнца. Я не сумею передать того чувства, которое охватило меня в ту минуту, когда корабль остановился в гавани. Сердце замирало; я ничего и никого не видел. Лугин говорил что-то, я не слышал того, что мне говорили. Это бессознательное состояние продолжалось до тех пор, пока я не ступил на родную землю, так легкомысленно мною покинутую два года тому назад. Товарищ мой был просто доволен тем, что промежуточная цель его странствования достигнута, но у меня все личные чувства слились в одно чувство любви к отечеству, которое я в первый раз в жизни постиг во всей его полноте. После того как я в России видел только два класса людей — помещиков-землевладельцев и рабов-крестьян, прикрепленных к земле, как отрадно было чувствовать себя гражданином страны, где все пользуются равными правами и способностям каждого открыто свободное поприще! Но я недолго предавался своим чувствам: действительность предъявляла свои права. Я опомнился и направился к гостинице с дорожным мешком в руках.

В ту минуту, как мы входили на лестницу, позвонили к обеду. После стольких дней, проведенных нами без движения в темной дощатой каюте, убранство столовой показалось нам верхом великолепия. А как долго лакомились мы солеными тресковыми языками! Выходя из-за стола, мы узнали, что через два часа отправляется дилижанс на Париж. Мы поспешили занять два места и на следующий вечер уже были в Париже.

Моя радость от встречи с родиной вскоре сменилась печалью и негодованием. Увы, я не узнавал родного города. Это был уже не тот Париж — столица свободы, которую я покинул два года назад. Дряхлый король и двор, состоявший из стариков эмигрантов, ничего не забыли и ничему не научились. Внезапное их падение в период Ста дней, тревога, пережитая в изгнании, сожаления о едва лишь возвращенной и так легко снова утерянной власти — все это довело их страсти и ненависть до бешенства. Для ультрароялистов вся Франция была сплошь населена изменниками, соумышленниками «ужасного заговора», и Ла Бурдоннэ <sup>169</sup> точно выражал мысли своей партии, когда требовал «оков, палачей, казней». Процессы и юридические убийства Лабедуайера, Нея, братьев Фоше, Мутон-Дюверне <sup>170</sup> и многих других не в состоянии были утолить их жгучую жажду мести. Они хотели переделать сам дух нации, "раздавить, как этого требовал уже Ламеннэ <sup>171</sup> во времена Империи, эту разрушительную философию, которая произвела такие опустошения во Франции и которая опустошит весь мир, если не будет наконец поставлена преграда ее дальнейшему распространению".

В этих условиях мне не оставалось ничего иного, как вести сугубо частную жизнь, что, впрочем, вполне соответствовало моим намерениям и склонностям. Мой дом, сданный перед отъездом в Россию внаем, приносил мне кое-какой доход, Лугин был вполне обеспечен отцовскими пятью тысячами; мы сняли на двоих большую квартиру на улице Сены и зажили

---

<sup>169</sup> Ла Бурдоннэ — французский политический деятель, ультрароялист

<sup>170</sup> Лабедуайер, Ней, братья Фоше, Мутон-Дюверне — французские генералы и маршалы, поддержавшие Наполеона в период Ста дней и казненные после второй Реставрации Бурбонов

<sup>171</sup> Ламеннэ — французский писатель, проповедник христианского социализма

так, как только могут жить самые близкие друзья, деля кров, стол и развлечения.

Мое пребывание в России и небывалый успех исторических романов автора «Уэверли»<sup>172</sup> навели меня на мысль написать роман из русской истории. В Петербурге, учась читать и писать по-русски, я для практики занимался переводами с русского на французский язык. Я переводил слово в слово образцовые произведения русской литературы, а потом построчный перевод переделывал в изящную французскую речь и иногда, по отзывам моих русских друзей, довольно удачно передавал смысл оригинала. Таким образом я перевел «Марфу Посадницу» Карамзина. Теперь я решил слегка подправить мой перевод этого романа и издать его под своим именем как подражание Карамзину.

Лугин приветствовал мое обращение к прозе и принял самое живое участие в моей работе, давая мне необходимые справки по истории Новгорода и поправляя неизбежные при первом опыте неровности слога. Попутно он знакомил меня с другими сюжетами из истории своего отечества, особенно убеждая написать роман о Самозванце. Он был уверен, что в Москве царствовал истинный царевич и приводил остроумные доводы в пользу своего мнения. По его словам, все поведение Самозванца на престоле обличает в нем природного государя, а никак не пьяницу-расстригу, ни с того ни с сего вдруг якобы заявившего, что он будет царем на Москве.

— Представь себе, — развивал он передо мной свою мысль, — что Димитрий был спасен от рук убийц, подосланных Годуновым, и укрыт сначала в северных монастырях, а потом в Литве. После воцарения Бориса недовольные бояре подготовили своего самозванца, Гришку Отрепьева, которого послали в Польшу к Сигизмунду, за подмогой. И вдруг вместо их расстриги из Польши возвращается кто-то другой — истинный Рюрикович, с восторгом принимаемый всей Россией. Как бы я хотел видеть лица этих заспанных интриганов!

Лугин говорил, что принялся было сам писать этот роман, но оставил свой замысел, будучи убежден, что цензура ни за что не пропустит его. В ответ на мой вопрос, что же делает цензуру столь строгой в этом вопросе, он рассказал один анекдот. Русский историк Миллер считал Лжедмитрия истинным царевичем, высказывая печатно совершенно иное мнение. В один из своих приездов в Москву императрица Екатерина спросила его: «Я знаю, что вы не верите, что Димитрий был самозванец. Скажите мне откровенно правду». Миллер молчал; на новые настойчивые вопросы государыни он наконец ответил: «Вы, ваше величество, знаете также, что мощи истинного Димитрия почивают в соборе Архангела Михаила и творят там чудеса».

— Миллера можно понять, — добавил Лугин. — Что стало бы с ним, заезжим лютеранином, посмей он посягнуть, пусть и во имя научной истины, пусть и в царстве просвещенной Фелицы, на чужие святыни! Но здесь, во Франции, вам ничто не мешает умным романом привлечь внимание публики к этому вопросу.

Несколько лет спустя я выполнил это пожелание, написав роман «Царевич» и посвятив его памяти моего друга.

Таким образом, дни наши были заполнены работой; вечера мы посвящали театру или прогуливались по городу. В театре я наслаждался игрой Тальма, Лугин же больше смотрел по сторонам, чем на сцену, и делился потом со мной своими впечатлениями:

— Бурбоны довели французов до того, что даже тирания Наполеона вспоминается ими как время свободы. Вчера наш сосед по ложе, судя по внешности, бывший военный, узнав, что я русский офицер, сказал, указывая на бурбонские лилии: "Благодаря вам птица<sup>173</sup> исчезла. Ну да черт с ней. А все же у нее были клюв и когти. Но скажите, что мы будем делать с этими проклятыми капустными листьями?" Такое умонастроение показывает, что

---

<sup>172</sup> Первый роман В. Скотта «Уэверли» появился в 1814 году без имени автора; последующие романы писатель издавал под псевдонимом "Автор «Уэверли»"

<sup>173</sup> Наполеоновский орел

Франция еще не безнадежна. Но право, нам лучше поспешить в Южную Америку. Тамошним молодцам сейчас приходится туго, и наша помощь была бы для них весьма кстати.

— Чего же вы ждете? Я уже вижу вас, кавалергардского полковника, с копьём и в набедренной повязке, во главе отборного сброда из оборванцев креолов и размалеванных индейцев.

— Чего я жду? Я жду, пока вы, мой друг, постигнете истину слов лорда Байрона, который говорил: «Кто бы из нас стал заниматься литературой, если бы имел возможность делать что-то лучшее?» К тому же Париж отпускает от себя бедных пилигримов не так легко, как принимает их к себе. Если бы только я искал одного уединения, то непременно поселился бы здесь, в Париже. По моим наблюдениям, в этом огромном городе я единственный человек, не занимающийся никакими делами. Все другие так заняты своими собственными интересами, что я мог бы провести здесь свою жизнь совершенно незамеченным.

Эти слова побудили меня задать ему вопрос, который живо меня интересовал: почему он избегает общества женщин и любых разговоров о них? По моим наблюдениям, ни здесь, ни в Петербурге Лугин не имел ни одной связи, а в разговорах с женщинами неизменно бывал холодно-предупредителен. Мой вопрос смутил его, но я имел бестактность настоять на нем.

— Мой друг, — сказал он наконец тоном, который я никогда не слышал от него, — известная вам вилен-ская пуля пощадила человека, но убила мужчину.

Я покраснел и промолчал, чувствуя, что мои извинения и оправдания только усилят впечатление от моей бестактности. Но признание Лугина заставило меня по-новому взглянуть на него. «Как, — думал я, — неужели это обстоятельство, не скажу совершенно ничтожное, но, без сомнения, не заслуживающее большого внимания со стороны столь могучего ума, могло заставить его играть своей жизнью и не видеть для себя лучшего поприща, чем где-то под экватором подставлять свой лоб под испанские пули?» Я и сейчас, когда на закате моих дней пишу эти записки, отвергаю это мое предположение, как отверг его тогда, в дни моей молодости, поскольку оно мало соответствует возвышенному духовному складу моего друга, каким я его знал.

Весной 1818 года мое подражание Карамзину было напечатано на мой счет и не принесло мне ничего, кроме убытков. Мне не везло на родине так же, как и в России. Я стал задумываться о своем будущем, между тем как Лугин, видя мою озабоченность, посмеивался и утешал меня на свой лад.

— Полно, друг мой, — говорил он, — сама судьба указывает вам другой путь. Вы сами видите, что публика еще не способна оценить ваш талант. Поскольку вы не можете поглупеть, чтобы быть понятным ей, следует ждать, пока публика поумнеет настолько, что будет готова воспринять ваши творения. Но, боюсь, это случится не скоро. А тем временем вы имеете прекрасную возможность увидеть свет, узнать людей и, быть может, вписать свое имя на скрижали славы до того, как эта дама сама соблаговолит призреть вас. В самом деле, что вам делать в Париже? Разве вам не противно дышать одним воздухом с людьми, которые хотят быть Маратами контрреволюции и требуют расстреляния каждого, кто приобрел земельные угодья духовенства? Послушайте, я твердо решил этим летом оставить Старый Свет: он быстро дичает и скоро здесь будут ползать на четвереньках. Едьте со мной. Теперь свобода разговаривает только по-испански. Libertade! Вслушайтесь в эти божественные звуки, в них слышны отголоски речей римлян времен республики.

Признаюсь, я все охотнее прислушивался к словам моего друга. В самом деле, говорил я себе, разве не полезно мне будет совершить путешествие на запад, раз уж я повидал восток? Сопоставив свои впечатления, изучив нравы диких и цивилизованных народов, я смогу лучше постичь людские страсти и увереннее судить о причинах человеческих поступков, а мои наблюдения дадут мне богатый материал для моих будущих книг. И потом, надев однажды офицерский мундир, неужели я так и не понюхаю пороха? Рассуждая таким

образом, я вдруг понял, что все мои резоны, которыми я пытался оправдать перед собой мое новое сумасбродство, совсем не имеют того значения, какое я хбтел им придать; в действительности же мне просто не хотелось разлучаться с Лугиным, и я готов был идти с ним куда и на что угодно. Влияние этого человека на меня было уже таково, что полностью парализовывало мою волю, если она шла вразрез с его намерениями и желаниями. Будь что будет, решил я, видно, уж русским суждено брать над нами верх.

Начались спешные приготовления к отъезду. У Лу-гина оставалось еще больше трех тысяч рублей. На них мы купили отличные пистолеты, ножи, крепкую английскую обувь, дорожное платье, провизию, книги, компас, географические карты Южной Америки и много другого снаряжения, которое казалось нам необходимым для нашего путешествия. Все это было отправлено нами в Гавр, где мы надеялись сесть на какой-нибудь корабль, отплывающий во французскую Гвиану. С большим трудом нам удалось договориться с капитаном небольшого торгового судна «Благополучный», который согласился взять нас на борт. Отъезд был назначен на 12 августа, и мы должны были, ожидая его, провести два дня в дурной гостинице, наполненной торговцами и приезжими со всего света.

В минуту отъезда всегда является чувство безотчетного страха, какой-то торжественности, которое невольно овладевает вами. Чувство это еще сильнее, когда вы плывете по морю: земля уходит из глаз, бескрайнее море смыкает вокруг вас пустой горизонт; вы испытываете волнение, какое-то глупое предчувствие. И Лугин, и я, мы оба ощущали то же впечатление. Мы следили глазами за убегавшим песчаным французским берегом — остатком твердой земли; говорить мы были не в состоянии. Так продолжалось до самой ночи. Когда стемнело, матросы запели «Veni Creator»<sup>174</sup>, и все стали на колени. Я вспомнил, как в Петербурге говорили, что французы не исполняют религиозных обрядов, и был рад за своих соотечественников. Тишина вечера, торжественное зрелище коленопреклоненных матросов тронули даже Лугина.

Корабль наш не был рассчитан на пассажиров, и нам пришлось удовольствоваться низенькой узкой комнаткой, не имевшей никаких удобств. Но мы безропотно покорились своей участи. Так как морской воздух пробудил в нас аппетит, то мы прежде всего принялись за осмотр провизии, взятой на дорогу. Благодаря заботливости Лугина нам долго не предвиделось нужды прибегать к матросскому кушанью: у нас были в избытке холодное жаркое, лакомства и проч. Мы весело поужинали и выпили за здоровье всех, покинутых нами.

В эту ночь я спал как убитый. Утром я проснулся здоровый, со свежей головой. Сквозь трещины каюты проникал ветерок, солнечные лучи золотыми нитями ложились на полу; сверху доносились звуки утренней молитвы. Товарищ мой проснулся с веселым восклицанием, и мы, одевшись с помощью приставленного к нам для услуг матроса, поспешили на палубу, чтобы освежиться. Перед нами был один из Нормандских островов, имевший весьма живописный вид: с утесами, на которых росли сосны, и с хижинами, мелькавшими среди деревьев. Лугин срисовал вид, а я, со своей стороны, постарался запомнить его, чтобы потом при случае описать его. К полудню подул сильный встречный ветер, и нам пришлось лавировать. На палубе оставаться было нельзя, и мы пролежали целый день в каюте. Лугин был мрачен. Вечером мы услышали пение молитв; под гул волн, ударявших о борт, ночь прошла довольно спокойно.

Между старыми моими рукописями я нашел тетрадку, в которой отмечал тогдашние впечатления от путешествия. Приведу из нее все, что мне кажется интересным, и особенно то, что касается Лугина, так как он призван был играть видную роль в современной истории своей родины и только неблагоприятные обстоятельства для положительного проявления могучих сил его души вынудили его броситься в рискованное предприятие, где он и нашел свой безвременный конец. Кроме того, мелочные подробности ежедневной жизни

---

<sup>174</sup> Гряди, Создатель! (лат.)

необходимы, чтобы дать всестороннее представление о человеке, поэтому я не буду пропускать их.

"14 августа. Сегодня ночью мы вышли из Ла-Манша. Вечер очень хорош. Мы пригласили капитана выпить с нами пуншу. Он разговорился про свои путешествия. Между прочим, он рассказал, как однажды у берегов Португалии, когда его корабль застигла буря, угрожавшая опасностью экипажу, целая стая голубей опустилась на палубу. Матросы ловили руками дрожавших от испуга птиц и сажали в клетку, с тем чтобы потом употребить на обед. Но когда буря миновала, небо прояснилось, один из матросов выпустил их на волю, в то время как товарищи его отдыхали. «К чему нарушать законы гостеприимства? — сказал он проснувшимся матросам. — Они просили у нас приюта, мы спасли их, как Господь спас нас». Некоторое время спустя этот матрос упал в воду, и весь экипаж единодушно дал обет отслужить обедню за его спасение. Его благополучно вытащили, и, когда корабль пришел в Марсель, капитан и все матросы отправились босиком в церковь Богоматери принести благодарение за помощь.

Во время вечерней молитвы мы поднялись на палубу. Огромная волна прошла над нашими головами, не замочив нас".

"15 августа. Отличная теплая погода и легкий попутный ветер. Мы с утра на палубе; там и завтракали. Между нами завязалась долгая и серьезная беседа. Лу-гин разбирал все страсти, могущие взволновать сердце человека. По его мнению, только одно честолюбие может возвысить человека над животной жизнью: давая волю своему воображению, своим желаниям, стремясь стать выше других, он выходит из своего ничтожества. Тот, кто может повелевать, и тот, кто должен слушаться, — существа разной породы. Семейное счастье — это прекращение умственной и всякой другой деятельности. Весь мир принадлежит человеку дела; для него дом только временная станция, где можно отдохнуть телом и душой — чтоб снова пуститься в путь.

Я жалею, что не записал те смелые доказательства и оригинальные соображения, которыми Лугин хотел во что бы то ни стало подкрепить свою мысль, лишенную твердой точки опоры в уме любого здравомыслящего человека. Это была блестящая импровизация, полная странных, подчас возвышенных идей; сильно возбужденное воображение сказывалось в его свободно лившейся, полной ярких образов речи.

Я не мог с ним согласиться, но также не мог, да и не желал его опровергать; я слушал молча и думал: «Какая удивительная судьба ожидает этого человека с неукротимыми порывами и пламенным воображением!» Каким маленьким, ничтожным казался я самому себе в сравнении с ним; я мог бы служить живым доказательством правдивости его слов.

В эту минуту какая-то птичка, уже несколько дней следовавшая за кораблем, опустилась на рангоут. Ее хотели поймать, но Лугин, помня рассказ о голубях, потребовал, чтобы ее оставили на свободе. По этому поводу мы заговорили о различии между свободой и независимостью, насколько они возможны при данном общественном строе. Тут я мог представить ему опровержение его теории. Независимость — это единственная гарантия счастья человека; честолюбие же исключает независимость: оно ставит нас в зависимость от всего на свете. Независимость дает нам возможность быть самим собою, не насилуя своей природы. В собрании единиц, составляющих общество, только независимые люди действительно свободны. Бедный Лугин должен был признать справедливость моих доводов, как бы в подтверждение двойственности, присущей каждому человеку и в особенности честолюбцу".

Когда я переписывал это место с пожелтевших страниц старого дневника, мной овладело сильное смущение, как будто я заглянул в какую-нибудь древнюю книгу с предсказаниями. Действительно, в речах Лу-гина уже была начертана судьба его; при первой же возможности он перешел от слов к делу и смело пошел на погибель. Мои же желания обличали отсутствие сильной воли, что и было источником моей любви к независимости. По этой же причине я уберегся от многих опасностей и мог дожить до старости.

«22 августа. Наконец я снова могу приняться за перо. В продолжение шести дней мы не

имели ни минуты покоя. Паруса убрали; волны так хлестали на палубу, что оставаться на ней становилось опасно. Впрочем, больших повреждений на корабле не было. Мы едва не задохнулись у себя в каюте, потому что все щели были замазаны салом из предосторожности, но, хотя опасность была велика, мы с Лугиным не падали духом; напротив, мы прикидывались веселыми, чтобы скрыть друг от друга свои настоящие ощущения. Корабль бросало из стороны в сторону, море шумело, потом вдруг наступала полнейшая тишина и неподвижность, и мы с испугом и недоумением спрашивали себя: уж не идем ли мы ко дну?.. Сердце замирало от ужаса... Но раздавалась команда капитана, и мы снова оживали. По вечерам сквозь рев бури к нам доносилось урывками пение матросов; оно действовало на нас успокоительно. Так прошло шесть дней; наконец ветер стих, и наше заключение кончилось».

"27 августа. Уже четыре дня, как я ничего не пишу в своем дневнике; да и не о чем писать: событий никаких. Я бы, пожалуй, мог записывать все парадоксы моего милого товарища, но это довольно трудно: желание во что бы то ни стало быть оригинальным заставляет его часто противоречить самому себе. Лучше оставлять их без внимания. Ограничусь своим арифметическим афоризмом, пришедшим мне в голову во время разглагольствований моего товарища: когда дурак начинает считать себя остроумным, количество остроумных людей не увеличивается; когда умный человек притязает на остроумие, всегда становится одним умным меньше и никогда одним остроумным больше; когда остроумный возомнит себя умным, всегда одним остроумным становится меньше и никогда не бывает одним умным больше.

Погода хороша. Когда же мы увидим берег?"

Тут кончаются выписки из дневника моего.

Мы прибыли в Гвиану в последних числах сентября. Ознакомившись с положением дел, мы узнали, что Боливар находится в Ангостуре, где он укрепился после неудачной весенней кампании. Мы поспешили туда и около половины октября уже были представлены Освободителю.

Штаб Боливара занимал двухэтажный дом, расположенный недалеко от порта. В кабинете на втором этаже, куда нас провели, мы увидели двух офицеров. Один из них, облаченный в генеральский мундир, был небольшого роста, худощавый, чрезвычайно подвижный человек средних лет. Его продолговатое, смуглое, южного типа лицо, с заостренным подбородком, открытым невысоким лбом, большим носом правильной формы и с резко сжатыми губами, производило неизгладимое впечатление энергичной решительности и мужественности, между тем как большие глаза, умные и проницательные, таили в своей глубине какую-то грусть. В Петербурге и Париже я видел портреты Боливара, но теперь нашел в них мало схожего с оригиналом; я узнал Освободителя скорее внутренним чутьем, которое безошибочно позволяет нам распознавать великих людей, чем по его внешности. Второй офицер, двадцатилетний юноша, с худым скуластым лицом креола и с темными курчавыми волосами, был, несмотря на свой возраст, также одет в генеральский мундир. Его звали Антонио Хосе де Сукре; это был сын одного из самых уважаемых плантаторов на карибском берегу, прославленный воин, с первых дней провозглашения независимости колоний служивший в генеральном штабе самого Миранды <sup>175</sup>. Мне показалось, что я вижу перед собой одного из тех молодых героев, которые спасли Францию при Вальми и Жемапе <sup>176</sup>.

---

<sup>175</sup> Миранда Франсиско де (1750 — 1816) — один из первых великих борцов за свободу Испанской Америки. Организовал широкую сеть повстанческих масонских лож и обеспечил дипломатическую поддержку своим требованиям независимости для испанских колоний со стороны многих европейских государств, в том числе и России. Возглавил несколько освободительных походов в глубь Южной Америки. В 1812 г., после очередной неудачной попытки поднять народное восстание, издал указ о роспуске революционной армии, за что был арестован Боливаром. Вслед за тем Миранда попал в плен к испанцам и умер в тюрьме

<sup>176</sup> Вальми, Жемапе — деревни во Франции, возле которых в 1792 г. революционная армия разбила

Боливар сказал несколько приветственных фраз на прекрасном французском языке. Я, конечно, предоставил вести беседу Лугину.

— Европа, — сказал мой друг, — первая провозгласившая принципы свободы, в настоящее время растоптала их, отдав себя во власть самых постыдных тираний. Не довольствуясь собственным рабством, она стремится сохранить его везде, где оно существует. Теперь наступает черед Новому Свету напомнить Европе забытые ею священные права народов, и мы с моим другом счастливы, что можем, оставаясь европейцами по крови, считать себя американцами по духу.

— Я рад, господа, — отвечал Боливар, — видеть вас в рядах борцов за свободу Испанской Америки, хотя и огорчен тем, что вы в настоящее время не имеете возможности установить лучшие законы на своей родине.

— Борясь за свободу здесь, мы тем самым боремся за свободу своих народов. Человечество едино, как едины законы свободы — законы Вашингтона, законы Боливара!

— Хотел бы я, чтобы это было так, — произнес Боливар, слегка нахмурившись. — Но боюсь, вы заблуждаетесь, дорогой друг. Законы должны быть рождены тем народом, который им подчиняется. Только в чрезвычайно редких случаях законы одной страны пригодны для другой. Законы должны соответствовать физическим условиям страны, ее климату, ее местонахождению, величине, особенностям жизни ее народа; они должны учитывать религию жителей, их склонности, уровень благосостояния, их численность, обычаи, воспитание! Североамериканцы нам чужие, хотя бы потому, что они иностранцы, и мы будем руководствоваться нашим собственным кодексом, а не кодексом Вашингтона. Следует вспомнить, что наш народ не является ни европейским, ни североамериканским. Он скорее являет собою смешение африканцев и американцев, нежели потомство европейцев, ибо даже сама Испания не относится к Европе по своей африканской крови, по своим учреждениям и по своему характеру. Невозможно с точностью указать, к какой семье человечества мы принадлежим. Большая часть индейского населения уничтожена, европейцы смешались с американцами и африканцами, а последние — с индейцами и европейцами... Мы должны создать новое государство, примера которому нет в истории.

— Вы говорите о проекте Миранды: индейское государство, охватывающее все испанские колонии от Мексики до Мыса Горн? Без сомнения, это самый величественный замысел со времен походов Александра.

— Миранда был больше мечтатель, чем политик. Немыслимо, хотя и заманчиво сделать весь Новый Свет единой нацией, ведь все наши области имеют одно происхождение, один язык, одни и те же традиции и религию и, следовательно, должны были бы иметь единое правительство, которое объединяло бы в конфедерацию различные государства по мере их образования. Но пока что на пути к созданию такого государства стоит множество преград, и главным образом честолюбие наших политиков. Государства Панамского перешейка вплоть до Гватемалы, возможно, создадут ассоциацию... Может быть, Новая Гренада объединится с Венесуэлой, если они смогут договориться о создании центральной республики со столицей в Маракайбо или в другом городе... В одном вы правы: если это все-таки случится — чем тогда покажется Коринфский перешеек <sup>177</sup> по сравнению с Панамским!

Беседа продолжалась еще несколько минут, после чего мы покинули кабинет Боливара, находясь под сильным впечатлением от разговора с этим великим человеком.

— Вот величайший герой современной истории! — восклицал Лугин. — Разве он не являет нам чудеса, не освобождает от чар континент, не пробуждает народ, разве он не объехал под знаменем свободы больше стран, чем любой конкистадор под знаменем

---

вторгнувшиеся прусские войска

<sup>177</sup> На территории Коринфского перешейка в древности был организован мощный союз греческих государств под главенством Македонии



тирании?.. Что по сравнению с ним Наполеон, с его тщеславием и императорскими погромами!

— Вы сильно возбуждены, мой друг, — отвечал я, — но вы правы: нельзя говорить спокойно о том, кто не знал покоя.

Нас определили в полк, сформированный из европейских инсургентов и состоящий под командованием ирландца О'Ши. Мой кавалергардский полковник сделался капитаном, я же стал, разумеется, его ординарцем с чином лейтенанта. Впрочем, чины здесь раздавались легко и на них мало кто обращал внимание, так как повстанцы по большей части не ведали ни строя, ни военной дисциплины и субординации. Наш полк состоял едва ли из ста человек, среди которых были англичане, ирландцы, шотландцы, французы, испанцы, итальянцы. Лугин быстро сошелся со своими новыми сослуживцами, я — со своими соотечественниками, что, впрочем, ничуть не нарушило нашего с ним близкого общения. Как и в Париже, мы сняли одну квартиру на нас двоих и целые дни проводили вместе, осматривая город и знакомясь с местными обычаями. Лугин, подобно всем русским, чрезвычайно восприимчивый к чужому удалству, проявил большой интерес к искусству обращения с лассо и болеадорас <sup>178</sup> и вскоре достиг в нем больших успехов; в этом отношении он опередил многих лучших льянерос <sup>179</sup>.

Военные действия были временно прекращены; Боливар готовился к съезду Национального конгресса, который должен был состояться в феврале следующего года, чтобы подтвердить независимость Венесуэлы после военных неудач последнего времени. Офицеры нашего полка собирались редко, никаких воинских учений не проводилось, так что мы были предоставлены самим себе и смогли ближе ознакомиться с той страной, свободу которой мы готовы были оплатить своими жизнями <sup>180</sup>.

...Конгресс провозгласил Боливар президентом Венесуэлы и главнокомандующим ее армии. В мае, когда сезон дождей подходил к концу, мы неожиданно получили приказ о выступлении. Боливар хранил в тайне конечный пункт похода; даже те, кто был с ним рядом, не знали в точности, куда мы движемся. Теперь, когда этот страшный переход через Анды вошел в историю, я могу гордиться, что был среди тех, кто совершил этот беспримерный подвиг. Но Боже, если бы мы тогда могли знать все опасности и лишения, которые нам предстояло перенести, немногие из нас отважились бы перейти первый же встретившийся ручей!

Армия Освободителя состояла из 1300 человек, в число которых входил наш полк и британский корпус Рука, и 800 лошадей. Всю дорогу до Баринаса поливал дождь. Дорог не было. Целую неделю мы с Лугиным шли пешком по затопленным водою пастбищам, чтобы не утомлять наших лошадей, — с трудом выволакивая из грязи усталые, исцарапанные колючками ноги. Что ни речка — то бурное море, а в нем и кайманы, и электрические угри, и страшная рыба карIBE, что стаями рвет на куски мясо людей и животных. Ночью высшим комфортом считалось занять не залитый водой клочок земли, а точнее, холодной, размокшей грязи. Несмотря на все это, люди сохраняли бодрое настроение и шли с песнями.

Наконец впереди показалась синяя полоска Анд. Боливар обегал ряды, подбадривая солдат. Он знал, что самое трудное еще впереди.

---

<sup>178</sup> Болсадорас — охотничье и боевое оружие индейцев Патагонии два или три каменных шара, привязанных к длинной веревке. Во время охоты их раскручивают над головой и метают в сторону жертвы, чтобы они закрутили веревку вокруг ее ног или шеи

<sup>179</sup> Льянс рос — «жители равнин», знаменитые наездники с пастбищ Орьенте, расположенных между прибрежными горами и берегами реки Ориноко

<sup>180</sup> Далее опущено несколько страниц, где Роже повествует об истории, нравах и обычаях народов Латинской Америки

11 июня к нам присоединились войска Сантандера <sup>181</sup> — около тысячи человек. Они привезли с собой много провизии, и впервые за последние несколько дней мы досыта поели.

На следующий день началось восхождение. Перед нами был ад, созданный природой, который мы должны были преодолеть. Проторенных дорог не было, еле заметная тропинка вилась вверх по нагромождению скал; в долинах путь преграждал бурелом. С каждым днем становилось все холоднее, а солдаты были почти совсем раздеты. Наши намокшие и дырявые одеяла только увеличивали озноб. Льянерос разбегались целыми отрядами.

Вот и граница вечных снегов. Нигде ни признака жизни, резкий северо-восточный ветер обжигает тело, кругом непроглядная пелена тумана. Лошади гибли без счета на обледенелых кручах; сорвалась и лошадь Лугина. Люди закоченели, от холодного ветра и снега кружилась голова, из носа шла кровь. Никто уже не шутил и не слушал шуток. Многие сходили с ума; иные падали замертво, и их товарищи, чтобы привести в чувство, колотили их изо всех сил. Мы с Лугиным брели молча, старательно кутаясь в наши лохмотья, чтобы не умереть от скоротечного воспаления легких, как это уже случилось с несколькими из наших товарищей.

Показались испанцы — их опрокинули, и они отошли на позиции, которые занимал генерал Баррейра, преграждая единственную дорогу на Боготу, столицу Новой Гренады. По приказу Боливара мы свернули направо, на узкую, извилистую тропинку, ведущую к пустынным утесам Парамо-де-Писба. Говорят, что местные жители редко ей пользуются даже в сухую погоду.

Мы вновь двигались под проливным дождем. Прогнившая одежда расползалась на нас от каждого резкого движения. Делать привал для ночевки не решились — боялись замерзнуть.

6 июля начался спуск по ущелью. По сторонам исполинскими призраками вздымались вершины Парамо-де-Писба, при взгляде на которые кружилась голова. А внизу, на дне долины, цвела вечная весна. Нам казался недоступным этот волшебный рай. Измученные, обросшие жесткой щетиной, с кровоподтеками на всем теле, мы валились с ног прямо на дороге. Боливар, исхудавший, в покрытом грязью мундире, дрожа от лихорадки, возвращался и протягивал руку тем, кто не мог дойти до привала; он приводил волонтера к бивуаку, указывал ему место и лишь после этого ложился сам. Я видел, как многие из тех, кто уже не мог встать, смотрели наверх — туда, где природа только что дала им самый жестокий бой в их жизни, потом в изнеможении закрывали глаза, и их измученные лица озаряла довольная улыбка. Ночью мы с Лугиным слышали, как Боливар с грустью говорил Руку о громадных потерях среди людей.

— Ничего! — отвечал Рук. — Сильные духом выдержали.

— Браво! — прошептал мне Лугин. — Мне нравится этот ответ!

Боливар еще постоял у бивуачного огня, потом воздел глаза к звездному небу и в раздумье опустил на землю.

Теперь я должен обратиться к самому печальному воспоминанию и рассказать о смерти Лугина.

Трудности и лишения похода почти ничем не повредили моему здоровью, но у моего товарища ледяной ветер на вершинах гор простудил грудь, вызвав упорный, мучительный кашель. Я отдал Лугину свою лошадь, и он ехал на ней, сотрясаясь от приступов кашля. Больше всего на свете мы мечтали о сухой одежде. При спуске с вершин Парамо-де-Писба крестьяне-индейцы из ближайших деревень стали приходить к нам на стоянки, принося с собой одежду, пищу и оставаясь дежурить у изголовья спящих солдат. Один индейский мальчик дал мне теплое одеяло, которым я укутал моего больного друга. В тот же вечер у него обнаружили первые признаки сыпного тифа. Никто не мог понять, в чем дело. Наконец один англичанин, расспросив меня, с кем встречался Лугин и что он ел, отвел меня

---

<sup>181</sup> Сантандер — руководитель восстания в Новой Гренаде

в сторону и сказал:

— Немедленно сожгите это одеяло, мне кажется, причина болезни заключается в нем. Вы получили в дар троянского коня. Я слышал, что у здешних индейцев есть поверье: если кто-то из них заболевает, то родственники стараются раздать вещи больного чужим людям, считая, что болезнь уйдет вместе с ними.

Я был потрясен: сам избежав смертельной опасности, я своими руками убил моего товарища! Признаюсь, у меня не хватило духа рассказать обо всем Лугину, и он умер в полном неведении, что его последний вздох принял его убийца! И вот теперь, спустя годы, я не перестаю молить Бога, чтобы Он простил мне этот невольный грех.

Болезнь развивалась быстро; ослабленный организм Лугина был не в состоянии противостоять ей. Периоды бреда повторялись все чаще и становились все более продолжительными. Во время одного из них мне показалось, что я услышал женское имя... Я ждал, что он заговорит со мной об оставленных им родных, о России, но он не сказал о них ни слова. Бред погасил его разум раньше, чем наступила смерть. Последние слова его были:

— Вперед, вперед! Здесь мы лишние... Прочь отсюда, ребята!..

Лугин умер 5 августа 1819 года, за два дня до победы повстанцев при Бояке и триумфального въезда Боливара в Боготу.

Спустя несколько дней, похоронив моего друга в церкви Богоматери в Боготе, я уехал в Европу, говоря себе, что счастливейшим днем в жизни человечества будет тот, когда из языка всех народов исчезнет слово «политика».

## **ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ РЕКЛАМА НИККОЛО ПАГАНИНИ**

Если кто-нибудь задастся вопросом, много ли денег можно заработать при помощи куска дерева, то за ответом ему лучше всего обратиться к опыту великого маэстро Никколо Паганини.

Скрипка — создание природы и человека. Она появилась в XVI веке в руках у какого-то из ломбардских мастеров и приняла современную форму не сразу. Говорят, Леонардо да Винчи дал ей завиток, украсивший головку. В отличие от своей прародительницы — виолы, инструмента с нежным и мягким звучанием, — скрипка стала инструментом виртуозов, извлекавших из нее звуки то низкие и глубокие, то высокие и проникновенные.

Паганини — создание природы и скрипки. Скрипка была продолжением его тела, а его тело приняло формы, идеально подходящие для игры на скрипке. Левая сторона его груди стала шире правой и сделалась впалой в верхней части; левое плечо — намного выше правого, так что, когда он опускал руки, одна из них казалась короче другой; кисти и пальцы рук, не длиннее, чем у обычного человека, приобрели такую гибкость, что могли совершать самые немыслимые движения и комбинации. Левое ухо скрипача слышало гораздо обостреннее правого, и барабанная перепонка стала такой чувствительной, что он испытывал сильную боль, если рядом громко разговаривали. В то же время он был способен уловить самые тихие звуки на огромном расстоянии. В шуме большого оркестра он легчайшим движением настраивал свою скрипку. Многие называли его уродом. Нет, Паганини был не просто красив, он был дьявольски, божественно прекрасен. Женщины понимали это лучше мужчин. Только так — изваяв, приспособив свое тело под скрипку, Паганини смог извлечь из нее свои несравненные каприччио и, добавим, дукаты, лиры, талеры, гульдены, франки, фунты стерлингов, рубли — из карманов своих слушателей. Можно сказать, что Паганини первым поставил музыку, свое мастерство виртуоза на коммерческую основу, став музыкантом от Бога и миллионером от музыки.

## **БОГЕМНЫЙ ВИРТУОЗ**

Но сначала было чумазое детство в бедном квартале Генуи. Отец Никколо пытался

понять закономерность вращения колеса лотерейной фортуны. Он действительно иногда называл своим клиентам выигрышные номера, но — странное дело — сам для себя никогда не мог их угадать и оставался бедняком. Вообще он принадлежал к тем людям, которые живут в убеждении, что их карьера не состоялась. Страстно любя музыку и недурно играя на скрипке, Антонио Паганини в молодости мечтал о славе и аплодисментах. И вот однажды, когда четырехлетний Никколо указал ему, что он сфальшивил в одном пассаже, в голову отца пришла мысль: а что, если сделать из сына скрипача — вдруг мальчуган заработает кучу денег?

Начались изнурительные десяти-двенадцатичасовые уроки игры, серьезно подорвавшие здоровье Никколо. Но, вспоминал Паганини, «я был в восторге от инструмента и занимался непрерывно, пытаюсь найти какие-то новые, никому не ведомые прежде позиции пальцев, чтобы извлечь звук, который поразил бы людей». Успехи мальчика были поразительны. Когда девятилетнего Никколо представили известному композитору Ролла, тот, выслушав его игру, воскликнул: «Я ничему не могу научить тебя, мальчик!» А в семнадцать лет Никколо уже сам давал уроки профессорам музыки. Тогда же он заработал свою первую скрипку Гварнери: ее обладатель, художник Пазини, неосторожно заключил на нее пари, что Паганини не сыграет с листа впервые увиденный концерт.

Долгое время небольшой заработок от игры Никколо забирал отец. Паганини-младшему с трудом удалось уйти из-под опеки семьи. Оказавшись однажды на свободе, он в восторге от «взрослой», самостоятельной жизни ударился в дикий разгул; случалось, что он в один вечер спускал за карточным столом все, что заработал несколькими концертами. От пристрастия к картам его спасло одно происшествие. Как-то некий князь-коллекционер, видя его бедственное положение, предложил довольно крупную сумму за его скрипку. Паганини, у которого оставалось всего 30 лир, отправился в игорный дом, решив, что если удача повернется к нему спиной, продать скрипку и уехать на хлеба в Россию. Когда к концу вечера у него осталось всего 3 лиры, он уже начал зябко ежиться, представляя снега и медведей, и вдруг последняя ставка принесла ему 160 лир. В этот момент он понял, что «игрок — самый ничтожный человек на свете», и навсегда отказался от карт.

В 1804 году Паганини стал скрипачом и дирижером при дворе Элизы Бонапарт (сестры Наполеона) во Флоренции. Вскоре вместе с уроками музыки он стал давать Элизе уроки любви. Правда, это не прибавило денег к его скромному жалованью, зато коронованная любовница сделала его капитаном придворной гвардии. Именно в то время про него стали распространяться легенды — про дьявольское происхождение, подпиленные завистниками струны и т. д. В последнем случае дело было так. Однажды Паганини исполнил на дворцовом концерте свою пьесу под названием «Любовная сцена» — на двух струнах: одна «говорила» голосом девушки, вторая — юноши. «А одной струны, случайно, не хватит вашему таланту?» — поинтересовалась Элиза после концерта. Слегка задетый ее словами, Паганини ко дню рождения ее царственного брата преподнес ей сонату «Наполеон» — для четвертой струны. А вообще, специально струны ему никто не подпиливал — они в то время делались из воловьих жил и рвались сами довольно часто. Паганини не опровергал легенд, разраставшихся вокруг его имени (потом стал писать опровержения в газеты, но было уже поздно). Он подходил к ним с коммерческой меркой, рассматривая их как своеобразную рекламу. Паганини относился к публике, «толпе», без артистического презрения и, чтобы раз навсегда привлечь ее к себе, не брезговал разными «фокусами», которые другие музыканты считали недостойными серьезного артиста, — подражал на скрипке пению птиц, голосам людей и т. д.

Расставшись с Элизой, Паганини нашел убежище в объятиях Паолины Бонапарт, другой сестры Наполеона, чьим девизом было: «Мои губы таят секрет моего сердца». Однако к этому времени небольшой капитал Паганини — 20 000 франков — вновь подошел к концу из-за посылок денег семье, которая требовала вернуть «долг» за его обучение. Нужно было искать более солидный заработок.

В 1813 году Паганини отправился на завоевание заграничной публики.

## КОНЦЕРТНЫЙ КОРСАР

Отныне жизнь Паганини — бесконечные гастроли. Он мог бы сказать то, что позднее скажет Лист: «Концерт — это я». Хотя он, по традиции, всегда выступал с оркестром, но последний, по сути, лишь аккомпанировал его скрипке, так что именно Паганини положил начало сольным концертным выступлениям инструменталистов-виртуозов. В Вене — тогдашней музыкальной столице Европы — газеты сразу нарекли его «первым скрипачом мира». Они же прозвали его «концертным корсаром», так как Паганини удивлял директоров театров и публику неслыханными ценами на билеты — место в партере стоило пять гульденов. Тем не менее ему аплодировали до безумия, в честь его писали стихи и даже поэмы. Во всех витринах висели его портреты, литографии, карикатуры. Представители каждого ремесла называли свои произведения его именем: пирожные а-ля Паганини, шляпы а-ля Паганини, бифштекс а-ля Паганини... Даже игроки в бильярд изобрели удар а-ля Паганини. Дамы делали прическу а-ля Паганини — локоны в поэтическом беспорядке ниспадали на плечи. Изображения маэстро можно было встретить на перчатках, носовых платках, скатертях в ресторанах. Правда, одно время у него появился соперник — жираф, подаренный австрийскому императору египетским пашой, но диковинное животное вскоре приелось венцам.

Извозчики изобрели новую монету — «пагани-нерл» (так они называли пять гульденов — минимальную стоимость билета на концерт скрипача) и соглашались везти пассажиров только за эту цену. Однажды Паганини возмутился столь высокой ценой. Извозчик, ухмыльнувшись, возразил: «Вы тоже берете пять гульденов, а играете всего на одной струне». Ему представлялось, что музыкант, мягко говоря, дурачит публику. Паганини находчиво ответил: «А ты мог бы проехать на коляске с одним колесом?» Скрипач дал ему билет на свой концерт. Потрясенный игрой маэстро, извозчик попросил разрешения нарисовать его портрет на своем фиакре. Паганини, смеясь, дал согласие, и вскоре этот человек стал так же знаменит, как и сам музыкант.

В другой раз Паганини, идя по улице, увидел нищего мальчишку со скрипкой; в шляпе перед ним ничего не было. Паганини взял у него скрипку и через полчаса карманы бродяжки были набиты монетами и ассигнациями.

В Германии, где Гете своим «Фаустом» ввел моду на мессира Дьявола, Паганини ждал не менее триумфальный прием. Один господин серьезно уверял, будто отчетливо видел за спиной маэстро дьявола в красном, который водил его рукой. Сам творец «Фауста» назвал Паганини «столпом пламени и гроз». Одни женщины падали на его концертах в обморок, другие, после концерта, — в его объятия. «Эти красавицы очень романтичны», — писал Паганини о немках.

Успеху творческому неизменно сопутствовал успех кассовый. Сбор менее 1500 талеров за концерт Паганини считал неудовлетворительным, а концертов в Германии было более сотни. Перед приездом в Париж Паганини издал там 24 своих каприччио, которые французские скрипачи сразу раскупили, но нашли их такими трудными, что заявили — это, мол, неисполнимые загадки. Но слушатели валом валили на его концерты. «Продадим, все продадим, чтобы пойти послушать Паганини!» — призывал один музыкальный критик. От игры маэстро сходили с ума Бальзак, Гюго, Готье, Жорж Санд. Посетив в первый раз его концерт, Лист поклялся себе, что больше не выйдет на сцену, пока не достигнет в искусстве игры на рояле такого же мастерства, как Паганини на скрипке.

Парижане ходили на концерты скрипача даже во время холерной эпидемии, пренебрегая опасностью заразиться. «Даю концерты в Опере в пользу пострадавших от холеры, — писал Паганини одному знакомому. — Россини удрал со страху. Я, напротив, бесстрашен в своем желании служить человечеству». Каждый «холерный» концерт давал 20 000 франков на борьбу с заразой. Здесь, в Париже, на одной из пирушек им была сочинена

«Пуншевая ария» в честь Россини — Паганини использовал для этого шелковый шнурок от своего лорнета, натянутый на сосуд для приготовления пунша, и нитку, натянутую на трость.

Потом была Англия. Британская холодность была растоплена южной страстью маэстро. Приглашения играть в домах самых щедрых меценатов сыпались со всех сторон — Паганини не знал, с кого начать. Королю Георгу IV, пригласившему скрипача во дворец за далеко не королевскую плату, Паганини презрительно ответил, что его величество может купить место в партере на его концерт — так будет еще дешевле. Цифры его гонораров становились поистине гиперболическими — каждая неделя приносила не менее 6000 фунтов стерлингов. Только в Лондоне он собрал 10 200 фунтов стерлингов. Чтобы освободить себя от бухгалтерской работы, Паганини первый из музыкантов передал всю коммерческую сторону организации концертов импресарио. Вскоре его примеру последовали остальные музыканты. Почти ежедневно бывая на светских раутах, Паганини не приобрел светских привычек. Салонные вечера наводили на него тоску, он чувствовал себя на них редким животным — вроде жирафа египетского паши. Во время приема он обыкновенно бывал неразговорчив и рассеян — не мог даже вспомнить, что ел, если из уважения к нему на стол в этот день не подавали равиоли, ризотто по-милански, суп по-генуэзски или другие итальянские блюда. После обеда старался быстрее ускользнуть, не заботясь о впечатлении, произведенном его уходом на хозяев. Не выносил он и вокально-инструментальных упражнений дилетантов в гостиных, а если был вынужден их слушать, то демонстративно поворачивался на стуле к стене и внимательно рассматривал рисунок обоев. Но в компании итальянцев или музыкантов он был весел и общителен.

Вне Италии скрипач постоянно мерз и даже летом, бывало, сидел, закутавшись в шубу и полузакрыв глаза, как будто в зимней спячке. Утром его было трудно разбудить, а без постороннего вмешательства он мог проспать целый день. Перед концертом Паганини всегда нервничал и был серьезнее и молчаливее, чем обычно. Входя в уборную, первым делом спрашивал, много ли народу пришло, и, услышав утвердительный ответ, радовался: «Хорошо! Есть еще славные люди!» Репетировал только перед выступлением — говорил, что достаточно наупряжнялся за свою жизнь. Ему не нужно было прикасаться к скрипке — она звучала у него в уме. Один англичанин полгода тайно следовал за ним по всем гостиницам, надеясь подслушать и раскрыть «секрет» его игры. За все время он ни разу не слышал из комнаты скрипача ни звука. Наконец однажды он увидел в замочную скважину, как Паганини вынул скрипку из футляра и положил на плечо. Англичанин застыл в предвкушении своей удачи, но маэстро молниеносно пробежал пальцами по струнам и положил инструмент на место. Волнуясь перед концертом, Паганини тем не менее не выходил на сцену, не получив задаток и не помучив публику ожиданием. Во время игры он плотно прижимал локоть левой руки к телу и действовал одной кистью; смычок он держал большим и указательным пальцами. После концерта он с удовольствием забавлял дам, пришедших к нему в уборную с букетами, рассказывая о скрипке и показывая гибкость пальцев левой руки, большой палец которой отгибался в обратную сторону и касался тыльной стороны руки; он также без усилия сгибал локти в обратном направлении.

Паганини часто обвиняли в жадности и скупости. Он действительно брал за выступления много, а жил экономно — сказалась привычка к экономии, приобретенная в детстве. Так, он не любил тратить на одежду и часто покупал фраки у старьевщиков, упрямо торгуясь за каждый франк. Однако он давал множество благотворительных концертов, посылал крупные суммы матери, поддерживал менее удачливых собратьев-музыкантов: например, Берлиозу подарил 20 000 франков. Ничего не требуя для себя, Паганини покупал своему Ахиллино — маленькому сыну, отсуженному им у жены после развода, — самые красивые и дорогие вещи.

#### «КАЗИНО ПАГАНИНИ»

К 1833 году состояние Паганини достигло трех миллионов франков. Маэстро занялся

коллекционированием инструментов и собрал великолепную коллекцию скрипок и виолончелей Амати, Гварнери, Страдивари. Немалых денег требовали и постоянные обращения к врачам из-за обострившихся застарелых болезней. О том, какие суммы Паганини постоянно носил при себе, говорит то, что однажды вор украл у него из номера 120 000 франков.

Тем не менее скрипач жил в постоянной тревоге, что будущее его сына недостаточно обеспечено. Эти опасения помогли аферистам, тершимся возле музыканта-богача, вовлечь его в сомнительное предприятие по организации в Париже музыкально-развлекательного заведения «Казино Паганини». Внося 60 000 франков первого взноса, Паганини полагал, что он делает широкий жест благодарности парижанам. А в это время авантюристы, растратив деньги скрипача, пользуясь его именем, влезли в колоссальные долги и сразу поставили Паганини перед фактом такой затеи, которая грозила полным разорением, нисколько не отвечая его замыслам, так как выступления артиста должны были служить только яркой вывеской для привлечения любителей азартных игр. Но Паганини, не зная этого, подписал контракт о ежедневных выступлениях в казино. Музыкант полагал, что французский закон защитит его. Вместо этого суд обязал его выплатить 200 000 франков за оборудование казино и давать концерты в этом заведении не менее двух раз в неделю. За каждый пропущенный день он должен был платить 6000 франков. Таким образом 120 пропущенных концертов в течение года грозили лишить маэстро половины его состояния.

Между тем Паганини был серьезно болен — к сифилису, беспрестанному кашлю, туберкулезу легких и горла прибавился еще и простатит. Его состояние было настолько плохо, что нескольких еженедельных концертных выступлений было достаточно, чтобы свести скрипача в могилу. Паганини проводил целые дни в постели, хотя бессонницы терзали его неделями. Чтобы развлечь отца, Ахиллино подавал ему инструменты из его коллекции, и Паганини, сидя на кровати, пробовал их. 15 мая 1840 года Паганини импровизировал на скрипке на тему произведений Байрона, которые недавно перечитал. По отзывам очевидцев, это было лучшее выступление маэстро. Вдруг блаженно-неистовые звуки оборвались, смычок замер в леденеющих пальцах...

После удара Паганини прожил еще чуть больше недели. 27 мая полицейский передал его импресарио извещение о том, что на Паганини наложен штраф в размере 50 000 франков за неявку в королевский суд. Одновременно с этим было вручено приказание префекта полиции Парижа немедленно явиться в префектуру для препровождения в тюрьму. Срок заключения — десять лет.

— Но ведь он болен, страшно болен! — вскричал потрясенный импресарио.

Полицейский пожал плечами и вышел.

Комкая в руках бумаги, импресарио возвратился в комнату скрипача. Паганини был мертв. Извещение королевского суда Франции запоздало.

## ПОСМЕРТНЫЕ ГАСТРОЛИ

Смерть Паганини, положившая конец судебным преследованиям, спасла Ахиллино от разорения. Миллионные суммы франков, вложенные в акции и облигации государственной ренты Англии и Королевства обеих Сицилии, должны были обеспечить на долгие годы наследника великого скрипача. Тем не менее возникли новые, громадные, непредвиденные расходы. Тело Паганини было забальзамировано. Однако, когда настало время предать его земле, возникли неожиданные трудности. Католическая церковь отказала великому скрипачу в погребении. Паганини не был атеистом, но почему-то не причастился перед смертью. Сказались также его связи с итальянскими карбонариями и давние байки про его союз с дьяволом.

Душеприказчики Паганини решили похоронить тело скрипача поближе к родине и подали прошение в гражданский трибунал Ниццы. Но трибунал полностью утвердил обвинение Паганини в магии, колдовстве и чародействе, представленное епископом Ниццы,

и даже усугубил кару: «Да будет прощен от грехов тот верный сын Церкви, кто выроет это дьявольское тело из земли, и выбросит из гроба, и развеет по ветру». Гроб с телом скрипача был помещен на маленьком острове Сен-Фе-реоль в Средиземноморье — в пещере, подвешенный на цепях. Юность Ахиллино была растрчена на чтение папских энциклик, булл и канонических правил, доказывавших его право предать земле тело отца. Он стал одним из лучших знатоков канонического права в Италии. Но помогли ему не его знания, а его деньги. Миллион сто тысяч франков — столько потребовала римская курия за прощение великому грешнику. И даже после этого потребовалось двенадцать лет, чтобы уладить все формальности. За это время гроб с телом Паганини несколько раз зарывали в землю и выкапывали обратно. Каждое погребение приходилось оплачивать заново.

В 1876 году гроб тайком перевезли в Парму, где впервые поставили в каменном склепе на кладбище. Но прошло еще семнадцать лет, прежде чем папа разрешил предать это тело земле. Пятьдесят три долгих года длились посмертные гастроли маэстро, почти вся жизнь и состояние Ахиллино ушли на восстановление справедливости.

Легкомысленное отношение великого скрипача к рекламе дорого обошлось его сыну. Между тем реклама требует к себе более серьезного отношения, недаром в Католической церкви это слово означает «соборание кардиналов».

## **ВЫСТРЕЛЫ НА ГОЛГОФЕ**

### **Военная быль**

*Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою потеряет?*

**Евангелие от Матфея, 16; 26**

## **I**

Это случилось в Иерусалиме, в июне 1916 года.

Патер Рафф проснулся оттого, что кто-то осторожно касался пальцами его плеча и настойчиво звал его по имени.

Он открыл глаза. Маленькая, душная комната с низким потолком и какой-то узкой дырой вместо окна, впрочем, довольно опрятная, — одно из помещений казарм, занимаемых 6-й пехотной экспедиционной бригадой германской армии, — была погружена во мрак. Было совершенно невозможно разглядеть что-либо в этих потемках, но патер Рафф всем своим существом ощутил присутствие человека.

— Проснитесь же, святой отец! — снова потребовал голос из тьмы.

— Кто здесь? — спросил священник, удивленно наблюдая за перемещениями неожиданно обнаруженной им совсем рядом с кроватью пламенеющей точки; в следующее мгновение он с отвращением почувствовал, что темнота пропитана удушливым сигарным запахом.

— Это я, доктор Тарное, — отозвался голос.

— Который час?

— Не знаю... Должно быть, четвертый...

— О Господи!.. Что вам нужно? Да потушите наконец вашу сигару и зажгите лампу!

Послышалось торопливое шуршание, потом чиркнула спичка, и красноватый огонек осветил лицо и грудь доктора — крупного тридцатипятилетнего мужчины; с пышными, нависающими над верхней губой усами. Он протянул руку к керосиновой лампе, стоявшей на круглом столике рядом с изголовьем, и засветил ее. Затем, сев на стул, он осторожно загасил о каблук ботинка сигару.

— Настоящая регалия, — вздохнул он, — здесь их еще можно достать...



— О чем вы? — не понял патер.

— О сигарах.

— Да вы пьяны, что ли?! Говорите же, в чем дело? Доктор задумчиво посмотрел на окурок и спрятал его в карман пиджака.

— Признаться, я действительно выпил... Наш славный бар «Встреча героев», как вы знаете, позавчера прекратил свое существование, но добрый Риттер продолжает снабжать нас из своих запасов. Думаю, он не уедет отсюда, пока у него есть хоть капля спиртного. Я бы даже сказал (если вас интересует мое мнение), что он совсем не уедет. Асмуса сегодня расстреляют, скандал замнут, и через три-четыре недели Риттер снова приветливо распахнет двери своего заведения — возможно, на том же самом месте...

— Значит, приговор вынесен? — прервал его патер Рафф.

— Да, сегодня вечером, вернее уже вчера... Меня пригласили освидетельствовать состояние бедняги, и, к сожалению, я должен был констатировать, что медицина находит его достаточно здоровым для того, чтобы отправить на тот свет. (Патер заметил, как при этих словах доктор с трудом подавил недобрую усмешку.) Поэтому, собственно, мне и пришлось разбудить вас в столь неподходящий час, — продолжал Тарнов. — Часа через полтора-два за Асмусом придут, чтобы... словом, вы понимаете... Если вы сейчас же пойдете к нему, у вас будет еще достаточно времени, чтобы... — он снова запнулся, — подготовить его к встрече с Всевышним, или как там у вас это называется...

Патер Рафф задумчиво молчал. Его, как и всех, сильно взволновало случившееся два дня назад происшествие — тогда, во время учебных стрельб, унтер-офицер Асмус расстрелял из пулемета командира 6-й бригады майора Мейбома; майор скончался на месте, а оказавшаяся рядом с ним Аглена Девис-Коннай, местная танцовщица, арабка-полукровка, получила тяжелые ранения.

— Но разве он католик? — несколько растерянно возразил священник. — Я думал...

— Ну да, вы правы, в его деле записано, что он лютеранин. Но вы знаете, преподобный Меерсдорф по моему настоянию сейчас находится в Софии, — я полагаю, что перемена климата и, смею надеяться, образа жизни пойдут на пользу его печени. Он пробудет там до конца месяца, так что в настоящее время вы единственный, кто может скрасить Асмусу последние минуты жизни. Правда, должен добавить, что сам он отнюдь не просил вас об этой услуге. Эта мысль принадлежит мне, и меня озарило всего полчаса —назад.

— Но в таком случае... — раздраженно начал патер Рафф.

— Нет, нет, — возбужденно перебил его Тарнов, — не отказывайтесь! Подумайте: его преступление слишком... необычно, — нет, не то слово, но вы понимаете, о чем я говорю, — чтобы лишать его последнего утешения. Поверьте, я не стал бы тревожить вас среди ночи, если мог бы сам доставить ему хоть какое-то облегчение. Я, впрочем, пробовал предложить ему опиум, но он отказался... Пойдите к нему, прошу вас, и побудьте с ним хотя бы десять минут. К тому же, — в голосе доктора вновь прозвучала недобрая усмешка, — как знать, быть может, он захочет умереть католиком?

Перемена в тоне доктора не понравилась священнику; он нахмурился. Тарнов примиряюще поднял руку:

— Ну же, святой отец, решайтесь! У нас с вами родственные профессии: я не могу отказать в медицинской помощи раненому врагу, вы — в религиозном утешении человеку другой конфессии.

— В каком он сейчас состоянии? — все еще хмурясь, спросил патер Рафф.

— Замкнут, ушел в себя, но, как я уже говорил, в пределах нормы.

— Если вы соблаговолите выйти, то через пять минут я присоединюсь к вам.

Тарнов вскочил со стула и поспешно вышел из комнаты.

Надев сутану, патер Рафф сунул тощие старческие ноги в черные башмаки, еще с вечера тщательно очищенные от пыли. Требник, Евангелие и крест лежали на столике рядом с кроватью. Он взял их и направился к двери, но вдруг остановился, нахмурившись. Затем, как будто убедив себя в чем-то, он вернулся к кровати, выдвинул из-под нее коричневый

кожаный, с красноватыми потертостями чемодан и, порывшись в нем, достал бутылочку из темно-зеленого стекла с маслянистой жидкостью. Это было миро. Положив бутылочку в карман, патер застегнул чемодан и широкими шагами покинул комнату.

На улице было ничуть не прохладнее, но не так душно — мягкий, теплый ветерок доносил с собой запахи земли, травы, деревьев. В черном небе сияли редкие звезды; полная, розоватая луна ярко озаряла приземистые постройки предместья с глиняными кровлями, узкие улицы, Яффские ворота, каменистую дорогу на Голгофу, отливала перламутром на поверхности древнего «водоема пророка Иезекниля», но на востоке уже пробивался мутно-алый свет и первые лучи еще невидимого солнца четко обозначили контур темной громады Масличной горы.

Патер Рафф и доктор Тарное зашагали вдоль одноэтажного здания казармы, кое-как сложенного из плоских камней, на стене которого нагло лезло в глаза пестрое пятно огромного плаката: раскормленный, красный германский солдат идет откуда-то из-за горизонта и давит на своем пути маленькие фигурки англичан, французов, русских и итальянцев; его ждет с распростертыми объятиями турок... Турецкая надпись, сделанная черными аршинными буквами, кричала: «Друзья, к вам спешит могучий друг!»

Обогнув угол казармы, священник и доктор подошли к гауптвахте. Тарное сказал несколько слов дежурному офицеру, после чего обернулся к патеру:

— Проходите, святой отец.

Караульный проводил священника по коридору к одной из нескольких комнат, расположенных внутри помещения. Открыв дверь, он впустил патера, протянул ему керосиновую лампу, которую держал в руке, и повернул за ним ключ.

Патер Рафф встретился взглядом с немолодым человеком крупного телосложения, одетым в солдатскую куртку без ремня и погон. Он лежал на полу, у окна, на какой-то бесцветной циновке, босыми ногами к двери, закинув руки за голову; сапоги были аккуратно поставлены у стены. При виде священника он не переменил позу, только перекинул йоги — правую на левую — и настороженно прищурился.

— Что, уже? — хриплым голосом спросил он и, как будто захлебнувшись мокротой, несколькими сильными выдохами прочистил горло.

— Нет, — отвечал патер, делая несколько шагов по направлению к нему, — у вас... у нас еще есть какое-то время.

Он поставил лампу на пол и благословил Асмуса. Тот с заметным облегчением снова переменил положение ног и закрыл глаза.

Прошло несколько минут; Асмус не двигался, только изредка перекатывал белки глаз под сомкнутыми веками. Наконец патер Рафф решил нарушить молчание.

— Видимо, я должен объяснить причину своего прихода, — сказал он.

— Как хотите, — отозвался Асмус, не открывая глаз.

— Я знаю, — продолжил патер Рафф, стараясь говорить как можно мягче, — вы исповедуете верование, которое моя религия считает ересью. Но поскольку пастор Меерсдорф, ввиду своего отсутствия, не может облегчить беседой ваших страданий, я счел возможным прийти к вам, чтобы напутствовать вас словами любви и прощения Господа нашего и, буде на то ваше желание, восстановить вашу связь со святой Католической церковью.

Асмус молчал; его веки чуть вздрагивали.

— Моя жена католичка, — вдруг тихо произнес он.

— Так подумайте, — обрадованно подхватил священник, — о том утешении, которое вы доставите ей, соединившись с ней, хотя бы в свой последний час, не только плотски, но и духовно. Подумайте также и о себе, — о том, что Господь предоставляет вам последнюю возможность предстать перед Ним чистым душою, в согласии с Его заповедями и учением Его Церкви.

— Оставьте меня, — прошептал Асмус. Патер Рафф осекся.

— Быть может, вы хотите по крайней мере облегчить душу раскаянием в

содеянном? — помолчав, сказал он. — Я готов выслушать вас.

Асмус не отвечал. Священник потянулся к лампе, потом, передумав, оставил ее на месте и направился к двери.

— Постоите, — нерешительно окликнул его голос за спиной.

Патер Рафф обернулся. Асмус сидел на циновке, беспокойно оглядывая комнату.

— Мне страшно, — сказал он. — Я не могу ни о чем думать, ничего хотеть. Хорошо, что у меня нет часов — движение их стрелок свело бы меня с ума... О чем я? Да, во мне остался только страх, пустота и страх. В моей голове ни одной мысли, а если я не буду о чем-нибудь думать, то последний час — ведь мне осталось не больше часа, не так ли? — превратится в вечность, вечность страха и пустоты. Пожалуй, вы правы, мне нужно говорить, не важно о чем... Вы предлагаете мне покаяться? У меня нет сил ни на раскаяние, ни на оправдание своего поступка. Я предпочел бы забыться, но это невозможно, и поэтому мне лучше говорить... Знаете что, я просто расскажу вам о себе — это не займет много времени. Присядьте, я сейчас соберусь с мыслями... Меня зовут Асмус... Да, вот еще что: я не писал моей Марте ни слова о том, что со мной произошло, и уже, вероятно, не напишу. Прошу вас, сделайте это за меня — только то, что вы услышите, не больше...

## II

Меня зовут Асмус, Иоганн Асмус. Мне сорок два года. Родился и вырос я в Мюнхене и до войны в других городах Германии не бывал. Отец передал мне заведование городским садом и школой садоводства. Дело свое я любил, а жалованье и квартира, оплачиваемая магистратом, позволяли нам с Мартой не только не испытывать ни в чем нужды, но и мечтать о собственном имении где-нибудь рядом с городом, чтобы две наших дочурки могли получить хорошее приданое.

Как запасной ландвера, я попал в армию лишь во вторую призывную очередь, когда, после битвы на Марне, потребовались резервы для армии кронпринца, а также для похода в русскую Польшу. Я человек невоенный, но, смею сказать, дисциплинированный и выполнял свой долг не хуже любого другого солдата. Тяготы войны я переносил терпеливо, однако в первое время мне трудно было примириться с жестокостью, которую проявляли наши войска по отношению к мирным жителям. Помню, как перед каждой экзекуцией командир нашего 43-го Баварского пехотного полка напоминал нам слова Бисмарка: «Побежденному врагу нужно оставлять одни глаза, чтобы он мог оплакивать свои бедствия». Никогда не думал, что великий канцлер был столь чужд христианского милосердия. Вначале расстрелы и изнасилования вызывали у меня тошноту; ночью перед моими глазами стояли лица жены и дочек, и я думал: а что, если враг когда-нибудь войдет в Мюнхен? При одной мысли о том, что может случиться с моей семьей, меня переворачивало, и наутро я шел в бой с решимостью сделать все, чтобы охранить покой моих близких. Моя отвага или, вернее, мой страх не остался незамеченным: через полгода меня произвели в унтер-офицеры.

После этого мне самому неоднократно приходилось командовать экзекуционными отрядами. Я старался подавить в себе все человеческие чувства, стать автоматом, бездушной машиной, слепо исполняющей приказы. В конце концов я не видел никого вокруг себя, кто бы не стремился к тому же. Не знаю, многим ли это удалось. Мне, во всяком случае, нет.

Окончательно автомат сломался во мне месяца полтора назад, в одном поместье в Шампани. Наше новое наступление развивалось стремительно, мы вступали в области, еще не затронутые войной. Зрелище мирной жизни не всегда действовало на нас умиротворяюще, чаще всего мы вели себя как дикие звери. Так было и в том поместье, в котором, как по всему было видно, издавна занимались виноделием. Хотя его хозяин заблаговременно увез с собой запасы вина, но управляющий, оставшийся присматривать за домом, под пыткой указал нам тайные погреба, где хранилось столетнее шампанское. Мы напились, как черти. Я не стал грабить дом, как другие, но меня, знаете, страшно потянуло на женщин.

Был уже вечер, когда я вышел на улицу, чтобы освежиться и решить — отправиться ли

мне в компании с кем-нибудь из моих товарищей в соседнюю деревню или остаться и заглушить желание еще двумя-тремя бутылками. Вдруг я услышал звуки музыки, доносившиеся откуда-то из-за дома. Я пошел туда, уже догадываясь, что это веселятся господа офицеры, уединившиеся с двумя дочками управляющего. Сразу за домом начинался виноградник. Спрятавшись в нем напротив раскрытого окна, из которого лился свет и доносилась музыка, я заглянул внутрь комнаты. Действительно, я увидел нескольких офицеров, обступивших двух девушек, одна из которых, кажется, старшая, с напряженным, покрасневшим лицом играла на рояле, а другая — я слышал, как стоявший рядом с ней обер-лейтенант фон Бах называл ее Жерменой, — что-то бойко и сердито выговаривала ему — кажется, он уговаривал ее спеть. Ее милостивое личико с гневно сверкающими глазами очень понравилась мне, и я остался наблюдать за происходящим.

Было похоже, что господа офицеры насильно подпоили сестер и намеревались воспользоваться их беспомощностью. Фон Бах, слушая Жермену, улыбался и все старался потрепать ладонью по ее щеке, но она с негодованием отталкивала его руку, вызывая этим хохот других офицеров. Фон Бах смеялся вместе со всеми, потом взял с рояля бутылку красного вина, наполнил бокал и попытался, не выпуская из рук бутылки, обнять Жермену и влить ей в рот вино из бокала. Некоторое время она боролась с ним, отворачивая лицо и крепко сжимая губы, а потом вдруг ловким ударом руки выплеснула содержимое бокала на фон Баха. Он отступил на шаг и, не выпуская бутылки и бокала, растопырив руки, принялся со смехом оглядывать свой мундир, залитый вином; я же не спускал глаз с Жермены — ее личико, дышавшее злостью, было просто прелестно. Вдруг я заметил, что глаза ее сузились, ноздри возбужденно задрожали; в следующее мгновение она вырвала из руки фон Баха бутылку,хватила его этой бутылкой по голове и, прыгнув в окно, исчезла в винограднике. Фон Бах повалился на пол, с головой и грудью, красными от вина и крови, остальные офицеры бросились к окну; сестра Жермены в это время выбежала из комнаты. Они смотрели прямо на меня, но было так темно, что мое присутствие осталось незамеченным. Кто-то из них предложил организовать поиски беглянки. «А, куда там, — возразил другой, — займемся лучше нашим другом фон Бахом».

Я остался стоять в темноте, один, с бешено колотящимся сердцем. Жермена пробежала так близко от меня, что я все еще чувствовал аромат ее духов. Я желал только одного — ее тела. Бросившись в дом, я схватил там первый попавшийся под руку фонарь и принялся обшаривать виноградник. «Она моя добыча», — твердил я себе, задыхаясь от бега и вожделения. С таким же чувством, должно быть, первобытный дикарь преследовал самку. Не помня себя я метался во все стороны, заглядывал под каждый куст, но все было тщетно — Жермены нигде не было. В конце концов я споткнулся и упал ничком на землю; фонарь мой разбился. Я почувствовал, что совсем обессилел, темнота обступила меня; мне стало страшно. Я остался лежать, сотрясаясь то от смеха, то от рыданий, попеременно накатывавших на меня. Временами я боялся, что схожу с ума. Рассвет принес успокоение. Внезапно я испытал странное чувство: будто все, что я совершил до сих пор, делал не я, а какой-то другой, чужой человек, которого я не понимаю и не люблю. Я словно покинул ад через случайно обнаруженную калитку и ни за что не хотел возвращаться назад. Мной владело только одно желание: прочь отсюда, куда угодно — прочь отсюда.

Обстоятельства благоприятствовали мне. Наутро наш полк погрузили в эшелон и отправили в Польшу. Ко времени нашего прибытия туда Варшава была взята, и сам кайзер в сопровождении сыновей и саксонского короля принял у войск парадный смотр. Уезжая, он приказал штабу армии отобрать унтер-офицеров для отправки в Палестину в качестве инструкторов для турецких новобранцев. Предпочтение отдавалось людям с образованием. Из множества желающих штабное командование отобрало десять человек. Я был в их числе.

Та неделя, в течение которой продолжалось наше путешествие, была самым чудесным временем моей жизни. Австрия, Венгрия, Болгария, Турция — везде мы чувствовали себя своими. Я отдыхал от насилия, забывал о ненависти, я перерождался, словно каждый миг мирной жизни, проходя сквозь меня, отмывал мою обугленную душу. Мы ежечасно

требовали выпивки (денег нам выдали много — подъемные, продовольственные, проездные, не говоря уже о довольно высоком жалованье), но опьянение не делало меня агрессивным — нет, но добродушным и, я бы сказал, благодарным ко всем, кого я видел, кто меня окружал.

Из Яффы, куда нас из соображений конспирации привезла турецкая фелюга под греческим флагом, мы отправились поездом в Иерусалим, в штаб экспедиционного отряда. Знаете, я никогда не был особенно религиозен; ну, конечно, чтил святость праздничных дней и от времени до времени заходил в кирку, но здесь я притих в каком-то благоговении: шутка ли, за окном вагона мелькала Святая земля. Та самая!.. Я попросил у моих товарищей Библию, но ни у одного из них не нашлось этой книги. А фельдфебель Карл Шварцбах, возглавлявший нашу команду, насмешливо спросил, уж не намерен ли я заняться раскопками, и, хлопнув меня по плечу, добавил: «Наши ребята занялись здесь делом попри-быльнее — они открыли рядом с Иерусалимом пивной завод. У нас будет настоящее немецкое пиво!»

Я люблю наше баварское пиво, но что-то помешало мне разделить его радость. Не больше бодрости вызвал у меня и вид этого кабака «Встреча героев», расположившегося рядом с небольшой лысой горкой. Мы пошли туда для того, чтобы представиться майору Мейбому. Он сидел под навесом с кружкой пива, куря сигару, сплевывая на землю и напевая под нос шансонетку. Фельдфебель Шварцбах отрапортовал ему, назвав наши имена. Мейбом, не вставая, в свою очередь назвал себя и свое звание, отрекомендовавшись при этом «истребителем низшей расы». Кажется, он долгое время служил где-то в Африке — Конго или Занзибаре, умирив тамошних туземцев... Затем он сказал, что работы у нас будет много — турецких новобранцев гуртом гонят из Малой Азии, чтобы направить их к Суэцу. «Стрельбище находится там, — он кивнул в сторону горки. — Завтра вы должны приступить к занятиям, а сегодня — отдыхайте».

Нас устроили в хорошо известных вам бараках нашей бригады, вместе с другими уже обжившимися в них инструкторами. Тем же вечером от одного из них я узнал, что лысая горка, рядом с которой стоит «Встреча героев», — Голгофа.

Ночью мне не удалось заснуть. Выйдя на улицу, я долго смотрел на неровный силуэт Голгофы, все никак не мог свыкнуться с тем, что эта знаменитая на весь мир и во все века гора — всего-навсего невысокий холм. Пытался представить на ней крест — не получалось, все казалось, что это не могло случиться именно здесь, куда спустя два тысячелетия можно прийти как в любое другое место...

Наутро нас развели по взводам, во главе которых стояли турецкие офицеры, говорившие по-немецки. На Голгофу потянулись арбы, груженные карабинами, винтовками, пулеметами и ящиками с патронами. Стрельбище располагалось на ее бугристой, продолговатой площадке, кончавшейся крутым спуском. Майор Мейбом объяснил нам, что стрельба должна производиться в направлении обрыва, чтобы не причинить вреда местным жителям.

Майор торопился оставить нас — к нему в это утро приехали гости: командир 17-го Анатолийского конного полка фон Деринген и его адъютант лейтенант фон Шлиппе. С ними была эта красотка Коннай. Они вдвоем ждали его во «Встрече героев», я хорошо видел их фигуры: Деринген и Шлиппе сидели за столиком, а женщина примостилась на коленях у полковника.

Мейбом отдал последние распоряжения и повернулся, чтобы уйти. В это время один солдат из моего взвода что-то пронзительно закричал и бросил ружье на землю. Мейбом спросил у турецкого офицера, о чем кричит солдат. Офицер ответил что-то вроде того, что тот призывает гнев Аллаха на головы нечестивцев и предрекает несчастье всем, кто забыл святую правду этой земли, освященной страданиями пророка Исы. Остальные турки одобрительно покачивали головами, многие опасливо косились вокруг себя, точно ожидая, что земля провалится у них под ногами. «Ха, что вы об этом думаете? — спросил меня Мейбом. — Вот вам и первая задача: наведите порядок во взводе». Я ответил, что, по моему мнению, для восстановления порядка стрельбище необходимо перенести в другое место.

Майор с интересом посмотрел на меня. Заметив, что другие инструкторы прислушиваются к нашему разговору, он сделал несколько шагов назад и заговорил, обращаясь ко всем. Он сказал, что место распятия еще точно не установлено историками, что по новейшим исследованиям профессора Шлимана все святые места указаны наугад по искаженным устным преданиям. Даже местоположение Соломонова храма, синедриона и дворца Пилата вызывает споры ведущих ученых. «Ну, довольно болтать, мы не в университете, — резко оборвал он свою речь. — Арестовать этого крикуна, а остальным — за дело».

С этими словами он направился к кабаку. Молодого турка схватили и увели. Лица его товарищей вновь выражали обычную восточную задумчивость без мыслей. Мейбом присоединился к Дерингену и Шлиппе, Коннай пересела к нему на колени. К нам доносился их смех — видимо, Мейбом рассказывал о случившемся.

Знаете, святой отец, я никогда не видел изображения Ваала, но в эту минуту мне показалось, что он должен быть похож на Мейбома. Я бросился к пулемету...

### III

Патер Рафф не сразу понял, почему Асмус замолчал. Несколько мгновений он удивленно всматривался в его расширенные глаза, с ужасом глядевшие за спину священника. Затем до его слуха донеслись звуки лязгающих ключей и открывающегося замка.

Лейтенант фон Шлиппе и двенадцать солдат 17-го Анатолийского полка вывели Асмуса из здания гауптвахты. Патер Рафф последовал за ними, доктор Тарнов присоединился к нему. Патер не мог поверить своим глазам — Асмуса вели на Голгофу, где, недалеко от спуска, чернела свежевырытая яма.

Приговоренного поставили на край могилы. Шлиппе скомандовал «целься», ружья вскинулись, но по команде «огонь» разом опустились.

— В чем дело? — крикнул Шлиппе. — Неповиновение? Хотите на его место?

В молчании солдат чувствовалась угроза. Доктор Тарнов быстро подошел к лейтенанту.

— Прекратите, — негромко сказал он, — разве вы не видите, что не Асмус, а вы, и мы вместе с вами на краю могилы?

Асмуса снова увели на гауптвахту. В тот же день штаб германского экспедиционного корпуса направил телеграмму Тевфик-бею, местному губернатору, прося его прислать солдат для исполнения приговора над опасным преступником. Тевфик-бей, разумеется, не счел возможным отказать дружественной державе в такой пустяковой услуге.